

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ



ЗДЕСЬ ПЕЛИ ВЕТРЫ
ИСПОКОН ВЕКОВ...

* * *

Макушки елей обмакнув в закат,
Жизнь пишет небо в облачных разводах.
Вчерашний день таскали в рюкзаках,
И он впитал весь пот, всю грязь и воду.

Мы сушим у палатки гардероб:
Штаны, штормовки, свитера и берцы.
И шутим, дескать, краше только в гроб...
И добавляем мата, словно перца.

Наваристый и острый разговор
Не расхлебать, услышав с середины,
Но скрадывает темень, будто вор,
Написанные с вечера картины.

ТИХОНОВ Александр Александрович родился в 1990 году в посёлке Большеречье Омской области. Стихотворения его и проза публиковались в журналах "Наши современник", "Роман-газета", "Молодая гвардия", "Сибирские огни" и др. Автор книги стихов "Облачный парус" (Омск, 2014), романов "Охота на зверя" (М.: АСТ, 2016) и "Синдром героя" (М.: АСТ, 2017.) Лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Ю. Лермонтова (2015), региональной литературной премии им. Ф. М. Достоевского (2015). Работает Заведующим экскурсионным отделом Исторического мультимедийного парка "Россия — моя история. Омская область".

От хвойных кистей резкие мазки:
Костёр дымит и жарко дышит в лица,
А сердце замирает от тоски
По летним дням, которым не продлиться.

* * *

Разъятая на органы страна:
На лес, на нефть, на золотые жилы.
В глубинке, где пригрелась тишина,
Ждут городских поэтов старожилы.

Неужто я так беспросветно глуп,
Раз вижу немощь в этой древней силе?
Шесть лавок, восемь стульев — сельский клуб,
Куда нас со стихами пригласили.

Здесь пели ветры испокон веков.
Теперь тайга всё реже и плешивей.
И страшно в этом царстве стариков
Хоть парой строк, хоть парой слов сфальшивить.

* * *

Жизнь уходит в драму то и дело.
Дядя Ваня на язык остёр:
Говорит, мол, чайка пролетела
Над вишнёвым садом трёх сестёр.

Промелькнула искоркой надежды,
Сполохами виденных зарниц
И остыла словом где-то между
Сжатых губ и сомкнутых страниц.

Никакой заумной подоплёки,
Лишь вопрос, тягучий, как смола:
Отчего наводит грусть далёкий,
Лёгкий росчерк птичьего крыла?..

* * *

На влажных рельсах — брызги тишины
И отсветы от фонарей окрестных.
Здесь свет земной вбирает свет небесный
И делает земное неземным.

Сквозь сумрак утекают поезда.
Стучат-стучат... и исчезают в дымке.
Висит над миром блёклой невидимкой
Пронзительно-последняя звезда.

Её едва возможно разглядеть
В космическом пространстве надо мною.
А ей ещё лететь-лететь-лететь...
Из горних высей. Становясь земною.

АГАТА РЫЖОВА



А Я ЗДЕСЬ ЖИВУ

РАССКАЗ

25 марта 2018 года в Кемерове при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” погибли 60 человек.

Сначала не понимаешь ничего, тыкаешься в новости — в сводки. Вот четверо мёртвых, трое детей и женщина. Потом нет, потом опровергли — мужчина, три женщины и ребенок. Пятеро, значит. И огонь не могут сбить. На фотках — чёрный угольный дым валит из редких узеньких окошек. Понимаешь потом, когда смотришь видеозапись, на которой подростка буквально выкидывают из такого окошка. И уже думаешь: “Нет, плохо...” Но не веришь до конца, что прямо вот совсем плохо. Думаешь: “Сколько их там, потерянных?” 35. Бродят вокруг здания с ужаснувшимися глазами. Выскочили, разбрелись, забились в какие-нибудь щели — испугались. Не понимают ничего. Найдутся. Точно должны найтись.

РЫЖОВА Агата родилась в 1985 году в городе Кемерово. Училась в Кемеровском государственном университете на филологическом факультете. Победитель областного состязания молодых поэтов “Кузбасс — точка роста”. Была включена в лонг-лист всероссийской премии “Дебют” в номинации “Крупная проза”, всероссийской премии имени В. Астафьева в номинации “Поэзия”, российско-итальянской премии “Белла” в номинации “Русское стихотворение”. Принимала участие в Международных совещаниях литераторов в городе Каменске-Уральском (2011, 2015); в XIV Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (2014); в Региональных совещаниях сибирских авторов (2016, 2018); во Всероссийской школе писательского мастерства Сибирского федерального округа (2019). Автор стихотворных книг “Мимо всех” (2010), “Путеводитель для сталкера” (2014), Член Союза писателей России.

А потом думаешь: “Чего это я сижу? А моё-то всё где? Где моё? И уж не Там ли?..” И за телефон: “Мама, где ты? Где сестра?” Всё хорошо, все дома. Будто оцупываешь, осматриваешь, пересчитываешь сам себя. Здесь ли, на месте ли? Перебираешь близких, словно чётки, бубнишь в телефон разное. И тебе бубнят, и тебя оглядывают, не Там ли, уж не Там ли?..

Будто ты — это совсем не ты, а много разных “ты”, может, даже и не близких, а просто — знакомых. Кто тебя перебирает. Кто вопрошает о тебе — значит, это ты и есть. А ведь недавно жаловалась — одиноко мне, поговорить не с кем, пусто мне. Тьфу, дура, с хомяком поговори!

Плохое место, никогда не нравилось. Недалеко вокзал, шлятся всякие, цыгане бродят, нищие. Держишь сумку покрепче, нацупываешь кошелек. Ничего вроде не происходит, но неприятно, тревожно.

И только перед сном — перед тем, как спать ложишься, — пожарные Там смогли попасть на четвёртый этаж. Мёртвые мужчина и ребёнок. А до этого пятерых нашли. Всего семеро, значит.

Думаешь: “Ну, ладно, спать надо, завтра дела... И вообще... Не сидеть же всю ночь”. И ложишься. Но уже пришибленная, уже понимаешь, что плохо. Не совсем плохо, но плохо.

Лежишь в темноте и разговариваешь. Не торгуешься, как раньше, мол, не знаю, есть Ты или нет, но мне хочется говорить с Тобой, хоть я в Тебя и не верю. А просто — без всяких предисловий — говоришь Ему: “Боженька, сделай так, чтоб они все нашлись, чтоб никто Там не умер больше”. Просыпаешься утром — а Там всё равно умерли, 27 человек. Господи, куда Ты смотрел... И обрываешь себя — не богохульствуй. Даже если Его и нет.

А у тебя ведь дела всякие, глупости, ерунда. Ты еще по инерции теребишь их, будто они что-то значат, мол, есть такое слово — “надо”. И вот ты собираешься — надо выйти в город. Замираешь перед дверью — не знаешь, что там. Может, как-нибудь тут отсидеться, спрятаться. Но надо, ждут тебя, и ты шагаешь через порог, задержав дыхание.

А в городе — снежок выпал. Тепло, снежно. Тихо, как в погребке. Слышно только, как дворник скребет асфальт. Вжик-вжик. Тишина. Никогда не было на земле так тихо. Люди во всём городе ходят на цыпочках.

Вдруг за спиной — разговаривают. Как пластик горит, как утеплитель, и сколько их теперь Там, и что не потушили до сих пор. Оглядываешь лица — серьёзные, внутрь себя смотрящие. Знают всё. Весь город знает, как Там страшно горит пластик.

Приезжаешь, куда ты ехала, а у людей одинаковые лица. Все черты сползли вниз, побледнели, глаза увеличились, и в зеркале у тебя такое же лицо. Люди садятся и разговаривают. О том, какое большое горе, как сложно тушить пластик и сколько их Там погибло, сколько пропало и что Там были знакомые знакомых, и что тех, кого нашли, сложно опознать, а значит, они горели...

И ты прислушиваешься, всматриваешься в себя, сопоставляешь. Потому что совсем другой мир вокруг. И вот ты живёшь и смотришь, как ты живёшь, как ты себя здесь чувствуешь. Голая нервная система. Обмениваешься сигналами с другими нервными системами, мол, какая большая беда, мол, переживаю вот, и тебе отвечают то же. Город — одна голая нервная ткань. Будто все мы стали нервными клетками города. Наверно, беременные так же прислушиваются к себе: “Что там, внутри?” Город, беременный бедой.

Вдруг думаешь: “А чего это я сижу? Надо ведь что-то сделать, совершенно необходимо пойти и что-нибудь сделать, помочь Там или ещё что. Вот моё всё, люди добрые, возьмите меня и владейте мной!” Хочешь притулится куда-нибудь бессмысленную себя, избыться в действии. Тыкаешься в новости, в телефон. Но кровь не нужна уже. Сегодня в 8 утра чуть ли не полгорода пошли и сдали кровь для пострадавших. А ты прохлопала, не подумала! Не нужна твоя кровь, сиди и помалкивай. И волонтеры вроде не нужны — все уже на местах, все работают. Сбор денег для пострадавших ещё не начался. Ни крови твоей, ни помощи, ни денег даже — ничего твоего не нужно...

Приезжают Оттуда — мимо ехали. Там всё перекрыто, пожарные работают — заливают водой чёрную воронку, которая жрёт людей. И ты тяжелеешь,

тупеешь, оплываешь от бессмысленности себя. Уже и не знаешь, кто ты есть, где ты есть, и ела ли сегодня, и куда тебе деваться на этой земле. И думаешь: “Скорей бы уже всё закончилось, скорей бы уже вскарабкаться на эту гору горя, чтобы потом съехать вниз и жить, как раньше”. Как же у нас было — раньше?..

Вечером стало известно окончательно — 60 погибших, из них — 39 детей. Люди в соцсетях наливаются гневом, брызжут им во все стороны, заражают других. Они собираются завтра утром идти на Площадь, призывать к ответу, искать виноватых. И тебя бросает уже в другую тревогу — не разломали бы город, не раздавили бы его своей тяжестью. Как, оказывается, это легко — раздавить город. Будто он бумажный. Стоит красивая поделка на журнальном столике. Хлопнешь сверху ладонью — и нет ничего. Нет города, нет его нервной ткани, нет его беды.

“Уймись, — ты думаешь, — не надо, стойте. Спать надо. Давайте всем городом ляжем спать. Завтра дела разные, побрякушки, ерунда. Спи, прекрасный измученный город”.

Утром подсказываешь, как ужаленная. Куда это ты проснулась? Что за мир теперь вокруг? Что на Площади? В новостях пишут — там 4 тысячи человек. Есть прямая трансляция.

На видео люди стоят до самого горизонта, подпирая головами небо. “Пра-а-вду! Пра-а-вду!” — скандируют они. Большая беда пришла в город — какая ещё нужна правда? Впереди — парень, у которого все погибли: сестра, жена, трое маленьких ребятшек. Они Там остались — Там осталась вся его жизнь. И вот он на Площади. А куда ему ещё идти? Что ещё ему делать? Он что-то кричит, требует, борется с чем-то, как будто немножко продолжает ту — прежнюю — жизнь, как будто отстаивает близких, как будто они ещё рядом с ним.

И власти смиряются, идут навстречу, хорошо, мол, давайте обобщем мори и кладбища. И люди едут обыскивать — пересчитывают умерших, будто мало им. Массовая истерия, сумасшедшие глаза, закушенные губы — всё больше и больше бреда! И вот уже безумцы, как в кошмаре, едут проверять хладокомбинат — а вдруг там есть трупы?..

Дадут большие начальники несчастному парню денег. А что эти деньги? Труха, пыль. Абсолютное ничто всей его сгоревшей жизни. И ты чувствуешь вину перед ним, — хоть совсем ни в чём и не виновата, — вину за то, что вот у человека такое огромное горе, и ты даже боишься представить, что это за горе, боишься думать об этом. Как будто парень взял на себя всю боль живого существа на земле — и ты не смогла ему помочь, ты даже глядеть-то в его сторону не можешь. Будто такое большое горе — это зараза, которая может прилипнуть, может и тебя приглядеть... “Горе обошло стороной” — это выражение звучит как кощунство. Тебя вот обошло, а других нет. Будто откупила от него кем-то другим, и ты теперь всегда будешь виновата.

Но ведь у тебя дела всякие, помнишь? Глупости, ерунда. Опять надо выходить в город, опять куда-то ехать. И ехать не где-нибудь, а рядом с Площадью. Туда, где толпа ищет трупы. И вот ты едешь и думаешь: “А я ведь Рядом еду...” Будто появилась в городе вторая воронка, и она всё ближе.

В окне маршрутки видишь полицейского в оцеплении. Взрослый, лет тридцати или старше. Встречаешься с ним взглядом, но не отводишь глаза, как сделала бы до пожара, а просто смотришь ему в глаза, а он — в твои. Он очень серьёзный, очень собранный. Он здесь должен стоять, потому что в городе плохо — в городе беда. Потому что горящая толпа лютует на Площади. А ты едешь мимо и смотришь на него. И ты — очень серьёзная, и ты знаешь, что беда, и толпа лютует совсем рядом, и ты тоже должна стоять там, и храни нас всех Бог...

И вот ты приехала, и вокруг те же лица, те же разговоры, и ты говоришь то же, что вчера. Потому что нет больше других слов, нет других мыслей, и ты — совсем не ты, а нервная клетка, которая переносит боль.

В интернете начался сбор денег для пострадавших. И ты даже не прикидываешь в уме, можешь ли себе это позволить. Потому что сейчас нет ни

денег, ни будущего — ничего нет, кроме беды. А в глубине души немного надеешься: может, станет полегче? Может, самую капельку? Ты вот, наконец, что-то сделаешь для них... Нажимаешь на пару кнопок, деньги уходят, а ты не чувствуешь ничего. Будто бросила щепотку песка в страшную чёрную воронку.

В новостях пишут, что чиновники разных стран приносят соболезнования, что по всей стране люди стихийно собираются на панихиды. Весь мир смотрит на твой изувеченный город. А ты сидишь сама с собой, и тебе некуда стихийно собраться, некому приносить соболезнования, нечего делать с бессмысленной тяжестью самой себя.

Вечером в соцсетях тебе вдруг начинают писать незнакомые люди из других городов. Мол, соболезнуем, такая большая беда, так много погибших. Тебе пишут, потому что ты — Кемерово. Такая же, как любой человек из Кемерово. Тебе дали право голоса, спросили у тебя. И ты говоришь — я Кемерово, спасибо, что думаете обо мне, пересчитываете меня, я всё ещё здесь.

Думаешь: “Нет, теперь ничего не будет, как раньше. Больше нет никакого “раньше”. Оно сгорело вместе с детьми в чёрной воронке. “Раньше” вырвали, как кусок живого мяса из тела города. Весь город болеет и плачет по утраченной жизни”.

На следующий день ты решаешь: надо Туда идти. Недалеко от места пожара — мемориал, люди несут игрушки и цветы, стоят молча, склонив головы. И ты хочешь постоять вместе с ними.

Выходишь из дома — решительная, бескомпромиссная — и Туда идешь. А на дорогах снег растаял. Думаешь: “Вот же, весна пришла, когда успела?” Игрушку купить. В лавочке детских товаров у прилавка стоит дед и разговаривает с продавщицей: “... А я их сам делаю”. Надо же, дед шьёт мягкие игрушки. “Дайте посмотреть, — говоришь продавщице, — вот этого медведя”. Она подаёт. Он мягкий, пушистый, с ленточкой. “Хороший медведь”, — говорит дед. “Хороший”, — отзываешься и вспоминаешь, для кого он. Голос срывается, отворачиваешься, будто стыдишься. Продавщица видит и знает теперь, что Туда идёшь. Цветы ещё. В маленьком магазине долго выбираешь, хочешь, чтоб были красивые. Есть вот белые с голубыми полосками, несколько цветков на веточке, похожи на розы и на колокольчики одновременно. Продавщица говорит название — забываешь, не фиксируешь. И уже уверенно, следя за голосом, говоришь: “Дайте четыре”. Просишь завернуть в бумагу, на улице прохладно всё-таки. Они всё знают, эти продавщицы. Город уже два дня расхватывает игрушки и цветы. Хорошо, хоть что-то ещё осталось. Гвоздик, кетати, нет совсем.

И вот ты на улице, метров двадцать осталось до остановки. Солнце заливает дорогу. Ты идёшь к мёртвым детям с подарками. И тут, прямо на дороге, тебя начинает трясти и корезить, колотить от рыданий. Думаешь: “Ну, не здесь же, ну, успокойся...” Сама себя уговариваешь: “Можно ведь не ходить. Не хочешь — не иди”. И сама себе отвечаешь: “Я хочу. Я иду, потому что я хочу”. От этой мысли, от этой уверенности успокаиваешься, не размазываешься больше. Ничего, скоро дойдём.

Заходишь в полупустую маршрутку. Свёрток с цветами мешает, игрушка мешает; кое-как достаёшь деньги, чтоб расплатиться. Проходишь в салон, занимаешь пустое место в конце, пристраиваешь свёрток, пристраиваешь себя, пристраиваешь руки на коленях. Кое-как угнездилась, зафиксировалась в пространстве. Тебе кажется, все на тебя смотрят, все про тебя всё знают, как ты сейчас пыталась рыдать на дороге, как ты ничего не смогла для них сделать, как ты едешь сейчас к ним — большая, нелепая, рассыпающая мелочь из кошелька. Ничего, ладно, пусть смотрят. Тебе нужно проехать несколько остановок по прямой. Будто стальной канат протянут между Тем местом и тобой. И ты цепляешься за него и ползёшь, обдираешь руки. Руки саднят, и вся ты саднишь. Ничего.

Доезжаешь, выходишь. Впереди дороги перекрыты. Вот то здание, где погибли. Оно выглядит обычно, ничего особенного в нём нет, даже копоти отсюда не видно. Плохое место.

Слева — мемориал. Толпы людей со всех сторон идут к нему. Мемориал не видно за людьми, они двигаются, кольшутся одной живой массой. Переходишь дорогу, сдираешь бумагу с цветов. Подходишь сзади к толпе — и толпа раздвигается, расступается, тебя с цветами пропускает. У кого подарки, тот может подойти и оставить — так здесь принято. Волонтер подходит к тебе, помогает пристроить цветы среди других цветов. Твои белые с голубыми полосками сразу же теряются, исчезают среди остальных. Игрушки стоят выше. Находишь местечко, пристраиваешь медведя. Осматриваешь его — мог бы быть и получше. Ну, ладно, зато он мягкий, пушистенький. Что они потом будут делать с игрушками? Отдали бы в детские дома — вот было бы хорошо! Всё, теперь нужно отойти в толпу. И ты делаешь пару шагов назад от мемориала. Вот ты пришла постоять с людьми, вот ты здесь, стой теперь.

Вокруг тебя самые разные люди — всех возрастов, всех обличий. Многие приходят семьями, обнимают детей, прижимают к себе. В городе теперь никогда не выпустят детей из объятий. Старушки бормочут молитвы, пристраивают на мемориале иконки. Каждый принёс то, во что верит. Ты ещё оглядываешь других, осматриваешься, соображаешь, где ты есть, что здесь происходит. Никогда ты не видела такого места, не знаешь, какое оно — это место, что здесь нужно делать.

Здесь совершенно нечего разглядывать, сюда не за этим приходят. Сюда приходят к погибшим — повиниться перед ними, попрощаться с ними, побыть рядом с горюющими осиротевшими людьми, постоять целым городом над мёртвыми. И ты начинаешь плакать, спокойно уже, без конвульсий и содроганий, каким-то глубинным безмолвным плачем. Ты первый раз с начала пожара позволила себе заплакать, ты ведь, наверно, за этим сюда и пришла. Это такое специальное место, чтобы плакать. Вокруг тоже многие плачут, очень тихо, выдавая себя только шмыганьем. Здесь так тихо, что слышно, как каждый плачет. Волонтеры ходят и раздают салфетки. Поплачь, ничего.

Стоишь долго, пока не начинает болеть спина. А потом хочешь пить и думаешь: “Ну, ладно, пойду куплю воды”. Проходишь между людьми. Где-то здесь должен быть магазин. Плохо соображаешь, просто идёшь прямо, потому что магазинов же много, какой-нибудь обязательно будет. И вот через пару домов — супермаркет, тыкаешься в двери, заходишь. А в нём очень много полок, и ты теряешься, робеешь. Как здесь найти воду? Как много разных вещей в мире — разве среди них можно что-нибудь найти? И даже хочешь позвонить кому-нибудь и попросить помочь тебе найти воду. Потому что ты совсем ничего не можешь найти сейчас. Но ведь глупо так звонить, да и как тебе смогут помочь? Надо самой. Ничего, ты сейчас пройдёшь вдоль полок, где-нибудь обязательно будет вода. Не торопись, не паникуй. Что-то случилось с головой, она плохо ведёт тебя. Ничего. Это всего лишь магазин. Наконец, попадаетесь полка с водой, берёшь маленькую бутылку. Хочешь открыть сразу, но вспоминаешь, что нельзя, надо сначала заплатить. Обходишь магазин в поисках кассы. Вот касса, всё нормально. Доставай теперь из сумки кошелек. Это, наверно, такой большой стресс, что голова не хочет работать. Ничего. Купим тебе успокоительное. Ты не справляешься сама. Будем пить успокоительное — станет полегче. Сейчас многие его пьют.

Выходишь на улицу, рядом — аптека. Заходишь — малюсенькая, уютная. За прилавком — продавец. “Дайте...” — говоришь. Берёшь микстуру. Любишь микстуры. Это совсем не то же самое, что пить таблетки. Микстура — это ведь целый ритуал. Возможно, организм думает: “Ага, вот в меня вливают лекарственное снадобье, значит, оно мне точно поможет”. Микстура — это как первобытное волшебство.

Ты опять на улице. Идёшь до остановки и думаешь, что, наверно, теперь ничего никогда не пройдёт, ничего не закончится. Вот была ты у мемориала, плакала, сколько хотела, и тебе совсем не стало легче. Эта беда в тебе никогда не закончится, она только затянется пылью разной ерунды, дел... и вообще. Так и будут ныть и саднить чужие смерти в тебе.

Приезжаешь домой, пьёшь свою волшебную микстуру, находишь мультик в интернете. Включаешь, ложишься на диван, укрываешься, прячешься.

Ничего, отдохни, спрячься. По экрану мечутся милые мультяшки. У мальчика родился младший братик, а мальчик ревнует — об этом мультик. У тебя тоже есть младшая сестра, прекрасная живая младшая сестра. И ты ведь тоже тогда, в детстве, ревновала. Ревновала и не понимала, что ревнуешь. Она была такая новая, такая другая, требовала столько внимания и терпения, а ты была ещё маленькой, глупой, тоже требовала внимания и терпения. Хоть совсем и не так много терпения, как сейчас, например. Сейчас необходимо просто ангельское терпение, чтобы принимать тебя. Не потому, что ты какая-то плохая там, неправильная, что-то с тобой не так. А просто потому, что ты уже оформилась, стала такой, какая ты есть. И если тебя не терпеть такой, то лучше уж совсем не связываться. Не связываться, как верёвки не связываются. Люди связываются, как верёвки. Есть канаты, есть тонкие верёвки — бечёвки. В детстве не понимала, почему они так называются. Тогда божьей называли бичами. И ты думала, что бечёвка — это женщина-бич. Причём здесь тогда верёвка? Бечёвка — это обездоленная верёвка, с которой лучше не связываться. Тьфу, не то...

Я просыпаюсь в темноте. Было ещё светло, когда ложилась, а теперь настала ночь, мультик кончился, экран погас. В окне виднеются огоньки фонарей. Наверно, микстура меня так вырубил. Ну, ладно. Я лежу в темноте и чувствую, что это вот — я. Мне столько-то лет, я живу вот такую жизнь. Я дома. Мне спокойно. Мне хорошо смотреть на огоньки в окне, приятно слышать, как возится в своей клетке хомяк. В моей груди рядом с бедой вновь зажётся огонек радости от того, что я есть. Я ведь всегда была счастлива, чувствовала счастье негаснущим светлячком внутри себя. И вот он вернулся, он снова со мной.

Это вовсе не означает, что я теперь всё отброшу, забуду. Я ещё буду пить успокоительное несколько дней, у меня ещё будет срываться голос на каких-то словах, и наверняка я ещё буду плакать. Но я уже буду собой, всё помнящей собой, а не скорбящей частью города. А город этот, его горести, память о его людях впитаются в меня навсегда. Больше ничего не будет так, как раньше.

КРИСТИНА КАРМАЛИТА



ЛАСКОВЫЙ СВЕТ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

* * *

Журавль белый за окном,
журавль, Расскажи,
как за рубиновым вином
я прожигала жизнь,

как я пьянела и цвела,
как пела и плыла,
как я летела и была
убита наповал.

Пернатый пилигрим небес,
запомни, отмоли
в ночи поющего тебе
заложника земли.

* * *

— Давай про снег! — Про снег уже давно —
и Пастернак, и Бродский, и Тарковский...
Давай-ка лучше просто пить вино
да провожать прошедшее по-свойски.

КАРМАЛИТА Кристина Евгеньевна родилась в Новосибирске в 1984 году. Окончила факультет психологии НГПУ. Работает фотографом. Публиковалась в журналах "Наши современники", "Сибирские огни", "После 12" и других. Автор сборника стихов "Сны стеклодува" (2013) и сборника пьес "Голоса" (2014). Член Союза писателей России. Живёт в Новосибирске.

Все было так, как было быть должно,
скажи “прощай” и поклонись до пола.
Одно — смешно, сто первое — грешно, —
авось, сойдёт да ангелы отмолят...

Авось вползём в грядущее “прости”,
пролезем, как библейские верблюды,
сквозь новый год, как сквозь пасхальный стих,
как сквозь петлю прощённого Иуды.

— Но снег, смотри! — Мне тридцать пятый снег,
что мне смотреть? Что высмотреть в округе,
в которой робко светит мой ночлег,
где я лежу в засаде и в испуге, —

увы, не утолить могильной жажды,
не застелить последнюю постель,
и этот снег берёзовый однажды
нас выбелит из ленты новостей.

И к черту этот снег! — Он не про то!
— А мне плевать, про что вся эта вьюга.
Я спрячусь в прошлогоднее пальто —
за пазухой у дорогого друга,

и там, тихонько плача и смеясь,
я сохранюсь в каком-нибудь остатке,
в котором не смогу уже пропасть...
А ты мне про какие-то осадки...

— Да я про то, как снег идёт в ночи —
спокойно, тихо, ласково, надёжно,
как в нём блестят оконные лучи,
как насмотреться этим невозможно...

* * *

Весна пролетает над домом,
глаза у весны горячи.
К сибирскому телу больному
спускаются с неба грачи.

Спускаются, крыльями машут,
узоры рисуют в снегу.
Я голову сажей измажу
и к ним по воде побегу.

Какая чудная картина,
какие смешные стихи.
Ты просто устала, Кристина,
от всякой людской чепухи.

Пойди, погуляй по району,
в какой-нибудь парк загляни,
где сломанной палочкой клёна,
как будто волшебной, взмахни.

Закружится всё, заискрится,
и рядом летающий грач

прекрасным окажется принцем.
Ну, что ты, Кристина, не плачь!

Такое бывает на свете:
в огромных дворцах золотых
у принцев рождаются дети
от девушек глупых, простых.

Отгонит земные печали
лица королевский овал,
и ласковый свет изначальный
узнает твоя голова.

Когда-нибудь синей весной
вернёшься в таинственный парк,
и мальчик, пришедший с тобою,
услышав грачиное “кар”,

обнимет с наивным вопросом:
— Не ангел ли это кричит?
Ответишь ты тихо и просто:
— Спускаются с неба грачи...

* * *

О чём-то я писала, да,
о чём-то думала, страдала —
водопроводная вода
из крана в трубы утекала...

Не напоила, не омыла,
речной волной не развлекла,
а бестолково и уныло
текла.

ИРИНА МИХАЙЛОВА



Я НЕ БОЮСЬ

ПОВЕСТЬ

1

Ровно в восемь сработал будильник — минусовка группы “Люмен” — и Данил резко, словно опаздывая в школу, поднялся.

В полумраке тесной кухни наощупь нашёл чашку и сковородку. Прямо за низким окном, занавешенным полупрозрачной шторкой, давно не стиральной, в едких пятнах, висел фонарь — свет от него доходил до кухни. В свете фонаря была видна немытая с вечера посуда, грязный пол, стол с порванной в нескольких местах клеёнкой, заставленный коробками и банками.

Данил старался не шуметь, чтобы не разбудить мать, но та всегда спала чутко и слышала всё, что происходило в их маленькой квартире.

— Даня, куда ты? — крикнула она через закрытую дверь своей комнаты.

— В институт, — буркнул он.

— В воскресенье? Зачем?

— Надо.

Данил услышал, как мама перевернулась на диване и отвернулась к стене. Он всегда отвечал ей односложно, и она, привыкшая к этому, ни о чём

МИХАЙЛОВА Ирина Евгеньевна родилась в 1986 году в г. Люберцы. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Публиковалась в журналах и альманахах “Пролог”, “Кольцо А”, “Зелёный бульвар”, “Сибирские огни”, “Пятью пять”, “Окраина”, “Наш современник”. Входила в лонг-лист премии “Дебют” (2008), в лонг-лист премии “Лицей” (2018), в шорт-лист премии “Этноперо” (2018), в лонг-лист премии “Русский Гофман” (2019). Лауреат международной литературной премии “Радуга” в номинации “Молодой автор года” (2018). Финалист конкурса “Всемирный Пушкин” (2018). Член Союза писателей Москвы. Работает учителем русского языка и литературы. Живёт в Москве.

не расспрашивала. Конечно, никакого института в воскресенье не было. Его вообще не было. Данил придумал подготовительные курсы, чтобы можно было уходить из дома, ничего не объясняя. Мама верила — и тому, что занятия так поздно, и тому, что бесплатно. Только однажды спросила:

— А почему тебя позвали на эти курсы? Разве ты хорошо учишься?

— Там всех звали, — махнул рукой Данил, — акция такая у них.

— А какой институт?

— Транспортный, — к этому вопросу Данил не подготовился, поэтому ляпнул первое, что пришло в голову, — рядом тут.

Российский университет транспорта действительно был рядом, но Данил пожалел, что назвал именно его. Он был, как говорили в школе, слишком крутым. Но — что сказал, то сказал.

Чайник, старенький, со свистком, зашумел на газу, готовый вот-вот зашвистеть, но Данил успел ловко и быстро поднять его носик. Среди груды маминых бумажек, лекарств, газет, в беспорядке разбросанных на деревянном подоконнике, он нашёл банку с растворимым кофе. Затем разбил на горячую сковородку два яйца. Посмотрел на часы и заторопился. Съел яичницу прямо из сковородки, как делал всегда, пока мама не видит, залпом выпил уже остывший кофе.

— Недолго, — крикнула мама.

— Как пойдёт, — ответил Данил.

Включил на телефоне музыку, надел наушники — и, уже ничего другого не слыша, бегом побежал по лестнице.

Данил совсем невысокий и очень худой. Тёмные волосы он выбривает с одной стороны, оставляя свисающую набок чёлку, как у Егора Летова, хотя знает его песни только по современным перепевкам. Узкие джинсы он подворачивает до лодыжек так, чтобы торчали носки с ярко-жёлтыми смайлами, он носит белые кроссовки, на которые копил несколько месяцев, и чёрную толстовку с капюшоном.

Он сейчас идёт быстро, руки в карманах, сердце бьётся в такт музыке. На телефоне — новый альбом “Люмена”, и гремят барабаны. Под музыку Данил идёт ещё быстрее — она подгоняет, и сердце колотится, больно стучит в груди. Запись с концерта — слышны крики людей. Данил ещё не был на таком концерте, не прыгал в толпе, не кричал со всеми, но уже чувствует, как кровь начинает вскипать, и ему хочется бежать, бежать, куда — он и сам не знает.

Вдруг сквозь этот грохот Данил представил, как встаёт в квартире мама, как она идёт на кухню, моет за ним сковородку, чашку, про себя ругается: “Опять не допил кофе, придётся выливать, а он стоит денег. И заварил слишком крепкий, сердце посадит. Ел без тарелки — безоблюдник! Оставил везде крошки...” Нет, за крошки не станет ругать. Просто соберёт их тряпкой.

Завибрировал телефон — пришло сообщение.

“Ну, чего, удалось свалить из дома?”

“Я же сказал, что смогу”, — быстро написал на ходу Данил.

“Давай у метро. У палаток”.

Данил познакомился с этим парнем в одном из пабликов “ВКонтакте” и даже не знал, как его зовут и как он выглядит. Он скрывался под ником, а вместо фотографии — маска Гая Фокса.

На улице потихоньку стало рассветать. Маршрут знаком — мимо школы, в которой он учится уже десять лет, мимо старого полуразрушенного дома, где по утрам курит перед уроками и встречается с Олей, мимо длинного торгового центра с огромными рекламными щитами. Он открывался только в десять, поэтому людей почти не было. Только круглосуточный магазинчик с цветами работал. Продавщица выбрасывала завядшие за ночь букеты — её смена заканчивалась. Она сбрасывала цветы в большой мешок, и они валялись теперь в одной куче — розы, тюльпаны, лилии. Некрасивые, мятые и ненарядные, как люди вечером, после работы, когда плетутся домой.

“Надо было взять кастет”, — подумал Данил.

Кастет он недавно купил на Савёловском рынке. Купил просто так, потому что красивый и удобно ложился в руку. С тех пор он лежал в ящике стола — секретном месте, куда мама не заглядывает. Данил всегда туда прятал то, что срывал. В начальной школе — тетради с плохими оценками, в средней — сигареты, теперь вот — кастет. Его он ещё ни разу не брал с собой, но сейчас подумал, как бы круто он смотрелся в руке, особенно, если скидывать руку вперёд, словно в приветствии.

Он уже спустился в метро, как его вдруг обожгла мысль — никто сейчас не знает, где он, ни один человек, и если что-то случится — его никто не найдёт. Поезд с грохотом вынырнул из тоннеля, остановился и поглотил людей, стоявших на станции. Данил был среди них.

Через сорок минут он вышел из стеклянных дверей на улицу и встал около палатки с пирожками. Неприятно пахло сыростью, дешёвой едой, восточными специями. Кругом было очень шумно: сигналили маршрутки, стояли в нестройном ряду такси, раздавалась ругань — таксисты не могли поделить клиентов, выясняли отношения. Крытые лотки были разбиты прямо на улице.

— Это ты Данил? — к нему подошёл незнакомый парень, казавшийся намного младше. — Я Дима. Есть курить?

Данил поискал по карманам.

— По ходу дома забыл.

— А деньги?

— А тебе продадут? — парню на вид было лет четырнадцать.

Данил нашёл в рюкзаке сто рублей мелочью, и парень скрылся в небольшом магазинчике.

Толстая некрасивая женщина в тёмно-зелёной форменной куртке, поверх которой была накинута шерстяная кофта, продавала газеты на улице. Она сидела на больших коробках, словно на троне, а рядом с ней, на прилавке, были неаккуратно разложены яркие журналы. Продащица ела сосиску в тесте, какие продавали рядом, и пила кофе из маленького пластикового стаканчика. Прямо над её головой висели старые журналы — выцветшие, обёрнутые в пакеты — их можно было купить за полцены.

Данил отвернулся. Димы не было, и он уже решил, что тот его кинул.

— Зажигалка есть? Я не стал брать. Не хватило, — Данил обернулся — парень протягивал ему пачку “Винстона”.

Закурили.

— Что-то стрёмно идти туда. — Данил усмехнулся, чтобы казаться храбрее.

— Первый раз, что ли? Да ладно, всё нормально будет, — Дима похлопал его по плечу. — Главное, если что — беги. Сваливай с главной улицы и петляй между домами. Только в подъезды не прячься. У меня друг как-то забежал, звонил во все двери — никто не открыл. В итоге ему чуть срок не дали.

Перешли улицу молча. Данил прокручивал в голове то, что услышал за эти пять минут. Это было больше, чем за всю его жизнь.

— Нам туда, — Дима показал на толпу посреди дороги.

Вся улица была заполнена людьми. Данил никогда не видел столько. С одной стороны стояли полицейские в форме, берцах и касках, которые Дима назвал “шарами”. Стояли плотным рядом — чёрные и мрачные.

— Это ещё мало! — весело ответил Дима. — Вот если бы на Маяковке было — до самого Кремля бы растянулись.

Ему явно всё это нравилось. Он хотел побыстрее попасть внутрь — к людям, к плакатам, к лозунгам, но нужно было ещё пройти через металлоискатели. Данил открыл рюкзак, полицейский обшарил его, осветил фонариком, достал паспорт, зачем-то пролистал его, бросил обратно на дно рюкзака.

— Подними руку! — велел отрывисто.

Данил послушно поднял. Ощутимо больно ему прошлись по рёбрам и спине.

— Прямо как обыск, — сказал Данил и посмотрел на полицейского.

Тот был очень высокий и большой, как гора. Огромная куртка и тяжёлые ботинки делали его ещё выше и больше. Казалось, ничто не может противостать ему, и Данил с ужасом подумал — вдруг ему придётся убежать от такого, как этот, может быть, даже драться с ним.

Они с Димой встали с краю около заграждения. Люди вокруг молча держали свёрнутые плакаты. Данил поднялся на цыпочки, попытался рассмотреть, что впереди, но видел только спины людей. А люди продолжали приходить. Приходить и приходить. Проходить сквозь кордоны полиции, металлоискатели, молча вставать рядом с другими. Данила уже зажали с одной стороны, и он прижался теснее к заграждению. Дима, точно щенок, вертелся вокруг себя, вставал на мысочки, подпрыгивал. Он хотел вперёд — в самую толпу.

Данил обернулся назад, туда, откуда они только что пришли. Входа уже не было видно — везде чьи-то лица и спины. Ни конца, ни начала толпе. Казалось, двинуться было невозможно ни вперёд, ни назад. Все стояли мрачные, молчаливые, напряжённые. Ни одной улыбки, точно пришли на похороны. И он был среди этих людей. Ему стало страшно. А вдруг его раздавят в этой толпе? Вдруг он не выберется из неё? Стало вдруг трудно дышать, ему захотелось вырваться, подняться над толпой и посмотреть на неё сверху, но это было уже невозможно. Люди прибывали и прижимали его теснее к заграждению.

Там, за заграждением, в ряд стояли полицейские, и была уже другая улица. А здесь — плотная жаркая толпа. Данил попытался сделать шаг в бок, случайно задел полицейского и вздрогнул. Это был человек по другую сторону, и он не внушал уверенности, только страх, потому что сегодня он пришёл сюда защищать не их, а защищать от них ту улицу, которая казалась уже такой далёкой.

— Не бойся, — Дима казался увереннее.

— Я не боюсь, — ответил Данил.

Вдруг над толпой загремела знакомая музыка. Люди немного ожили. Кто-то рядом с Данилом стал подпевать, кто-то качался в такт, словно они все были на концерте, а не на митинге. Толпа зашевелилась — люди стали разворачивать листовки.

Плакаты взмыли вверх, и музыка гремела над улицей и над толпой.

— Перемен! — кричал Дима. — Перемен! Мы ждём перемен!

Люди размахивали в такт флагами. Это были реальные люди. Не люди из новостей или передач. И их было много — улица не вмещала всех.

Один плакат особенно бросался в глаза. Маленький белый лист бумаги, на котором большими чёрными буквами, словно повторяя слова песни, было написано:

“МЫ ХОТИМ ПЕРЕМЕН!”

Плакат тоже качался под музыку.

Вдруг толпа пришла в движение. Словно по команде она двинулась вперёд, и Данил вместе с ней. Люди кричали лозунги: “Мы здесь власть!”, “Посчитайте нас!”.

Данил озирался вокруг в поисках хоть какого-то свободного места — ему было трудно дышать. Но везде стояли, шли, кричали люди.

Вдруг на секунду наступила тишина, словно передышка между перестрелками, когда противники одновременно перезаряжают оружие. Потом кто-то громко крикнул:

— Россия будет свободной!

Этот крик прозвучал так страшно над тишиной огромной толпы, что все поневоле вздрогнули и посмотрели друг на друга. Потом крикнули ещё:

— Россия будет свободной!

Потом ещё. Ещё и ещё. Вся толпа закричала в один голос, в один момент.

— Россия будет свободной! Россия будет свободной!

Застучали в ладоши — три раза под каждое слово — Россия! Будет! Свободной!

Одно слово — один хлопок. “Россия! Будет! Свободной!” — раскатывалось по толпе, точно эхо в горах.

Дима тоже кричал, и Данил стал невольно повторять за ним. Сначала тихо, потом громче и громче. Его страх вдруг прошёл, и ему стало хорошо в этой толпе, среди незнакомых людей. Толпа развернулась, как по неслышному приказу, и пошла к полицейскому заграждению, скандируя. Туда, где стояли металлоискатели, и куда идти было уже нельзя. Данил пошёл вместе с ней.

— Началось! — крикнул восторженно Дима.

— Что началось? — спросил Данил, но ему уже никто не ответил.

Его сердце радостно, но больно забилося — от музыки, от людей, от слов, которые теперь постоянно звучали в его голове, от этого движения, от того, что он был теперь частью этого движения. Он шёл и кричал, пока не упёрся в полицейский кордон. Дальше — спокойная улица и обычная жизнь. Дальше идти так — с криками и плакатами — нельзя. Он резко остановился и в упор посмотрел на людей в чёрной форме.

Полицейские ничего не говорили. Они тупо и устало смотрели на происходящее. Казалось, они сами хотят оказаться по другую сторону города, где ничего этого нет. Там, где тихие дома, мирный свет в окнах, машины ездят, люди ходят, собаки лают. Данил обернулся назад — толпа шла, скандируя: “Россия будет свободной!”

Полицейские напряжённо, но уже привычно, без суеты, начали вставать теснее по периметру заграждения, образуя чёрный квадрат. Данил развернулся и пошёл в сторону кричащей толпы.

— Как в институте? — мама ещё не спала, когда Данил, наконец, добрался до дома.

— Нормально, — соврал он. — Потом ещё в магазин поехал. Короче, долго получилось.

Мама никогда не засыпала, если его не было. Она ждала. Лежала у себя в комнате без света, смотрела на экран телефона.

— Ты ходи. Может, тебя возьмут на бесплатное.

— Да не знаю. Там сложно всё.

— Ну, кому-то же везёт.

— Кому-то везёт, — повторил Данил.

Мама вздохнула.

— Там курочка есть с макаронами. Погреешь?

Мама всегда оставляла еду ему на столе, среди своих лекарств, газет, телепрограмм, которые она тоже оставляет, чтобы не забыть выпить, прочитать, посмотреть. Но всегда забывает. Телепрограмма... Данил раздражённо взял одну.

— Зачем их только печатают. Никто и не покупает уже, — он швырнул в сторону, прямо на пол.

— Нам бесплатно дают, — оправдывается мама.

Но она покупала их и отмечала ручкой, что надо посмотреть, хотя никогда не смотрела. Некогда.

— Тебе погреть? — мама крикнула уже из комнаты.

— Не, я сам.

Значит, будет есть холодное. Мама знает это, но не встаёт. На работу рано. Каждый будний день она ездит в Балашиху. Сначала на метро, потом на электричке, а там на маршрутке. Дорога занимает два часа, а на работу к девяти утра.

— Мам, — Данил постучал в комнату, — ты не спишь?

— Засыпаю. А что? — голос уже сонный.

— Ничего. Просто.

Данил приоткрыл дверь и заглянул. Маленькая комнатка — чуть больше, чем у Данила. Тишина и темнота. Только часы тикают. Около стены — диван с мягкой простыней. Рядом с диваном — стул с горой вещей. Полуоткрытый шкаф со сломанной дверцей, которую надо починить, но всё некогда. Старые картины на стенах, которые мама покупала, когда ещё ходила в музей. Всё это знакомо Данилу, но сейчас он как будто заново это увидел.

— Посмотри, у меня вчера будильник не сработал, — попросила мама. Данил взял мамин телефон, простой, даже без выхода в интернет — их сейчас называют бабушкафоны. Повертел его в руках — экран целый, только кнопочки немного стёрлись. Завёл будильник на шесть утра и отдал обратно.

Потом пошёл в свою комнату. Сел на разложенный диван, который никогда не собирал, и огляделся. Обои, которые он помнит ещё с детства, в коричневый ромбообразный узор, рябили в глазах. Стол с обломанными углами, который вместе с отцом тащили от родственников. Компьютер, который купили, когда отец ещё был жив. Он всегда включён. Мигает сообщение.

“Спокойной ночи”, — от Оли.

“Спокойной ночи”, — машинально пишет он в ответ.

“Завтра увидимся. Целую”, — и много-много смайлов.

Данил долго сидел и смотрел на мигающий экран, а видел тех людей, которые были сегодня на митинге, и слышал лозунги. Хотелось курить, но мама могла почувствовать дым. Лёг, не раздеваясь, и тут же уснул. Потом погас экран на компьютере — и сегодняшний день исчез.

2

Утром Данил всегда встречался с Олей около заброшенного дома, который находился рядом со школой, но немного в стороне, поэтому можно было не бояться, что их кто-то увидит, но при этом не опоздать в школу. Дом был белого цвета, поэтому его так и называли — Белый дом. Он был двухэтажным и таким ветхим, что, казалось, вот-вот развалится. На первом этаже окна были забиты или разбиты, но на втором горел свет, значит, люди там всё-таки жили. По всему корпусу виднелись крупные трещины. Вечерами этот дом наводил ужас, но утром это была обычная развалюха.

— Ты чего так долго? Опоздаем же. — Оля всегда приходила немного раньше Данилы.

Она не любила опаздывать в школу, особенно по понедельникам, когда на первые уроки приходил их классный руководитель.

— Успеем! Пойдём, посидим пять минут! — улыбнулся Данил и обнял девушку.

Во дворе стояла лавочка — крашенная-перекрашенная, но гораздо целее и новее, чем сам дом. Данил полез за сигаретами и машинально достал две пачки. Тут же вспомнил, что вчера одну купил Дима.

— Откуда две? — спросила Оля.

— Вчера купил зачем-то.

— Ты же говорил, что дома будешь.

— Да курить захотел. А сам пачку дома забыл. Не возвращаться же! Пришлось купить.

Данил и сам не знал, почему врал Оле. Почему не рассказал ей, где был? Только чувствовал, что есть вещи, о которых он не мог ей рассказать. И это — одна из них.

Закурил. Теперь пять минут можно было спокойно посидеть, расслабиться и не торопиться. Данил сел на лавочку и положил рядом рюкзак. Оля села ему на колени и обняла его. У неё были красивые длинные светлые волосы, которые она обычно собирала в хвост, открывая высокий лоб. Данил никогда не говорил ей, но ему нравились её волосы: нравилось и то, как они лежат, и то, как от них пахнет, и то, как они слегка касаются его лица. Такого приятного запаха он не чувствовал ни от кого. Запах Оли был особенный, к нему хотелось прикоснуться, и Данил ловил себя на мысли, что он старается каждый раз подойти к ней поближе, чтобы ещё раз почувствовать её запах, вдохнуть его и запомнить.

Данил курил в сторону, чтобы не дымить на Олю, а она прижималась к нему всё сильнее. Была уже половина девятого — время начала уроков, — но идти не хотелось. Хотелось сидеть так весь день.

— Вчера отец приезжал, — сказала Оля и сразу погрузстнела.

— Опять загрузил? — Данил напрягся. Он не любил отца Оли, а тот не любил его.

Он считал, что такой, как Данил, не пара для его дочери, она достойна лучшего, ему никогда не стать успешным и богатым, и он вряд ли сможет дать Оле всё то, к чему она привыкла. В этом Данил был согласен с её отцом — их семьи совершенно разные, — но Оля ему нравилась и уступать её никому он не собирался.

— Про тебя говорил. Спрашивал, вижусь ли я с тобой.

— А ты что?

— А что я? Я сказала, что вижусь в школе. Вообще, это не его дело. Приезжает раз в месяц и хочет всё контролировать.

— Но ты не сказала ему, что это не его дело?

— Как я такое скажу? Нет, конечно!

— Ясно!

Данил докурил, движением пальцев отбросил окурочек подальше от себя и встал. Наступил белыми кроссовками в грязь и выругался.

— Вот блин, теперь не отмоешь! — Он хотел отряхнуть их рукой, но бросил — всё равно так не ототрёшь. — Надоел этот свинарник везде.

— Ты что, не в настроении? — Оля попыталась его обнять. — Из-за отца расстроился? Да брось ты. Мне его мнение неважно.

— Но ты же ему не сказала это?

— Я просто не хочу с ним ссориться! Какой смысл? Его не переделаешь.

— Как он вообще может что-то тебе говорить? Приезжает раз в год!

— Вот поэтому и я не говорю ему ничего. Он в этот раз вообще спросил, куда я поступаю. Он даже не знал, что я только в десятом!

— Ладно, всё нормально. Я не выспался просто. Плевать. Пора идти, — Данил оттолкнул Олю и пошёл вперёд.

— Почему ты всегда так быстро заводишься? Тебе ничего рассказать нельзя! — Оля шла следом. — Я тебе не буду больше ничего говорить.

Данил закурил по дороге ещё одну сигарету.

— Ты что! Увидят же!

— Мне плевать, — процедил он и пошёл быстрее.

Оля еле попевала за ним — она была в узких джинсах, кожаной курточке и в туфлях на высоких каблуках. Данил обычно брал её за руку и шёл, обходя лужи, но сегодня он словно специально наступал в грязь, всё сильнее пачкая свои и без того уже испачканные кроссовки.

На урок они всё-таки опоздали. Классный руководитель уже стоял в дверях.

— Давайте на места, — прикрикнул он.

Оля не попросилась и побежала дальше по коридору — в свой кабинет, — а Данил сел за парту и достал телефон. Тут же открылась ссылка на новости. “Несколько тысяч человек пришли на антиправительственный митинг в Марьино”. Под статьёй фотография — море людей и плакаты.

— Что это? — сосед по парте заглянул через плечо.

— Да фигня всякая. — Данил выключил экран.

Ему не хотелось говорить об этом. Казалось, что никто не поймёт. Он вспомнил вчерашних людей. Они все были разные, с разных концов Москвы, но их всех что-то объединяло. А он сидел здесь, в этом классе, в котором проучился почти одиннадцать лет, как чужой, он никому не мог бы показать это фото в своём телефоне. Он огляделся вокруг. Все были заняты своими делами. Кто-то списывал домашнюю работу, кто-то копался в планшете, кто-то спал.

Прозвенел звонок. Данил встал около своего места, приученный к порядку за столько лет. Все стояли сонно, безразлично глядя перед собой, но ровно, как привыкли. Вдруг он заметил прямо перед глазами, над доской, портрет президента. Он не замечал его раньше, а сегодня тот как будто смотрел только на него, и Данил не мог отвести взгляд. Президент смотрел так пристально и подозрительно, будто Данил в чём-то провинился.

Первый урок всегда проходил быстро, а на перемене опять зашла Оля. Она села на парту напротив и положила ногу на ногу. Данил невольно любовался ею и заметил, что не он один.

— Пойдём на подоконник? — позвала Оля.

Они всегда там встречались между уроками, но сегодня Данил не хотел никуда идти. Его почему-то раздражало, что все смотрят на Олю и что она не стесняется этого, а, наоборот, показывает всем, какая она красивая.

— Перемена маленькая, — ответил он. — Не успеем.

— Иногда с тобой невозможно общаться. — Оля обиделась, слезла с парты и ушла, стуча каблукками.

Данил опустил голову на руки и закрыл глаза.

Сосед толкнул его в плечо:

— Ты какой-то мутный сегодня.

— Отстань!

Начался второй урок. Все опять встали, и портрет снова появился перед глазами, потом скрылся за чьей-то головой, и всё вокруг опять казалось обычным и сонным.

На большой перемене Оля не вышла. Данил ждал её около школьного музея, в закутке, где обычно они встречались, но её не было. Он ходил взад-вперёд вдоль закрытых дверей музея и ждал. Достал телефон и включил музыку. Заиграла медленная песня — длинный проигрыш на клавишах и знакомый голос.

— Опять свою ерунду слушаешь? — кто-то выдернул наушники.

Музыка резко оборвалась. Прямо перед ним, загораживая проход, стоял высокий одноклассник Оли. Она говорила, что тот предлагал ей встречаться год назад и до сих пор иногда пишет.

— Что надо? — Данил убрал телефон.

— Олю ждёшь? Не пришла?

— Тебе-то что?

— Поругались?

— Не надейся.

Он не уходил, словно хотел что-то сказать. Данил прислонился к двери музея. За тёмными окнами висели старые советские военные плакаты.

— Я хотел спросить про Олю, — начал он.

— Что? — Данил напрягся.

— Ты уверен, что подходишь ей?

— Слушай, отвали, — разозлился Данил.

Он хотел пройти, но тот был выше и крупнее и по-прежнему стоял в проходе. Минуту они смотрели друг на друга, как два быка, встретившиеся на арене.

— Слушай, — сказал опять он, — она тебя всё равно кинет...

— С чего вдруг?

— Ну, сам подумай. У тебя же нет ничего. Думаешь, на что они все ведутся? На бабки. А у тебя их нет.

— Я тебе говорю — отвали. Это вообще не твоё дело. — Данил сжал наушники в кулаке.

— А ты знаешь, что я теперь с её отцом работать буду? Он меня берёт в свой бизнес. Он новый фитнес-клуб открывает, и я буду там управлять всем. Оля тебе говорила?

— И что? — Данил подошёл вплотную к нему и плюнул прямо под ноги. — Думаешь, тебе теперь все должны? Лучше отвали от меня.

— Или что?

Данил посмотрел на него, ничего не ответил и ушёл.

В классе написал Оле смс, но она не ответила. После школы тоже к нему не вышла. И телефон её не отвечал.

3

На следующее утро, когда Данил один, без Оли, которая почему-то опять не пришла, стоял у Белого дома, ему написал Дима:

“Свободен сейчас?” — его ник в “ВКонтакте” был уже таким знакомым.

“А что?” — Данил даже обрадовался, будто они вместе прошли длинный и опасный путь.

“На акцию сходить можно”

Данил замер. Про политические акции он читал, но ещё ни разу не видел их своими глазами. Он знал, что людей на акциях арестовывают, штрафуют, что приходится ругаться с полицией, убежать, а потом фотографии с таких акций мелькают в интернете.

Данил не отвечал, не знал, что делать. Через пятнадцать минут уроки. Он смотрел в ту сторону, откуда должна была прийти Оля, но её не было. Он постоял немного, покурил и написал Диме:

“Где и когда?”

“На Чистых. Через полчаса”.

На Чистых прудах всегда людно. Особенно сейчас, в час пик — люди бегут на работу и ничего не замечают. Дима стоял в центре зала не один — рядом с ним девчонка с яркими красными короткими волосами, стоящими торчком острыми шипами, она что-то писала в телефоне и даже не посмотрела на Данила.

— Нам наверх, — быстро скомандовал Дима.

Когда вышли из метро, он достал сигареты и протянул всем. Закурили молча. Данил косился на девчонку с красными волосами, но та надела капюшон от толстовки, почти полностью скрыв лицо, и по-прежнему не произнесла ни слова. Они пошли по аллее мимо пустых лавочек, небольших прудов. Данил здесь раньше не был, хотя это не так далеко от его дома — всего четыре станции на метро.

Он вообще ещё мало где был. Свой район, конечно, знал. Этот район все называли “неблагополучным” — рядом магазин “Метро”, склады, бывший завод, где работал когда-то давно отец, а теперь — вечная стройка, железнодорожные пути, около которых всё время сидят бомжи. Ничего больше Данил пока и не видел, и сейчас ему не верилось, что всё это происходит с ним, не верилось, что он идёт за Димой и молчаливой девчонкой, скрывающей от всех своё лицо. Куда?

Остановились у незнакомого памятника. Дима достал из спортивной сумки, которую нёс, три белые футболки и стопку листовок. На футболках чёрным цветом была большая надпись — на одной стороне “Я НЕ БОЮСЬ”, на другой — “ГОВОРИТЬ ПРАВДУ”.

— Значит, план такой. Надеваем футболки, берём листовки. Расходимся по разным концам бульвара. Я — к метро. Ты — в другую сторону. Алёна — к тем домам.

“Значит, её зовут Алёна”, — невольно подумал Данил.

— Задача — раздать как можно больше материала. — Продолжал Дима. — Раздал — возвращаешься к памятнику. На всё примерно два часа. Встречаемся здесь. Понятно?

Данил скинул толстовку, надел белую футболку прямо на чёрную водолазку.

— Ничего? — спросил.

— Нормально!

Футболка была немного велика, и из неё торчали длинные рукава, а прямо на груди чёрная надпись — “Я НЕ БОЮСЬ”. Данил разгладил надпись, чтобы была виднее. Алёна сняла кофту и оказалась очень хрупкой девушкой в яркой майке. Она быстро надела футболку, кофту повязала на поясе, профессионально отсчитала себе нужное количество листовок и, не говоря ни слова, пошла к домам, куда указал ей Дима.

— Кто это? — спросил Данил, когда она ушла.

— Девчонка из бессрочного протеста. — Дима махнул рукой.

Толстовки убрали в сумку, и Дима повесил её на плечо.

— Теперь самое главное, — сказал он. — Чтобы ни происходило — друг к другу не подходим. Лозунгов не выкрикиваем. Ни с кем не говорим. На провокации не ведёмся. Если будут заговаривать — отходим на сто метров. Если не отстают — снимаем футболки и возвращаемся. Ментов видим — стоим спокойно. Подойдут — говоришь: “У меня одиночный пикет, согласования не нужно”. Но если будут возбужать — не возражаешь, идёшь с ними, отсиживаешь в обезьяннике два часа, потом валишь домой. Они свя-

зывать с малолетками не будут — попутают только и отпустят. Запомнил?

Дима был очень серьёзен. Казалось, он даже стал взрослее и смелее. Он, наверняка, мог бы пойти и один на этот пикет, а Данил бы на такое ни за что не решился.

— А почему мы не можем пойти вдвоём? — спросил он.

— Потому что пикет одиночный. Двое — уже митинг. А за это — уголовка. Поэтому стоим по одному и не шумим. Всё понятно?

Данил слушал и не верил, что он здесь. Одиночный пикет... Уголовка... Менты... Обезьянник...

— Понял. Не кричать, не говорить, не ходить, по двое не стоять.

— Точно! Сверим время.

Достали телефоны. Было десять часов.

— В двенадцать жду здесь. Давай ещё по одной.

Достали сигареты. На этот раз угощал Данил.

— И ещё, — добавил Дима. — Если заберут — друг друга не выдаём. Никого не знаю, никого не видел, никого не помню. Сообщения мои из “ВК” удали по дороге. Всё, пошли. — Дима бросил окурочек.

Данил неуверенно пошёл к прудам.

— Не бойся, — крикнул ему Дима.

— Я не боюсь.

Это была неправда.

Данил медленно шёл вдоль прудов. Он встал в конце бульвара — и просто стоял, держа в руках листовки, ещё не решаясь начать их раздавать. Ему казалось, что все вокруг смотрят только на него, но люди бежали мимо. Где-то маячили полицейские, но они тоже не обращали на Данила никакого внимания. Он сел на бордюр. Было холодно — начинались октябрьские короткие дни. Данил достал телефон — пришло сообщение от Оли.

“Что делаешь? Почему не в школе? У нас скука. Химичка не уймётся. Достала уже. Ты где?”

“Сегодня не приду. А ты куда вчера пропала?” — написал в ответ.

“Да отец опять грузил вчера. Не могла вырваться. И сегодня до школы вез”.

Значит, они ещё вместе. Данил улыбнулся. Всё вокруг стало немного другим, и уже казалось странным, что он здесь. Как будто это не он, а кто-то другой. Что он здесь делает? Ещё раз посмотрел на листовку, потом на свою футболку. Вспомнил про Диму и Алёну. Набрался храбрости и встал. Нужно было довести дело до конца — он не привык отступать на полпути. Вытянул руку с листовкой.

Люди иногда оборачивались, что-то говорили друг другу, но шли дальше. Данил боялся сделать шаг и превратить свой одиночный пикет в шествие. Он продолжал стоять на одном месте и тут же замёрз без движения, но от страха не чувствовал ничего. Он ощущал себя революционером, о которых им рассказывали на уроках истории, и одновременно государственным преступником.

Какой-то парень, немногим старше Данила, подошёл к нему вплотную, так, что Данил вздрогнул. Дима чётко сказал — не говорить и не стоять по двое. А может этот парень — провокатор? Он читал про них. И как только Данил сдвинется с места и откроет рот — он тут же позовёт полицию. Данил сделал полшага назад и протянул ему листовку. Парень взял её машинально, безучастно посмотрел и сунул в задний карман джинсов.

Одна листовка была роздана. Осталось около ста. Людей прибавлялось — Москва спешила по делам — и листовки стали расходиться. По домам, офисам, школам. Кто-то фотографировал на телефон.

“Всё, я попал”, — подумал Данил.

Но было уже всё равно. Он стал ощущать себя частью чего-то большого и важного. Он стоял сейчас один против целой системы. Через два часа зубы стучали от холода, а руки онемели. Осталось листовок двадцать. Данил убрал их в карман и пошёл к памятнику.

— Ну как? — Дима был уже там.

— Замёрз ужасно. Вот осталось. — Он протянул листовки.

— Оставь себе.

— А ты как?

— Я раньше пришёл. Один докапывался — пришлось уйти к “Макдаку”. Но там даже народа больше. А ты чо футболку не снял? Я же говорил. Данил деревянными пальцами стащил футболку и надел толстовку.

— А что это за памятник? — спросил он, заикаясь от холода.

Дима посмотрел на памятник, около которого они передевались.

— Да поэт какой-то. То ли киргиз, то ли казах.

Данил посмотрел на этого поэта. Прочитал на памятнике:

“Абай Кунанбаев. Казахский поэт и мыслитель”.

— Это же здесь сидячая забастовка была, — вспомнил Данил, — я совсем мелкий был. Тут лагерь разбили. Сразу после Болотной. Он ещё как-то так назывался... “Оккупай”, кажется!

— Ага! Я помню что-то смутно. Там ещё пересажали всех.

— Точно! Мне отец показывал в новостях.

— Мой вообще помешан был. Ехать хотел — бабушка тормознула.

Поэт сидел на высоком камне. Глаза закрыты. Одну руку он положил на книгу, другая просто опущена вниз. Сидел, словно задумавшись о чём-то, не обращая ни на кого внимания.

— А где Алёна? — спросил вдруг Данил.

— Она уже уехала. Понравилась, что ли? — Дима усмехнулся. — Забудь. Её интересует протест.

— У меня уже есть девушка, — сказал, зачем-то оправдываясь, Данил.

— Пойдём в “Макдак”. Есть охота.

В “Макдональдсе” немного согрелись. Взяли привычный набор: гамбургеры, “кока-колу”, картошку. Нашли пустой столик у окна.

Данил смотрел на людей — никто не изменился. Они и сами сидели в “Макдональдсе”, ели, как будто не стояли только что в одиночном пикете.

— В ноябре готовится большой митинг, — сказал Дима. — В центре. Пойдём?

Данил задумался. Он смотрел в окно — какой-то оборванный грязный мужик кланчил у прохожих еду. Все проходили мимо и не обращали на него никакого внимания. Привычная картина — бомж у “Макдональда” — не вызывала даже отвращения. Он был ещё нестарый, не инвалид, но протягивал руку и грубым голосом кричал:

— Я есть хочу! Не надо денег, дайте поесть!

— Ты давно в пабlike? — спросил Данил, чтобы отвлечься.

— Около года. А ты?

— Только пару месяцев. — Данил почему-то улыбнулся. — А ты... Ты почему этим... — он не мог подобрать слова, — занимаешься?

Дима недоверчиво сощурил глаза.

— Как и все, — ответил он, — а ты точно не провокатор? А то все бояться.

Данил задумался. Действительно, он мог быть кем угодно. Но и Дима тоже.

— Я не провокатор, — сказал он, — а вообще пока в этом не особо разбираюсь.

— А что тут разбираться? Это же бессрочка — то есть ты просто выходишь на акции, когда хочешь, ни перед кем не отчитываешься. Или подваливаешь к кому-нибудь в тусу. Мне кажется — круто. Можно по всей Москве шататься. Это тебе не какая-нибудь Болотная, где старичьё одно было. Это вообще другое!

— А ты знаешь про Болотную? — прошептал Данил. Он не хотел шептать, он хотел сказать открыто и громко, но получилось только прошептать.

— А что про неё знать? Ну, вышли, ну, разогнали всех. И что? Бата говорил — то же самое в 93-м году было, когда он только из армии вернулся. Он рассказывал: пришёл, а тут танки по центру ходят, прикинь? Стреляют все. Там вообще такой махач был! Батя думал — назад, в армию, мотать. Короче, фигня эта Болотная. У бати там чуть друганы не сели. Он их из ментовки вытаскивал.

— А твой отец тоже там был?
— Не, он не может. Он только в инете смотрит.
Дима отвернулся. Наверное, не хотелось говорить лишнего. Но сказал:
— Он сидел.
— За что? — почему-то спросил Данил. — За это?
— Да нет! — Дима махнул рукой. — По молодости. Баба одна наката-ла на него. Дали восьмёрку. Вернулся, когда я был в пятом классе. Я с бабушкой жил.
— А он работает сейчас?
— Работает, когда не колдырит. Но на нормальную работу его всё равно не берут.
— И как же вы живёте?
— Бабушка на пенсии. Я в шиномонтаже подрабатываю. После девятого в строительный колледж пойду. Там стипендию платить будут. А вообще думаю свой шиномонтаж открыть. Я в этом нормально так секу.
Данил вспомнил все эти разговоры дома и в школе — куда поступать после одиннадцатого, что делать, где учиться, как сдать экзамены — и поморщился. Осталось меньше года, а он ещё не знал, куда ему идти.
— Всё-таки, интересно, как там было? — спросил Данил.
— Где?
— На Болотной...
Данил произносил это слово вполголоса.
— Да что ты с этой Болотной! Ты думаешь, там было главное? — Дима даже как будто усмехнулся. — Всё начинается здесь и сейчас!
Данил посмотрел в окно. За окном шли люди, которым можно было раздать оставшиеся листовки, а под столом лежала сумка с футболками. Данил задевал её ногами.
— Что начинается? — спросил он.
Дима не ответил. Бомж всё не унимался. Он теперь сидел на асфальте, повторяя одно и то же. Гамбургер уже не хотелось. Данил решил было отдать его бомжу, но передумал — перед Димой неудобно.
— А твоя мама где? — спросил Данил.
— Долгая история! Пойдёшь со мной в колледж?
— Не знаю. Я не решил ещё. Может, в институт пойду.
— Зачем? Отец у меня учился в институте — и что? Он говорил, что таким на зоне было даже хуже.
Данил опять отвернулся. Он представил себе, как живёт после тюрьмы отец Димы. Как встаёт утром, наливает себе выпить, варит сосиски или пельмени, а потом целый день сидит перед телевизором и переключает каналы. Или читает в интернете новости.
— Вообще, я свой блог веду, — сказал Дима. — Только ещё над названием думаю. Чтобы звучало и запоминалось. Чтобы круто было. У меня есть пацаны в интернете, кто со мной. Во всех городах поднимемся. Расшатаем систему. Я тебе кину ссылку — посмотришь. Я там очень круто всё пишу. Надо только засветиться где-нибудь. Не на пикетах — это вообще фигня, а на чём-нибудь реальном. Может, вломиться в музей какой-нибудь? Или файер зажечь где-нибудь? Что думаешь?
— Не знаю. Не боишься? — Данил пожал плечами.
— Да что они нам сделают? Пока восемнадцати нет — ничего не могут. Вообще, если что — приезжай ко мне в шиномонтаж. Я тебе адрес скину. Там Тимур всем заправляет. У него и подбатрачить можно.
В метро Дима пожал Даниле руку. Это значило — друзья.
Дома Данил вспомнил, что у него остались листовки. Он убрал их в ящик своего стола под фотографию отца.

О своём отце Данил с мамой не говорил с тех пор, как тот умер. Они вместе, не стовариваясь, молчали, словно решили забыть о нём и никогда больше не вспоминать. Будто его никогда и не было. Хотя Данил знал, что мама тайком от него ездит на кладбище, где похоронен отец, а сам Данил тайком от

мамы спрятал в ящик стола фотографию отца и иногда достаёт её и смотрит на того человека, на кого, как сказала однажды мама, он сильно похож.

— Иногда так больше не говори! — крикнул тогда Данил. — Он бросил нас. И я не хочу быть таким, как он.

Своего отца Данил знал не очень хорошо. Тот много работал — делал ремонты, строил загородные дома далеко от Москвы и приезжал домой обычно в начале декабря, когда заканчивался сезон, а уезжал обратно на объект уже в конце марта, когда сходил снег. Получалось, что дома он жил всего четыре месяца — и за эти четыре месяца нужно было привыкнуть к отцу, полюбить его и научиться ему доверять. Это получалось не всегда, но каждый раз, когда отец уезжал, Данил смотрел в окно и не знал, хочет ли он, чтобы тот вернулся, или нет.

Про работу отец никогда не рассказывал, не брал сына с собой, даже летом, и не говорил точно, куда едет.

— Под Воскресенском. Тебе это о чём-то скажет? — грубо отвечал он матери.

— Хоть адрес оставь. Мало ли что.

— Тебе сообщат, если что.

Отец работал один. У него были напарники, но никто не выдерживал его тяжёлого характера. Он был угрюмый, всё делал молчком, и в свои проблемы никого не посвящал. А проблемы были.

Однажды отец приехал домой без денег. Мама всё спрашивала, а отец молчал — Данил подслушивал их разговоры. Неделю отец ходил мрачный и злой, потом уехал, а вернулся через несколько дней уже с деньгами. Бросил их на стол:

— Триста. Больше не будет.

— Полгода работал, и только триста тысяч? — мать не поверила. Отец обычно привозил в два раза больше. — А на что мы жить полгода будем?

Отец молчал, а вечером Данил увидел у него на макушке кровь.

— У тебя голова пробита, — сказал он, — надо к врачу.

— Ерунда, — отец махнул рукой, — кровь вытекла, значит, ничего не будет.

— Тебе что, не заплатили?

Но отец, как всегда, не ответил. Хотя и так было понятно.

Тогда-то он впервые запил. Пил он не по-чёрному, не на улице, не так, как другие отцы, а дома — тихо, спокойно. Но много. Целый месяц Данил выносил пустые бутылки и приносил новые.

— Что, пьёт? — спрашивали соседи. — Сильно?

— Да так, — Данил пожимал плечами и кивал на бутылки.

Отец никого никогда не слушал, и никто не мог ему перечить и не смог бы остановить, кроме Данила. Поэтому в начале января сразу после Нового года, Данил начинал уговаривать отца поехать к врачу. Наркологический диспансер находился рядом с домом, на Сущёвском валу, и надо было пройти всего полтора километра, но идти отец уже не мог.

— Да я сам остановлюсь, — говорил он, — дай мне ещё недельку.

— Нет, нельзя неделю. Надо сейчас. Пойдём.

— Сейчас... — отец пытался одеться. — А как мы пойдём?

— Тут недалеко, дойдём.

— Нет, я не пойду. Я не дойду.

— Давай на маршрутке.

Данил говорил с ним, как с ребёнком — тихо, точно уговаривал. Но отец упрямый. Если не хочет — ни за что не будет делать. Но и Данил упрямый.

— Ну, пап, — не отставал он, — пойдём.

Отец оделся. Он теперь сидел на кровати — худой, осунувшийся, в новой, но уже грязной белой куртке на молнии. Опустил голову, сжав виски руками.

— Голова болит, — сказал он тихо. — Дай покурить сначала. Принеси.

Данил поискал сигареты в сумке отца, сходил в ванную, где обычно он курил.

— Нет нигде, — крикнул.

— Посмотри в куртке, в кармане, не могу сам.

Данил подошёл к отцу. От него пахло перегаром и одеколоном — отец с утра безуспешно пытался побриться. Залез в карман его куртки, достал пачку сигарет.

— Зажги, — попросил отец.

Руки у него дрожали. Данил зажёл сигарету, сам раскурил. Дал отцу. Отец задымил. Пепел упал на пол. Данил побежал за пепельницей. Отец, весь красный, сидел и курил. Вены на висках вздулись — вот-вот лопнут.

— Плохо мне что-то, — сказал и хотел лечь на кровать.

Данил быстро заговорил:

— Вот и пойдём. Там лучше станет.

Через час он согласился. Было скользко, и они шли с трудом. Отец держался на ногах еле-еле и через триста метров упал.

— Нет, я не могу.

Данил попытался его поднять.

— Давай до метро дойдём, а там маршрутка есть.

Они прошли ещё триста метров до метро. На остановке полно народу — продолжались новогодние праздники. Пошёл снег, и Данил надел на отца шапку. Он боялся одного — встретить кого-нибудь из школы. А потом ему вдруг стало всё равно. Это его отец. Какой бы он сейчас ни был, но это его отец.

— Пап, — сказал Данил, — не пей больше.

Он держал отца за плечи, чтобы тот опять не упал.

— Кругом только сволочи, Дань. Платить не хотят, а сами воруют вагонами. Мы к одному приехали, а у него зоопарк в доме, представляешь? Настоящий зоопарк! Одна спальня — триста квадратов! Вот откуда? Обычный чиновник, не крупный даже. Так — мелочь, монета разменная. А он сто тысяч зажал. Для него сто тысяч — это один раз в кабак сходить. А нам жить два месяца. А он зажал, гнида! Платить не захотел. А ведь ничего ты ему не сделаешь. Ничего! Разве только закопать где-нибудь! А, — отец махнул рукой. — Мне уже всё равно! Тебе жить!

— Пусть сволочь, гнида, а ты не пей.

— Мутно мне, Дань. Мутит что-то.

На обратном пути было хуже.

— Он должен заснуть минут через тридцать. Надо его к этому времени уложить, — сказала врач.

Она, привычная ко всему и ничему не сочувствующая и не удивляющаяся, вколола что-то отцу, дала таблетки, завернутые в бумажку, и что-то писала в карточке. Данил следил, как она быстро и непонятно пишет.

— А мать где? — спросила она, не отрываясь.

— Работает, — ответил Данил.

— Довезёшь сам или в больницу оформить?

— Довезу.

Отец сидел, бессмысленно смотрел в одну точку.

В маршрутке он стал засыпать. Данил сел с ним на переднее сиденье около водителя. Отец бормотал какую-то ерунду — вспоминал друзей, которых уже нет на свете.

— Вот Вовка хороший мужик. Много чего у нас было, но мы выжили.

Дядя Володя, как называл его Данил, давно уже умер — в сорок лет от воспаления лёгких. Он тоже пил, но лечиться не хотел.

— Ты знаешь Володьку? — спросил отец громко.

— Знаю.

— Так позвони ему, на, — отец стал искать мобильный по карманам, — скажи, я сейчас приеду.

Телефон не находился. Отец вывернул карманы — из них посыпалась мелочь, какие-то бумаги, номера телефонов. Отец всегда записывал всё на листках — телефон он часто терял.

— Где мой телефон? Ты взял? — крикнул водителю.

Водитель молчал и не реагировал, тоже, как и врач в диспансере, привыкший ко всему. Потом отец резко отключился, как будто ему дали по голове. Вся маршрутка это видела.

Водитель остановил около метро.

— Пап, вставай, мы ещё не дома, — будил его Данил.

— Мне сказали: спать, — бормотал отец, — чего тебе надо? Кто это? — он как будто не понимал, где находится. — А?

Маршрутка стояла дольше обычного, пока Данил с водителем выгружали отца из салона. Никто из людей не возмутился — для рабочего района картина привычная.

— Пусть мать фенозепам купит, — сказал водитель. — Неделю проспится, будет как огурчик. — Он, молодой уже, небритый, худой — одни кости, — видимо, сам был запойный. Устроился работать на машину, чтобы хоть как-то просохнуть. — Пусть лежит, не ест, не встаёт. Пить давай только воду. Будет просить пиво — не давай. Перетерпит. Если сердце крепкое — не помрёт.

Данил кивнул.

Так он и пролежал. А через неделю:

— Дань, жрать охота. Сделай, а?

Данил сварил пельмени. Отец вышел на кухню, съел, потом долго сидел в ванной — отмокал, брился. А вышел уже другим человеком. Только небольшие порезы на подбородке говорили о ещё слабых руках. И мутный взгляд не скоро прояснился окончательно.

Именно сейчас, в конце октября, когда начинает немного подмерзать, Данил вспоминал всё это.

С конца октября он ждал отца. Когда был маленький:

— Мам, а папа сегодня придет?

— Не знаю, пока не звонил.

Постарше:

— Когда будет?

— Кто ж его знает! Не докладывал!

И совсем недавно, в последний приезд:

— Мам, отец мне звонил. Сказал, заскочит. Я останусь дома, не пойду в школу?

— Ну, жди, оставайся.

В октябре у отца день рождения — сорок пять лет.

Данил со злостью задвинул ящик стола.

В школьной раздевалке душно и грязно. Она решётками отделена от коридора, и у Данила всегда создавалось ощущение, будто находишься в тюрьме. Все толкаются, смеются, ругаются, выясняют отношения. Потом жизнь здесь затихнет на время уроков, чтобы после опять продолжиться.

Данил стоял с Олей, загордившись развешанными чужими куртками, от которых неприятно пахло.

— Извини, что утром не получается пересечься. Отец возит теперь до школы. Ему пока делать нечего. Сказал, что через две недели уедет. Мать сама не рада, но не выгонишь же его.

— Он тебя достаёт?

— Ты же знаешь — он хочет всё контролировать.

— А я ему в этом мешаю.

— Ну, при чём здесь ты?

— Потому что, если бы не со мной была, а с каким-нибудь богатым жлобом — его бы всё устроило.

— Перестань! Он не такой. Просто хочет показать, какой он хороший отец. Он же не жил с нами никогда — ушёл, когда мне три года было. Вот и навёрстывает упущенное.

— Ладно! В воскресенье удастся вырваться? — Данил обнял Олю и погладил её волосы — мягкие, длинные.

— Мы же договорились. — Оля покраснела и отвернулась.

Уже давно они договорились побывать вдвоём так, чтобы не торопиться, и чтобы никто не мешал. Но всё никак не получалось. То Олина мама возьмёт отпуск и сидит дома, то её отец неожиданно придет, то ещё что-то произойдёт. Данил понимал — куда проще, если бы у него была свободная квартира, но Оля могла только по выходным, а по выходным у него дома мама.

Да и вообще — приводить девушку, которая привыкла к самому лучшему, в свою маленькую затхлую квартирку... Оля ещё ни разу не была у него дома, и он с трудом её представлял на своём раскладном узком диване.

— Только где мы встретимся? У меня отец будет дома. У тебя?

— У меня же мама. Но я что-нибудь придумаю. Поспрашиваю у друзей. Может, у кого-нибудь родители свалят на дачу.

На самом деле Данил не знал, где найти свободную квартиру. В классе он никому не доверял, а больше спросить не у кого. Он решил завтра съездить к Диме в шиномонтаж и узнать у него — наверняка, он мог бы помочь.

Данил с Олей стояли молча, обнявшись. Так можно постоять ещё минут пять, потом прозвенит первый звонок, и все разбегутся по классам. Он проводил Олю до её кабинета. Она поцеловала его и скрылась.

После уроков Данил поехал к Диме. Его шиномонтаж находился недалеко от Щёлковской, на окраине, около железнодорожных путей.

Похожее место было и у них, на Марьиной роще. Часто оттуда слышался лай собак и ругань людей. Все — и люди, и звери — выясняли отношения именно там. Шум поездов заглушал всё — и можно устраивать драки и не бояться, что кто-то увидит или услышит. Отец рассказывал Данилу, как в 90-е годы здесь собирались компании и делили территорию района. Как отец Оли тогда силой забрал себе одну из качалок, принадлежавших кому-то другому. Именно из этой качалки потом вырос весь бизнес Олиного отца — несколько фитнес-клубов. Данил, когда бывал там, с опаской смотрел на холм перед железнодорожной линией, где можно зарыть всё что угодно и кого угодно.

Дима вышел весь в масле, в грязной тёмно-синей форме.

— Пойдём покурим, — предложил он.

Данил смотрел на железнодорожный ров — большая лохматая собака медленно переходила пути, озираясь по сторонам. Она, видимо, тоже чего-то боялась.

— И давно ты здесь? — спросил Данил.

— Год.

— А тебя устраивает вот так?

— Как — так? — не понял Дима.

— Ну, вот так. Целый день работаешь. Не учишься толком.

Дима отвернулся.

— Меня мать родила в семнадцать, а через три года отдала бабушке. Так что вариантов у меня не так чтобы много.

— Извини. Не знал.

— Ой, да ладно! Подумаешь! Я её уже давно не видел. Она потом снова замуж вышла, родила ещё одного ребёнка — не знаю, кого, пацана или девку. Я её видел с коляской. Хотел в коляску камней накидать, но передумал. Этот-то мелкий не виноват ни в чём.

— А она тебя что, не замечала?

— Нет, наверное. Я как-то проследил за ней, по пятам шёл, дошёл до подъезда, но она не обернулась. Я подождал, а потом вышел её мужик новый. Я хотел уйти, но напоследок взял камень и кинул вслед этому мужику. Попал в спину — там такой верзила, легко было попасть. Он побежал за мной, но не догнал. Я свой район знаю лучше всех. Потом отец из тюрьмы вернулся, нормально жить стали. Семья типа. Я, бабушка и он. Но на него иногда находит — квасить начинает, работу бросает. А мне что делать? Бабушка сказала — устраивайся. А куда я здесь ещё устроюсь? Малолетку никто не берёт. Вот Тимур взял — спасибо ему!

Данил заметил, что Дима называл бабушку только бабушка. Не бабка.

— Ладно, хватит тут сопли пускать. Пошли! — велел он.

Докурили. Выбросили окурки. Пошли в каморку Димы. Данил осмотрелся вокруг — разбросанные шины, покрышки, мусор. Руки у Димы были масляные. Он казался здесь намного старше. Данил не мог поверить, что этот почти взрослый мужик в рабочем комбинезоне младше его.

Кроме него, в шиномонтаже работал ещё один парень, лет двадцати, нерусский, в таком же комбинезоне. Тоже грязный и весь в масле.

— Это Бахрам, — сказал Дима, — Боря, короче, по-нашему.

Данил протянул руку и поздоровался. Прошли в комнату. Там на дырявом диване сидели девчонки.

— Садись. Не обращай на них внимания. — Дима скинул с дивана какие-то коробки — освободил место.

Девчонки подвинулись. Данил плюхнулся как-то неуклюже, и девчонки засмеялись. Дима их не представлял. Было неловко сидеть с этими девчонками рядом — места мало, и они прижимались к нему вплотную. От них пахло дешёвыми коктейлями и вишнёвыми электронными сигаретами.

Ещё в этой комнатухе стоял стол и небольшой холодильник “ЗИЛ”. Видимо, очень старый, но, судя по тому, что иногда он неожиданно вздрагивал и начинал жужжать — работал. На столе — бутылки пива, а пустые лежали под столом. На пластиковых тарелках — колбаса, скорее всего, девчонки принесли.

— Будешь? — Дима заметил взгляд Данила.

— Нет. Я вообще-то по делу.

Дима сделал знак девчонкам, и они, всё так же смеясь, быстро выскочили из каморки.

— Я хотел узнать, у тебя нет какой-нибудь квартиры свободной на воскресенье?

— Зачем тебе?

— Мне надо с девушкой зависнуть.

— С нормальной?

— С нормальной.

— Тогда нет. Есть халупы всякие, но туда нормальную не поведёшь. Только сосок всяких. Ты сними на сутки. Мы с пацанами иногда берём за две тысячи.

— Но где же я их возьму? У матери не хочу брать, да у неё и нет лишних.

— Одолжи у Тимура. Потом отработает или отдашь. Только его сейчас нет. Он завтра будет.

— А он точно даст?

— Да точно! Ты, главное, отдай. А то он, знаешь, не прощает, в общем. У меня к тебе тоже дело.

Дима отодвинул диван — за ним в коробке лежало несколько запечатанных пачек с листовками. Он взял одну пачку и протянул Данилу.

— Надо расклеить по району. Сможешь за неделю?

— Постараюсь.

— Только фотку сделай. Мне для блога. Лицо своё можешь не фоткать. Чисто так — рука и листовка.

Девчонки, смеясь, заглянули в комнату.

— Ты что, друг Тимура? — спросила одна из них.

— Нет, — сказал Данил.

— Зря, он крутой.

Они опять отчего-то засмеялись и начинали уже раздражать.

— Подъезжай в субботу на Сретенку. К двенадцати часам. Покажу тебе место одно, — сказал Дима.

— Не знаю пока. Подумаю.

— Алёна будет, — добавил он зачем-то.

— Ладно, — махнул рукой Данил, попрощался и вышел.

Бахрам, или Боря, курил в мастерской.

— Много здесь работы? — спросил Данил.

— Я пятый год здесь, — сказал Бахрам. — Сначала мало было, потом вот какую фирму сделали. Приходи — ещё больше сделаем.

— А откуда приехал? — спросил Данил, хотя его это не особо интересовало.

— Из Термеза.

— Это какая страна?

— Узбекистан. Город такой там. Хороший город.

— А русские есть там?

— Есть! Как — нет! Есть русские. Русский знаю. Потому и уехал. Кто русский не знает — как тут уедешь? Все учат.

— А там нет шиномонтажа?

Данил почему-то разозлился. На него, на Диму, на Тимура этого, которого ни разу не видел, на смеющихся девчонок.

— Есть. — Бахрам не обиделся. — Но платят мало. Сто долларов в месяц. Здесь — больше. У нас там как живут — есть свой дом, баран, его режут — и живут. Нет своего дома — нельзя жить. Вот и уезжаем.

— А у тебя нет дома?

— Нет. Накоплю денег — тогда уеду обратно, куплю. Бараны будут, жена, уже не пропадёшь. Вот так у нас.

— А жену здесь найдёшь?

— Нет. Как — здесь? Жену отец найдёт. У нас не гуляют. Отец нашёл — ты женился.

— А если не понравится?

— Ну как — не понравится. Отцу понравится — и мне понравится.

Данил смотрел на него. Работает. Дом купит. Жену найдёт.

Из комнаты донеслись голоса и смех. Данилу захотелось вдруг вернуться туда, посидеть с Димой, с девчонками. Забыть обо всём — о квартире, о школе, об Оле. Быть таким же, как они. Пойти в строительный колледж, устроиться в шиномонтаж и жить обычной жизнью. Но потом Данил вспомнил тех людей на митинге. И почему-то при мысли об этих людях, об этом митинге сердце Данила опять сжалось. Там они боролись за другую жизнь, и ему казалось, что он среди них на своём месте.

Данил зачем-то перешёл через линию, долго блуждал по другой части района и только к вечеру вернулся домой, опять соврав маме, что был в институте.

5

В субботу чуть не проспал. Встал поздно, зачем-то накричал на мать, потому что она не догадалась его разбудить, толком не поел и злой поехал на Сретенский бульвар. По дороге даже не слушал музыку и не курил — не было настроения. Только в метро машинально листал новости в “ВКонтакте”, и перед ним мелькали уже знакомые картинки из паблика. Обыски, аресты, акции... Кто-то ворвался с файером в зал суда, каких-то активистов задержали, и они просят помощи. Люди с заклеенными ртами и шариками шли на молчаливое шествие. Лозунги, которые Данил уже знал наизусть, — “Протест бессрочен”, “Интернет — последняя наша свобода”, “Долой мусорную мафию”.

На станции в центре зала уже ждали Дима и Алёна. Она на этот раз весёлая, улыбалась, в длинном пышном платье и в ярко-зелёной толстовке, поэтому и волосы её казались ещё ярче. Только вместо туфель — тяжёлые ботинки.

Данил смотрел на неё и не мог понять — нравится она ему или нет. Ему казалось, он любит Олю. Он ждал её утром, провожал после школы, писал каждый вечер сообщения, не мог заснуть без смайлика от неё, скучал и злился, когда приезжал её отец. Конечно, он её любил. И одновременно боялся того дня, когда останется где-то наедине с нею. А Алёна была совсем другой. Почему-то её он мог представить даже в своей неубранной комнате, хотя видел её второй раз в жизни.

Они поднялись по эскалатору, прошли по длинному переходу, где в палатках продавали всякую мелочь — сумки, часы, телефоны, иконы, одежду, ремни. Перестушили через нескольких бомжей, растянувшихся посреди перехода, и вышли на улицу.

Данил невольно смотрел на Алёну и восхищался. Такая хрупкая, тоненькая и решительная. Сам Данил постоянно во всём сомневался, а Алёна, ему казалось, ни секунды не колеблется. Они шли мимо кафе, магазинов, ресторанов, домов с дорогими квартирами, и Данил себя чувствовал неуютно в этой части города, которой не принадлежал. Зашли в арку и прошли

внутри двора. Там, в подвале обычного жилого дома, находилось еле приметное антикафе. Снаружи только небольшая вывеска: “РесПаблик”.

— А зомбировать не будут? — спросила Алёна. — Мне хватает зомбо-ящика дома.

Данил впервые услышал её голос. Тихий, как он и думал, но твёрдый и решительный. Да, такие девушки и под страхом смерти не отступают от своих идей. Он именно так себе представлял женщин на войне, погибших в страшных муках, но не сломленных. Как Зоя Космодемьянская, о которой им рассказывали в школьном музее. Вот так она и выглядела бы сейчас — в платье, в тяжёлых ботинках, с красными волосами и тихим голосом.

— Не будет, — сказал Дима. — У меня вообще свой блог. Данил со мной, — Дима кивнул в сторону Данила. Тот улыбнулся.

Алёна внимательно посмотрела на них и ничего больше не сказала.

Конечно, Данил не так представлял себе штаб протестного движения. Он думал, что тот должен быть скрыт от посторонних глаз, находиться где-нибудь в подвале, закрытый на несколько внушительных замков, где-то на задворках Москвы, в спальном районе, чтобы никто о нём не догадался. Но этот штаб расположился чуть ли в центре города, на первом этаже обычного дома. Внутри — несколько комнат, что-то вроде прихожей и даже небольшая кухня, где можно налить себе чай или кофе. Они прошли в одну из комнат и сели у двери. Много людей, в основном, молодёжь: школьники и студенты. В центре комнаты оборудовано некое подобие сцены, и все сидели вокруг неё. Данил и Алёна сели рядом и невольно касались друг друга. Дима их представил.

— Давно в протесте? — спросил один из парней в чёрной футболке с красной буквой “А” посередине.

— Не очень, — сказал Данил, — пару месяцев назад увлёкся.

— А что сподвигло?

— Сложно сказать, — Данил пожал плечами, — всё вместе. Накипело как-то. Ещё я Болотную помню, правда смутно, но вроде там круто было.

— Учишься в институте?

— В школе ещё. В одиннадцатом.

— Меня Сергей зовут, — протянул руку парень в футболке. — Я здесь типа главный. А вообще мы ничем противозаконным не занимаемся. Общаемся, поём песни, стихи читаем. Пишешь что-нибудь?

— Алёна стихи пишет! — ответил Дима вместо него. — Она сегодня почитает! Есть место?

— Не вопрос, — пожал плечами Сергей. — Идите тогда к сцене.

На сцену это не очень было похоже — просто небольшое возвышение. На него поднялась девушка с гитарой и начала петь. Данил не знал эту песню, но многие подпевали. И вокруг опять звучали привычные уже слова — “свобода”, “перемены”, “власть”. Потом стали читать стихи. И в них те же слова. Алёна читала свои и спела пару песен. Одну из них Данил знал и повторил вслед за Алёной:

*— Ярость грызет нутро,
Страх превращает нас в рабов.
Снова война в метро —
Око за око, кровь за кровь.
Разобщены, глухонемы
Дети одной большой страны.
Кто виноват, если не мы?*

Он смотрел на неё — как она перебирает аккорды — и любовался.

Через пару часов люди стали расходиться. Дима остался с Сергеем, и обратил к метро Данил пошёл с Алёной вдвоём. Втайне он был даже рад этому.

— Зайдём в кафе? У меня есть деньги, — предложила она.

Ему сначала стало стыдно, что у него денег — ноль и что девушка его приглашает, но он согласился. Почему-то с Алёной он не чувствовал никаких рамок.

Они зашли в “Старбакс”, взяли один кофе на двоих и пончики. Сели за небольшой столик подалее от стойки.

— Как ты оказалась в этой тусовке? — спросил Данил.

— У меня друг один был на Болотной, и ему дали срок. Недавно вышел. Для него теперь ничего другого, кроме протестов, нет. Он говорит, когда выходишь из тюрьмы, ты другой человек и ничем больше заниматься уже не будешь. Я сначала была в движении из-за него. Организовывала пикеты в поддержку политосуждённых. Мне нравится в протесте. Всё просто и понятно. Есть враги, и есть друзья. Друзья — те, кто с тобой в пикете. И всё.

— А против чего ты протестуешь?

— Я хочу свободы. Чтобы говорить то, что думаешь. Вот я учусь на журфаке уже целый год. И что нам говорят? Об этом писать нельзя, об этом говорить нельзя. И что, я теперь буду рассказывать всем, как здорово мы все живём? Я хочу говорить правду и не бояться. Хочу писать о том, что у нас происходит — про школы, больницы, про политзеков, про зарплаты, про мусор, который хоронят под новостройками, про наглых богачей, про то, как реальные люди живут. Ты знал, например, что в Кировской области люди кожуру от картошки едят? Картошку детям дают, а сами кожуру варят. А нас на курсе учат, что мы должны писать о том, какой урожай собрали в Краснодарском крае. А не о том, за сколько и кому ему продали. У меня бывший парень из Саратова. Так он говорил, что там в деревнях зерно продают за копейки, потому что приезжает один так называемый предприниматель и скупает всё оптом, а потом их же хлеб им продаёт в десять раз дороже. А людям деваться некуда. Они либо так продадут, либо у них всё сгниёт там. И так везде. Вообще, я однажды сделаю классный политический канал, чтобы все знали, что в стране происходит. А ты о чём мечтаешь?

Данил задумался. Все о чём-то мечтали. Дима — вести свой блог, Оля — пойти в институт и жить отдельно от родителей, Алёна — создать канал. А он о чём мечтает?

— Не знаю, — признался Данил.

— А почему в протест пришёл?

— Не знаю. Я просто чувствую, что так жить нельзя. Вот отец, например, вкалывал на богатую гниду, чтобы заработать хоть что-то. А всё равно ничего не заработал — ни квартиры, ни машины нет. Ведь это неправильно?

Алёна не отвечала. Она пила кофе из общего стаканчика и отламывала руками пончик. Волосы, уложенные утром, растрепались и теперь казались длиннее и мягче. Они касались плеча Данила, который тоже склонился над столиком.

По пути к метро он случайно взял Алёну за руку, и она не стала отнимать её. Так и шли рядом. Пока ехали на эскалаторе, Данил включал ей музыку в своём телефоне. Один наушник он взял себе, другой отдал ей, и они стояли очень близко друг к другу. Потом Алёна достала свой телефон и свои наушники. Дала один Данилу. Они уже сели рядом в вагон метро. Но из наушников полилась не музыка, а самые настоящие стихи.

*Ждём с небес перемен — видим петли взамен.
Он придёт, принесёт. Он утешит, спасёт,
Он поймёт, Он простит, ото всех защитит,
По заслугам воздаст да за трёшку продаст.*

— Это твои? — спросил Данил, не вынимая наушник.

— Не, ты что! Я так не умею. Это Янка Дягилева! Классику надо знать!

Они сидели рядом, Данил проехал свою станцию, а Алёна — свою. Они вышли на конечной и ещё долго сидели на лавочке в метро. Данил включал “Люмен” и “ДДТ”, Алёна — “Янку”, “Гражданскую оборону”, “Louna”.

Потом Данил проводил Алёну до Киевской, откуда она поехала к себе в Одинцово. Он ещё долго стоял и смотрел, как она поднимается по длинному эскалатору. Ему почему-то казалось, что он больше её не увидит, и ему хотелось окликнуть её, чтобы она обернулась. Но Алёна надела капюшон от толстовки и не смотрела вниз.

С Олей Данил встречался давно, с начала лета. За это время он привык к ней — привык ходить вместе в школу, пересекаться на переменах около музея или на подоконнике, провожать её потом домой. Ему нравилось, что можно идти с ней рядом, ждать зелёного светофора на двух дорогах, стоять у подъезда, а потом идти обратно, писать по дороге смс. А потом, уже дома: “Я дошёл”.

“Чего так долго?”

“Не, я быстро. Не сразу написал просто”.

“Уже скучаю”.

“И я”.

И смайлы, смайлы. Оля любила присылать смайлы. Улыбающиеся, смеющиеся, иногда со слезками, когда грустила.

“Я сегодня не приду. Заболела что-то”, — и грустная улыбка.

“А когда придёшь?”

“Не знаю”.

“Зайти к тебе?”.

“Родители дома”.

Когда родители дома, особенно отец, Данил не заходил. У Оли хорошая семья. Мама — врач, она работает в поликлинике в центре Москвы. Папа — хоть и не крупный, но вполне успешный бизнесмен. У них большая красивая квартира с модным ремонтом — кухней-столовой, барной стойкой, двумя ванными и огромной лоджией. Данил никогда раньше не видел таких квартир. Сам он жил в районе Марьиной рощи, состоящем из панельных пятиэтажек, одинаковых и холодных, в которых слышно всё, что происходит у соседей, и все друг друга знают. Вокруг школы много таких домов — и почти все ребята были оттуда. Все, кроме Оли.

Может быть, поэтому Данил чувствовал себя неловко, когда приходил к ней. Он никогда не снимал куртку, только ботинки. Проходил на большую кухню, размером с половину его квартиры, пил чай — и старался как можно быстрее вытащить Олю на улицу.

Один раз ему пришлось ужинать с её родителями. Оля хотела познакомиться с ними, чтобы потом спокойно встречаться. Данил очень переживал, оделся как можно приличнее — джинсы длинные, классические, не узкие, без подворотов. Вместо футболки — рубашка, даже ботинки нашёл взамен своих белых кроссовок. Он старался как можно больше молчать, потому что очень боялся, что будут говорить про поступление в институт или про семью. Но об этом не говорили.

Потом уже, через несколько дней Данил спросил у Оли:

— Ну, что твои обо мне думают?

— Ну, так... — Оля ответила не сразу. — Мама нормально. А отец... Ну, ему вообще никто не нравится.

После этого разговора Данил решил, что больше к Оле при родителях не зайдёт.

В час дня Данил встал у подъезда по привычке под козырёк, чтобы его не заметили из окна дома.

“Выходи!” — написал он сообщение.

Оля вышла очень красивая — ярко накрашенная, в коротком бежевом платье, расстёгнутом плащике и сапогах на высоком каблучке. Данил никогда её ещё не видел такой.

— Ты где вчера был? — сразу спросила она. — На сообщения не отвечал.

— Да... долго рассказывать.

— Ты мне совсем ничего не говоришь.

— Сколько у тебя времени? — спросил Данил, чтобы перевести тему.

— Да есть время — не волнуйся. Я отпросилась на целый день. — Оля улыбнулась.

Идти было недалеко. Когда отошли от дома, Данил взял Олю за руку.

— Вообще, нам не обязательно скрывать, что мы встречаемся, — сказала она, — мама нормально к тебе относится.

— Это пока не подвернулся богатенький козёл какой-нибудь, — огрызнулся Данил.

Оля пождала губы, обиделась и помрачнела. Стало жалко её — она сегодня специально для него надела новое тонкое платье, и уже наверняка замёрзла. Он обнял её за плечи.

— Пришли уже, — сказал Данил, указывая на высокий кирпичный дом. — Нам на девятый.

— А откуда эта квартира?

— Друг одолжил. Никто не придёт до завтра. Можно не торопиться.

Данил тут же сам покраснел от своих слов. Он не строил из себя какого-то особенно опытного — и никогда ничего так не боялся, как остаться один на один с девушкой. И не просто с девушкой, а с Олей. Но она, казалось, не обратила внимания на его слова. В лифте прижалась к нему, он её обнял и поцеловал.

Квартира оказалась неплохая — большая однушка с балконом, хорошей кухней. Данил уже видел эту квартиру, когда с утра её оплачивал. Деньги занял у Тимура, как посоветовал ему Дима.

— Отдашь две пятьсот, — сказал Тимур, отсчитывая две тысячи.

— Почему две пятьсот? — не понял Данил.

— Проценты. Или отработаешь пять смен. Как хочешь.

Данил взял деньги. Ему было противно смотреть на толстое лицо Тимура, на его дорогую кожаную куртку и начищенные ботинки, но он заискивающе смотрел.

— Если решишь исчезнуть, достану из-под земли, — усмехнулся Тимур, — так что давай без подстав. И мой тебе совет — на девок больше не занимай. Зарабатывай больше — они сами к тебе поползут.

— Разберусь, — отрезал Данил.

Потом заехал посмотреть и оплатить квартиру.

— Паспорт есть? — спрашивала молодая ещё женщина. Данил почему-то представлял её старухой-процентницей, как из романа, который они в том году обсуждали на литературе, но она оказалась не такой.

— Зачем паспорт? — спросил он.

— У меня такие порядки. Мало ли кто тут снимает.

Данил дал паспорт.

— Нет восемнадцати?

— Будет скоро.

Она стала что-то писать у себя в бумагах.

— Подпиши здесь.

Данил подписал.

— У нас выезд в двенадцать часов следующего дня.

— Хорошо.

— С кем будешь?

— С другом.

Данил положил ей на стол деньги, и она сразу подобрела. Затараторила:

— В ванной есть полотенца, бельё свежее, диван уже разложен, на кухне всё есть. Всё работает.

Данил не стал осматривать — поверил на слово. Взял договор, сложил и убрал в рюкзак, а по дороге выбросил, чтобы Оля не увидела.

Теперь они стояли в этой самой квартире. Сейчас она ему показалась меньше и хуже.

— Странно, — сказала Оля, — такое ощущение, что здесь никто не живёт.

— Друг редко бывает.

— А чего не сдают?

— Не знаю.

Данил включил электрический чайник, достал торт, который купил заранее. Он купил ещё и вино, но не знал, будет ли Оля пить и не обидится ли. Она тихо села на кухне. Данил налил чай, разрезал торт и тоже сел. Оба молчали. Почему-то чувствовали себя как-то неловко, словно только что познакомились.

— А что-нибудь другое есть? — Оля кивнула на чай.

Данил достал вино и налил им в стаканы, потому что не нашёл бокалов. Оля отпила так, будто никогда не пробовала, и поморщилась:

— Кислое.

Данил смотрел на неё. Красивая, высокая, тоненькая. Платье совсем короткое, с рюшечками какими-то. Оля совсем не вписывалась в эту квартиру и в его жизнь.

Чтобы заполнить неловкую паузу, прошли в комнату. Сразу бросился в глаза большой разобранный диван. Данилу стало не по себе. Неужели он будет здесь сейчас с ней, на этом диване — первый раз в своей и в её жизни? Оля села, Данил опустился рядом и обнял её. Она сидела не шелохнувшись.

— Ты чего? — спросил он.

— Не знаю. Как-то странно. Не у меня, не у тебя. А где-то...

— Да ладно! Какая разница? — Данил поцеловал Олю.

Они целовались долго. Он не хотел отпускать её — боялся, что она сейчас встанет и уйдёт. Он крепко прижимал её к себе. Он не знал, что нужно говорить в таких случаях, и поэтому молчал. А Оля молчала по какой-то другой причине — только девочки знают, по какой.

— А потом как мы будем? — спросила вдруг Оля и отстранилась от него. — Нельзя же всё время просить друзей.

Она обвела глазами комнату. Обои кое-где отошли, на потолке видны подтёки, на полу — липкий выцветший линолеум.

— Я что-нибудь придумаю, — ответил Данил сквозь туман в голове.

Всё плыло перед глазами, он уже начал забывать обо всём, перестал думать, чувствуя только её запах, но Оля вдруг прервала его:

— Подожди! Я не хочу здесь.

Данил услышал её слова не сразу. Они как-то постепенно вошли в его сознание.

— Почему? Ты же хотела.

— Не знаю. — Оля одёрнула платье и отсела. — Здесь всё чужое. Не твоё и не моё.

Данил резко встал.

— Ты серьёзно?

— Да. Давай просто посидим.

Но кровь уже стучала в голове, и Данил злился на всё вокруг. Он развернулся, ушёл и хлопнул дверью.

— Да иди ты! Делай, что хочешь! — крикнул он напоследок.

Оля побежала за ним в подъезд. Он остановился у подоконника, развернулся и крикнул резко и жёстко:

— Я не держу! Не нравится — уходи!

Она смотрела на него, не узнавая. Испуганно попятилась назад и заплакала.

— Если хочешь знать, я снял эту квартиру на сутки! Не нравится так?

Оля перестала плакать.

— Правда? Но мы же могли побыть и у тебя!

— Не могли. Ты можешь только в выходные. А в выходные у меня мама за стенкой. Как ты себе это представляешь?

— Но ведь все как-то живут.

— Не знаю, как все. Ты так не будешь.

— Откуда ты знаешь? Ты думаешь, я с людьми из-за квартир встречаюсь?

Оля хотела уйти, но он обнял её и не пустил.

— Ладно. Пойдём посидим, — сказал он уже спокойно, — ещё осталось вино.

Они ещё долго стояли в подъезде, и чужая неудобная квартира ждала их напрасно.

Всю следующую неделю Данил ходил в школу урывками. Опаздывал, сбегал с уроков раньше, отсиживался в столовой или в закутке музея, переписывался с Димой и с Алёной. С Алёной больше. Слушал музыку, которую она ему скидывала, читал её стихи. С Олей виделся только в школе. Отец провозжал её каждый день и забирал.

В конце недели Данил тайком от мамы распаковал пачку листовок, которые дал ему Дима. Данил отсчитал двадцать штук, а остальные спрятал всё

в тот же потайной ящик стола. Он решил дожидаться вечера — темнело уже быстро. В семь часов мамы ещё не было. Он не стал её ждать, взял рюкзак и, точно вор, сбегающий из чужого дома, бесшумно прокрался в подъезд.

На улице было, как ночью, но Данилу казалось — недостаточно темно. Свет фонарей, который, чудилось, преследовал его, шёл по пятам. Фонари светили слишком ярко, их было слишком много, машины ездили слишком шумно и часто. Данил шёл по Сущёвскому валу, и ему казалось, что все люди, встречающиеся на пути, знают, куда он идёт и зачем. Вот-вот кто-то попросит его раскрыть рюкзак, вот-вот какой-нибудь полицейский остановит его для проверки документов.

Он сошёл с оживлённой улицы во дворы, но и там легче не стало. Из каждого окна, из каждого дома на него смотрели, у каждого подъезда сидели люди, из каждой припаркованной машины доносились голоса, и все говорили только о нём. Но время шло, и надо было решаться.

Может, президент и не виноват, но кто-то же должен отвечать за то, что одни с каждой минутой богаче и богаче, а другие пьют, чтобы заглушить обиду на жизнь. Данил включил музыку на телефоне, чтобы всё заглушала, чтобы ничего не слышать, не бояться. Так собраться с силами стало проще. Он остановился у одного из домов, подошёл к самому тёмному неосвещённому подъезду, раскрыл рюкзак. Ещё раз осмотрелся, чтобы никто его не увидел, надел капюшон, достал листовку, клей, намазал густо обратную сторону и приклеил прямо на дверь подъезда. Потом быстро, пока никто не заметил, застегнул рюкзак и почти побежал дальше.

В груди колотилось. Данил остановился, приложил руку — под ладонью, точно птица крыльями, быстро-быстро билось сердце.

Так Данил обошёл несколько домов, то и дело поправляя капюшон, озираясь, останавливаясь, чтобы успокоиться. Когда в рюкзаке стало пусто, он вышел обратно на Сущёвский вал и уже спокойно, без спешки, стараясь не привлекать к себе внимания, пошёл домой.

Мамы ещё не было. Теперь она стала часто задерживаться на работе. В последние два года отец тоже подолгу оставался на объекте. Однажды он приехал домой только январе, а уехал в начале марта.

— Зимой же нет работы, — допытывался Данил. — Кто зимой строит?

Но отец никогда не объяснял свои поступки. Он считал, что, раз уходил, значит, так было нужно. Мама тоже молчала, точно её всё устраивало. Только после смерти отца Данил узнал, что они хотели развестись, но не успели. Данил уже успел убрать рюкзак, когда пришла мама.

— А ты чего так поздно? — Он стоял в дверях ванной, пока мама мыла руки.

— В магазин зашла. А что?

— Ничего. Странно просто.

Мама прошла на кухню. Данил посмотрел на настенный календарь, и вдруг догадался:

— Ты была на кладбище.

— Ну, кто-то же должен ездить, — ответила мама, доставая из холодильника контейнеры с ужином. — Там тоже прибраться надо. Скоро снег выпадет.

— Чего не сказала? Я бы мог поехать. Помочь.

— У тебя свои дела. Тебе в институт надо ездить. Ты лучше учись.

Мама поставила один из контейнеров в микроволновку, и та тихо зажужжала. Данил смотрел, как мама перекладывает тёплую еду в тарелку, отрезает чёрный хлеб, ничего больше не ответил и ушёл к себе в комнату. Они никогда не ужинали вместе.

В начале следующей недели Данила вызвали к директору. Такое случилось, если происходило что-то страшное. Данил ещё ни разу не был в его кабинете. Он стоял неуверенно в дверях и боялся пошевелиться.

— Садись, — тот кивнул на стул напротив себя.

Но Данил остался стоять.

— Догадываешься, зачем я тебя пригласил?

— Наверное, из-за уроков. — Данил пожал плечами.

— Ты расклеивал листовки в нашем районе?

Данил вздрогнул. Этого он не ожидал. Он ходил вечером, в капюшоне, в тёмной куртке. Даже если его видели, не узнали бы. Поэтому Данил решил врать:

— Нет.

— Тебя видели.

— Они ошиблись.

Директор выложил на стол чёрно-белые фотографии.

— Покажи свой рюкзак и кроссовки, — попросил директор.

Данил положил на стол рюкзак — точно такой же, как на фото. И белые кроссовки с толстой подошвой предательски похожи.

— Это не я, — тихо и неуверенно сказал Данил.

— Хватит! — директор хлопнул ладонью по этим фотографиям. — Это распечатки с камер, которые натяканы по всему району. Если будет команда — там быстро определят, из какого дома ты вышел и куда зашёл после. Скажи спасибо, что они попали ко мне, а не куда-то ещё! Был бы ты сейчас в совершенном другом месте!

Данил промолчал. Ему даже стало обидно. Он с таким трудом пытался скрыть своё лицо, избегал встречных прохожих, но забыл про банальные камеры.

— С какой компанией ты связался? — директор подошёл к нему.

— Я был один, — ответил Данил и отодвинулся от директора.

— Да знаю я все ваши игры. Ты не понимаешь — они же сами тебя кинут, как только запахнет жареным. Они же используют таких, как ты.

— Я был один, — повторил Данил.

Директор прошёлся по кабинету.

— Ты понимаешь, что это статья. Что ты теперь под надзором полиции. Что твою мать могут лишить родительских прав, а тебя — отправить в интернат.

Данил невольно рассматривал бумаги на столе. Приказы, заявления. Всё в таком беспорядке, что удивительно — как он вообще работает.

— Что не будет тебе никакого института, никакой работы, — продолжал директор. — Что с таким клеймом ты теперь будешь, в лучшем случае, интернет-заказы развозить. Это если повезёт. Тебе это надо?

Данил слегка покачал головой.

— А что ты тогда потащился туда с этими листовками? И главное, в своём же районе! Это же надо догадаться! Ты понимаешь, что ты всех подставил?

Директор был выше и нависал над ним, словно прокурор, который обвинял его в самых страшных и тяжких преступлениях.

— В общем, так. Фотографии будут лежать у меня в столе. Если ещё раз ты будешь замечен за какой-нибудь расклейкой, если вдруг вздумаешь поехать на какой-нибудь митинг, они тут же отправятся, куда следует. И разговаривать с тобой будут уже не так мягко. Ты меня услышал?

— Маме не звоните.

— Я подумаю. Иди.

Он вышел, мысленно ненавидя и школу, и директора, и эти листовки.

6

Маме всё-таки позвонили. Она пришла раньше обычного, и Данил сразу понял — что-то не так. Такое же ощущение было, когда умер дед — мамин отец. Даниле было тогда десять лет. Мама пришла с работы рано, села на кухню и сказала только одно:

— Дедушка умер.

— В смысле? — спросил Данил.

На его памяти в их семье ещё никто не умирал. Не мог умереть и дед — прошедший войну, доживший до девяноста лет. Это казалось неправильным.

Данил держался, чтобы в гробу не потрясти деда за плечи и не закричать, как кричал ещё ребёнком, когда с мамой приезжал к нему на дачу, где он жил: “Дед, вставай, вставай!”

Но дед лежал — жёлтый и застывший. Такая же застывшая мама сидела около гроба и молчала.

Сейчас мама тоже сидела на кухне и молчала. И даже не включала телевизор.

— Mam, ты чего? — Данил растерялся и даже не снял куртку, прошёл на кухню так.

На столе Данил заметил и листовки, и плакаты, которые прятал в ящике стола.

— Звонили из школы, — сказала она.

Она сидела в темноте. Данил только сейчас заметил, что мама даже не переделалась после работы — так и сидит в юбке и блузке. В руках она мятла кухонное полотенце, которым вытирала глаза. Мама всегда плакала тихо. Сидит, голову чуть наклонит, в руках — платок. А если присмотреться — слёзы. Лицо неподвижно, замерло, никаких эмоций — только слёзы. Словно не от обиды или боли, а от чего-то другого. Бывает, человек плачет — и что-то сразу меняется. Мама плакала — ничего не менялось и не могло поменяться. Это были какие-то бессильные слёзы

Данил всегда боялся этого. Когда мама плакала, становилось жутко. Он не знал, что делать. Положил руку на плечо мамы — вроде как обнял. Сел на диван рядом. На маленькой кухне места для двоих почти не было. Посередине — слишком большой деревянный стол с толстыми ножками. У стены — диванчик, на котором можно спать, потому что он раскладывается. Двери на кухню нет — отец её снял, чтобы получилось больше места. Половину дверного прохода занимает холодильник.

От мамы почему-то пахло луком. Данил заметил рядом на диване мамин фартук — клеёнчатый, потёртый, весь в пятнах, которые уже не отстирать.

— Ты связался с кем-то? — спросила мама.

— Ни с кем я не связался! — раздражённо ответил Данил, которому вдруг стало особенно тесно в их квартире и захотелось уйти.

— А это откуда? — мама выронила плакаты и листовки, и они рассыпались по полу. Президент смотрел прямо на Данила, и тот невольно отвернулся.

— Друг дал.

— Какой друг?

— Ты не знаешь.

— И что ты с ними делаешь?

— Ничего. Храню.

Мама — невысокая, тонкая, белые длинные волосы волнами падали на плечи — была очень красивой раньше. И сейчас тоже красивая, несмотря на старую кофту и немодную уже юбку.

— Куда ты едешь всё время? Где бываешь? С кем? — спрашивала мама.

— В институт езжу.

— Я звонила в институт. Нет у них такой акции. И курсы все платные.

Данил молчал. Он не мог представить, что мама догадается позвонить туда.

— Значит, нет никакого института. И курсов нет. Только это. — Она посмотрела на листовки.

— А что в этом плохого? — Данил махнул рукой: — А, ты не поймёшь!

— Я никогда у тебя ничего не понимаю! Никогда мне не рассказываешь. Как отец. Уехал — и всё. Полгода нет. А где, с кем... Он, знаешь, что мне говорил? “Если помру, тебе скажут”. И ты так? Мне скажут?

— Mam, ну, не надо. Ну, никто не умрёт. Всё будет нормально. Ну, подумаешь, листовки расклеил.

— Но зачем?

Данил сжал руки в кулаки и сказал, отчеканивая то, что пытался сформулировать уже давно:

— Я не хочу так жить. Вкалывать за копейки, как ты и отец. Жить в квартире, где не развернуться. Мне даже Олю привести некуда! Нельзя так всю жизнь. Ты посмотри вокруг — другие имеют миллиарды и самолёты.

Мне отец рассказывал, как он строил дома на участке в несколько сот гектаров с собственным футбольным полем. Это разве справедливо, что у них всё это есть? За какие заслуги?

Данил ушёл в комнату, но мама пошла за ним.

— Нам просто не повезло.

Данил посмотрел на маму. Одна. Всю жизнь одна. Всю жизнь на работе. С отцом особо не разжиться было. Не ездили никуда, не ходили. Жила только для семьи, для него. Теперь весь остаток жизни работать — и опять для него. Чтобы он жил, учился, гулял.

— Обещай, что больше не пойдёшь туда, — сказала мама. — Мы найдём денег на институт. Накопим.

Из открытого секретного ящика виднелась фотография отца. Данил достал её. Отец — ещё молодой. Ещё до Данила. И даже до мамы.

Он вспомнил, что у отца были такие сильные руки, сильнее, чем у любого качка из фитнес-клуба. В детстве он мог висеть на них — и мышцы всё равно не разгибались.

Мама стояла в дверях его комнаты, всё ещё держа в руках мятое кухонное полотенце.

7

Алёна позвонила сама поздно вечером. Не написала, а именно позвонила. Данил от неожиданности даже не сразу узнал её.

— Можем встретиться? Давай у “Паблика”, только внутрь не заходи.

— Хорошо. Через полчаса буду.

Он быстро собрался, схватил сумку и побежал.

— Можно, я у тебя переночую?

Данил ошарашенно смотрел на Алёну.

“Почему у меня?” — первое, что хотел спросить он. Но сглотнул и спросил:

— Что случилось?

— Долго объяснять. Суть в том, что меня засняли, когда я клеила листовки. И, кажется, фото попали в сеть. Мне уже обещали помочь, но надо переждать где-нибудь пару дней. Понимаешь, перед митингом лучше не светиться. Закрывают всех подряд на всякий случай.

— Понял. Но я с мамой живу.

— Она будет против?

— Нет. Просто у нас только две комнаты... В общем, если хочешь, я к другу пойду ночевать.

— Да ладно тебе, — улыбнулась Алёна.

Дома Данил представил её, но мама ничего не сказала, просто молча выдала полотенце и согрела ужин.

— Mam, я тебе потом объясню, — шепнул Данил.

Но та махнула рукой.

— Она на меня злится, — пояснил он Алёне.

— У меня с моими тоже не очень. Но они делают вид, что ничего не происходит, и надеются, что я выйду замуж и успокоюсь. Дашь свой комп? — Алёна села за стол Данила и открыла свою страничку “ВКонтакте”. Опять замелькали фото с акций, люди с плакатами, листовки, флаги. Данил уже так привык ко всему этому, что не представлял, как по-другому можно провести день.

Он перестелил диван, аккуратно разгладил простыню и надел на вторую подушку наволочку.

Данил смотрел на Алёну и на мгновение представил на её месте Олю. Как бы она сидела здесь, смотрела в его компьютер, ела мамин ужин, а потом бы ложилась спать на разобранный старый диван.

Алёна доела, молча взяла тарелку и понесла её на кухню. Данил услышал шум воды.

— Давайте я остальное тоже помою, — сказала она маме.

Данил почему-то прислушивался к их тихому разговору. Ему стало интересно, о чём они говорят, но он ничего не слышал.

Алёна пришла, выключила компьютер и, не раздеваясь, легла рядом. Легла ему на плечо, и Данил обнял её. Одной рукой укрыл одеялом и себя, и Алёну.

— Ты никогда не думал быть, как все? — вдруг спросила она.

— А как это? — ответил Данил не сразу.

— Иногда смотрю на своих сокурсников и думаю: стану, как они. Буду работать в газете, возьму ипотеку, буду получать тысяч пятьдесят. Буду копить на машину, потом на квартиру, потом ещё на что-нибудь, чтобы хоть что-то детям осталось. И так всю жизнь. А кто-то в этот момент будет проигрывать в казино несколько миллионов за вечер.

— Я бы так не хотел жить.

— А как ты хотел бы?

Данил повернулся и вдруг поцеловал Алёну. Она обняла его, и всё вокруг померкло: и его тесная квартира, и шум воды за стеной, и чьи-то миллионы — всё стало вмиг неважным. Данил прижимал к себе Алёну и не думал больше ни о чём.

Уже поздно ночью они тихо смеялись, ели холодные макароны прямо из кастрюли и слушали музыку. Потом так и уснули — с наушниками, оставив на полу кастрюлю и разбросанную одежду.

Утром Алёна уехала в институт. Данил проводил её до метро и опять опоздал в школу. Она зачем-то отдала ему свои наушники, поцеловала и исчезла.

Когда он шёл к третьему уроку, его догнала Оля.

— Ты совсем не появляешься, — сказал она.

— Да дела были. А ты тоже к третьему идёшь?

— Пойдём туда. — Оля кивнула на Белый дом, мимо которого они шли. — Не хочу в школу.

— А отец?

— Он уехал. Я же говорила — надо было просто переждать.

Данил курил, смотрел на выбитые окна и сломанные двери. Сейчас ему захотелось всё здесь переломать, выломать старые рамы, снести этот дом, проехать по нему катком и построить всё заново — дом, улицу, район, город. Он поднял валявшуюся под рукой палку и зачем-то бросил её в сторону дома. Она не долетела и упала около покосившейся двери.

— Что ты делаешь? — крикнула Оля.

— Мне надоело всё это! — крикнул в ответ Данил. — Я не хочу больше ждать, пока уедет твой отец. Ждать, пока подвернётся какая-нибудь подходящая квартира. И бояться, что кто-нибудь с большими деньгами понравится твоему отцу. Я живу вот так. Хочешь — живи, как я. Нет — значит, убирайся к чёрту!

— А при чём здесь я? Я не виновата, что у тебя нет денег. Почему это должно стоять между нами? Если ты меня любишь — какое это имеет значение?

— А если нет?

Оля замерла — она не ожидала такого ответа. Потом вдруг села на лавочку, опустила голову на руки и заплакала. Данил хотел подойти к ней, обнять, успокоить, но почему-то не решался. Он постоял немного, потом надел наушники Алёны, громко включил музыку и пошёл в противоположную от школы сторону. Оля что-то крикнула ему вслед, но он уже не слышал и не обернулся.

Всю следующую неделю Данил сидел дома, листая в интернете паблики оппозиционных групп. Многие из них были уже закрыты, и на компьютере то и дело мелькало: “Пользователь заблокирован”. Данил понимал — перед митингом, который готовился в эти выходные, полиция чистит всё, убирает активистов, которые могли бы спровоцировать толпу. Они все теперь были опасными преступниками. Алёна не выходила на связь, её страница “ВКонтакте” была заблокирована, и Данил не знал, что с ней и где она. На сообщения Оли он не отвечал и кричал на мать, если она заходила к нему в комнату и спрашивала про школу.

Вдруг в новостной ленте мелькнули знакомые красные волосы. Данил замер. Он отмотал ленту назад и посмотрел на фото. Сердце сжалось. Это была фотография Алёны, а под ней сухая запись:

“Елена Бочарова задержана по подозрению в подготовке несанкционированного митинга. Ей вменяется часть 1 статьи 20.2 КРФ об АП, предусматривающая административный штраф, обязательные работы или административный арест. При задержании не оказала сопротивления”.

Данил встал и прошёлся по комнате. Слова плыли перед глазами. Он вышел из дома и позвонил Диме. Тот взял трубку не сразу.

— Ты знаешь про Алёну?

— Знаю. Я её предупредил, чтобы она не светила.

— Что можно сделать?

— Сейчас слишком много всего навалилось. Да не переживай! Её выпустят, когда всё закончится. Я тебе точно говорю.

— А если нет?

— Слушай, сейчас все на измене. Не усложняй всё. Или ты боишься за себя?

Он бросил трубку и поехал в антикафе на Сретенском бульваре. Но дверь была закрыта, и вывеска убрана. Казалось, что никакого кафе здесь никогда и не было.

8

Митинг должен был начаться на Октябрьской.

Данил стоял в центре зала в метро, в кармане куртки он сжимал свой кастет. Было полно народу, но ему казалось, что он стоит один. Люди шли мимо. Данил видел свёрнутые плакаты в их руках.

Дима пришёл один.

— Такого шанса больше не будет, — говорил он быстро-быстро, пока они поднимались по эскалатору, — если получится сейчас засветиться, то всё, дело сделано, можно раскручивать свой паблик, даже свой канал вести, всё, что угодно. Эта уже не Марьино, не Болото. Это настоящая борьба!

На эту борьбу они ехали не одни. Данил оглянулся — весь эскалатор был заполнен людьми. Мужчинами, женщинами. Совсем ещё девчонками и парнями постарше. Они уже не казались такими хмурыми, как в тот раз. Они улыбались, смеялись, шутили. Но Данилу казалось — как-то неестественно. Натянута и страшно. Точно смех от безысходности, когда человек знает, что это конец, но не верит.

Эскалатор кончился. Все пошли к выходу. Дима всё говорил и говорил. Данил ничего ему не отвечал. Вместе со всеми они вышли на улицу.

Люди толпились повсюду: у метро, в переходах, в сквере у памятника Ленину. Они ходили, стояли, сидели, говорили, молчали. Они были с плакатами, без плакатов, одни, группами, толпой. Казалось, целый город вышел на эту площадь. Люди стояли на балконах домов напротив. Кто-то пытался залезть на памятник Ленину и что-то кричать оттуда.

Полиция тоже была повсюду. Они стояли по периметру площади и вдоль оцепленной улицы. И тут же — машины. Автозаки или автозэки, как называл их Дима. Большая Якиманка перекрыта — по ней должна двигаться колонна. Данил убрал кастет в ботинок и прошёл через металлоискатель.

Встал в конце колонны, но конца ей не было, и за ним тут же пристроились новые люди. Колонна медленно двинулась. Двинулись флаги. Самые разные — красные, оранжевые, жёлто-чёрные, чёрно-красные, чёрно-жёлто-белые. Данил никогда не видел столько флагов сразу. Ему всегда казалось, что их ничего не может объединить. Но они здесь, вместе. Значит, что-то их объединяло.

Люди сегодня пришли разные. Старики шли под красными флагами. На одном из плакатов было написано: “Дождёмся? Мне 77”. Мужчины и женщины помоложе шли с краю под чёрно-жёлтыми флагами. “Свободу политзекам!”, “Мы хотим жить!”, “Сегодня моё место — здесь!”...

Были и молодые. Они не шли под чужими флагами. Они несли свои. Они не кричали лозунги. Они пели песни. Они шли весело. Над всеми ними раздалось эхом: “Свобода, свобода...”

Но за всем этим неотступно следили другие — люди в форме. Их было гораздо больше, чем в Марьино. Они стояли напряжённо, молча, не переглядываясь и не переговариваясь. Руки за спиной, на боку — дубинки, на голове — каски.

Шли уже два часа. Останавливались, чтобы выкрикнуть лозунг. Потом шли дальше. Вдруг остановились надолго. Выкрикнули лозунг. Один, другой. Но дальше не двинулись. Толпу словно заклинило.

— Что такое? — спросил кто-то.

Толпа никуда не шла. Огромная толпа людей остановилась и стояла без движения.

— Что будем делать? — спрашивали друг у друга.

— Сидеть и ждать.

Кто-то действительно сел на асфальт. Кто-то стал петь песни.

Данил с Димой отошли в сторонку.

— Я пронёс файеры, — сказал Дима, — ты со мной?

— Почему вы кинули Алёну? — спросил Данил.

— Слушай, да что ты зациклился? Ей говорили, чтобы она не лезла. Забей! Смотри, как круто вокруг!

— Это совершенно не круто! Она сейчас неизвестно где. Я даже не могу ей позвонить. И вы там ничего не делаете.

— Короче, ты со мной или нет?

Данил отвернулся, и Дима махнул рукой и скрылся в толпе.

Данил остался один. Люди стояли без движения, и обстановка накалялась — всем хотелось идти вперёд.

— Не пускают на сцену, — сказал кто-то тихо, но Данил был рядом и услышал, — перекрыли сквер, не дают аппаратуру, закрыли улицу.

Люди резко оживились.

— Что будем делать? — послышалось в толпе. — Сидячую забастовку?

Люди с ненавистью смотрели вокруг.

— Сколько можно! Даже выступить не дают.

— Да всё понятно. Никто и не даст.

Повисла тишина. Хвост толпы, ещё по инерциидвигающийся вперёд, стал напирать на тех, кто уже остановился; толпа сжималась всё теснее. Данил вжался в чужие спины.

— Остановитесь! Куда вы идёте? — стали кричать люди в толпу.

Но их никто не слушал — толпа продолжала напирать. Начало толпы по-прежнему никуда не двигалось, и люди сжались ещё плотнее. У кого-то оказался мегафон — и над всей толпой раздалось:

— Никуда не двигаемся! Оставайтесь на месте! Не напирайте вперёд!

Толпа вдруг замерла. Впереди явно что-то начинало происходить. Данил пытался разглядеть хоть что-то поверх голов людей, но видел только массу. И впереди, и сзади. Повсюду. Только по бокам — двойное железное ограждение и полиция в касках, со щитками и дубинками.

Отступить было некуда. В толпе начались недовольные крики. Стало страшно. Если бы сейчас началась давка — тысячи людей просто задавили бы друг друга.

— Идите назад! — крикнули в мегафон. — Все идём назад!

Но назад никто не пошёл.

— Вход на площадь перекрыт. Митинга не будет. Шествия не будет. Организовываем пикеты, — кричали в мегафон.

— Какие пикеты? — кричали в ответ люди. — Где наша оппозиция? Где наши лидеры?

Данил услышал над собой гул — прямо над ними летал вертолёт.

— Газ! — крикнул кто-то. — Они распыляют газ!

Кто-то закричал, кто-то побежал вперёд.

— Никакого газа нет! — кричал парень в мегафон. — Всё нормально! Просто стоим здесь!

Но просто стоять никто не хотел.

— Мы не уйдём! — теперь скандировали люди.

— Мы здесь власть!

— Под суд! Под суд! Под суд!

— Позор! Позор! — бросали в лица полицейских.

От Калужской площади до Болотной по Большой Якиманке стояли люди. На два километра. Люди, запертые со всех сторон, скандирующие лозунги и не собирающиеся уходить. Стоять спокойно в этом замкнутом пространстве, полном ненависти, было бесполезно. Данил оказался среди этих людей и чувствовал всю эту ненависть. Он достал кастет и сжал его в руке.

Было непонятно, что делать дальше. С той стороны — город. Здесь — оппозиция. Там, дальше, за площадью, — Кремль. Между ними — люди в касках, отгородившиеся щитами.

— Вперёд! — крикнул кто-то.

— Вперёд! — тут же подхватила толпа. — Это наш город! Это наша страна!

— Идём вперёд! Прорываем оцепление!

Тысячная толпа двинулась вперёд.

— Не надо идти вперёд! Там всё перекрыто! Стоят автозаки! Остаёмся на месте! — кричал мегафон.

Его уже никто не слушал. Масса двинулась. Данил прижался к чьей-то спине. Он понимал, что толпу не остановить, и он не сопротивлялся, шёл вместе со всеми, хотя уже ясно осознавал, что впереди — не Кремль. Впереди был ОМОН.

Люди ломались вперёд. Как ломались всегда, при любых правителях, если те допускали и не отвечали жестоко. Никто не видел, что происходит, но было ясно, что их опять отрезали от площади. Наконец, все, словно под действием какого-то несказанного слова, повернулись не вперёд, а в стороны. Туда, где всё это время плотной линией за ограждением стояла полиция. Данил тоже развернулся и сильнее сжал кастет. Несколько секунд они смотрели друг на друга — люди, замкнутые в этой дикой страшной давке, и полиция, охраняющая их от всего города. Через секунду они бросились друг на друга, смешались — и цветные спины людей было уже не отличить от серо-чёрных спин полицейских.

Данила отбросило в сторону — он отлетел, но удержался на ногах. Где-то рядом раздался женский визг. Данил ползком протискивался сквозь массу людей. Он уже не понимал точно — куда. Стало тяжело дышать, словно улицу заполнил какой-то едкий газ. Люди забирались на ограждения, перелезали через них, отбрасывали, словно щепки. Кому-то удалось прорвать цепь. Тогда полиция стала окружать людей группами, выхватывать по одному и оттащить в сторону.

Люди кричали. Женщины визжали. Было сложно понять, кто есть кто.

Рядом упало древко с флагом — белая звезда на красном фоне и чёрные слова, которые Данил уже не мог разобрать. Крики раздавались повсюду. Кому-то удалось прорваться и вырваться сквозь двойную блокаду. Кто-то уже лежал на асфальте. Кто-то пытался перелезть через ограждение. Кто-то прорывался вперёд. Кто-то — назад. Молодой парень оказался зажатым между двумя ограждениями. С одной стороны на него давила полиция, с другой — люди. Его рука, вся в крови, торчала в решётке.

— Не забудем, не простим!

Кто-то бросил файер. Повалил дым. Полетели бутылки. Данил не знал, куда бежать. Везде спины. Омоновцы по двое врываются в толпу, выхватывали людей, заламывали руки, отходили. Они шли гуськом, один впереди, другой сразу за ним. Остальные стояли, взяв друг друга под руки, образовав цепочку, которую и пытались прорвать толпа.

Данилу захотелось закричать. Но не лозунги, а просто так. От страха. Но его крик среди всеобщего гама никто бы не заметил. Он отполз в сторону. Он понимал, что его затопчут, если он не будет двигаться, но двигаться было некуда. Он обхватил голову руками, жёсткий кастет, который он всё ещё держал в руке, жёг кожу, словно огнём. Данил то и дело замирал, пред-

чувствуя удар. Случайный — пробегающего мимо. Или специальный меткий удар берцем.

Зазвонил телефон. Незнакомый номер.

— Слушай, пацанёнок, я что-то не понял, ты бабки когда вернёшь? Уже пять косарей накапало, пока ты бегаешь. Мне что, мамку твою навестить?

Это был Тимур — Данил узнал его сразу.

— Мать не трогай, — ответил он, задыхаясь. — Я отработаю.

Мама.

Она сидит обычно на диване на их кухне, вечно грязной, тёмной, маленькой, узкой — делает салат и пьёт кефир — потому что ничего другого ей уже нельзя из-за плохого здоровья. Переключает каналы на телевизоре, пока не найдёт какой-нибудь сериал. В халате. Тоже грязном, застиранном — некогда купить новый, некогда перестирать, некогда убраться. Всё некогда. Некогда вызвать сантехника и починить кран. Ничего не успевает. А поздними вечерами, когда приезжает из своей Балашихи, сидит и переключает каналы.

Мама.

Он вспомнил, как первый раз увидел её плачущей. Это было, когда умер отец. Он умер не так, как она боялась и предчувствовала — не один, на неизвестном объекте, а дома, в своей квартире. “Скорую” вызвал Данил. Отвезли. А через час его не стало. Данил был с ним в больнице. Мама — на работе. Он вернулся домой. Стал её ждать. Мялся на кухне, пока мама разувалась.

— Mam, тут случилось, — начал он.

Она сразу догадалась, бросила сумку. Данил никогда раньше не видел, чтобы она плакала. А тут... Он даже испугался.

— Ну, мам, ну, ладно, ну, не плачь, — говорил он.

А сам ходил по маленькой квартире и что-то искал — то ли валерьянку, то ли ещё что. А мама всё плакала.

Тогда он ненавидел отца. Он умер, он их бросил, ему было уже всё равно. А мама была живой, и она плакала.

Данил снял и отбросил кастет, взял телефон, нашёл номер мамы — он хранился в избранных.

— Даня, ты где? — сразу спросила она, точно чувствуя что-то. — Я у Оли дома. Она говорит, что ты не отвечаешь на её сообщения, а в новостях передают про какой-то митинг. Что случилось? Ты не там?

— Нет, я в метро. Всё нормально.

— Даня, что происходит?

— Мама, — он услышал, что она плачет, и у самого вдруг навернулись слёзы. — Прости меня, мам. Всё будет хорошо. Я всё решу. И с институтом тоже. Я что-нибудь придумаю. Я сейчас приеду.

Он положил трубку. Но идти было некуда. Вдруг он заметил маленький проём между двумя заграждениями. Видимо, кому-то всё-таки удалось прорвать цепь. К этому проёму уже протискивались с разных сторон. Данил понимал, что у него есть всего несколько секунд. Он вскочил на ноги, подскочил к этому проёму и исчез из толпы. Он бежал, спотыкаясь, но не останавливаясь и не оборачиваясь.

А где-то бежали люди, дрались люди, кричали люди. Прорывались вперёд.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА



...ВЕРНУТЬСЯ В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

* * *

Скошенной пахнет травой и незрелой пшеницей,
Донником, мятой, гречихой — как будто по ним
Память могла бы разглядывать действие в лицах
И возвращать меня девочкой в прежние дни:

Переворачивать вилами колкое сено,
Переливать молоко через марлю в бидон,
В спутанных косах выискивать шарик репейный,
Прятаться в стог, собирать облепиху в подол.

Снова катиться с горы в трёхколёсной повозке,
Плакать навзрыд, ударяясь о щебень плечом.
Вёрткой скакалкой раскручивать в воздухе мостик.
В салки играя, кидаться упругим мячом.

ИВАНОВА Наталья Аркадьевна родилась в г. Октябрьском (Башкортостан). Училась в Литературном институте им. М. Горького. Стихи и проза публиковались в "Литературной газете", "Дне литературы", в журнале "Аргамак", в альманахах "День поэзии", "ЛитЭРА", "Пятью пять", "Артбухта" и др. Автор поэтической книги "Имя ласточки горной". Лауреат Фестиваля поэзии "Словенское поле", Международного прозаического чеховского конкурса "Краткость — сестра таланта", премии молодых писателей им. А. Филимонова. Работала редактором отдела поэзии альманаха "Артбухта" и журнала "Лампа и дымоход". Живёт в Москве.

...Время летит... Созревают ирга и калина...
Семечко ржи прорастает тяжёлым зерном...
Боже, Ты знаешь, живу я не хлебом единым —
Дай мне ребёнком вернуться в родительский дом.

* * *

Нахваливать купца бессмысленно:
Товары свах на хлеб не мажутся.
Я к цеху мастериц причислена —
Завидная невеста, кажется.

В какой бы дом ни приходила я,
Всё сватают ко мне мальчишечек.
Гоните, аки ведьму, милые:
Я царствовать могу с излишечком!

Пусть облик мой — Февронья-Крошечка,
Бесхитрозна и нераспушенна,
Косички, сарафан в горошечек,
Но взгляд мой потому опущенный,

Что мне неловко обнаружиться
Медеей, страстно увлечённою.
А баба Бабариха кружится,
Несёт подарки золочёные.

Но топчутся купцы — без выгоды,
Насуплены и разобижены.
Я замужем — давно, безвыходно.
Я венчана в самой Воздвиженке.

* * *

С этой палевно-дымчатой мягкостью рысьего меха
Только мягкость волос твоих может сравниться и спорить,
Я на мшистых полянах нам терем затеяла строить —
Лубяную обитель в резных деревянных dospexax.

Посмотри на хоромы — как ладно уложены брёвна,
И под угол передний запряты гривны и ладан.
Стережёт ли нас Чур, бережёт ли нас добрая Лада,
Здесь всегда на столе каравай да напиток скоромный.

Здесь всегда хлебом-солью встречают гостей и прохожих,
И колодезный ковш принимает рушник домотканый,
Кружит голову мак, а душица румяна и пряна,
Ветер лисьим хвостом замечает следы бездорожий.

ЭДДА

Пиво хвали — если выпито,
Меч — после сеч,
Сабли — коль ими повыбиты
Головы с плеч.

День хвали по окончании,
Ночь — на заре.
Девушку — после венчания,
Жён — на костре.

Лодку — у берега дальнего.
И не стыдись
Слова не слышать похвального
Целую жизнь.

* * *

Чем же ещё я могла бы тебя удивить,
Столь искушённого в золоте, хлебе и камне.
Хочешь, отдам тебе ливня кручёную нить,
Чтобы скрепить горизонта неровные грани.
Хочешь, отдам тебе степи башкирских небес,
Степи сухие, где солнце кочует кибиткой,
И Шульган-Таш, и подземные реки окрест,
И первобытных рисунков на скальные свитки.

Хочешь, отдам урожай серебристых лещей,
Россыпи бортей и сок на пчелиной вошине.
Капля кумыса как мера текучих вещей,
Чтоб удивить искушённого в войнах и винах.
Хочешь, отдам тебе молнии острый клинок,
Карстовый мост, тетивою стянувший ущелье,
Поле Шайтаново, ставшее устьем дорог
К нефтепластам и густому девонскому зелью.

В древних колхидах не сыщешь такого руна,
Кои́м курай украшает уральскую местность,
Столь искущённому в женщинах и скакунах
Я покажу, как Тулпара дают за невесту.
Я покажу, как ведёт поединок батыр,
Как нескончаем азарт сабантуйного боя,
Как благодатны бескрайние земли башкир,
Как этим землям сейчас не хватает героя...

ЮРИЙ ЛУНИН



ТРИ ВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

РАССКАЗ

Утро в середине лета, небо не предвещает дождя.

По обочине пустой загородной дороги летит на велосипеде парень семнадцати лет. Только что начался длинный спуск, на котором можно отдалиться инерции и дать отдых ногам, но парень, наоборот, начинает работать ими всё быстрее, чтобы поспеть за собственной скоростью летящего вниз велосипеда и вновь ощутить сопротивление педалей, тем самым присвоив скорость себе. Но едва он ощущает желаемое сопротивление, велосипед словно отказывается от его помощи и продолжает катиться сам, заставляя парня как бы водить ногами по воздуху, и тот начинает всё сначала. Так они вдвоём достигают невероятной скорости, которой парень согласен уже просто насладиться.

По обеим сторонам от дороги стоит спокойный, ещё не прогретый солнцем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт поэтому — синий. В воздухе ясно ощущается запах прохладной дорожной пыли. Парень чувствует, что этот запах и синее каким-то образом связаны друг с другом и что в этой связи кроется нечто не по-земному прекрасное. Ему очень хочется разгадать тайну этой связи, и в то же время ему особенно приятно, что он не может её разгадать. Ему не хватает кого-то рядом, и вместе с тем он счастлив, что совершенно один. Он много чувствует нового, не похожего ни на что прежнее, и хочет чувствовать ещё больше, но втайне от себя просит у кого-то:

ЛУНИН Юрий Игоревич родился в 1984 году в г. Партизанске Приморского края. Прозу пишет с 17 лет. Публиковался в журналах “Наш современник”, “Волга”, интернет-журнале “Luterratura” и др. Лауреат премии “Справедливой России”, премии им. И. А. Гончарова, премии Л. М. Леонова, российско-итальянской премии “Радуга”. В настоящее время живёт в Ногинском районе Московской области. Работает выпускающим редактором в звуковом журнале для слепых. Женат, отец троих детей.

“Чуть поменьше, не надо слишком много”, — потому что боится не вместить всего и остаться ни с чем.

Дрожит от ветра велосипедный звонок, гудят колёса, и рассекаемый воздух тепло гудит у висков.

“Шумно, и жутко, и грустно, и весело — я ничего не пойму”, — вспоминает парень строчки и с волнением глядит вперёд, туда, где обрывается лес и начинается сиять поле...

Всю вторую половину июня он провалялся в больнице с аппендицитом: плохое заживление рубца. Потерял две недели хорошего лета. Пропустил вступительные экзамены в местный строительный институт, куда пошли учиться почти все его одноклассники, да и большинство вообще выпускников города.

Испытал первую в жизни настоящую сильную боль — как телесную, так и душевную. Раньше ему казалось, что он застрахован от всего страшного, что случается с людьми; что хирургические операции и больницы придуманы для других, не для него. А вот загремел, как другие, стал одним из этих *других*.

В первые дни после операции с незнакомой ему прежде тоской смотрел на верхушки берёз, которые призывно дрожали сверкающими листьями за окном палаты. Вместе с ветром до него доносился смех неизвестных ему детей и девушек. Ему до слёз хотелось к ним, на солнечную волно: видеть их лица, смеяться вместе с ними. Он понимал, что уже очень скоро это будет ему доступно, а стало быть, нечего так страдать, но почему-то не мог избавиться от невыносимой тоски. Ему казалось, что никогда он отсюда не выберется.

Но больничные дни принесли в его жизнь не одну эту боль.

В коридоре на третьем этаже, как раз неподалёку от его палаты, имелась библиотечка. Библиотечка — это даже громко сказано; просто прибитая к стене полка, на которую больные складывали прочитанные ими журналы и детективы, не видя смысла забирать одноразовое чтиво домой. Как только парню отменили постельный режим, он вышел погулять по коридору и набрёл на эту полку. Вообще, он не очень-то увлекался чтением, но сейчас его внимание привлекла довольно толстая книга в коричневой обложке, своей благородной простотой выделявшаяся из разноцветной груды периодики и дешёвых романов. Он прочёл на корешке название: “Три века русской поэзии”, достал книгу и подержал в руке, чувствуя, как его не затянувшийся рубец реагирует даже на такую невеликую тяжесть. Он взял книгу под мышку и отправился к себе в палату. Там он взбил свою дистрофическую подушку, улёгся на узкую койку, с которой так и не стряхнул колючие хлебные крошки, потому что не желал даже в такой ничтожной мере обживать себя в нелюбимом месте, накрылся до пояса одеялом, как обычно запутавшись пальцем ноги в дырявом пододеяльнике, раскрыл книгу наугад и прочёл стихотворение Тютчева. Потом раскрыл на другом месте и попал на Заболоцкого, потом на Фета, на Рубцова, на Пастернака, на Полонского, Державина, Фофанова — и так далее...

Некоторые стихи были ему знакомы со школы, но тогда он читал их исключительно по долгу учёбы. Теперь же он читал сам, для себя, и это было совсем другое. Он помнил, что раньше очень многое в этих стихах было ему непонятно. Он даже задавался тогда вопросом: зачем писать так сложно и странно, если можно сказать обо всём просто? Теперь он удивлялся тому, как это раньше стихи Пастернака, Мандельштама, Цветаевой могли казаться ему сложными, странными, заумными. Видимо, боль, с которой он познакомился в больнице, распахнула в его сердце какую-то тайную дверь, в которую сразу ворвалось понимание этих стихов.

И он не мог оторваться от них. Он читал их, забыв самого себя, читал так жадно, как если бы находился в пожизненном заключении и одними лишь этими стихами мог напомнить себе о том мучительно радостном и просторном мире, который потерял навсегда.

Он стал читать эту книгу дни напролёт. Иногда чувствовал, как к его глазам подступают слёзы, и тогда ему приходилось понарошку чихать и тереть нос, чтобы соседи по палате не догадались, что он плачет из-за книги.

Когда в палате выключали на ночь свет, стихи продолжали звучать в его голове. Он совсем не старался заучивать их наизусть; просто, читая, он проживал их сердцем насквозь, и они сами вкладывались в память целыми страницами, становясь как бы его собственными. На соседних койках храпели на разные лады его случайные товарищи по неволе, время от времени звучно портя воздух; в коридоре потрескивали плафоны и изредка раздавались чьи-то скучные, равнодушные шаги, а он лежал и видел глазами воображения мудрый, прогретый солнцем лес, видел изгиб сверкающей реки, видел сирень под тёплым дождём и задумчивую чистую девушку у вечерней калитки. И в какую-то секунду ему начинало казаться, что из того прекрасного мира, который он воображает, до него долетает настоящий ароматный ветер, и ему снова хотелось плакать, и часто он плакал. Поначалу он не вдумывался в эти слёзы и был уверен, что они текут от тоски, как вдруг однажды понял, что эти слёзы — слёзы счастья.

Днём, в обеденное время, когда по душевной палате вместе с запахом пиццы разливалась тупая дремотная лень, он иногда начинал стыдиться того, что испытывал ночью, и нарочно говорил себе: “Чёрт знает, что творится с нервами в этой больнице. Скорей бы уже отсюда смотаться”. Однако он снова, — видимо, для того, чтобы себя испытать, — взбивал свою тощую подушку, ложился на усыпанную колочими крошками койку, открывал книгу — и дремотная лень отступала, снова до него доносился ароматный ветер, ещё более прекрасный и удивительный посреди жаркого дня, чем посреди ночи.

Больницу он покидал не без сожаления. Конечно, он не забыл захватить с собой “Три века русской поэзии”, но, едва переступив больничный порог, понял, что теперь ему будет трудно читать эту книгу так, как он читал её в больнице; что сейчас его захватит свободная, неплохая, но где-то более глухая жизнь.

Он единственный ребёнок в семье. Его аппендицит сильно напугал родителей. Как ни странно, раньше они тоже пребывали в уверенности, что все на свете болезни и несчастья будут обходить их сына стороной, — и вот им тоже пришлось разделить участь *других*, с чьими детьми случается всякое. Благодарные судьбе за то, что с их ребёнком случилось ещё далеко не самое страшное, в первую неделю после его возвращения они относились к нему, как к божеству, одного простого пребывания которого рядом уже достаточно для счастья: пускай оно целыми днями валяется у себя в комнате с какой-то книжкой, которая, быть может, и не имеет никакого отношения к его профессиональному будущему, — всё равно это в миллионы, в миллиарды раз лучше, чем если бы оно просто исчезло из их жизни. Но на вторую неделю они будто проснулись от дурного сна и ясно осознали, что их сыну ничто не угрожает, более того — что их тревога за его жизнь изначально была преувеличенной. И тогда, — видимо, давно разучившись жить вообще без тревоги, — они окунулись в привычное беспокойство за его дальнейшую судьбу: вступительные экзамены он пропустил, в ноябре ему стукнет восемнадцать, а он как ни в чём не бывало лежит с книжкой, на страницах которой (мама уже успела это заметить) одни столбцы и строфы. Имеет ли он какой-то жизненный план? Или ошибочно думает, что всё сложится само собой?

В пятницу вечером отец вошёл в его комнату, чтобы начать об этом разговор. Парень сразу понял, что отец зашёл не просто так; понял по тому, как, не промолвив ни слова, он пододвинул к его кровати стул и основательно уселся на нём. От неприятного предчувствия парень ощутил что-то вроде лёгкой тошноты.

Начал отец издали: сначала спросил о физическом самочувствии, потом поинтересовался насчёт морального состояния: говорят, нередко после перенесённой операции человек испытывает что-то вроде депрессии. Сын отвечал, что чувствует себя хорошо, почти как до аппендицита, да и настроение вроде бы нормальное. О стихах он, конечно, говорить и не думал: во-первых, он был уверен, что разговор их не коснётся; во-вторых, он и сам ещё не до конца понимал, какое значение они приобрели в его жизни, и даже не успел ещё себе признаться в том, что все послебольничные дни только

и делает, что пытается нащупать то нераздельное единство со стихами, которое ощутил в больнице и без которого жизнь казалась ему теперь неполноценной.

Придвинув стул ещё ближе к кровати (что прямо пропорционально усилило в парне ощущение тошноты), отец мягко, без нажима спросил его, почему (если, по его словам, он так хорошо себя чувствует) он уже вторую неделю проводит в горизонтальном положении. Может, всё-таки что-то не так? Сын повторил, что всё в порядке, и, понимая, что таким ответом отца не удовлетворить, всё же добавил, что просто читает интересную книгу. Он всё ещё не думал говорить о стихах, о том, что они появились в его жизни как нечто очень важное и серьёзное. Просто решил оправдаться при помощи книги. Но отец уважительно, со словами: “Если ты, конечно, не возражаешь...” — попросил разрешения взглянуть, что это за “интересная книга”, и парень не нашёл причин отказать ему.

Отец долго листал “Три века русской поэзии”, часто заглядывая в содержание. Парню было непривычно смотреть на то, как отец переворачивает страницы, иногда мимолётно касаясь пальцем языка: кажется, парень никогда раньше не видел его за таким занятием.

Пока продолжалось чтение, за окном пролетел самолёт, оставив на безоблачном розовеющем небе идеально ровную черту, похожую на разрез скальпеля. Парень задумался о том, что эта черта, привнесённая в небо человеком, удивительным образом не уродует, а украшает небосвод.

“Так же и стихи, — сказал себе парень. — Они тоже идеально ровные, как эта полоска, хотя мир, про который они написаны, совсем не ровный. Стихи выравнивают мир”.

Между тем черта начала медленно распухать, будто вспоротое небо выпускало из себя своё странное содержимое.

— Н-да... — сказал отец, выпрямляясь и расправляя затекшие плечи. — *Что делать нам с бессмертными стихами...*

Он вздохнул (парень не понял, над чем) и вернул сыну книгу.

Летний вечер, который до этого казался продолжением дня, в одну секунду стал началом ночи. И отец, и сын сразу это почувствовали. Трудно было сказать, что именно изменилось (быть может, затих на улице какой-нибудь неумолчный детский голос, который служил до этого незаметным сердцебиением дня), но воздух комнаты, не освещённый электричеством, наполнился вдруг той тихой печалью, которую испытываешь у постели медленно угасающего человека. Эта печаль располагала к тихому откровенному разговору.

И отец рассказал, что до сих пор помнит даже запах той самиздатовской книжки со стихами Гумилёва, которая тайно ходила по рукам у студентов, когда он учился на третьем курсе института, а мама училась на первом. Это был тот же строительный институт, куда поступило нынешним летом большинство одноклассников парня и куда ещё совсем недавно собирался поступать он сам.

— Н-да... — повторил отец и процитировал снова: — *“Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства...”*

“Пищит наш дух”, — хотел поправить парень, но не стал. Он поглядывал на отца с осторожным удивлением. Он и не думал, что в отцовской жизни тоже имела место поэтическая страница. В свете этого неожиданного открытия ему сразу показались странными две вещи: первая — что отец ни разу не заговаривал с ним о стихах раньше, а вторая — что сегодня — это обычный инженер-строитель, день ото дня выполняющий довольно скучную работу и больше половины своего свободного времени посвящающий телевизору.

Кажется, отец отчасти угадал недоумение сына и почему-то заговорил после этого с более откровенным назиданием, словно стряхнув с себя печаль идущего на убыль дня и, казалось, даже делая некоторый акцент на том, что эту печаль надо уметь стряхивать.

— Ты, наверное, думал, что я кроме чертежей ничего в жизни не видел и не знаю?.. Не-ет, всё было: и стихи, и романтика, и песни у ночного костра. Только мы как-то умели это с делом совмещать. Одно другому у нас

почему-то никогда не мешало. Между прочим (да ты, собственно говоря, видел у меня этот шов неоднократно), мне тоже пузо вскрывали. Грыжа у меня была. На картошке вытаскивали из грязи трактор, и я переусердствовал, перед мамой твоей хорохорился. Я тогда уже не только учился, но и работал. И с мамой всюду встречался. И знаешь — ничего. Отлежал, по-моему, даже меньше положенного, вышел, нагнал институтскую программу, на работу вернулся. И как-то это было совершенно без всякого героизма, в порядке вещей. Так что...

Отец не стал заканчивать фразу, видимо предлагая теперь высказаться сыну. Парень даже приблизительно понимал, каких именно слов ждёт от него отец: он должен сказать, что такой подход к жизни в порядке вещей и для него, что он тоже не раздувает трагедии из своего аппендицита, что, возможно, отец прав, и он действительно переживает после больницы некий моральный упадок, но ещё денёк-другой — и всё вернётся на круги своя. А ещё ему следовало сказать о стихах: что стихи — это так, ничего такого серьёзного. Не думает же отец, что он собирается стать поэтом?

Но почему-то парень ничего этого не сказал. Он молчал, чувствуя, как начинает от волнения потеть. Впервые в жизни он ощутил, что между ним и отцом что-то может вот-вот порваться, если уже не рвётся. И всё-таки он молчал.

Не услышав от сына ни слова, отец был вынужден заговорить с ним прямо, называя вещи своими именами.

— Ну, хорошо. — Стукнув ладонями по коленям, он встал и начал медленно ходить по комнате, иногда останавливаясь. — Ты же понимаешь, что ты профукал экзамены?

— Понимаю.

— Понимаешь. Это уже отратно. Так вот, поскольку у тебя была на это уважительная причина и поскольку я пребывал в святой уверенности, что ты сам горячо заинтересован в получении высшего образования... — На всякий случай отец и на этом месте сделал паузу, но ответом на неё снова было молчание. Тогда он заговорил с возрастающим недовольством: — В общем, пока ты там мужественно преодолевал недуг, я решил как-то поправить ситуацию с твоим поступлением в вуз. Я созвонился и встретился с Игорем Витальевичем, Оловяниковым (ты его должен помнить, он ездил с нами на Оку, это у него тогда лец огромный леску оборвал, и он неумело так матерился; мы ещё смеялись, а он на нас обижался). Так вот, этот Игорь Витальевич давно в институте работает и, в общем-то, не последний там человек. И он сказал мне: “Какие вопросы! Конечно! Поможем парню”. Он вообще сказал, что готов договориться с ректором, чтобы тебя зачислили на первый курс без всяких экзаменов. Я, говорит, ни на секунду не сомневаюсь, что парень у тебя хороший, потому что прекрасно знаю тебя.

Парень отвёл глаза, готовясь со стыдливой благодарностью принять весть о том, что он уже студент. На самом деле, он был бы рад этой вести, и, кажется, отец это почувствовал.

— Я надеюсь, ты не думаешь, что я на это согласился? — спросил он тоном, исключая возражение.

— Нет, конечно, — соврал парень. — Это уж как-то совсем...

— Вот именно, — немного успокоился отец. — Я сказал, что ты у меня человек серьёзный, сознательный (я действительно так думал и, в общем-то, продолжаю думать до сих пор), и сказал, что ты, мягко говоря, будешь не в восторге, если узнаешь, что “папочка за тебя похлопотал”. Вы, говорю, просто придержите, если есть такая возможность, одно место на бюджете и примите у него экзамен по всем правилам, когда он к вам придёт. Пускай, говорю, как все нормальные люди, тянет билеты и демонстрирует свои знания. Поступит — прекрасно, нет — нет. — “Ладно. Хорошо. Одобряем. Пускай приходит, как поправится. Комиссию какую-никакую сколотим, экзамен примем...” И я вроде как успокоился. Я даже сообщать тебе тогда ни о чём не стал. Пускай, думаю, будет ему приятный сюрприз: вернётся, начнёт переживать, что экзамены пропустил, а я ему тут и скажу, что всё хорошо, иди и поступай. Но я ожидал с твоей стороны хоть каких-то

добровольных телодвижений в этом направлении... — Отец изумлённо поднял плечи и выдвинул нижнюю губу. — День проходит. Два. Неделя. Вторая уже к концу подходит — сынок лежит, как Илюшенька на печи, не шевелится...

Парень молча глядел в окно. Самолётная полоса распалась в разные стороны на жидкие изогнутые лохмотья, напоминавшие волокна сахарной ваты. В этих лохмотьях сложно было угадать след человека. Это были простые облака.

Отец поглядел туда, куда смотрел парень, и, видимо, в эту самую секунду смутно догадался, что стихи во всём этом деле играют куда более серьёзную роль, чем он мог предполагать.

— Я вот одного понять не могу: почему *это*, — он указал на книгу и задвигал ладонью у себя перед глазами, как бы стирая пелену заблуждений, — никак не монтируется в твоём представлении с нормальными жизненными устремлениями? В конце концов (если уж ты так крепко увяз в этой своей поэзии), обучение в строительном институте не лишает тебя возможности ни читать стихи, ни даже с успехом их писать. — Подумав, отец решил добавить: — Макаревич, например, по образованию архитектор. Гребенщиков, если угодно, закончил факультет прикладной математики. Людей знает вся страна. Осмелюсь предположить, что без высшего образования они бы не достигли таких успехов, потому что высшее образование — это некая интеллектуальная планка, необходимая для совершенно любого вида профессиональной деятельности...

Отец ещё довольно долго говорил о достоинствах высшего образования, снова присев на стул, а парень наблюдал за опустевшим меркнувшим небом. Где-то раз в полминуты он машинально переводил взгляд на отца, чтобы удостовериться его в своём внимании, которого на самом деле не было, и возвращался глазами и мыслями к небу. Отцовские слова казались ему всё менее значительными. Их важность умирала по мере нарастания их количества, а также по мере прихода ночи. В комнате синело, серело, чернело. Отца уже было жалко. Хотелось спасти его, исчезавшего, съедаемого чернотой.

— Поэтому из-за одной книжки (пускай и хорошей, не спорю) ставить жирный крест на всём своём будущем... — завершал отец почти уже в полной тьме. — Ну... это как минимум, опрометчиво.

Он уже без особенной надежды подождал ответа и, как обычно, не дождавшись, спросил:

— Хотя бы в этом ты согласен со мной?

Что-то помешало парню сказать “да”.

— Надо подумать, — произнёс он с трудом.

— Подумать? — перееспросил отец, как будто не поверив своим ушам.

Он нетерпеливо поднялся со стула и усмехнулся сам себе: — А я тут перед ним, дурачок, распинаюсь! — Он опять усмехнулся и внезапно вспыхнул: — В таком случае, думать будешь знаешь где? В армии — два года! Понял?.. Понял меня?!

— Понял.

— Хорошо, что понял...

Хлопнув дверью, отец вышел из комнаты.

Парень остался лежать в одиночестве. Ему казалось, что тьма, наполнявшая комнату, из домашней снова превратилась в больничную, но мысль о стихах почему-то не приносила той отрады, которую приносила в больнице; от них уже почему-то не веяло нездешним ветром.

— Плен, — произнёс парень слово.

На следующее утро родители услышали, как он накачивает на балконе колёса велосипеда. Они переглянулись и подумали об одном и том же: что желание прокатиться напрямую связано со вчерашним разговором и знаменует собой что-то хорошее, правильное.

Парень вытащил велосипед на улицу, оседлал его и сразу поехал легко, быстро, радостно.

“Как это я сразу не догадался?” — подумалось ему.

И вот он вырывается из синей тени, и солнце ударило в него. По обеим сторонам дороги распахнулось слепящее поле. Он резко берёт вправо и скачивается на извилистую тропинку, которая вытягивается вдоль кромки леса, кое-где отрезая от него по одному, по несколько деревьев. Велосипед дребезжит, подпрыгивая на сосновых корнях.

Парень здесь впервые; ещё дома он решил, что будет ездить только по незнакомым местам. Он щурится от солнца и думает о том, как здорово ехать и не знать, когда эта тропинка кончится и куда приведёт; скорее, он даже не думает об этом, а просто живёт этим, захвачен этим целиком, и совсем бы в этом исчез, если бы его щёки, вздрагивая при каждом наезде на корни, не напоминали ему о его лице, о том, что он — это он.

Здесь, между лесом и полем, пахнет по-другому: мёдом, сосновой смолой, тёплым песком и, кажется, маслятами.

“И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета”, — строчки появляются в голове не как отрывок стихотворения, а как пророчество, которое сбывается в эту самую секунду.

Он вспоминает свою вчерашнюю мысль, — что стихи делают идеальным неидеальный мир, — и понимает, что был неправ: стихи идеальны только потому, что идеален мир. Даже так: стихи уже содержатся в мире, только в особом, небуквенном виде. Поэт — это человек, который может их записать для людей.

Стихи уже есть... Его ладони моментально вспотевают и начинают скользить по ручкам руля. Он чувствует близость какого-то нового, ещё никем не записанного стихотворения. Он не может назвать из него ни строчки и даже не в состоянии сказать, о чём оно, и в то же время каким-то таинственным образом уже знает его целиком, ощущает его бесспорное, уже готовое существование, как будто эти сосны и это поле без перерыва поют это стихотворение, как собственный гимн, — надо только вслушаться и перевести его на человеческий язык. Какую-то долю секунды парень пребывает в совершенной уверенности, что эта задача элементарна, что гораздо сложнее ощутить само присутствие стихотворения, чем записать его, но уже в следующее мгновение он стоит перед страшным фактом: услышать и записать ничего не получается. Стихотворение есть, но его — нет.

“Снова плен”, — звучит в его голове.

Он начинает слепо, на ощупь составлять слова: “Поле. Солнце. Хвойный лес”, — но чувствует, что эти слова не выводят его из плена, что они — совсем не то, о чём поёт на самом деле всё вокруг. Он испытывает муки бессилия, которые не мешают ему одновременно испытывать счастье.

“Это хорошо, это здорово, что не сразу”, — говорит он себе и прощает себе бессилие, принимает его.

Внезапно он оказывается на берегу неширокой реки. Здесь тропинка, по которой он ехал, круто заворачивает влево и, отрываясь от кромки леса, становится полноценной грунтовой дорогой, старательно повторяющей речные изгибы.

Он слезает с велосипеда и, сделав глубокий вдох и сильный выдох, садится на берег в траву. Велосипедное движение ещё не успело прекратиться у него внутри, и кровь глухо постукивает в ушах, а в глазах от неожиданной остановки расходятся тёмные круги; наверное, сказывается больница.

“И это плен”, — чувствует он, поневоле выходя из очарования.

Здесь много мошкеры, от обильной травяной пыли чешется в носу, но никак не получается чихнуть; солнце накаляет череп навязчиво, неуклонно. На несколько долгих минут в душе парня воцаряется больничное послеобеденное бесчувствие. В эти минуты он — самый обыкновенный житель земли, которому незачем было вчера расстраивать отца из-за каких-то стихов, которому надо решать насущные проблемы, такие же душные, как эти минуты под безжалостным солнцем. Снова ему стыдно, что он настолько покорился стихам: что-то ему в этом видится детское или женское — явно не мужское.

Но кровь успокаивается, пот высыхает, дыхание становится ровным; небо милостиво проводит по самому солнцу маленькую стаю облаков, которые

дают ненадолго ощутить прохладу, — и вот он опять чувствует себя в окружении живого, говорящего мира и ожидает от него новых стихов.

На другом берегу одиноко стоит, касаясь ветвями воды, густая, похожая на круглое облако ива. Кажется, исходящая от неё прохлада ощутима даже на этом берегу. Дерево как будто беседует с ним этой прохладой. За деревом поле, а на самом горизонте — белоснежное пятно колокольни.

“И зеленело за рекой девичье поле пред глазами, и монастырь белел святой, с горящими, как жар, крестами”, — донеслось изнутри, а может, оттуда, издалека.

“Мир — это рай. Я в раю”, — думает парень, слыша гудение пчёл, стрекотание кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет маленьких птиц. Он уже любит это место так преданно и доверчиво, будто прожил на нём не несколько минут, а несколько лет, и так печально, будто вот-вот должен будет встать и разлучиться с ним надолго, может быть, навсегда. Он знает, что это место навсегда вложилось в его сердце, стало его милой внутренней родиной.

Щука, сказочно крупная, выплыла из-под кувшинок и обошла медленным дозором мелководье, с достоинством шевеля плавниками над светлым песком и не обращая внимания на мелких рыбок, штук пять из которых, не опасаясь стать её добычей, проводили её до глубины в качестве свиты и торопливо вернулись в стаю.

“Что со всем этим делать?” — недоумевает парень.

Он медленно, зачарованно встаёт, поднимает с травы велосипед и не садится на него, а осторожно ведёт его по дороге вдоль реки. Движение в нём умирилось. Настаёт покой. Он идёт, как самый простой путник, ходивший по этой дороге не раз, с той лишь разницей, что идёт он не по обычной земле, а по раю.

Река (а вместе с ней и дорога) совершает крутой изгиб, и на месте изгиба вода рябит и сверкает, как во сне.

“В небе тают облака, и, лучистая на зное, в искрах катится река, словно зеркало стальное...” — вспоминает парень и счастливо шагает дальше, ощущая кругом вечный праздник.

Глядя по сторонам, он замечает простую, но очень важную особенность этого места: ничто не выдаёт в нём современности. Здесь не слышно машин, не торчат из-за горизонта вышки или дымящие трубы; здесь даже не валяется под ногами броского, ядовито-разноцветного мусора, который безошибочно позволил бы определить эпоху.

“Это место могло быть точно таким же и сто, и двести лет назад”, — думает парень, и на короткое время ему представляется, и даже верится, что он чудесным образом прикатил на своём велосипеде в девятнадцатый век — Золотой век русской поэзии. И, может быть, прямо сейчас, и даже совсем неподалёку отсюда, Тютчев додумывает своё стихотворение:

“Чудный день! Пройдут века — так же будут, в вечном строе, течь и искриться река и поля дышать на зное...”

Он услышал эти строки, увидел их вокруг и спокойно, разве что с маленькой грустью, вернулся мыслями в своё столетие.

Из-за какого-то далёкого извива реки, заслоняемая прежде кустарником, показалась и задрожала в горячем мареве фигурка верхом на двух невесомых, как будто из тонкого хрусталя сделанных колёсиках. О том, что она движется, а не стоит на месте, поначалу свидетельствует только переменчивое сверкание колёсных спиц. Парень останавливается, замороженный картиной, похожей на мираж.

“И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...”

Парень с волнением готовится к уготованной ему важной встрече. Проходит не меньше двух минут, прежде чем ему удаётся разглядеть, что фигурка — женская; он не смог уловить то мгновение, когда это стало ему понятно, поэтому уверен, что это было известно ему с самого начала.

Точно так же неуловимо и изначально известно наступают в его жизни долгие золотые секунды, в течение которых он близко видит ту, что приближалась к нему издалека.

Это девушка в белой косынке, в белой футболке и фиолетовых трико, слегка запачканных краской и дорожной пылью. Из-под косынки на лоб и плечи выбиваются тёмно-русые гладкие волосы. Велосипед её — старенький, скрипучий, кое-где заржавленный, однако кажется весьма прочным из-за того, что девушка, сидя на нём, держит прямую осанку и поднимает свои красивые колени старательно и равномерно.

Парень стоит и неотрывно смотрит на девушку, забыв о том, что это может выглядеть не совсем вежливо, может даже испугать её.

Действительно, на лице девушки отражается волнение: по-особенному розовеют щёки, и смотрит она как-то умышленно не на парня, а на дорогу перед собой. На ровном месте руль её велосипеда неожиданно виляет в сторону, колени ударяются друг о друга, и, едва она оставляет парня позади, закреплённый на багажнике её велосипеда алюминиевый бидон соскакивает и падает в траву. Он громыхнул своей пустотой, и девушка, конечно, это услышала, однако, прежде чем остановиться, она выравнивает руль и отъезжает от парня довольно далеко; вероятно, первым, бессознательным её стремлением было поскорее покинуть это место, пожертвовав бидоном.

Парень видит, как неловко она теперь перетаптывается, пытаясь развернуться вместе с велосипедом, высокая рама которого осталась у неё между ног. На кого-то она в эту секунду очень похожа: то ли на маленькую девочку, которая пытается пройти в огромных маминых туфлях, то ли на какое-то морское животное — из тех, что так изящны в воде и так беспомощны и неповоротливы на суше.

Он бросил свой велосипед, быстро подошёл к бидону, поднял и, подбежав к девушке, протянул ей. Порозовевшая теперь всем лицом, не глядя парню в глаза, она быстро приняла его, суетливо и бессмысленно приставила к багажнику, быстро придумала, что бидон можно просто повесить на руль, повесила — и вот, сказав парню “спасибо” настолько тихо, что, может быть, и не сказала на самом деле ничего, уже едет, не оборачиваясь, дальше. Её велосипед не позволяет быстро набрать скорость, и парень наблюдает, как девушка, то и дело наклоняясь грудью к рулю, изо всех сил преодолевает сопротивление педалей. Но вот она уже довольно далеко, а вот и совсем далеко — уже едет вдоль леса, той самой тропинкой, по которой недавно ехал он: два крохотных хрустальных колеса, уже, скорее, не хрустальных, а сделанных из тонкой паутины, белая точка косынки и стихающее дребезжание бьющегося о руль бидона... И так это дребезжание уместно, не тягостно, нужно, такое оно летнее, полевое, напоминающее о пасущихся коровах, о молоке, — что, стихнув окончательно, оно всё ещё продолжает звучать в голове памятью, пока кузнечики, наконец, не заштриховывают его полосками своего неумолчного стрекотания.

— Господи... — говорит парень и снова садится на береговую траву, чувствуя, как и это новое место у реки навеки становится его милой родиной, вкладывается в его сердце.

По воде побежала рябь, сделавшая реку как будто шире, величественнее и отчего-то печальнее.

“Ты, земля, и вы, равнин пески...”

Он не может чему-то поверить: то ли тому, что эта девушка здесь была, то ли тому, что теперь её здесь нет.

“Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть своей тоски...”

Последние две строчки — о другом расставании, гораздо более печальном, чем расставание с девушкой, но парень чувствует, что они по-своему уместны и теперь.

Смягчилось, а потом и спряталось солнце, — кажется, надолго. Кузнечики примолкли. Рябь разгладилась. Воздух стал более нежный, как бы жалостливый к парню, готовый внимательно слушать его сердце. Над потемневшей водой бесшумно задвигались светлые мошки. Иногда одна из них ненадолго прилипает к реке и распускает на глади маленькие круги. Подрагивает в воде камыш — тоже бесшумно. Висит в воздухе блаженное, онемевшее летнее тепло.

— Как же я теперь без неё, — произносит парень в совершенную тишину. Он бросает в реку травинку, которая пронзает гладь с каким-то дождливым звуком, и падает спиной на пахучую траву. Ему теперь есть, *стало* о ком сказать: “Как же я теперь без неё”. И он произносит другие слова:

— Хорошая моя. Красивая. Как же я тебя люблю.

Он понимает, что это — большие, серьёзные слова; быть может, слишком большие и серьёзные, чтобы так запросто выпускать их в небо. Он ведь совсем ещё не знает жизни, он даже ни разу ещё по-настоящему не целовался. И всё же он отчётливо сознаёт, что имеет полное право на эти слова. Откуда-то ему известно, что, когда они произносятся впервые, они ещё не обязаны обладать своим полным весом; их первая задача — расправить, высвободить внутри человека правильное просторное место, которому ещё предстоит наполниться живой кровью. И парень продолжает творить, устраивать в себе это место:

— Милая, — произносит он. — Светлая. Любимая.

Ему кажется, что сегодня — самый первый день его жизни и что вся его жизнь будет похожа на этот день. Если бы кто-нибудь сейчас сказал ему, что такого счастья, как сегодня, он уже не испытает никогда: будет искать его — и не найдёт, будет жадно ловить его отблески, отсветы, дуновения, каждый раз обманываясь надеждой снова получить целое, а при слове “счастье” будет воображать лишь этот день, больше ничего, — он, конечно, не поверил бы.

Он мысленно оглядывается в прошлое, — быть может, впервые в жизни, — и ощущает страх оттого, что он мог так и прожить до самой смерти, не испытав того, что испытывает сегодня.

Он думает: как же он жил раньше? Неужели он никогда не бывал на природе, не видел красивых девушек? Бывал, видел, отвечает он себе. Просто он воспринимал всё это, как... как маленький ребёнок воспринимает деньги. Для ребёнка деньги — это простые бумажки с рисунками. Ребёнок не понимает, что эти бумажки не просто бумажки, что в них есть какой-то другой, небумажный вес...

Сравнение с деньгами кажется ему точным. Разве что в самом сопоставлении денег и прекрасного есть какое-то несоответствие. Ведь в наивном отношении ребёнка к деньгам тоже есть что-то возвышенное, чем можно восхищаться.

Парень понимает, что ему ещё только предстоит привести мир своих метафор в порядок — так, чтобы одно всегда сходилось с другим...

— Молодой человек, — долетает до него с дороги женский голос. На слове “молодой” сделано какое-то укоризненное ударение, будто голос намеревается напомнить о своих ущемлённых правах.

Парень привстаёт, оборачивается и видит толстенькую, коротко постриженную женщину с рюкзаком за плечами. На ней джинсы в обтяжку, показывающие, что она с удовольствием принимает своё тело таким, какое оно есть. За её спиной стоит, наверное, её дочь — девочка лет пятнадцати, худая, с очень миленьким, сладко красивым личиком и вьющимися распущенными волосами. На девочке голубые джинсовые шорты с бахромой и чёрная футболка с реалистичным изображением голубого единорога, который встал на дыбы в вихре звёзд. У обеих путешественниц руки на рулях одинаковых велосипедов, и смотрят они на парня одинаковыми ожидающими взглядами, как с фотоснимка.

— Молодой человек, — повторяет женщина. — У нас ЧП. Выручайте. Вот...

Она отступает на шаг, и дочь послушно выходит на передний план, а затем, после лёгкого толчка мамы, подвозит свой велосипед к парню. Парень встаёт с травы и тут же присаживается на корточки. Он видит, что с велосипедом всё в порядке, просто со звёздочки соскочила цепь.

Девочка принесла с собой запах фруктового шампуня и чистого тела. Ощувив этот запах, парень ненадолго поднимает взгляд от загорелых коленей девочки к её лицу. Девочка улыбается, — видно, что не ему и не о нём, а, наверное, просто от привычки улыбаться, оттого, что нет причин

не улыбаться. В такой улыбке тоже кроется красота. И даже в том, что девочка время от времени шмыгает носом и из-за насморка её аленький рот всё время приоткрыт, — тоже кроется красота.

— Могла бы она так же ехать по полю одна, как *та*? — быстро соображает парень. — Вряд ли. Скорее всего, мама не пустила бы её. Да она бы и сама не захотела. Ей было бы скучно одной. А *той* не скучно. *Той* хорошо с полем, с рекой, с самой собой. Господи. Какая она прекрасная. Неужели я её больше не увижу? Неужели мы не поговорим, не будем вместе?”

— Доктор, не томите нас, — говорит женщина. — Скажите: пациент обречён или есть надежда?

Девочка на секунду оборачивается к маме с той же улыбкой — и с той же улыбкой поворачивается обратно к парню.

— Вскрытие покажет, — подыгрывает парень женщине, вставая с корточек, и девочка снова на секунду оборачивается к маме; ей интересно узнать мамину реакцию на слова парня. При каждом повороте головы её волосы красиво вздымаются и опадают, напоследок коротко качнувшись из стороны в сторону. Быть может, она отчасти для того и вертит головой при каждом удобном случае, чтобы непрестанно рождалась от неё эта нехитрая, но действительная красота.

Парень приподнимает заднее колесо её велосипеда, зацепляет пару звеньев за звёздочку и, крутанув рукой педаль, моментально ставит цепь на место.

— Вот, в принципе, и всё. Жить будет, — выносит он заключение, быть может, лишь для того, чтобы ещё раз увидеть движение прекрасных волос, которое незамедлительно и видит.

— Ой, ну что бы мы без вас делали! — восклицает женщина с такой преувеличенной благодарностью, что сразу не верится в её серьёзность. — Такие люди, можно сказать, на дороге валяются! А чем вы, если не секрет, занимаетесь? Ну, то есть вообще, по жизни?

— Я художник, — отвечает парень, почему-то не чувствуя в своём ответе никакой лжи.

Снова стремительный взмах девочкиных волос.

— Худо-о-ожник? — женщина вытягивает своё круглое лицо, и опять невозможно поверить, что она действительно удивлена. — И можете починить велосипед? Ну, вы просто уникам! Вы кто по знаку зодиака?

— Стрелец, — отвечает парень не сразу, стыдясь немного, что знает о себе такие вещи.

— Стрелец! Так я и знала! Всё! Вы обязаны прийти к нам сегодня в гости. Правда, заяц?

Девочка снова совершает своё движение, на этот раз показавшееся парню уже немного навязчивым, и мелко кивает, как бы говоря: “Да, да, да, ты правильно поняла. Он классный”.

Внезапно женщина скрывает гадливую гримасу, удивительным образом сжимая все части своего лица в такую маленькую кучку, что и не разберёшь сразу, где у неё теперь нос, где рот, а где глаза.

— Ой, ну, я ведь уже умоляла тебя слёзно, кошечка моя, не шпындать носом! Что подумает художник? Что ты девочка-даун. У тебя же не написано на майке, что ты у меня свободно говоришь на английском и французском, занимаешься танцами и пишешь стихи.

Парень чувствует себя обязанным отдать дань удивления разнообразным способностям девочки. Выпятив нижнюю губу, он качает головой, как бы признавая: “Да. Ничего не скажешь — хороша”.

— Да, мы такие, — приближается женщина к дочери и, запуская пальтерню в волосы на её затылке, чешет её сильно, как зверька. — Умные, красивые. Только у дас дасборк и бы дебдожечко двигаеб дособ. Да, зайчон?

Теперь девочка смотрит с обворожительной, чуть наглой даже улыбкой прямо в глаза парню. Такое впечатление, что через руку матери ей передавалась недостающая для этого смелость.

Мать рассказывает спокойно, мирно, именно так, как рассказывают что-нибудь, глядя маленького домашнего питомца, который гнездится на коленях:

— У нас коттедж в СНТ “Черёмуха”. После церкви сразу налево и до плагбаума. Четырнадцатый участок на первой линии. Вы не перепутаете: там кругом одни сараи, единственный приличный дом — это наш. — Она смотрит на работу своей руки в волосах дочери, сильнее увлекается этой работой и начинает мощно массировать девочке шею. — Вот только съездим в город по делам... купим то-ортик... шампа-а-анского бутылочку... Правда, рыба?.. — она уже говорит с лёгкой одышкой. — А у нас хорошо... Малина... смородина... клубника ремонтантная... прудик свой... всё очень даже... часиков в пять приезжайте... всё увидите...

Вдруг она, как бы несколько раздражившись на дочь за тот лирический гипноз, в который невольно погрузилась, глядя её и массируя, толкнула ладонью девочку в шею.

— Так, всё, давай целуй художника — и поехали.

Тонкими пальцами девочка медленно убирает волосы за уши и, чуть вытянув голову вперёд, смотрит на парня с озорным стыдом.

— Давай, давай, не ломайся, — подбадривает мама. — Одной клубничкой нормального мужика в дом не заманишь. Мужчине нужно другое — сама знаешь, что.

Девочка протягивает к парню руки над рамой своего починенного велосипеда, берёт его ладонями под подбородок, словно собирается осторожно снять с него голову, притягивает его лицо к своему и прикасается губами к его губам. Парню начинает казаться, что она и вправду сняла с него голову.

— Так, не увлекаться, — словно приклеивает мама голову на место, и девочка медленно (“по-взрослому”, подумал парень) отрывает от него свои губы и отдаляет от него лицо. Глаза её как будто пьяны. Она снова проводит пальцами за ушами, хотя с волосами её ничего плохого не успело сделаться, и парню нравится бесполезность этого движения.

— Вот если приедет в гости, тогда оставлю вас вдвоём — будете целоваться, сколько захотите. А сейчас поехали. В женщине должна быть недоговорённость.

Мать и дочь синхронно садятся на велосипеды.

— По крайней мере, насморком мы его уже наградили, — балагурит напоследок мама, и, залиvisto смеясь, обе женщины, большая и маленькая, трогаются с места.

Когда они набирают ход и отъезжают достаточно далеко, девочка стремительно оборачивается и смотрит на парня с победной улыбкой, будто он — смешной снеговик, которого она только что слепила. Ей, несомненно, доставляет удовольствие, что парень всё ещё стоит как вкопанный, глядя ей вслед, и она ещё раз два оборачивается, чтобы снова получить это удовольствие, а заодно и взмахнуть лишний раз волосами.

Потеряв их фигуры из виду, парень поднимает с земли свой велосипед и медленно продолжает вглядываться в путь вдоль реки. На губах его будто осталась вмятина от губ красивой девочки, как если бы его губы были из воска, а её — из горячего металла.

“...Будете целоваться, сколько захотите”... При воспоминании об этих словах по телу его пробегает дрожь.

“Одни, без всех, — произносит он про себя совершенно безвольно, — где-нибудь в листьях, на качелях, долго, сколько захотим”.

Он с опасением вглядывается в себя и проверяет, что теперь стало с *той* — милой, любимой, светлой, — и с облегчением видит, что она никуда не исчезла.

И снова в окружающем мире чувствуется присутствие ещё никем не написанных стихов. Это стихи о *ней*. О ней теперь стало гораздо легче говорить, потому что появилась *другая*, а вместе с ней и все *другие*, которые ещё будут.

— “В чужих объятьях забывал...” — бормочет парень, не понимая, что говорит вслух. — “Но ты... ты и тогда была со мною... Как будто на меня смотрели твои печальные глаза... Всё испытал и разуверюсь... Я снова на исходе дня... ересь... вереск... надеюсь... Не знаю, примешь ли меня...”

“Нет, слишком много всего, — понимает парень. — Чуть поменьше. Сегодня надо просто... прожить. Это только начало”.

Он внимательно смотрит вокруг. Странное освещение настало в природе. Там, наверху, наверное, сильный ветер: облака стремительно пролетают мимо солнца, то и дело скрывая его, и по тёплому полю прокатываются их могучие тени. Кажется, что это не тени облаков, а самостоятельные облака земли.

Ивы и кустарники показывают бледную изнанку листвы, и не то с неба, не то с реки обрызгивают парня холодные капли. Сухой травяной клубок катится за ним вдогонку и, едва поравнявшись с человеком, смиренно распадается на отдельные стебли. Парень садится на велосипед и едет.

Едет он долго, неотступно следуя за прихотливыми изгибами реки и наблюдая за тем, как храм, бывший вначале далёким белым пятном, вырастает, обретает всё более подробные очертания. Парень начинает видеть протянувшееся от храма село, потом видит деревянные леса, которыми обстроена колокольня. А вон пёстрое, густо заставленное крестами кладбище. А вот деревянная хозяйственная постройка, чернеющая дверным проёмом и окружённая россыпью опилок и колотых дров.

Оказывается, храм стоит на другом берегу реки. С этого берега к нему перекинут ветхий дощатый мост. Парень идёт по мосту и останавливается над рекой. К опорам прибились водоросли, и можно очень долго смотреть на то, как их треплет течение.

Снова воцарилась тишина. Приходит сонное, самое жаркое время дня. Редкие облака двигаются по небу медленно, лениво, не пересекая солнце. Всё стало настолько горячим и ярким, что потеряло цвет и кажется обморочно-тёмным.

Высокий священник в чёрном подряснике бодро выходит из храма и останавливается возле человека в тёмной, совсем не летней одежде, опершегося на черенок какого-то хозяйственного инструмента. Человек, видимо, ждал священника. Оба оживлённо жестикулируют, о чём-то спорят, как вдруг священник движением руки зовёт к себе парня. Парень вопросительно показывает пальцем себе на грудь, священник кивает: “Да, ты”, — и уверенно повторяет зовущее движение.

Парень подкатывает велосипед к беседующим.

Священник — черноволосый и чернобородый — осеняет парня крестом, кладёт большую тяжёлую ладонь на его голову.

— Вот тебе будет помощник, Матвейка. До всенощной стожок соберёте. Как ты, брат? Не возражаешь потрудиться во славу Божию? — обращается он к парню, только сейчас убрав руку с его головы.

Парень медленно пожимает плечами.

— Или есть дела поважнее? — без осуждения спрашивает священник.

— Да, в принципе, нет.

— Ну, и спаси тебя Христос. Сейчас Матвейка тебя снабдит инструментом — и за дело. С Богом, ребята.

Он уже направляется к хозблоку, по дороге снимая с себя подрясник и становясь крепким широкоплечим мужчиной с красивой узкой талией, в майке, заправленной в коричневые шерстяные брюки, в ременные петли которых почему-то продета верёвка. Парень остаётся наедине с Матвейкой.

Матвейка — человек неопределённого возраста с изувеченным лицом. Одну его глазницу, в которой то ли есть, то ли нет глаза, целиком закрывает набухшая оттянутая бровь. Нос как будто вбит в лицо двумя ударами топора и выдаётся на конце одной единственной, да и то набок скошенной кнопкой. Нижняя губа тоже скошена, причём в противоположную от кнопки сторону, и налезает на верхнюю, выворачиваясь глянцевой розовой изнанкой. Кожа у Матвейки коричневая, как подгнившая груша, и в складках её местами что-то белеет. Только волосы у него на удивление здоровые, густые, разве что серые от седины и растрёпанные, как перья старой птицы.

Он всё ещё опирается на грабли и еле заметно мотает головой, глядя на то, как священник копается в темноте хозблока с бензопилой. Единственный его видимый глаз напоминает одинокое крохотное оконце в стене уродливой

башни, по скупому свету которого только и можно судить, что внутри этой башни ещё теплится какая-то жизнь.

— Да-а... лихо-ой поп Андриюшка, — шамкает он слова с бульканьем на многих звуках, сплёвывает в сторону паперти и, опершись на грабли сильнее, по-деловому ставит ногу на ногу. — Хочет всё — и сразу.

— Там сказали про какой-то инструмент, — тихо напоминает парень, почему-то боясь огорчить священника затянувшимся бездействием.

— Да погоди ты, не убежит, — Матвейка напряжённо сплёвывает ещё раз, не переставая наблюдать своим глазком-окошком за действиями священника. Он медленно закрывает и открывает этот глазок, и тогда парень замечает на его верхнем веке полустёртую татуировку, неизвестно что изображающую.

Наконец, священник отвлекается от починки бензопилы и с удивлением обнаруживает, что его рабочие не сдвинулись с места.

— Вы чего? — спрашивает он без злобы, распрямляясь в дверном проёме.

— Как же я ему грабли дам, батюшка, если вы их сами после службы Серафиме отдали?

Когда Матвейка пытается говорить громко, его бульканье заметно усиливается и почти бесследно растворяет в себе слова. Но отец Андрей понимает его мысль.

— Серафима... Серафима... Милая моя... — приговаривает он задумчиво, то хватая, то отпуская свою угольную бороду. — Забрала ты, бабушка, грабли у меня...

Посреди размышления он одаривает Матвейку коротким пронизательным взглядом, как бы удивляясь уважительно его таланту оттягивать начало работы так, что не придерёшься. Но и парню, и Матвейке ясно, что без работы они не останутся, что священник найдёт выход из положения.

— Хорошо...

Он скрывается в хозблоке, чем-то довольно долго там гремит и наконец выходит на улицу с новенькими граблями в руке. Грабли эти — необычные, крашенные, сделанные в виде веера из тонких полосок стали.

— Вот. Матушкины. Прошу не ломать — ибо убьёт. Причём не вас, а меня.

Новые грабли вручаются Матвейке, а Матвейкины переходят к парню. Почесав голову и не найдя, что ещё сказать, батюшка возвращается к бензопиле. Матвейка, не говоря парню ни слова, отправляется к месту работы. Парень оставляет велосипед и идёт за ним.

Они идут сквозь кладбище. Матвейка спокойно продолжает сплёвывать по сторонам, иногда попадая на чью-нибудь могилу. Парень начинает думать, что только безысходность, только животная жажда выжить могли прибить этого человека к храму. Парень оборачивается к храму: здание видится ему таким же угрюмым и тесным, как жизнь Матвейки.

“Плен”, — вспоминает парень, однако продолжает покорно следовать за сутулой Матвейкиной спиной.

Кончается кладбище, за которым — поле. Одно от другого отделяют растущие в ряд ивы, высокие, посаженные, видимо, очень давно. Под одну из них Матвейка тут же садится, положив грабли на кучку кладбищенского мусора. По хорошо примятой траве видно, что место это насиженное. Матвейка долго рассматривает свой инструмент, а затем изрекает со своим бульканьем:

— Это разве грабли? Спиночёска какая-то.

Парень улыбается.

— Есть чё покурить? — забывает о граблях Матвейка.

— Не курю, — разводит руками парень.

Матвейка достаёт из внутреннего кармана рабочей куртки мятую пачку и достаёт из неё последнюю сигарету. Кидаёт скомканную пачку в поле, закуривает.

— В такую жару разве можно работать? — спрашивает он кого-то и, выпустив дым разом из кривого носа и кривого рта, сам отвечает: — Если только на зоне.

Заводится за кладбищем бензопила и начинает нудно реветь. Матвейка затягивается часто, чтобы как можно меньше дыма ушло в воздух, миновав его лёгкие.

— Я б такой, чтобы дёрнуть отсюда.

— Куда? — спрашивает парень.

— Куда... — передразнивает Матвейка. Сигарета уже выкурена, он отворачивается и выдвигает на уголёк слюну и кидает окурочек туда же, куда кинул пачку. — Есть места...

— А что удерживает?

Парень думает, что Матвейка передразнит и этот его вопрос, но Матвейка не так предсказуем.

— Кормёжка удерживает, койка удерживает, — отвечает он обстоятельно и серьёзно, видимо высказывая парню то, что высказывает сам себе по многу раз на дню. — И лавэ на билет Андрюшка обещал.

Вдруг Матвейка воровато оглядывается по сторонам, похожий на маленького хищного зверя, в каждом движении которого сказываются одновременно две заботы — поймать добычу и самому ею не стать. Убедившись, что всё тихо, он запускает руку в кладбищенский мусор и извлекает оттуда полуторалитровую пластиковую бутылку, заполненную на треть чем-то прозрачным и бесцветным, как вода. Встряхивает жидкость, отвинчивает крышку и делает глоток. После глотка надувает щёки, отчего кривая нижняя губа выворачивается ещё сильнее. В завершение уютно причмокивает.

— На, — предлагает он бутылку парню, не протягивая руку слишком далеко; видимо, одолжение и без того не по чести большое.

Отчего-то парень чувствует, что отказ невозможен, и, нагнувшись к Матвейке, принимает бутылку. Он боится оскорбить этого человека, протерев горлышко бутылки майкой, и, чтобы победить брезгливое чувство, бездумно, не разбирая вкуса, делает несколько больших глотков.

— Э, э... — останавливает его Матвейка.

Парень отрывается от бутылки и лишь теперь понимает, что он только что впервые в жизни выпил крепкого, горючего алкоголя. Он чувствует во рту обильный приток слюны, сдерживает рвотный спазм, а затем с моментальным облегчением ощущает, что тело приняло напиток. Жара, царящая в природе, теперь воцарилась и внутри. Глаза парня, которые как-то сразу расслабились и затуманились, ищут прохлады и находят её рядом с Матвейкой, с самого начала мудро избравшим место под деревом. Парень хочет подсесть к нему, хочет, быть может, даже пооткровенничать с ним, положить ему руку на плечо, доказав, что ничуть не брезгует им, но, как ни странно, именно в этот момент Матвейка поднимается, чтобы приняться за работу.

— Надо побатрачить, — говорит он, презрительно потряхивая своей "спиночёрской". — А то без курева тоскливо совсем.

Он удаляется в поле и сразу, будто не начал, а продолжил давно начатое дело, принимается за работу. Трудится он не очень складно, не так, что залобуешься, и всё же движения его полны уверенности. Видно, что жизнь приучила его браться без раздумий за самые разные виды работ, хоть ни в одном из них, наверное, не позволила ему по-настоящему преуспеть.

Парень оглядывает прямоугольный участок поля со скошенной травой, которую предстоит убрать, и понимает, насколько нестрогий человек отец Андрей и насколько смешной человек Матвейка: участок совсем маленький, двадцать на двадцать метров, не больше.

Чтоб не мешать Матвейке, парень удаляется в дальний от него угол участка и тоже начинает возить граблями по полю. По примеру Матвейки он собирает траву в кучки, кучки сгребаёт в охапки, а охапки сносит в середину участка, пополняя таким образом стог.

Вскоре хороший трудовой пот покрывает его тело, как смазка, необходимая для полноценной работы механизма, и парень трудится с блаженным отсутствием мыслей, не задумываясь о том, что делает, но делая всё правильно. С каким-то замороженным интересом он слушает своё дыхание, то попадающее в такт его движениям, то выпадающее из такта. Погружаясь в работу ещё безогляднее, он замечает, что при выдохе слегка округляет губы,

тем самым достигая глухого, не до конца прорезанного свиста, при помощи которого исполняет себе какую-то глупую, случайно привязавшуюся мелодию.

Он мимоходом оглядывается на Матвейку и не может сдержать улыбку, видя, как тот со смешной яростью обрушивает свою “спиночёску” на поле и, видимо, подыскивает про себя новые язвительные имена для этого инструмента.

Через несколько минут, оглянувшись на Матвейку ещё раз, парень видит его неподвижно стоящим в поле. Руки Матвейки осторожно сложены на верхушке черенка — хорошенько опереться на грабли ему не даёт предупреждение отца Андрея.

Неожиданно парень чувствует к Матвейке то же самое, что он чувствовал к тем местам у реки, где ему сегодня приходилось останавливаться: этот человек уже не чужой ему и никогда не будет чужим, он навсегда отпечатался в его сердце и тоже стал его милой родиной. Парень снова ощущает рядом присутствие стихов — каких-то новых, не о любви, не о лесе, а, наверное, просто о человеке, — но он уже не пытается услышать слова этих стихов. Ему достаточно знать, что стихи есть, что они снова рядом.

— Не гони, — говорит Матвейка, скупым движением убирая пот с набухшей уродливой брови. — Работа не волк. Раньше сделаем — Андрюшка ещё что-нибудь придумает.

Парень неосознанно перенимает Матвейкину позу. Видимо, Матвейка с удовольствием присел бы сейчас под деревом и закурил, но поскольку сигарет нет, он решает ещё поговорить.

— Так-то нормальный мужик Андрюшка. Я его *так* называю про себя. (Какой он мне отец? Это *я* ему в отцы гожусь). Никогда не крикнет. На сигареты даёт. Что, говорит, с тобой сделаешь, Матвей Семёныч, с курякой. Только, говорит, если узнаю, что вино покупаешь, больше давать не буду. — Матвейкино лицо преобразается в нечто, что означает улыбку. — А я и не покупаю. Мне Серафима самогон приносит. Я у неё на огороде тоже помогаю, вот она и даёт. Она вдова, давно муж помер. Оставайся, говорит, у меня. Я уж не женщина, да и ты не мужчина. Так, говорит, будем друг друга подпирать.

— А ты что?

Парень думал обращаться к Матвейке на “вы”, а почему-то сказал “ты” и понял, что сказал правильно.

— А я что... — не передразнивает, а просто подхватывает Матвейка. — Спасибо, говорю, Серафима. Только это в тебе что-то не твоё говорит. Не верю я, чтобы тебе такое чучело в доме понадобилось. Что-то здесь, говорю, не так. Хочешь Боженьке услужить, наверное. Грешки замолить. Не-ет, говорю, не пойдёт, извини. Какой я ни есть, а я не пёс, чтоб меня с дороги подбирать. Мне свой, собственный угол нужен.

На словах “свой, собственный” Матвейка два раза тихонько бьёт себя в грудь, и лицо его моментально холодеет от достоинства, причём происходит это за счёт какой-то неуловимой перемены в его одиноком глазке.

Он берётся за грабли и потихоньку пробует ими землю, вроде бы возвращаясь к работе. Парень поступает так же, однако Матвейка снова отставляет грабли, и парень снова невольно повторяет за ним.

— Знать бы только, жив он или нет, в тюрьге или на свободе, — задумчиво булькает Матвейка.

— Кто *он*?

— Сын мой. Такой же вот, как ты. Только старше лет на пятнадцать. Может, он и говорить со мной не станет. Плюнет мне в рожу — тьфу, скажет, не отец ты мне — и весь базар.

Бензопила за кладбищем умолкает. Парень чувствует, как день начинает медленный поворот к вечеру. Он чувствует это по слабому рыжеватому оттенку, который вкрался в белизну колокольни, несмотря на то, что небо всё ещё полуденно голубое, без единой вечерней краски, а ещё по особому необъяснимому умиротворению, вдруг разливавшемуся в воздухе. Всё вокруг как будто перевело дух, вытерло пот со лба и сказала: “Ещё не конец, но самое трудное уже позади”.

Не сговариваясь, собеседники разбредаются по своим углам и начинают заново входить в работу. Это даётся сложнее, чем в первый раз: пот уже как будто весь вышел и движения выходят сухие, одиночные, несмазанные, но в целом работается приятнее, потому что пламя жары отошло и большая часть работы уже сделана.

Наконец заброшены на стог последние охапки. Стог — парню по грудь, Матвейке по шею. Оба любят результат работы — горой сена и убраным, гладким участком поля.

Неожиданно возникает из недр кладбища отец Андрей. Брюки у него жёлтые от опилок, в руках — два белых пластиковых стаканчика с чем-то тёмным внутри.

— Сдружили? Вот молодцы! Спаси Христос! — благодарит он работников и вручает каждому по стаканчику. — Витамины за труд.

Парень смотрит в стаканчик — там черника, крупная, как бы покрытая инеем.

— Изжога у меня от неё, — капризно объясняет Матвейка, будто уже не в первый раз.

— Изжога у тебя от другого, — говорит священник. — Ешь.

Он ухватывает из Матвейкиного стаканчика щепотку ягод и, задрав голову, закидывает их разом в свой белозубый красивый рот.

— Черники в этом году... — сообщает он, жуя. — Стрекоза Андревна целый жбан за полтора часа набрала. И ещё поехала...

Чему-то вздохнув, он направляется в сторону храма и договаривает, уже как бы себе самому:

— Прогульщица. Опять одним старухам всенощную петь...

Парень забрасывает чернику по одной яголке в рот, смотрит священнику вслед и как будто продолжает слышать его голос. Этот голос хочется слышать ещё. Так приятно, что священник говорил с парнем и Матвейкой, как с близкими, важными людьми. Эта его неуместная доверительность, то ли женская, то ли детская, никак не сходится с его мужественным обликом.

Парню нравится отец Андрей.

— Давай, — говорит Матвейка и протягивает руку, чтобы забрать у парня грабли. — Сейчас отнесу — пойду в село сигареты стрелять. Без курева повеситься можно.

Он уходит дорогой отца Андрея, скрываясь среди крестов и оград.

Парень не знает, что ему теперь делать. Подумав, он решает вернуться к своему велосипеду, но не кратчайшим кладбищенским, а другим путём — обогнув храм полем.

Он поднимает голову, смотрит на храм и испытывает одновременно два непохожих ощущения. Одно — что перед ним довольно жалкое здание: штукатурка, облупившаяся местами до кирпича, леса, похожие на аппарат Елизарова (он видел такой аппарат на ноге у одного человека в больнице). А другое — что перед ним инопланетный космический корабль, в котором всё, что кажется созданным просто так, для красоты, на самом деле имеет какое-то гораздо более важное, таинственное назначение.

По пути он видит усыпанную щебнем дорогу, в конце которой виднеется красно-белый шламбаум, и видит за этим шламбаумом солидную черепичную крышу дома “на первой линии”, выдающуюся из ряда низких и заржавленных дачных крыш. Почему-то при мысли, что он может сегодня оказаться в этом доме, ему становится не по себе. Он поскорее уходит от этой дороги и через минуту оказывается у раскрытых дверей храма, недалеко от которых лежит его велосипед. И что-то заставляет его войти в храм.

В храме прохладно, пусто, сумеречно. Стены без росписи, и икон на них совсем немного. Несколько старушек стоят в разных концах у подсвечников, что-то непрестанно и бесшумно делая со свечками и лампадками. Парень выбирает место поближе к дневному свету, неподалёку от маленького вытянутого окна, прямоугольного внизу и полукруглого сверху.

Из алтаря раздаётся голос священника, и, словно проснувшись, ему откуда-то сверху отвечают вразнобой дрожащие старушечьи голоса:

— А-минь...

Не сразу и понятно, что это было пение.

Священник снова что-то произносит (или поёт?) и просто, как из дома, выходит из далёкого алтаря, звеня дымящимся кадилом и сверкая облачением.

Старушки-прихожанки сходятся к центру храма. Парень считает их — их всего восемь. Одна подманивает его рукой, призывая стать девятым в их кучке. Он повинуется.

Внезапно начинается довольно стройное пение. Оно будто не церковное, а простое народное. До парня доносятся слова:

— Благослови, душе моя, Господа... Благословен еси, Господи... На горах станут воды... Дивна дела Твоя, Господи...

Эти “горы” и “воды”, о которых поётся в тихом неподвижном сумраке, создают в душе парня какой-то особый, неизвестный ему прежде уют. Он как будто видит весь мир изображённым на детском рисунке.

Отец Андрей обходит храм, наполняя его ароматным густым дымом. Парню кажется, что Господь, создавая мир, тоже мог пользоваться таким дымом: вот совершенная чернота, нет ничего; вдруг появляется этот дым — и когда он рассеивается, уже видны земля, небо, деревья, звери, “горы” и “воды”.

— Посреде гор пройдут воды... Дивна дела Твоя, Господи... Вся премудростию сотворил еси... Слава Ти, Господи, сотворившему вся...

Парень крестится вместе со старушками. Священник возвращается в алтарь, старушки расходятся на свои посты у подсвечников, парень отправляется к своему месту у окна.

Вскоре он слышит новое песнопение, почему-то уже совсем не такое уютное, как первое.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... — скорбно затягивают старушки, дрожа голосами, как треснутые скрипки. — Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя...

На словах “погибнет” и “со страхом” старушки у подсвечников крестятся и кланяются с особым усердием.

Парень пытается связать это песнопение с первым — и не может. Ему непонятно, почему Бога, который с такой любовью создал “горы” и “воды”, надо бояться и почему чей-то путь должен погибнуть.

— Свете тихий... — слышит он новое и сосредоточенно затихает, надеясь именно в этом песнопении найти связь между двумя предыдущими. Не все слова ему удаётся расслышать, а из тех, что удаётся расслышать, не все ему понятны. Но вдруг одна фраза выстреливает из пения и сразу застревает у него в сердце:

— Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний...

Он взглядывает в окошко, у которого стоит, и видит за ним мир, ограниченный оконным проёмом, как картина — рамой. В округлом верху этой картины пухлые неподвижные облака, уже успевшие порозоветь, внизу — вечернее поле со множеством розовых тропинок, с пушистыми деревьями, сверкающей мошкаррой, — и где-то совсем вдалеке пасутся пятнистые коровы.

“Знаю я, что в той стране не будет этих нив, злзтзхзхзх во мгле...”

Внезапно до парня доходит какой-то горький, похоронный смысл всего существующего, а вместе с ним и знание, что без этого смысла невозможны и стихи.

Он сразу начинает беззвучно рыдать. Плечи его прыгают, как не принадлежащие ему. “Что со мной?” — спрашивает он себя, не в силах остановиться. Никогда раньше рыдание не действовало в нём настолько самостоятельно, независимо от него.

Не понимая толком, что делает, он выходит, почти выбегает из храма. Тёплый уличный воздух сразу успокаивает его, и тогда он догадывается, что, быть может, следовало остаться. Но вернуться уже очень сложно, почти невозможно.

Из пелены слёз выплывает сидящий на корточках темнолицый Матвейка. Глаза парня высыхают.

— Ты чего? — спрашивает Матвейка.

Парень стыдливо пожимает плечами.

— А-а... — понимает Матвейка — Прошибло? — Он слёвывает, и парень видит, что перед ним наплёвана уже целая лужа. — Меня вот только никак не прошибёт...

Матвейка закуривает.

Парень вглядывается в день, смотрит на небо. На небе не видно ни облака — и всё же оно не ясное, не голубое. В тёплом воздухе застыло ожидание.

— Что-то будет... — понимающе говорит Матвейка и кивает на пиленные и колотые дрова. — Придётся всё в сарайку сносить.

Видимо, Матвейка уверен, что и это дело они будут делать вместе, но парень уже не слышит его: взгляд его направлен в сторону мест, которые предстали перед ним в окне храма. Шапки ив заслоняют обзор, ему хочется пойти и отыскать то окно со стороны улицы, чтобы повернуться к нему спиной и снова взглянуть на эти места. Но он не идёт, потому что боится не увидеть того, что видел. Он почти уверен, что не увидит этого.

Он поднимает с земли велосипед и медленно, придавленно движется к мосту.

— Уходишь? — спрашивает Матвейка и сразу одобряет: — Правильно. Я тоже дёрну, как смогу.

Парень переходит мост, садится на велосипед и едет.

Отъехав достаточно далеко, он оглядывается и видит храм таким, каким уже видел его, подъезжая. Храм стоит молчаливо, как и тогда, но теперь парень знает: там, внутри, продолжается сумеречное и терпеливое общение людей с непостижимым, странным, божественным. Ему становится на мгновение горько, что он не с ними; может быть, сразу после его ухода под сводами храма зазвучали те слова, которые могли бы утешить его, многое ему объяснить.

А ещё теперь ему известно, что где-то там, возле большого, вросшего в землю белого тела храма, вращается малая точка Матвейки — отдельного человека, с которым он сегодня был рядом.

Он снова глядит перед собой. Тёмно-серое выдвигается ему навстречу из-за горизонта и быстро растекается по бледному небу. В то же время поле занимается сказочным оранжевым светом. Парень оглядывается и видит в небе невероятную золотую трещину, из которой льётся этот свет.

Он едет чуть быстрее и замечает, как отдельные полевые растения пошевеливаются тут и там в первой предгрозовой тревоге. Река почернела, перестала отражать небо. Кажется, что она загустела и застыла, как кисель.

Ослепительно ярко загораются впереди два медальона лиц и два велосипедных руля. Так красиво... Можно подумать, что это степные кочевники едут верхом на буйволах. Но парень догадывается: “Это они”.

Расстояние быстро сокращается. Так и есть, они. Он замечает, что волосы у обеих мокрые.

Они притормаживают, он вынужден остановиться тоже. На лицах женщин один и тот же след только что полученного и ещё не утихшего удовольствия.

— Эх, художник, — говорит мама, взбивая ладонями свои короткие обвисшие от влаги волосы, — на такую ты картину чуть-чуть не успел! Мы сейчас там с Алисой около леса купались... — она перегибается через руль и добавляет шёпотом, как бы по секрету: — Голенькие!..

Алиса смотрит на парня бесстыдными смеющимися глазами. Лицо её светится, горит от заката.

— Ну, то, что я была голенькая, — продолжает женщина, беря под ладони свою маленькую, как у толстого мужчины, грудь и как бы взвешивая её под футболкой, — это мы опустим. Это зрелище не для слабонервных. Но эта... — она целует пальцы, собранные шепоткой, и расщепляет их в небо. — Водяная лилия! Русалка! Сирена! Вы художник — вы просто обязаны

нарисовать её обнажённый портрет! А знаете, как она по вас скучала? Мммм! Аж дрожала вся!..

Женщина смешно изображает дрожь, а парень начинает дрожать всерьёз.

— Ну — смеялись уже, — переводит женщина сама себя на деловой лад и подвигается с велосипедом вперёд. — А то щас ливанёт — а я, вообще-то, больше мокнуть не планировала. — Вдруг она пристально, но снова видно, что несерьёзно заглядывает парню в глаза: — Я надеюсь, вы сообщили, кому надо, что останетесь ночевать в гостях?

Парень понимает, что сейчас должно будет произойти что-то неудобное. Он принуждённо улыбается и бормочет:

— Да вот... Оказалось, что надо мне ехать срочно. Извините, я...

Он резко надавливает всем весом своего тела на педаль, буксует задним колесом и, протиснувшись между Алисой и её мамой, начинает работать ногами страшно, до боли в икрах, чтобы не видеть, не слышать, забыть.

— Художник! — всё-таки слышит он за спиной. — Вы куда?!.. Что с вами, художник?!.. Художник, а вы случайно не голубой?!.. Или художники все голубы-ы-ые?!..

Она неестественно хохочет и выкрикивает что-то ещё, но парень уже не может разобрать слов. Ему кажется, что эти слова раздаются не позади, а откуда-то снизу, как будто он обрубил канат воздушного шара и стремительно уносится ввысь от бессильных преследователей.

— Какой ужас... простите... до свиданья... — продолжает он бормотать и крутит, крутит педали...

Несколько минут спустя он, наконец, сбавляет ход и оглядывается — никого не видно.

Впереди уже виднеется родной лес. А вот то место, где он лежал сегодня после встречи с ней. Это место не узнать: оно золотое, а за ним совершенно чёрная река.

“Сфотографировать — никто не поверит”, — думает парень.

Вдруг золотой свет гаснет, завораживающая, но изнурительная борьба света и тьмы прекращается, и в целом становится как будто яснее, светлее, хоть и темно, конечно, перед грозой. Парень чувствует себя простой частью природы, которая ожидает дождя. Он прольётся уже очень скоро.

Тёплый дорожный песок издаёт свой сгущённый запах. На несколько секунд в воздухе устанавливается духота, которая кажется нестерпимой, и тут поле вспыхивает белым светом, река на миг становится ртутной, а затем пропадает в черноте, гром ударяет так сильно, что его слышно не столько ушами, сколько грудью, — и дождь принимается за работу сразу, без разгона.

Сухой дорожный песок моментально мешается с уже промокшим, по дорожники трясутся под ударами воды и блестят, как кишащие лягушки. Кажется, что за счёт влаги, которую они жадно впитывают, они стремятся поскорее стать чем-то большим, чем растения: лягушками, потом зверями, потом, может быть, людьми.

Майка облепляет парню спину — и неприятно, и хорошо, и холодно, и тепло; не поймёшь. Вода давит на тело ощутимой тяжестью, её в воздухе немногим меньше, чем самого воздуха. Уже почти невозможно ехать, колёса вязнут в грязи, да и не видно ничего, как на испорченной видеоплёнке, изображающей только переменчивые рисунки царапин.

Наконец-то, лес. Почему он не увидел в первый раз это маленькое сооружение из бетонных блоков, от которого отходит в сторону реки ржавая толстая труба? Наверное, потому, что оно немного в глубине, а ещё потому, что он вообще мало что видел тогда.

Он оставляет велосипед под бетонным козырьком и заходит внутрь. Здесь повсюду следы человека: жестяные банки, бутылки, тряпки, испражнения, неприличные надписи на стенах. Парень расчищает ногой место на бетонном полу, садится туда и смотрит в проём на улицу. Он видит благородные сосновые стволы в ливневом дыму. Он примеряет к тому, что видит, тютчевское стихотворение про майскую грозу, и с радостью понимает, что здесь совсем не то, — и вовсе не из-за того, что сейчас июль, а из-за того, что каждая гроза для каждого места и каждого человека имеет своё стихотворение.

— “Я в бетонной будке... — сразу ухватывается парень за уникальное, особенное, и окончание строки прилетает само: — *среди рая*”.

Он совмещает:

— “Я в бетонной будке *среди рая*...”

Ему очень нравится. Он чувствует, что ещё должен позаниматься обстановкой будки.

— “*Сидя на загаженном полу...*”

“Если это рай, то почему пол загаженный?” — находит он противоречие, но чувствует, что это противоречие хорошее, что оно должно остаться.

— “*Райский дождь сию переживаю...*”

Он торжествует, впервые ощутив себя настоящим поэтом, но его торжество тут же обрывается, когда он находит запрятанную в строчках ошибку: “сидя, сию” — масло масленое. Ему надо идти дальше, а приходится застревать на месте.

Внезапно в проёме появляется она — та девушка. Она взглядывает на него — и не заходит внутрь, остаётся с велосипедом под козырьком. Парень сразу отодвигает стихотворение вглубь себя — отодвигает осторожно, как отодвигают свечу, боясь, что она погаснет, — и смотрит на девушку. Он видит только одну её ногу в тряпичном голубеньком кеде, руку, плечо и профиль. Он понимает, что не заговорит с нею; мало что на свете так же невозможно, как это. Но уже одно то, что она увидела его и приняла решение остаться рядом, даёт ему нечто гораздо большее, чем разговор и даже чем поцелуй.

Девушка снимает с головы косынку (это не платок, а обычный отрывок какой-нибудь простыни с отделившимися по краям нитками), выжимает её и куда-то откладывает. Потом она красиво, просто выжимает волосы и убирает их в хвост. Сделав эти два дела, она, кажется, ищет, чем бы заняться ещё, и быстро находит себе новое занятие. Она исчезает из виду, до парня доносится знакомый, хоть и чуть более глухой, чем тогда, на поле, стук бидона о велосипед, и вот он снова видит её: она задумчиво, но вместе с тем очень ловко забрасывает в рот ягоды. Она смотрит на дождь, но видно, что ягоды занимают её куда больше.

“Любит ягоды...” — любитесь парень, улыбаясь.

Дождь стихает. За стволами проясняется поле. Девушка снова исчезает, на этот раз довольно надолго. В проёме виднеется краешек колеса её велосипеда: это говорит о том, что она ещё здесь, рядом.

Но вот исчезает и колесо: теперь ни велосипеда, ни девушки. Только какая-то белая тряпочка выглядывает внизу.

“Если это её косынка — значит, она ещё, наверное, не уехала, — рассуждает парень. — Или забыла?..”

Он тихо встаёт и медленно подходит к проёму. Никого нет. На бетонном пороге лежит аккуратно расправленная косынка, на которой рассыпана черника, много черники.

Парень медленно, как бы боясь потерять сознание, опускается на корточки, садится на порог и осторожно кладёт в рот первую ягоду...

Съев чернику, он сидит на пороге ещё долго, время от времени бросая взгляд на белый обрывок ткани, порозовевший местами от сока ягод. Лишь ощутив скорое приближение темноты, он бережно складывает косынку в несколько раз, кладёт её в карман и уезжает в направлении дома.

Трудная, непривычно пустая дорога назад.

Потом привычный город, привычный район, но всё, конечно, уже другое, совсем не родное.

Так уже было однажды, лет восемь назад. Мама повела его на спектакль, и он настолько проникся представлением, что, когда вышел из театра на улицу, долго не мог поверить, что окружающие его здания и люди — настоящие. Настоящим казалось то, что происходило на сцене.

А сегодня солнце и дождь, небо и облака, поле и река, храм и бетонная будка, Алиса и ещё мама, отец Андрей и Матвейка, богомольные старушки и, конечно, она, — всё как будто договорилось выступить перед ним, обыкновенным парнем, единым согласным хором, в котором каждая партия была

исполнена великого, хоть и не всегда понятного значения. Как ему теперь поверить в этот город?.. в свою квартиру?.. в строительный институт?..

Утешают его только огромные лужи, говорящие о том, что *тот* ливень прошёл и здесь.

Уже поднявшись с велосипедом на площадку своего этажа, он долго смотрит застывшим взглядом в подъездное окно пролётом ниже. За окном не видно ничего.

Он думает о родителях. Ему очень их жалко. Сейчас они будут осторожно присматриваться к нему в надежде обнаружить желаемое — что проведённый на свежем воздухе день укрепил его в намерении созидать нормальную человеческую жизнь. Он же чувствует, что готов лишь к одному: к бесплодной и великой судьбе поэта.

МАРИЯ ЗНОБИЦЕВА



ИВОВЫЙ ПРУТ

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Пусть, повторенье, пусть — не прекословь!
Он весь — как дух, как лепестки черешен.
Последний снег — последняя любовь.
Нет, первый снег так не бывает нежен...

Луч истончил и высветлил его,
И, разгранён на чёткие кристаллы,
Он дорог будет завтра, оттого,
Что был так тих
и что его не стало.

ЖИВИТЕ

Нет, это не парни, что держат в объятьях
Ухоженных девочек в ситцевых платьях,
Не пупс с леденцом за щекой.
Не фото с тюльпанами для “инстаграма”,
А тихое — с губ остывающих — “мама”,
Слетевшее в вечный покой.

ЗНОБИЦЕВА Мария Игоревна родилась в Тамбове в 1987 году. Окончила Институт филологии Тамбовского университета. Участник Форумов молодых писателей России (2005, 2008, 2012 и 2015 гг.). Лауреат Всероссийской литературной премии имени М. Ю. Лермонтова, премии имени Ю. П. Кузнецова, дипломант Международного Волошинского фестиваля. Кандидат филологических наук. Руководитель Центра творческого развития детей и подростков “Мир слова” при Центральной детской библиотеке г. Тамбова. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России.

А это — худюшие, кожа да кости,
Из плоти и крови, из боли и злости
Ребята годов двадцати,
Которым не выжить бы, а продержаться,
Придёт подкрепление — и: “Бейте их, братцы!
А нам уж назад не дойти.
Коль есть он, на том повидаемся свете...”
А это — сожжённые заживо дети.
Там — проще дожждаться отца.
Вот он поднимается в красном тумане,
И тихо выходит навстречу маманя,
Водицы даёт из корца...

Война бесконечна и вряд ли красива.
Наверно, они бы на наше “Спасибо”,
На залпы вечерних огней
Сказали: “Чего уж там, Маша и Витя.
Мы всё вам оставили. Только живите.
Живите, родные, дружнее...”

ИВОВЫЙ ПРУТ

Лодка тычется в землю: “Хозяин, ты тут?”
И песок из овражка течением вымыт.
Только тронь эту лодку — и все оживут:
Запоют, засмеются и вёсла поднимут.

По воде разойдётся таинственный круг.
У реки и повадка, и память иная —
Быстрых ног, узловатых натруженных рук:
“Я теку не для вас и о них вспоминаю”.

Ивы склонятся ниже. Заблещет роса.
Земляничины луг припасёт до покоса.
Над рекой поплывут в тишине голоса.
И костлявый мальчонка с облупленным носом

Сломит тонкую ветку, чтоб выстругать лук,
Снимет клейкую кожицу, око прищурит,
Да и бросит лозину, почувавши вдруг,
Как заветная щука в корнях балагурит.

...Только тронь эту ветку — и все оживут,
Будто нас, а не их провожают на тризне.
Оголённый до зелени ивовый прут.
Запах жизни.

ЛЮБИЛА ТАК...

Профессор Смит не понимал Россию,
Хоть двадцать лет о Пушкине читал.
И вот его в который раз спросили:
— В ком видел Пушкин “милый идеал”?

Профессор вспомнил странную особу
(Таких зовут “святая простота”),
Которая клялась любить до гроба
Пригожего столичного шута.

Она детей наукам не учила,
Не услаждала музыкой сердец,
Всю жизнь она страдала и любила,
И тем одним снискала свой венец.

Не зная пялец, пряток, сплетен, кукол,
Блаженством чувства грезила одним.
Любила так, что свой медвежий угол
Вообразила садом неземным.

Она жила, как море, беспокоясь,
Бушуя пеной страхов и словес:
Любила так, что первый незнакомец
Ей показался ангелом с небес.

И все приличья жертвенно нарушив,
Она решила дело не умом:
Любила так, что собственную душу
Отправила любимому письмом.

А тот подумал: “Хорошо... Но это ж
Почти приказ просить её руки!..”
И, получив почтительное: “Нет уж...”
Она не стала расставлять силки.

Любила так, что, не сказав ни слова,
Была в Москву, как вещь, отвезена.
Любила так, что вышла за другого,
Решив, что будет век ему верна.

И вот, когда любимый с опозданием
Ей через годы нежный дал ответ,
Любила так, что, выслушав признание,
Ему в слезах пробормотала: “Нет”.

И этакой сомнительной фигуре,
Которой без страданий мир не мил,
Чудачке, неумехе, просто дуре,
Поэт за что-то славу подарил...

...Когда его о Пушкине спросили,
Ответил он, что идеалов нет.
Профессор Смит не понял бы Россию,
Читай он Пушкина хоть двести лет...

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА



БЫЛИ СТЕНЫ, БУДУТ И ОКНА

РАССКАЗ

Надежные были стены

Невзрачный мужичок бесцеремонно обстукивал каждый угол ее квартиры. Манана ступала за ним мягко, неловко поглаживая стены. Мужичок на все ее попытки заговорить отмалчивался, иногда невнятно бурча что-то вроде “посмотрим”. Лет пять назад она бы такого и на порог не пустила: не то жулик, не то похуже! О “похуже” Манана старалась не думать, но дверь на лестничную площадку оставила приоткрытой. Самую малость. Так, чтобы этот ханыга не заметил, но всё же достаточно, чтобы соседи услышали её крик. Если что.

Кто знает, как оно... Каха угрюмо помалкивал. Раньше всегда открывал он, не глядя. От вида его хмурого лица, особенно после вчерашнего застолья

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Как прозаик дебютировала в 2014 году в журнале “Наш современник”. В 2015 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Автор книг рассказов “Чудес хочется!” (2016), “Виною выжившего” (2016) “Первенец” (2018) и около ста публикаций в “Литературной газете”, журналах “Наш современник”, “Юность”, “Роман-газета”, “Москва” и др. ведущих российских изданиях, а также в русскоязычных журналах Германии, Канады, Беларуси, Казахстана, Украины и Эстонии. Рассказы Тулушевой переведены на арабский, венгерский, итальянский, китайский, немецкий, болгарский, сербский. В 2018 году вышла книга рассказов Е. Тулушевой в переводе на белорусский. Лауреат V и VII Международных форумов славянских литератур “Золотой Витязь” (2014, 2016), премий “В поисках правды и справедливости” (2015, 2016), “Югра” (2017), “Прохоровское поле” (2017), российско-итальянской премии “Радуга” (2017), премии им. Н. С. Лескова (2018) и др. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

с земляками, любой бандюга сам пожалел бы, что пришёл. А земляков у них хватало, и застолья бывали каждую неделю, как на целый квартал — как когда-то накрывала её мама, на утро разнося по соседям-старикам те блюда, до которых дело уже не дошло.

Манана, конечно, здесь, в Москве по старикам не ходила, но всегда во время подготовки к торжествам оставляла соседям долмы да сациви. Каха все равно потом дня два толком не ел, а соседи, хоть поначалу и косились на странную грузинку с ароматными блюдами на весь подъезд, со временем привыкли, оттаяли, и даже сами начали угощать. Зато с такими отношениями и спокойнее было: всегда знаешь, к кому обратиться за помощью, если Каха в отъезде...

Теперь у Кахи другое жилище — под молодой берёзкой. Часа полтора езды. И последние два года Манана никому не открывает. У дочери свой ключ. А остальные... Остальные Манане не нужны.

— Ой, а чего это у вас открыто? Манана Георгиевна, ау! Пришёл уже? А я мчалась к вам, на той квартире задержали.

Вот и Регина. Сто слов в секунду, не угнаться. Но сразу спокойнее, можно и помолчать. Все-таки её работа: абы кого в дом не водить. Да и общаться сама должна с клиентами. Она же риэлтор.

— Здравствуй, Региночка! Вот, уже показываю.

— Молодцы, что без меня начали! Отличненько. Здравствуйте, Василий. Это вы со мной по телефону общались. Ну как вам? Уже осмотрелись? Прекрасная квартира, правда? Сейчас позтажник дам, там все метры. Стены, какие несущие, уже поняли? У нас тут никаких перепланировок, все, как положено!

У Мананы отлегло. Скорость речи Регины космическая, сразу видно — профессионал! Так уметь общаться с людьми, расположить к себе. Уверенная, умная, все знает, ко всякому подход найдёт.

Конечно, уверенная! Столько денег берет, будешь уверенной с таким золотым запасом.

А что я могу? До нее никто не хотел браться! Я же тебе говорила. Слишком нереальная сделка: и опека, и альтернатива, и ипотека, и выписаться некуда, они все хором твердили: “за такие деньги” не выйдет разъехаться. А вот Региночка взялась.

Лентяй. Никто работать не хочет. Да и эта тоже третий месяц водит людей и водит, а пока кукиш с маслом, а не сделка.

Да, она много конечно берет, но что уж. Жалко конечно таких денег, а выбора нет.

Куда она их деваает, если так с каждой сделки? Это ж, наверное, у самой несколько квартир да машин.

Чужое не считают, говорю тебе. Хотя на эти деньги можно было б внучку на море свозить...

— Здесь обои тоже новые, хорошие обои, плотные. С тиснением. Потолки вот видите какие. — Манана машинально перечисляла всё то, что когда-то было её гордостью. Во время гражданской войны, поздней осенью девяносто третьего, они бежали из Кутаиси с маленькой дочерью на руках. Каха решил сразу перевозить семью в Москву, там, мол, в беде не бросят и точно не стреляют. Ох, всякого они и в Москве насмотрелись... Но такой войны и правда не было. Мыкались по дальним родственникам и знакомым, благо своих у грузин не бросают. Да и Каха всегда был работающим. Кое-как обустроились на съёмном жилье. Манана в садик пошла нянечкой. А через несколько лет, как там окончательно улеглось, продали оба дома, сколько ни плакали о них на пару, но всё же страшно вернуться туда, где когда-то ребёнка, укутанного одеялами, под пулями выносили и молились, чтобы пронесло.

Ладно тебе вспоминать, прошло уже, справились. Лучшую жизнь ей дали.

На те деньги удалось внести часть за квартиру, крошечную хрущевку, но зато в Москве. Остальное друзья в долг дали. Купили квартиру дёшево, у какой-то бездетной старушки. Она на выручку с продажи уехала жить к сестре в маленький городок и говорила, что хватит теперь до самой смерти.

В Мышкин уехала. Конечно, до самой смерти. Пока переезд ей устроил, чуть сам не помер! Сделал все, как договаривались. Ведь до слез переживала, что чужие погрузят плохо, перебыют все, а по дороге и разворуют. Сутки не спал, ехал следом за грузовиком, на всех остановках замки перепроверял, но все довёз, разгрузил. Каждый сервиз распаковал, расставил. С любовью делал, с пониманием, как дорого свое-то...

Они сами ничего своего вывезти не успели. Когда воротились после войны проверять, все у них было разграблено, вынесено. А сколько добра имелось от прапрабабок, ещё в войну сбереженного, спрятанного, с таким трудом сохраненного. Только стены пожалели.

— Стены выравнивали хорошо, мы сами с мастерами стояли: контролировали. Люстры вот. — Манана замерла, глядя на сверкающие подвески. — Вот в коридоре три, одинаковые. Хрустальные. Мы оставляем. Нужны вам? Люстры.

Мужик мрачно взглянул на люстры.

— Пойдёт.

Пойдёт, говорит! Значит, берет, не пропадут! Значит, хороши они, слышишь? А то ведь дочь отказалась, свои вкусы. А мне... куда мне теперь в однушку эти три. Там и коридора-то нет, одно название — прихожая. Туда ведь ничего не заберёшь. Всё как через воронку пропихнуть пытаешься, да никак. А здесь хоть людям, а не на помойку. Помнишь, как мы их аж из Гусь-Хрустального тащили? Уж очень мне в коридор приглянулись.

Еще бы! Все смеялся над тобой: вот женщина, три комнаты ей мало, ещё в коридоре три лампы повесь!

Смеялся-смеялся, но ведь купил и повесил.

Куда ж от тебя денешься-то! Раз чего в голову вбила!

Так ведь и коридор здесь королевский, простор какой! Дышится легко. Внуков бы здесь растить... Вот им бы дома на первых ходунках топотать, да на роликах учиться.

Дочка-то, пока по друзьям да съёмным комнатам ютились, уже вырасти успела, когда в хрущевку переехали, ей двенадцать исполнилось. А до того все по тесным углам... А помнишь наше детство в садах с виноградниками? А бесконечные прятки?

Ага, поди, проверь каждый сарай, да дерево, пока ещё сыщешь всех паванов. А казаки-разбойники, помнишь? А как лазили по горам, а потом бывало получали от отцов.

В Москве-то не до прогулок ей было... попробуй, отпусти дочь одну гулять! Девяностые. Да и куда: площадки все голые, карусели ржавые перевернутые.

Ладно тебе, не до детей стране было. Зато видишь, десять лет прошло, дали вон какую квартиру вместо хрущевки! Загляденье. И о чем вы только думаете: разменивать такое добро! Женщины, гиблое дело.

— Так, кухню посмотрели, а вот здесь из коридора ещё одна лоджия, смотрите, прелесть, а? — продолжала болтать Регина

— Мм-м. Нормально. Раскладушка влезает?

— Ну, если жена на балкон выгнала, то конечно можно и раскладушку впихнуть! — Регина кокетливо засмеялась.

Невзрачный молчал.

— Лоджия не отапливаемая. Летом конечно можно, ну да вы сами посмотрите, может, утеплите. В наше время все можно, были бы деньги. А у вас, кстати, свободные деньги или альтернатива?

— Что?

— Оплата какая: деньги у вас на руках?

— А что?

— Это чтобы понимать, как сделку оформлять. Когда деньги на руках, это свободная сделка. А если вы в процессе продажи другой квартиры и на эти деньги будете брать, то это совсем другое, дольше по времени и оформлению.

— Разберёмся.

— Да, конечно разберёмся, просто нужно знать заранее. Я же все бумаги подготовить должна. Вы на себя оформлять будете?

— Посмотрим.

— Ну вы смотрите.

Невзрачный вдруг уставился на Манану. Она, смутившись, защелкнула медальон с фотографией Кахи и ответила стеснительной улыбкой. Невзрачный хмыкнул и двинулся дальше.

Манана попыталась утешить себя мыслями, что у него наверняка большая семья, раз берет такую квартиру. И здесь, в ее... в их стенах, будет... будут семейные чаепития, пусть и чужой, но детский крик, смех, радость, тепло. Будет пахнуть свежей выпечкой, будут смотреть добрые фильмы, будут санки и самокаты на лоджии, а в коридоре несколько пар разноразмерных тапочек. Тогда не так печально прощаться с этой частью ее жизни.

— Внизу там, консержка что ли? — неожиданно просипел мужичок.

— Да, их у нас две, поспенно. — Манана попробовала разглядеть в мужичке серьезного отца семейства. — За всем следят, никого не пропускают, про каждую квартиру все знают.

— Это плохо.

— Почему же плохо?

— На съем беру. Тут человек четырнадцать их впахнуть, а то и больше. Мне чужие глаза не нужны.

— Как же это сюда столько поселить?! — Манана изумленно оглядела свои ещё стены. Четырнадцать пар замызганных тапочек запахло в коридоре...

— Таджиков-то? — ухмыльнулся невзрачный. — Разберёмся.

“Детская нам не нужна”

Господи, она когда-нибудь замолкнет?! Пять лестничных пролетов и уже застрелиться можно. Хуже только консультантки в “Л’Этуале”. Хоть бы их этике обучали, что ли. Вчера с поезда и — вперёд, покорять Москву. Ни словарного запаса, ни произношения, ни культуры взаимодействия с людьми. Только бы бабки, бабки грести — одна цель. Побольше со всех содрать за свой трёп. Как будто без её слов мы квартиру не разглядим. А с хозяев, небось, процентов пять берет за свои услуги, если покруче не облапошила. Куда она их только деваёт... Уж явно не на стилиста, судя по шмоткам. Наверное, себе уже не одну хату отхватила на таких раззявах.

Что ж, посмотрим... Бог мой, великий Рафаэль, это ж надо впахнуть в коридор три хрустальные люстры! То есть высокий потолок это не повод для простора, а возможность еще сверху повесить свой хлам? Страшно представить, чем ещё удивят эти хоромы. Ну-ка, где там ваши багдахины и алмазные бубенцы... А, вот и золотишко: обои с золотом, карнизы с золотым кантом, светодиоды, розетки позолоченные... а ковёр чой-то без золота, а? Недоработочка.

— У вас прям дворец Людовика четырнадцатого.

Манана расплывается в улыбке:

— Да, мы всё тут сами выбирали, каждый угол с любовью. Тут вот и шторы, видите какие, бордовые с золотыми журавлями, — она раздвигает тяжёлую портьеру, поглощающую солнечный свет.

— О, пап, прям как в вашей цитадели.

Ева оборачивается на отца, выразительно закатив глаза. Отец понимающе улыбается в ответ и интеллигентно продолжает расспросы, оберегая посторонних от язвительности дочери. Ева к этой его привычке относится с иронией. Сам виноват, какая выросла.

— А вы где работаете, Андрей Валерьевич? В какой области? — подаёт голос неугомонная Регина.

Оу-оу, ты давай тут, держи дистанцию, безграничная наша. Ты из какой области приехала, лучше скажи.

— Папа директор, Регина. И у него очень мало времени. Так что давайте двигаться дальше и задавать вопросы по делу.

— В литературной сфере, — негромко пытается смягчить отец, как будто извиняясь за столь отдаленную от материального мира профессию.

Эх, папа, думаешь, знает она тебя или твой институт? Или книги твои? Она ж просто ищет, о чем потрындет. Назови ты свою фамилию — через полчаса забудет. Зачем ей литература, искусство? Ей продать-купить, неважно что, главное впарить. Пусть и безвкусицу подобную... А тут ведь потрудиться придётся изрядно, чтобы выветрить: энергетика не ахти, ещё потерять себя можно, а сейчас не до этого. Сейчас запереться в мастерской и писать, писать, не отрываясь, пока время есть. А придётся сначала всё это перекрашивать, планировать, очищать. До выставки год. Год! Ей уже тридцать один, после выставки тридцать два. Значит “молодым художником” с грантами, премиями, поездками остается побыть всего три года. Дальше уже совсем другой разговор, не то, что слоны — такие мамонты преградят ей дорогу; взрослые игры пойдут. Ни папина поддержка не поможет, ни итальянский диплом. Если до той границы о себе не заявить, там уже пропадешь, затеряешься среди сотен неплохих и тысяч перспективных художников. Раньше бы, раньше начать! Нет ведь, оттрубила для папки на филолога почти три года, хорошо хоть тогда бросила, и в Италию, а то повелась бы на его уговоры “довести до конца”, и еще два года потеряла бы. Неужели я казалась тебе такой бестолковой, что ты думал, только твоими связями смогу в жизни зарабатывать? Или на детях гениев природа отдыхает?

— Вот тут детскую можно. Тут удобно и подальше от родительской спальни, — Манана открывает дверь во вторую комнату. Пустая, без мебели, с толстым цветастым ковром, она как будто замерла на вдохе. Еве хочется одним резким движением содрать эти тяжёлые обои, шторы, золотые плинтусы, скорее освободить эти бедные стены, замурованные в убогие футляры безвкусицы. Для нее обнаженность скандинавского стиля, его свобода и естественность в разы счастливее и легче этих тугих бумажных упаковок с декоративной мишурой.

— Вы с собой это всё заберёте или как?

Манана растерянно обводит комнату взглядом.

— Да вроде мы все забрали...

— Я имею в виду оставшееся: шторы, карнизы, бра, люстры, ковёр этот... — уже хочет сказать какой “этот”, но притормаживает. — Грузчики тоже стоят денег, всё это из каждой комнаты вытаскивать и ещё наверняка отдельный мусорный контейнер заказывать, сейчас же нельзя выбрасывать строительный мусор просто так.

Регина с отцом Евы остались в коридоре, и Манана беспомощно ищет глазами их защиты.

Ну вот. Ещё давай, прослезись тут. Нечего. Взрослые люди. Слююкать с тобой твои дети будут. Господи, ну жаль мне тебя, жаль! Не барахло твоё немислимое, а тебя, которой привил ведь кто-то такую трепетную нежность к убогому мещанству. Небось, дочь потому и разменивает такие просторы на замкадь, что и жить здесь душно, и сказать боится, чтоб не обидеть. И только хуже делает! Правду надо.

Больно, и что ж, зато честно. Я когда матери про отца все выложила, мне тоже больно было, а ей ещё больше. Да лучше так, чем делать вид, что играю в слепоглухонемую. Эти их вековые роли: она с кастрюлями и шорами, он с одиночеством и бабами. Ах, у них же дети, они ведь все ради них! А дети предполагается, тупые: не видят её слез на кухне, его подарков дорожих с этим невозможным взглядом вселенской вины.

— Как тебе, солнышко? Ощущаешь, что вписываешься сюда? — отец подходит, как будто не слышит ее мысли. А ведь он и не может их слышать, что это она, размечталась. Возвращаемся, свою лирику оставим до терапевтического сеанса в среду. Сейчас квартира. Квартира... Надо брать, пока папа предлагает. Еще пару лет и уже брат заявит о желании отделиться. Что ж.

— Да, можно попробовать. Здесь мастерскую. Стену сломать, объединить пространство с лоджией, а ее сделать стеклянной целиком до пола, чтобы света больше. И потолок в ней стеклянный, раз сверху балконов нет, небо писать с натуры.

— А, вы художник! — Манана счастлива, каким интересным людям достанется ее квартира. Не то, что утренний замызганный мужичок. — Да,

тут очень светлая комната. Тогда детскую можно сделать в той, третьей, по-
дальше.

Серьезно? Детскую, значит, впихнуть мне хочешь! Чтобы как ты, на пенсии доживать в коморке за мкадом, заваленной несметными твоими сервизами и шкатулками? Раз в месяц получать скучающих внуков на выходные, дабы совсем не забыли бабушку? Один живот, потом второй. Бессонные ночи, грязные пеленки, болячки, ясли, школа, первая любовь. Их первая любовь. И уже никогда не твоя.

Твои чувства оставить где-то ночными слезами в ванной, чтобы никто не догадался.

Твои мечты спрятать на задворках бессознательного, чтобы только по американским мелодрамам вздыхать.

Твою молодость задушить колпаком, потолком с нависающими тремя люстрами.

Твое тело украсить растяжками, синими вздутыми венами, мозолями, которые твои же дети замечают с болью — как сдала мама...

Если бы не это ваше материнство, отец до сих пор любил бы мать, женщину в ней видел. Письма его случайно нашла, в роддом. И не представишь, чтобы он мог такие слова сказать! За всю свою жизнь не знала его таким нежным, как в тех письмах, хотя мне, как первенцу, еще удалось застать их счастливые лица, когда приходили вдвоем с его приемов и премий. Младшим уже и того не досталось. Для них от влюбленной пары остались просто двое: мама и папа.

Папина жизнь, она дальше: ввысь, вглубь, вширь! Проза и критика, институт и академия, премии и поездки, он жюри и модератор, он номинант и лауреат, он эксперт и руководитель. А мама... У нее потолок — она мать, а выше уже никак: там чужая квартира, не твоя жизнь, граница нависает. С хрустальными люстрами.

— Детская нам не нужна.

Будут окна без решеток

Окна запотевают, обдув стекол не работает, а их и не открыть — дождь, благо машина, а не своим ходом. А Юра сейчас, наверное, прилип дома носом к стеклу и водит пальцем, что-то мурлыча.

Вот, кажется, и нашлись покупатели. Провести бы еще эту сделку: альтернативная продажа с опекой... Если получится, то после комиссии, наконец, с хозяйкой рассчитаюсь. Ах, нет, сначала Наташе. Нехорошо ей всё время частями платить. Надо за месяц. А хозяйке можно и половину. И отложить бы в этом месяце хотя бы тысяч двадцать, а лучше двадцать пять. В прошлом-то всего десять отложила из-за кровати для Юрочки. Но без такой кровати никак нельзя было, хоть и цены кусаются: заказ индивидуальный, на такой рост с перегородками не делают, только ужасные медицинские, как в больницах. А эта — деревянная, экологичная, специально для него собранная. Теперь он будет спать, перестанет падать и плакать ночью.

Регина машинально крутит руль своей подержанной, почти уже выкупленной китайской машины и думает о Юре. Скоро она приедет в их съемную квартирку, снимет с себя роль риэлтора, наденет другие: мамы, тьютора, дефектолога, массажиста, повара... С поваром всё сложнее и сложнее. Как она дальше будет обеспечивать сыну нормальную еду, если теперь он и зеленое не ест? Только красное, да белое... В коррекционном центре скажут, что опять похудел, что надо таблетки. Она конечно не захочет, они будут ворчать, давить.

Ничего, справимся, мой родной. Все по чуть-чуть. Сейчас бы на первый взнос накопить, еще полгода потерпи, и сможем. А там уж... Там уже, когда свое жилье, не придется тебя под контролем неусыпным держать. Там я сама всю квартиру сделаю так, что ты сможешь лазить, ходить, открывать. Все сделаю по рекомендациям. Подоконники будут широкие, чтобы в твои любимые окна смотреть и смотреть. И окна безопасные, уже присмотрела

прозрачные перегородки не как тут — решетки, а чтобы ты всё мог видеть и не плакать. Комнату тебе сделаю со шведской стенкой. Хозяйка, конечно, недобрая женщина, так и не дала установить. Знает ведь, что Юрочке надо. Стены свои бережет. А я ведь гарантировала всё потом заклеить, но нет же. Бог ей судья. А мы сами справимся. Сделаем тебе детскую самую волшебную, твоими комиксами всю обклеим. Будешь сам, как человек-паук, лазить. И краны с таймерами, чтобы уж точно больше никого не залить. И главное — плиту... безопасную. Хотя ты к ней и не подходишь больше...

Наверное всю жизнь Регина будет помнить день выписки после двух недель в больнице: то материнское бесконечное счастье, что едет с Юрой домой, что все закончилось благополучно. В ту ночь она не отойдет от его кроватки, будет на него смотреть и шептать, как любит, какой он молодец, со всем справился. И только наутро осознает, заметит, что он замолчал. Что он не говорит, а только мычит или какие-то звуки издает. В больнице ей было не до того. Да и что хотеть от ребенка с ожогами: конечно, он стонет, да мычит, плохо спит и отказывается от еды... А потом понеслось. Аутизм? Как это? Это же Юрочка, он же такой смысленный, он же лопотал прекрасно! Ему же не мозг повредило, а кожу, это же не связано, так же не может быть... Она станет искать новых врачей, но диагноз будет подтверждаться.

Где-то справа отчетливо слышен стук. Регина прислушивается в надежде на дождь, но нет, увы, стучит под капотом. Совсем некстати. Денег на это нет, так что уж не подводи, старушка. Без машины сейчас никак. Юрочку возить на занятия на Кошенкин Луг, в бассейн, на скалодром. Машина для неё не блажь. На такси она разорится. А автобус... Эти люди, глядящие в упор, цыкающие. Юрины мычания, от переполняющих эмоций все более громкие, то лизнет стекло, то кресло обнюхает. А они так и смотрят, то на него, то на нее. Хорошо еще, если только смотрят, а то ведь “сочувствующих” хватает, которые всё поучают да комментируют. У них в Мензелинске за спиной наверняка шушукались, потому как и не слышал никто про аутизм. Поначалу в местной поликлинике говорили — задержка развития. Но ведь все равно не осуждали, всегда с пониманием как-то и на улице, и на площадке. А здесь Москва, они сюда и перебрались за тем, чтобы реабилитацию проходить, потому как светила, значит и народ образованный должен быть, современный, знающий, толерантный... А все косятся бессовестно, осуждающе.

Регина идет к дому, машинально разговаривая сама с собой. Когда Юра замолчал, они вдвоем начали постепенно погружаться в пугающую тишину. Только в Казани, наконец, ему поставили верный диагноз. Специалисты начали списками выдавать рекомендации. И главная, на тот момент, — говорить с Юрочкой, много, часто, эмоционально. Чтобы постоянно слышал речь, учился реагировать, слышал слова: вдруг пробьется и его распавшийся навык. И Регина заговорила, без умолку, постоянно. Надеясь, что снова услышит его лопотание. А когда Юрочки не было, говорила сама с собой, чтобы только не слышать эту тишину, не касаться ее, не утонуть в ней.

Регина поднимается по лестнице. В подъезде о стекло бьется бабочка. Некрасивая, вроде капустницы, блеклая. Не открываются окна, только наверху дыра, но туда не достать. А она все ищет-ищет...

— Ку-ку, я дома!

— Здравствуйте, Регина! — Наташа, как всегда запыхавшаяся, улыбаясь. — А у нас для вас сюрприз! — Наташа держит Юру за руку, Юра крутится, поигрывая пальцами, что-то мурлычет.

— Какие вы молодцы, спасибо! Где он?

— Юра потом вам покажет, да, Юра? — Наташа подмигнула Юре, показав пальцем на маму, а затем на ее фотографию. — Сюрприз для мамы. — Юра переводит глаза с Наташи на маму и улыбается, несколько раз быстро тряхнув головой.

— Замечательно! Буду ждать! Как он сегодня?

— Сегодня дождь, вы же знаете. Отвлекается больше обычного, от окна не оторвать. Но мы стараемся, работаем. Вот привезут вам кинетическое одеяло, будет вообще отлично, почувствуете динамику обязательно.

— Ох, чуть не забыла про них! Счет-то им не оплатила, хорошо, ты напомнила. Вот, кстати, Наташа, за позапрошлую неделю. За прошлую отдам буквально на днях, хорошо? Ты уж извини, что частями, работа у меня такая, нестабильная.

— Ничего, я понимаю. — Наташа улыбается и, не пересчитывая, убирает деньги в карман. — Вы, главное, занятия в центре не пропускайте. Для аутистов системность — главное лекарство.

— Стараюсь, Наташенька, как могу, стараюсь. Но когда сделки, там уж не от меня зависит, от нотариусов и банков. Как видишь, всё, что советуешь купить, всё покупаю Юрочке. Я тебе очень доверяю.

Регина мельком видит свое отражение в зеркале и смущается. Хорошо бы купить хотя бы один недорогой костюм. Все-таки надо прилично выглядеть на показах. Давно присмотрела на сайте тот темно-синий. Последний раз покупала себе одежду прошлой осенью... Нет, сейчас надо Юрочке кинетическое одеяло. Костюм пока подождет.

— Мне надо вас предупредить. — Наташа медленно натягивает свой плащ, Юра, воспользовавшись моментом убегает в комнату. Слышно, как он трет пальцами по оконному стеклу. — Я скоро не смогу у вас работать.

— Как?

— Я уезжаю.

— Наташенька, ты что?! Как же мы без тебя? Ты же такой специалист! Юрочка только тебя так слушает! Где же мы такого тьютора найдем?

— Не переживайте, время еще есть: больше полугода. Я поищу вам обязательно, да и в центре их много.

— У тебя что-то случилось, да? Что-то срочное?

— Да нет, — улыбается Наташа. — Я выиграла грант на обучение. В Австралии.

— В Австралии? А зачем так далеко? Разве в Москве не лучшее образование?

Наташа улыбается смущенно.

— Это программа социализации таких детей, как Юра. Она рассчитана на то, что их можно со временем селить отдельно от родителей, обучать простым профессиям, давать работу. Увы, у нас в Москве такого нет. Пока много исследований в плане реабилитации, но будущее для них не строят...

Будущее... Регина смотрит на Наташу, не понимая, про какое будущее она говорит. Ее будущее — суметь взять ипотеку, чтобы платить деньги не за аренду, а за свое жилье, в котором она устроит все для безопасности и развития сына. И еще купить собаку. Говорят, собаки очень помогают таким детям. Дальше этого она и не думала. Расскажет ли когда-нибудь Юра ей о том, как прошел его день? Ответит ли она его когда-нибудь в школу? Сможет ли он сам сходить в магазин за хлебом?

С того момента, как они уехали из Мензелинска, она всегда прибодряла себя мыслью о том, что все это делает для Юриного будущего. Но какое оно — туда заглядывать было некогда. И вот Наташа говорит о том, что где-то в Австралии, а может еще где, такие, как Юрочка, могут работать и жить, как все... И там мама такого же мальчика знает, что о ее сыне позаботятся, когда ее не станет, а не засунут в психоневрологический интернат... То есть Москва — еще не финиш.

Наташа спускается по лестнице. За подъездным окном где-то под навесом ругаются воробьи. Возле мусоропровода на полу сидит белая бабочка. В тусклом свете ее крылышки кажутся прозрачными. Сидит, как будто замерла. Наташа медленно подходит и аккуратно берет бабочку двумя пальцами за крылышки. Выносит из подъезда, сажает под куст. Наташа смотрит на московский дождь и улыбается, представляя, что там на третьем этаже...

Регина вымоет руки, переоденется, подойдет к Юре, постоит с ним, глядя в окно. Будет рассказывать ему про свой день, наблюдая за жизнью промокшего двора. Она перечислит все, что должно было быть в распорядке дел Юры, поцелует его, пойдет готовить ему очередной красный суп или белую кашу. А Юра будет смотреть, как затихает дождь. Потом повернется к ней и невнятно повторит то, что сегодня впервые смог отчетливо сказать несколько раз, глядя на семейное фото — “мама”.

ГРИГОРИЙ ТАЧКОВ



ЛЮДСКИЕ ДУШИ, СЛОВНО ЛОДКИ

БУКСИР

Всегда обыденно до дыр
Глядеть, как вяло, но бесстрашно
На речке старенький буксир,
Скрипя, надрывно тянет баржу.

Она застряла на мели —
Решить проблему здесь нетрудно...
Но мне всё чудится: болит
Живое что-то и у судна:

Пусть не тревожный, но гудок,
Пускай не крюк, но рёв мотора
Тишь надломили, и помог
Буксир той барже очень скоро.

Когда же кто-нибудь из нас,
Людей, на мель садится в темень,
И груз наш — горе или страсть,
А не песок, дрова и щебень,

ТАЧКОВ Григорий Евгеньевич родился в 1987 году в г. Подольске Московской области. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза литераторов России. Выпускник Литературного института имени М. Горького (семинар поэзии Инны Ивановны Ростовцевой).

Порой, бывает, целый мир
Готов топить нас, будто баржи,
А нужно взять лишь на буксир
Иль шевельнуть губами даже.

Ведь слово — это тоже трос,
А руки — прочные лебёдки,
Чтоб не тонули в речке слёз
Людские души, словно лодки.

ОСТРОВСКИЙ НА ВОЛГЕ

Рядом с Волгою-рекой
Шёл Островский-драматург,
Мысли птицами легко
Проносились вдоль излук...

Уходила вдаль гроза,
И шумели волны в такт,
А Островский всё связал
В сцену, действие и акт...

Средь прекраснейших картин
Образ вывел волжский бриз
Чистых сердцем Катерин,
Нерасчётливых Ларис.

Эти девушки из пьес —
Словно зори по утрам,
Светел их нелёгкий крест,
Крест невыдуманных драм...

Рядом с Волгою-рекой
Ты проходишь, милый друг.
Дам совет тебе такой —
Оглянись скорей вокруг:

Средь прекраснейших картин
Отыщи ты и влюбись
В чистых сердцем Катерин,
В нерасчётливых Ларис.

Эти женщины, как Русь,
Как ромашки, хороши,
Я и сам не откажусь
От приданого-души.

ЯБЛОЧНАЯ СВАДЬБА

В запущенном сельском саду
На ветках, поникших и серых,
В холодном туманном чаду
Дрожали два яблока спелых:

От августа дальний “привет”,
Фруктовый салют на прощанье,
Смеялся антоновки цвет,
Глядел через шаль увяданья...

Хоть каждого яблока бок
Был порчей уже поцелован,
Они ожидали свой срок,
Молились у яблонь — часовен...

Захлопнулся лета ларец,
Костром отгорела малина,
Садовник нашёл, наконец,
Живые плодов половины...

Садовник, как ветошь утрат,
Отрезал умершую мякоть,
И яблочной свадьбы обряд
Свершился в осеннюю слякоть.

Теперь из двух яблок одно
Как сердце на радужном блюде,
А рядом друг к другу в окно
Глядят одинокие люди.

ВИКТОРИЯ САГДИЕВА



КАЙЗЕР

1

Лёша ёрзал на стальном стуле в приёмном покое психиатрической больницы. Всё его молодое тело так и зудело от навязчивого желания вскочить и бежать. Пару раз он даже невольно подсакивал, но здоровый санитар за его спиной клал тяжёлую руку ему на плечо и припечатывал Лёшу обратно к стулу.

Наконец появился врач. Он вяло окинул взглядом прибывших. У врача с утра ныли руки, их буквально выворачивало от боли. Мягко говоря, он был не в настроении:

— Докладывайте, Марья Ивановна, — нехотя обратился он к воспитательнице детского дома, приехавшей на “скорой” вместе со своим подопечным. В больнице все её давно знали. Марья Ивановна поставляла детей в психушку с завидной регулярностью.

Воспитательница охотно начала:

— Кайзер Алексей. Шестнадцать лет. Из неблагополучной семьи. Отец не жил с ними. Мать умерла год назад в ДТП. Опекун оформила на себя бабушка. После смерти матери стал плохо учиться, был оставлен на второй год. Имел привод в ПДН. Бабушка лишена опеки, так как не справлялась с ребёнком. В детский дом попал в прошлый понедельник. За эту неделю конфликтовал с персоналом, пытался сбежать, разбил окно. Для госпитализации была вызвана бригада “скорой помощи”. Ребёнок вёл

САГДИЕВА Виктория Сергеевна окончила Кемеровскую государственную медицинскую академию, автор книги “Дышать акварелью”, публиковалась в журналах “Сибирские огни”, “Огни Кузбасса”, лауреат премии “Новое Кузбасское слово” 2018 года. Копирайтер. Живёт в Кемерово.

себя неадекватно — матерился, дрался. Ввиду девиантного поведения Алексея просим вас поставить его на учёт и назначить ему лечение.

Подслеповатый врач снял очки и неспешно повернул дужки. Ему хотелось хоть что-то делать руками, не дававшими ему в этот день ни минуты покоя. Сжав очки в кулаке, он откашлялся и попросил медсестру, глядя на безухого Ван Гога за её спиной:

— Сопроводите Кайзера в детское отделение.

Так судьба Лёши была решена. Его увели по внутренним коридорам больницы к месту нового заточения. Бригада “скорой” погрузилась в машину, чтобы ехать на очередной вызов. А Марья Ивановна звонила в детский дом, ей не терпелось поделиться с коллегами радостной вестью.

2

В Лёше, казалось, кипела молодость. Его отличала хорошо сложенная фигура и большая подвижность. Но тем больше они шли вразрез с его болезненно твёрдым и серьёзным лицом. Такие лица бывают только у ребят, живущих за чертой, но не начавших пить и колотья, а с неодурманенной головой день за днём осознающих всю тяжесть своего положения.

Кайзер застыл перед туалетом в коридоре детского отделения. В глазах вопрос: “Неужели то, что я вижу — правда?”

К вечеру Лёша обвыкся с новым положением. И после ужина он рассказывал мальчишкам в палате о своих злоключениях.

— Лучше бы я встретился с огнедышащим драконом, чем с этими из опеки.

Ребята сидели на своих кроватях, не включая свет. Они глядели в освещённый больничный коридор, точно оттуда должно было приползти чудовище, которое их спасёт. Спасения от людей они уже давно перестали ждать.

Рыжий не любил тяжёлые разговоры. Он сам ждал назначения в дом инвалидов — место смерти. Место, ниже которого живым невозможно упасть. Из-за врождённой болезни в свои шестнадцать лет Рыжий выглядел, как десятилетка. Он спросил Лёшу:

— Прозвище-то у тебя какое-нибудь есть?

— Кайзер.

Все расхохотались над глупостью новичка.

— Фамилия не подходит, — просмеявшись, первым сказал Дылда.

— Но она переводится как Цезарь, — объяснил Лёша.

— Цезарь — это что? — уточнил Рыжий.

— Так раньше правителей называли в древности. А в Германии — королей. Кайзер Вильгельм, например.

— Ты ботан, в натуре, — восхищённо протянул Рыжий, мало что понявший из объяснения Лёши. Дылда и Фунтик захотали.

— Я Кайзер, а не ботан! — твёрдо сказал Лёша.

— Ладно, как хошь, — согласился Рыжий.

3

— Кайзер, в процедурный, — разбудил ребят крик медсестры.

— Ну что, Кайзер, готовь булки, — проворчал Рыжий из-под одеяла.

— Укол? А что ставят? Витамины? — встревожился Лёша, чувствуя, как у него внутри всё болезненно сжалось.

— Витамины, скажешь тоже, — фыркнул Фунтик. Его даже взбесила Лёшина наивность. Он-то лежал в больнице дольше всех, и был осведомлён в тонкостях больничной терапии. — Галоперидол тут всем хреначат.

Фунтик был миловидным розовощёким парнишкой типичной славянской внешности. К своим двенадцати годам он успел побывать в пяти приёмных семьях. Опекунов подкупала приятная наружность. Но ни одна семья не выдержала с ним и полугода. У Фунтика часто случались острые психические срывы. В такие моменты он катался по полу, хаотично загребал ногами и руками и орал до хрипоты. Приступы возникали без видимых причин и жутко

путали приёмных родителей. Особенно когда он падал и начинал вопить посреди дороги или внезапно проснувшись глубокой ночью.

— Кайзер, в процедурный! — повторился призывный крик медсестры. Лёша понуро поплёлся в кабинет.

Наталья Владимировна была совсем молоденькой, только что закончившей колледж медсестрой. Когда Лёша зашёл, она набирала шприц.

— Спускай штаны, — скомандовала она своим звонким — больше детским, чем взрослым — голосом. Ему показалось неловким оголяться перед этой хрупкой медсестричкой. Лёша воспринимал её как свою сверстницу и жутко стеснялся.

— Кайзер, мне с тебя штаны снимать, что ли? — обиженно повторила медсестра. Лёша густо покраснел и сдёрнул их вниз.

Кроме распирающей боли в ягодице лекарство вызывало в нём смешанное непонятное чувство. Лёша ощущал, что становится тяжёлым и неповоротливым, точно мешок с картошкой. И в то же время в голове начинала кружиться какая-то звенящая карусель.

— Прижми ватку, — говорила Наталья Владимировна. Он смотрел на её губы. Странно было видеть, что её голос звучал отдельно, несвязанно с движениями рта. Голос, казалось, звенел в воздухе и заполнял собой весь процедурный, всю больницу и даже больше больницы — как кузнечики летом пронизывают звоном пространство до самого неба. Лёша хотел ей что-то сказать, но сумел только открыть рот.

— Кайзер, тебе плохо? Кайзер! — медсестра начала понимать, что с ребёнком что-то не так. В её глазах появилась тревога. Словно через тысячу комнат он почувствовал её прикосновение к плечу.

— Вы красивая, — едва выговорил он и тяжело бухнулся, потеряв сознание.

4

Резкий запах нашатырки привёл Лёшу в чувство.

— Очухался ваш больной. Дайте ему отлежаться, — говорила старшая медсестра Елена Давыдовна, успевшая спуститься со второго этажа. Она предпочитала дежурить у девочек, а не у пацанов, и уже мечтала о приближающейся пенсии — заветном времени покоя. От ежедневных воплей чужих детей Елена Давыдовна обросла толстой кожей равнодушия. Постоянные головные боли укрепили её в мысли, что лучше было бы всю эту бездомную мелюзгу усыпить, чем содержать в госучреждениях. Впрочем, Елене Давыдовне хватало ума этой мыслью ни с кем не делиться.

— Обхвати меня за плечи. Я тебе встать помогу, — сказала Наталья Владимировна, стоя на коленях и склонившись над Лёшей. Так что, если бы не галоперидол, он мог бы назвать эту сцену самой романтической в своей непростой жизни.

— Ты как? Жив? — наконец, спросила она Кайзера.

— Да вроде... Что это было?

— Елена Давыдовна говорит, что это побочный эффект от лекарства. Такое часто бывает, когда препарат только что назначили.

— А потом привыкают, да? Привычка — страшная вещь! — попытался пошутить Лёша, ещё слабо ворочая языком.

Они дошли до кровати Лёши, и он сразу завалился на койку. Остальные ребята находились в игровой комнате. Днём их туда часто сгоняли со всех палат, чтобы санитаркам и медсестре было легче за ними следить.

— А ты не похож на дурака, — сказала Наталья Владимировна, засунув руки в карманы халата и задумчиво глядя на Лёшу.

— Я и не дурак, — заметил он.

— Ладно, отлежишься — приходи в игровую.

— Наталья Владимировна, мне шестнадцать лет. Что мне делать в шестнадцатилетней игровой? Разве что с ума сходить. Я лучше здесь до обеда полежу.

— Как хочешь, — сказала Наталья Владимировна и поспешила выйти из палаты.

За окном живая занавеска дождя шумела и колыхалась холодными рыбными бликами. “В такую погоду драконы предпочитают отсиживаться у себя в пещерах и не мокнуть”, — подумал Лёша перед тем, как провалиться в отупляюще-тяжёлый сон с примесью нейролентика.

5

Наталья Владимировна работала в психиатрической лечебнице лишь вторую неделю, но у неё уже накопилось много вопросов к организации досуга детей — к постоянному сидению в игровой комнате и отсутствию прогулок. На второй день Наталья Владимировна хотела повести ребят на улицу. Как это и было предписано режимом отделения, висевшим на доске информации у входа, который гордо оповещал родственников (а больше тётечек из разных надзорных органов), что дети ежедневно гуляют с 14.30 до 16.00. Санитарки разворчали и сказали, что никто такого давно не практикует. Дети разбегутся, с персонала снимут премии, а зарплата и так маленькая. “Наталья Владимировна, вам что, больше нечем заняться?”

Наталья Владимировна по наивности отправилась к заведующей просить разрешения на прогулку. Даже заявление написала, что детям, месяцами запертым в отделении, нужен свежий воздух. Но и заведующая посмотрела на неё, как на дуру:

— Наталья Владимировна, вы молодая, неопытная. Я вам советую не менять сложившиеся уставы, проверенные годами. Ну, зачем отделению такие проблемы? А если кто-нибудь сбежит? Нам потом встрёпку главврач устроит. Давайте не будем рубить сплеча и оставим всё, как есть.

Теперь Наталья Владимировна читала в истории Кайзера:

“Диагноз: психопатия декомпенсированная.

Лечение: галоперидол 1 раз утром внутримышечно...”

Что она могла сделать?

6

Наталья Владимировна ждала в сестринской старшую сестру. Их смена кончилась, и они могли уходить. По телевизору начинался какой-то безумный артхаусный фильм. Развалины замка соседствовали со скотным двором, а голос за кадром заунывно вещал: “Это самое убогое королевство, где ночи такие же чёрные и безнадежные, как выключенный телевизор”. Наталья Владимировна поморщилась. Она знала, что самое убогое королевство есть в любом городе, где-то на окраине за пустырьём. Ведь теперь она работала в этом королевстве с восьми утра до пяти вечера пять дней в неделю.

Психиатрическая лечебница вместе с тубдиспансером и моргом находилась на самом отшибе. Между мирами города и больничного городка пролегал пустырь. Он как некая пограничная зона скрывал всё самое неприятное от глаз горожан. Ходить по пустырю в одиночестве даже днём считалось рискованной идеей. Тропа плохая, рытвины с грязью не просыхали даже в самую сухую погоду. Чертополох в человеческий рост оставлял на одежде колочки. Их, словно пропускные талоны, приносили по утрам медицинские работники в свои отделения. Только для “скорых” проходила нормальная асфальтированная дорога к главному корпусу больницы. Ближайшая же автобусная остановка находилась в городе, и к ней приходилось пробираться, пролезая через дырку в ограде на задворках психдиспансера и далее через пустырь.

— Елена Давыдовна, вы считаете Кайзера психом? — спросила вечером Наталья Владимировна старшую медсестру, шагая с ней через буераки на остановку.

— Это не мне решать, — попыталась та уклониться от ответа.

— Вы же читали его историю? Парень связался с плохой компанией и скатился по учёбе после смерти матери. А тут ещё и бабушку опеки лишили. Он же к ней сбежать хотел, вот окно и разбил. Ему помощь психолога нужна!

— Наталья Владимировна, голубушка! Если всем детям позволять себя вести, как Кайзер, и к психологам отправлять, то они детский дом за неделю развалят. Все окна и двери повышибают, обои обдерут — камня на камне не оставят. Без дисциплины с ними не справишься!

— Вы правы, — попыталась как можно спокойнее ответить Наталья Владимировна. — Разбитые окна — это ужасно. Такое нельзя спускать.

— Вот-вот, я и говорю, — одобрительно закивала Елена Давыдовна. Так вместе дошли они до остановки.

7

Вечером в отделении мальчиков было шумно, как никогда. Второй этаж ожидал капитальный ремонт, и девочки должны были перебраться на первый. Всех парней укомплектовывали в пяти палатах вправо по коридору от игровой комнаты. Левую половину оставляли для девочек. К Рыжему, Дылде, Фунтику и Кайзеру подселась малышня из восьмой палаты. Старших заставили передвигать им кровати и помогать обустраиваться на новом месте.

— Шпана какая. Я в няньки не нанимался, — бурчал недовольно Рыжий, нёсший пакет пацана лет семи, который плёлся следом за ним.

В отделении мальчики старшего возраста с развитой психикой, малышня же страдала выраженной умственной отсталостью и другими грубыми нарушениями. Болезни срубали их с самого раннего возраста, не дав возможности развиваться. Теперь палата разделилась на две половины — старших мальчиков и ссыкунов, как прозвал их Дылда. По четыре койки у стен с обеих сторон от входа стояли так тесно, что Кайзеру казалось, что он сидит с Фунтиком и Рыжим на одной койке. Ссыкуны не подкачали — почти сразу неказистый косоглазый мальчишка с вечно открытым ртом сел на свою кровать и сделал лужу.

— Вот чёрт, — завопил Рыжий, который только что заправил кровать этому олигофрену. — Ты надо мной издеваешься? Я же только что тебе всё сделал, ссыкун!

Ссыкун надолго расхохотался очень скрипучим неприятным смехом.

— Лучше бы он молчал, — заметил Фунтик.

Рыжий сплюнул от злости на пол, растёр харчок ногой и пошёл за санитаркой. Через пять минут он вернулся с новым постельным комплектом в руках.

— Суки толстожопые, — ругнулся Рыжий. Этот выкрик относился к санитаркам, попросившим его перестелить постель, а зассанное бельё отнести в санитарную комнату. Ссыкун, весь в мокром, по-прежнему сидел на кровати и продолжал скрипеть своим неприятным смехом.

— Ещё и штаны переодеть сказали, — кипятился Рыжий, роясь в пакете пацана в поисках сухого белья.

Глядя на красного от злости Рыжего, сидящего на корточках с вещевым мешком и не прекращающего бубнить проклятия в адрес санитарок и своего подопечного, Кайзер не выдержал и начал хохотать, за ним засмеялся и Фунтик. Их громкий нервный хохот имел мало общего со смехом радости. Но, к счастью, они этого не понимали.

— Чё ржёте, бараны?! — бурчал Рыжий, пытаясь натянуть на ногу пацана штанину, которая в его неумелых руках никак не хотела налазить.

— Не смешно, — вдруг подал голос забившийся в самый угол кровати у окна новичок лет восьми.

Дылда покосился на него недоброжелательно. В резко наступившей тишине даже ссыкун перестал смеяться. Зловеще прозвучал голос Дылды:

— Ишь, кто заговорил! Ты ещё и говорить умеешь?

— Я не дурак, конечно, умею, — пытаясь говорить смелее, подал голос пацан.

Дылда был рослым парнем. В гневе неуправляем. Его нос свёрнут на бок, как утверждал сам Дылда, в результате драки с ментами. Руки украшали порезы от бритвы, а на плече даже имелась татуировка в виде скорпиона. Как говорила про него Елена Давыдовна: “Денис тот ещё экземпляр”.

Дылда закатал рукава водолазки и подсел на кровать новичка.

— Не дурак, значит. А с чем лежишь тогда?

— Эпилепсия, — уже намного тише ответил парнишка.

— Чем? Говори громче, я не услышал! — потребовал Дылда.

— Эпилепсия, — визгливо выкрикнул новичок.

— Да оставь ты... — попытался вмешаться Кайзер.

— Не лезь, — оборвал его разошедшийся Денис.

— Приступы, значит, у тебя. Колотит тебя. Так? — продолжил он допрос.

— Так, — грустно повторил испуганный мальчуган.

И тут Дылда резко бросился в сторону эпилептика, громко рявкнув и оскалив жёлтые кривые зубы. Это было так неожиданно, что наблюдавшие за сценой Кайзер и Фунтик вздрогнули. Пацан упал с койки, его начало колотить.

— Надо же, не соврал, — ехидно сказал Дылда и отошёл. Кайзер побелел от страха, он впервые видел эпилептический приступ. Но времени обдумывать свои переживания у него не было. Он ломанулся в коридор в сторону сестринской с криком: “Помогите. Помогите!”

— Что орёшь? — показала из кабинета недовольная медсестра.

— Пацана колотит, — всё, что смог выдать из себя Лёша.

Ночью, лёжа на кроватях, парни слышали, как санитарки обсуждали, что сыкуна увезли в реанимацию. Его по-прежнему колотит, и он не приходит в себя. Когда санитарки ушли на ночной чай, ребята всё ещё не спали. Дылда довольно сказал:

— Ну вот, на одного сыкуна меньше.

— О тебе твои родители тоже, наверное, так сказали, когда в детдом отдали, — не сдержался Кайзер. Лёша не успел даже вскочить с кровати, как на него накинудся Дылда и стал лупасить кулаками по лицу. На этот раз заорал Фунтик.

— Опять вторая палата, да что у вас там происходит?! — раздался крик из сестринской.

8

Утром Лёшу поднял знакомый голос:

— Кайзер, в процедурный.

Едва разлепив заплывший от фингала глаз, он подумал: как хорошо, что Дылду перевели в отдельную надзорную палату.

В процедурном Наталья Владимировна как-то поторопилась закрыть за ним дверь. Лёша удивился — казалось, она нервничала. Он подошёл к окну, быстро снял штаны, не дожидаясь команды, и упёрся руками в подоконник, сжав кулаки. Зажмурив глаза, он вспомнил мамин ласковый голос: “Не бойся, комарик укусит. Раз, и всё”. Когда-то в далёком счастливом детстве мама всегда так его успокаивала перед прививками.

И вот Лёша почувствовал, как его укусил комарик — и всё! Лёша не верил себе. Он почувствовал укол, но лекарства Наталья Владимировна ему не ввела. Разве это возможно, что медсестра тыкнула его иглой и не ввела препарат?! Кайзер вопросительно глядел на неё, надевая штаны.

— Я дежурю всю неделю в первую смену. Я буду ставить тебе уколы по утрам.

— Хорошо, — сказал Лёша. Он хотел спросить Наталью Владимировну, почему она не поставила ему галоперидол. Но, кажется, понял это и сам.

— Спасибо, — сказал он, выходя из процедурного.

— Пожалуйста, Лёша, — спокойно ответила она, заполняя какой-то журнал.

Так Лёша понял, что у него появился друг.

9

Подходило время обеда. Из пищеблока, стоявшего рядом с детским корпусом, потянуло тушёной капустой. Лёша, открывший было в палате форточку, поспешил её закрыть. Но поздно — настоящий запах неволи, казалось,

вбедался в палатные стены. Тошнотворная вонь внезапно открыла Лёше правду о психдиспансере. Весь этот лёгкий таблеточный флёр лишь сбивал с толку пациентов и посетителей. Это была газовая камера, в которой воняло тушёной капустой. Из неё нельзя выйти, нельзя кричать, паниковать, просить помощи. Нельзя быть ребёнком. Можно только сидеть в углу и молчать. Надо быть удобным для врачей, медсестёр, санитарок, чтобы бесследно не сгинуть в этой всепоглощающей вони.

Уже к обеду девочки обустроились в отведённых им палатах. В столовой дети сидели все вместе и ждали еды. Рыжий, Фунтик и Кайзер разместились за одним столом. Рыжий наклонился к друзьям и шепнул:

— Видите беленькую с сиськами?

Кайзер и Фунтик закивали. Девушку сложно не заметить. У неё уже была грудь, в отличие от остальных девочек отделения. Её короткие джинсовые шортики красиво подчеркивали небольшую попу. Пожалуй, она была самой привлекательной из девчонок.

— Это Машка — красотка с автострады. Она с моего детдома, постоянно сбегает, шлюхается с дальнобойщиками.

— Рыжий, я тебя тоже рада видеть, — подала голос Красотка. — До сих пор сопли ешь? Или бросил?

Раздался общий гогот. Рыжий покраснел. Тем временем Кайзер обратил внимание на девочку лет десяти. Спокойное лицо и не по-детски задумчивые глаза. Она была словно от всего отрешена. Все остальные девочки шумели, вертелись, разглядывали мальчиков. Кайзер захотел во что бы то ни стало с ней поговорить. Она наверняка такая же, как он — засунута в психушку по ошибке и равнодушию взрослых.

Наконец, принесли еду. Санитарка подошла к этой приглянувшейся Кайзеру девочке и стала кормить её супом с ложки. Лёша оторопел, он не хотел верить в то, что девочка с такими удивительными глазами не умеет есть сама. Но санитарка продолжала кормить её куриным супом со звёздочками, приговаривая:

— Ешь, Катерина, ешь.

Девочка вяло проглатывала суп. Она неспешно закрывала рот, так неспешно, что суп успевал вытекать наружу, и на Катин подбородок прилипали разваренные звёздочки.

Прошла неделя пребывания Кайзера в больнице. Всё складывалось удачно, насколько могло в его ситуации. Наталья Владимировна ставила ему пустые уколы. Дылда по-прежнему находился в отдельной палате, из которой он не имел права выходить даже в игровую. Кайзер продолжал наблюдать за Катей. Целыми днями она молча ходила по отделению. Ей единственной разрешалось бродить, где вздумается. Из разговоров санитарок Лёша узнал, что у неё тяжелая умственная отсталость. Но как она была непохожа на других олигофренов отделения! Тонкая, статная, с правильным лицом. Она ходила, будто наступая не на пол, а на воздух над ним. В её задумчивых глазах, казалось, скрыта разгадка её молчания. Даже санитарки звали её не Катей, а Катериной, придавая ей в глазах Лёши ещё более загадочный статус.

10

Игровая была небольшой комнаткой, особенно если учесть, что в неё теперь набивались все дети отделения — 30–40 ребят. Пол застелен сереньким ковровым покрытием, какое экономные хозяйки обычно стелют на кухнях. Главная достопримечательность комнаты — телевизор с DVD-проигрывателем. Детям включали фильмы и мультики на 2–4 часа (время просмотра зависело от доброты дежурившей медсестры). В другие часы они тупо толклись в этой комнате с самыми простыми игрушками и кубиками, походившими на хлам. Драки происходили каждый день. В игровой больше нечем было заняться.

Лёша сидел у телевизора, когда к нему подошла Ира. Она всегда была взлохмаченной и взволнованной:

— Знаешь, мне недавно заливку делали, — говорила доверительным шёпотом Ира, подсев поближе к Лёше. Она с первого дня рассказывала эту историю всем ребятам, даже ссыкунам.

— А что это такое — заливка? — спросил уже осведомленный Лёша, чтобы поддержать разговор.

— Аборт. У меня уже пузо было. А воспитатели сказали, что я дурочка, раз в пятнадцать залетела. Отправили на аборт. Ну, я все бумаги подписала... Представляешь, я его живого видела.

— Правда? — спросил Лёша.

— Да. Мне в пузо ввели какую-то жидкость. А потом укол в руку сделали. После укола ребенок и вывалился. Весь красный, ножками дрыгал.

— Ира, хватит опять мальчикам страшилки рассказывать, — прекратив болтовню по телефону, недовольно крикнула санитарка.

Ира замолчала и отодвинулась от Кайзера. Вдруг противно загудела пожарная тревога. Санитарки засуетились — надо проверить, всё ли в порядке.

— Смотри, что творит! — вдруг раздался визг одной санитарки из дальнего закутка столовой. Ребята, никем не сдерживаемые, кинулись всей толпой на вопль. В столовой пахло дымом. Санитарка хлопала по столу ветхим полотенцем, пытаясь затушить тлеющую кучу салфеток. Рядом стояла Катерина, в руках зелёная зажигалка. Тут уже подросли вторая санитарка и Наталья Владимировна.

— Откуда у неё зажигалка? — удивилась Наталья Владимировна.

— Это моя, — сказала санитарка Лида. — Наверное, обронила.

— Может, она у тебя из кармана украла? — предположила Вера, наконец переставшая бить по столу полотенцем.

— Не может этого быть. Она же совсем отсталая, — возразила Наталья Владимировна. Потом, посмотрев на окруживших её детей, скомандовала твёрдым голосом:

— Дети, в игровую, нечего здесь толпиться!

II

Наталья Владимировна и санитарка Лида стояли на экстренной пятиминутке в кабинете заведующей. Заведующая, женщина крупных размеров, орала, не жалея прокуренного голоса:

— Лидия Пална... теряете свои вещи! А если бы пожар! Сгорели бы тут все на хрен!

— Софья Андреевна, я случайно. Сама не заметила.

— У ребёнка умственная отсталость. Мозгов совсем нет. Чирк-чирк зажигалкой и спалила бы нас.

— Мозгов нет. А поджог устроила. Со всех столов салфетки собрала, скомкала и подожгла, — попыталась оправдать себя Лидия Пална.

— Лидия Пална, не фантазируйте. Катя даже “мама-папа” говорить не умеет. А вы пытаетесь убедить меня в том, что у неё был коварный план — поджечь наше отделение.

Отпив минералки из бутылки, она закончила:

— Всё, идите! И следите лучше за своими вещами!

Тем временем столовую проветрили, со стола вытерли пепел и привезли обед. Катерину с ложки кормила санитарка Вера под пристальными взглядами и шушуканьями со всех сторон. Фунтик тоже не утерпел и шёпотом восхищённо заметил:

— Вот Катька огонь!

— Ага, а говорили, что дурочка, ничего не соображает, — согласился Рыжий.

— Да я б, если мог, тоже эту психушку поджёт, — сказал Фунтик.

Кайзер тоже восхищался Катериной. А в этой убогой обстановке с казарменной дисциплиной особенно хотелось верить в чудо. И в фантазиях Лёши Катя стала принцессой. Принцессой, которая общается с драконами. Её слушается пламя, и в один прекрасный день она освободит узников больницы. Хотя успевший трезво всё взвесить Лёша прекрасно понимал, что бежать ему

некуда. Если он начнёт жить с бабушкой, то к ней очень скоро опять нагрянет опека с полицией и утащат его в детский дом. Но желание побега в лучшую жизнь продолжало расти в нём наперекор реальности.

После обеда дети расходились в кабинеты на занятия. Брели с неохотой, не торопясь, Фунтик прислонился к стене и стал вытрясать резиновый тапок, точно туда попал камешек. После проверки тапка он начал было стягивать носок, чтобы и его проверить на наличие невидимого камешка. Но санитарка подошла всех неторопливых отборной бранью.

Учёба была совмещённая. Кайзер сидел на занятии для детей от 13 до 17 лет. В психушке вели только русский и математику. Обычно времени разжевывать темы разношёрстным ученикам у преподавателей не было, поэтому Лёша справедливо считал, что тратит своё время даром. Учительница раздавала всем задания по математике.

— Кайзер, девятая тема, упражнения 8, 9, 10 и 11. Будут вопросы, подходи.

Лёша записал все упражнения и открыл учебник на странице 84. Он хотел решать задания, но рассеивался и смотрел всё время сквозь учебник, мимо закорючек букв и цифр. Лёшину отстранённость развеяли причитания учительницы:

— Как так можно, — расстраивалась она, подсев к Маше. — Ни одного правильного ответа.

— Ей мозги не нужны, Машка у нас красotka с автострады, — заметил Рыжий.

Маша взглянула на Рыжего с вызовом:

— Может и с автострады, только не тебе зубы показывать. Мясо для дома инвалидов.

— Дети, успокойтесь!.. — начала преподавательница.

Но Маша не хотела успокаиваться:

— Да тебе и сбежать некуда. Так и будешь там жить. А я себе сама и еду, и жильё достаю.

— Это не заработок, — буркнул Рыжий, уже пожалевший о том, что нарвался на неприятный разговор.

— Знаешь способы лучше? Поделись лайфхаком, Рыжий, — фыркнула Маша.

Рыжий не стал отвечать. Способов лучше он не знал.

12

“Галоперидол — антипсихотик, производное бутирофенона”, — читала Наталья Владимировна в справочнике лекарственных препаратов. Применение препарата сулило: рост груди и выделение молока, независимо от пола пациента, аритмию, судороги, падение давления, обмороки, постоянную тряску рук и ног против воли больного. Чтобы справиться с последним явлением, рекомендовалось принимать галоперидол совместно с циклодолом. Циклодол должен был уменьшить тряску, но дополнял побочный “букет”. Подчеркивалось также, что галоперидол давно устарел и относится к грубым нейролептикам, поэтому лучше использовать современные, более мягкие препараты. Но таких препаратов, как хорошо знала Наталья Владимировна, в отделении не было.

Она закрыла справочник и убрала его подальше в недра шкафа. “Укол” Кайзеру был уже поставлен. Утренние таблетки дети получили. Ей надо было сделать раскладку таблеток на обед. У каждого ребёнка имелся свой подписанный стаканчик, куда заранее клали назначенные препараты. Но не успела она закончить раскладку, как противно завывла пожарная сигнализация. “Неужели опять Катерина?” — удивилась Наталья Владимировна и поспешила на поиски причин шума.

Катерина задумчиво стояла в столовой, всё с той же зелёной зажигалкой. На этот раз красиво тлели льняные занавески. Санитарка с Натальей Владимировной ободрали их вместе с гардиной и стали топтать ногами. Дети снова жаллись на входе в столовую и комментировали происходящее.

— Во Катька даёт!
— Ага, прямо супергерой.
— Нашли себе супергероя, — раздался недовольный голос заведующей, перекрывавший сигнализацию. — Она нас чуть к чертям не спалила!

13

После встрёпки, устроенной медперсоналу Софьей Андреевной, решено было следить за Катериной, не спуская глаз. Но держать девочку рядом с остальными детьми... Она привыкла до самого отбоя ходить по коридорам. И теперь, игнорируя санитарок, пыталась вырваться из игровой.

— Куда идёшь? Вернись в комнату, — кричала каждый раз Лидия Пална. Но Катерина не реагировала на крики, и тучная санитарка преграждала ей выход. — Иди обратно в игровую, кому говорят! — продолжала она кричать Катерине, стоявшей, уткнувшись носом в рыхлое тело Лидии Палны.

Когда-то на всех окнах больницы стояли железные решётки. Но потом пожарная инспекция приказала их снять. Детский корпус самого убогого королевства оказался теперь без решёток и даже перестал так откровенно походить на место принудительного заточения. Наглухо закрытые окошки с льняными занавесками и одно открытое окно в туалете на первом этаже...

— Сбежала, сбежала, в окно выпрыгнула, — орала Лидия Пална, облокотившись на подоконник и выглядывая в больничный двор. Но нигде в обозримом пространстве Катерины не было видно. Больница точно сошла с ума. Приехала полиция. Медперсонал бегал по больничной территории, заглядывая под каждый куст. Прочесали и пустырь, но беглянка бесследно исчезла. Дети прилипли к окнам в игровой, с любопытством следя за беготней во дворе.

— А может, и нам с Рыжим сбежать? — тихо спросил Кайзер, подойдя к Наталье Владимировне, единственной оставшейся сторожить детей в отделении.

— Да куда же вы побежите-то, Лёша?

— А не всё ли равно...

Они замолчали. Лёша не отходил от медсестры, от неё веяло жизнью и свободой. Только с бегством Кати он понял, как его угнетает постоянный надзор.

Наталья Владимировна сидела, опустив глаза, её густые ресницы красиво выделялись на молочно-бледном лице. Вдруг медсестра посмотрела на Лёшу:

— Знаешь, я придумала! — прошептала она.

В тот вечер из детского отделения пропали ещё двое — Кайзер Лёша и Чернышенко Ваня, известный детям в отделении по прозвищу Рыжий. На следующий день медсестра Наталья Владимировна подала на увольнение.

14

Наталья Владимировна тряслась с мальчиками в “буханке” по бездорожью алтайского плоскогорья. Они уже давно съехали с автомобильной трассы.

— Ну что, скоро будем! — крикнул водитель. Пассажиры сели в УАЗик в последнем селе, где ещё были электричество и сносные дороги. Сейчас же они находились за чертой цивилизации.

Небольшая бревенчатая деревня, к которой подъезжала машина, вся умещалась в одну улочку. Эта деревня старообрядцев была такой дальней, что даже иностранные туристы, в последние годы привыкшие шастать по алтайским сёлам, сюда не добирались.

Наталья Владимировна хотела пристроить парней к своему дяде Аркадию Косачёву. И теперь она очень волновалась, думая о предстоящей встрече. Если дядя не согласится взять парней к себе, они попадут в безвыходное положение. И вот поездка окончена...

Они подошли к сосновому забору, причудливо размалёванному цветами и птицами. Наталья Владимировна от волнения закусил губу. Лёша был настроен более оптимистично. Он подумал, что за такой весёлой оградой всегда

рады приедем. Когда они вошли в калитку, хозяин дома уже стоял на крыльце.

— Гляди-ка, жена. Наташка нам помощников навезла, — добродушно крикнул Аркадий своей супруге. Косачёвы жили в браке больше двадцати лет и всё это время смешно кликали друг друга “мужем” и “женой”. Навстречу гостям вышла и хозяйка.

— Наташка твоя, что аист — детей нам в подоле притащила, — разглядывая притихших ребят, сказала она, улыбаясь каждой морщинкой. Детей у них с Аркадием не было.

Скоро Наталья Владимировна вернулась в город. А через пару лет новенькие под руководством старожилы отстроили себе домишко. Всё как нельзя лучше, но Кайзеру ещё долго снился сон.

Детское отделение пылает. Языки пламени, будто огненные ладоши, расходятся и схлопываются всё чаще. На звонкие овации пожара отовсюду бегают дети. Все, которым “посчастливилось” за сорок лет существования отделения в нём полежать. Дети водят хоровод вокруг горящего здания, точно пришли к новогодней ёлке, и смеются. Наконец с третьего административного этажа, снеся полстены, вылетает огромный дракон, а на его спине сидит Катерина. Она машет ребятам рукой и кричит:

— Свободны! Вы все свободны!

Её голос слышно долго-долго, пока дракон совсем не скрывается в розовом мареве нового дня, где-то за горизонтом.

Лёша всегда просыпается от этого сна в слезах. К такому нельзя привыкнуть. В потёмках он вытирает глаза и зажигает свечу зелёной зажигалкой.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ “НЕЗАБУДКИ”

1

Попад в горячий цех небольшой кондитерской, Эля сразу поняла, что сюда лучше было бы не попадать. Провалив вступительные экзамены в технарь и не чувствуя тяги к древнейшей профессии, Эля устроилась помощником пекаря.

— Будешь на слоёном тесте.

— Это которое дольше всех катать?

— Точно! Смотрю, ты подкованная деваха, — хохотнула директриса кондитерской “Незабудка”, принимая Элю на работу.

Про зарплату девушке спрашивать было неловко, и она оставила этот вопрос на совести начальства.

“Незабудка” находилась в вытянутом одноэтажном здании. Зарешёченные окна делали кондитерскую похожей на арестантский барак. Постройка располагалась во дворах бывшей швейной фабрики и в прошлом служила подсобкой. Но местный производитель ещё в лихие девяностые не выдержал китайской конкуренции и загнулся. Уже лет тридцать в здании фабрики теснились разные магазинчики — от продуктовых до хозяйственных. Они тоже систематически загибались и сменяли друг друга в бесконечной круговерти товаров и услуг.

Жанна рассматривала молодую помощницу с недовольством. Роль наставницы её не радовала, ведь на Жанне была всястряпня из песочного теста. И учить Элю на место ушедшего в запой пекаря по слойкам ей вовсе не улыбалось.

Объясняла Жанна бойко, не вдаваясь в детали:

— Берёшь мешок муки, тащишь к сеялке. Подставляешь эту посудину, потом в неё хреначишь всё остальное и тащишь посудину вон к той взбивалке. Ну, и всё, тесто готово. Понятно?

— Ну, в общем-то понятно, а в каких пропорциях хреначить-то?

— Чего?

— Ну, мука, вода, яйца, маргарин... сколько брать?

— Ты дома как тесто месишь? Так и тут. Меси по своим ощущениям!

Далее Жанна поспешила скрыться от дотошных вопросов новенькой, выбежав на склад за маргарином.

“Меси по своим ощущениям, меси по своим ощущениям”, — про себя передразнивала Эля наставницу через десять минут, оцупывая печальный итог своей первой попытки. Липкое сырое нечто в посудине явно нуждалось ещё в паре килограммов муки.

Эля во всём была середнячкой: средний рост, средние способности, средняя привлекательность. Она думала, что и дальше пойдёт своим средним путём и на общей волне, за компанию с большинством поступит в какое-нибудь училище.

Но что-то пошло не так. Теперь Эля возвращалась с работы в комнатушку, которую она снимала у престарелой женщины, потихоньку сходящей с ума. Проблемы с родителями сразу после провала экзаменов приняли отчаянный характер, и её попросили съехать. Мать выкинула ей вдогонку даже домашние тапочки, видимо намекая, что в этот дом Элина нога больше не ступит.

2

Помещение кондитерской находилось в аварийном состоянии. Эля это сразу поняла. Как только она зашла в горячий цех, ей захотелось втянуть голову в плечи и надеть каску. Стальная балка под потолком болталась, прикреплённая только одним концом, и, казалось, вот-вот бухнется. Городской ветер, гулявший под крышей цеха, все время покачивал её. “Скрип-скрап-скрап” — будто говорила железяка, примериваясь к Элиной голове.

— Не переживай, не упадет. Она так не первый год болтается, — попыталась успокоить Элю девчушка, прикусом походившая на белку. Но железка точно убеждала Элю в обратном: “Скрип-скрап-скрап...”

Вообще, в кондитерской было много шума:

“Трах-ха-ха... трах-аха”, — словно выкрикивала взбесившаяся сеялка, подпрыгивая на всех четырёх колёсиках.

“Бр-рр... брр-р”, — рычал и трясся в углу холодильник “Минск-15”. Выпущенный в далёкие восьмидесятые, он последние годы всё бился в предсмертных судорогах, но никак не мог издохнуть.

“Кап-кап”, — капало из треснувшей раковины в подставленное ведро.

Когда Эля возвращалась домой после первой смены: “Скрип-скрап-кап-тра-ха-ха-бррр”, — продолжало шуметь в её раскалывающейся от боли голове. Ей хотелось выпить аналгетика. Как вдруг...

— Постой! — услышала она за спиной.

Это была девчонка-пекарь, похожая на белку. В свой первый день Эля так носилась по цеху, что кроме Жанны ни с кем не успела познакомиться.

— Белка, — представилась коллега, протягивая руку в мохнатой варежке.

— Даже так! — не смогла скрыть удивления Эля, пожимая руку мильной пекарши.

— Хорошее прозвище! Я не в обиде, — хмыкнула Белка, смешно сморщив нос, — Парень-то у тебя есть?

После всех свалившихся на неё “радостей жизни” Эля не отличалась общительностью, а манеры Белки её обескураживали.

— Э-э-э... — протянула она, прикидывая, что бы такое сказать, чтобы перевести разговор. Но как назло, ничего не придумывалось.

Наконец Эля ответила с напускным безразличием:

— Нет, парня нет.

— Оно и видно, — хихикнула Белка и, помахав на прощание, повернула во дворы общаг. Эля продолжила путь на остановку. “Скрип-кап-трах-парня нет-ахха-кап”.

Слойки, круассаны, сырны палочки, торт Наполеон, сахарны бантики — всё это разнообразие входило в Элины обязанности. Раскатывать неподатливое тесто вдоль и поперёк, потом складывать пополам и снова раскатывать вдоль и поперёк, и снова складывать и раскатывать приходилось по несколько часов. В то время как другие пекари уже вынимали первые партии изделий из электрических печей, Эля всё ещё катала тесто. Обычные разговоры в горячем цеху повторяли друг друга день за днём.

— Выше нос! Держи профитрольки, — говорила Белка, протягивая Эле небольшой пакет с заварным лакомством.

— Спасибо, Белка! — благодарила Эля, выпуская из рук ставшую ненавистной огромную скалку. — Я на эти слойки смотреть не могу. У меня руки отваливаются.

— Слоёное тесто капризное, как баба. Его раскатывать целыми днями можно. А недокатаешь, пиши пропало, выпечка не поднимется, хоть на помойку выкидывай — брак! — важно замечал Вася, единственный мужчина в цехе.

— Васька, смотрю, ты опять мозгами блещешь, — бурчала Жанна, отряхивая рабочую тунуку от муки.

— Ты бы слушала лучше, что тебе старшие говорят, и впитывала.

— Впитывают только прокладки, а мне своих мозгов хватает, — продолжала огрызаться Жанна. Тут Вася заводился и выдавал своё фирменное:

— Да я, между прочим, “Доширак” ещё в прошлом веке ел, когда тебя на свете не было!

Девчонки сдержанно откашливались в кулак, делая усилие, чтобы не захихикать. Эля сразу поняла, что Вася на роль парня не годится. Во-первых, потому что ему за тридцать и, кажется, далеко за тридцать — так далеко, что может быть даже и за сорок. А во-вторых, у него усы.

В кондитерской работали и охранники, но они харкались, когда курили, и говорили “ёпта”. “Ну что, ёпта! Пошли, ёпта!” — это было даже хуже Васиных усов. Был ещё смазливый женатый охранник Гриша. Но он, как поведала Белка, должен был вернуться из отпуска перед самым Новым годом.

Кроме горячего цеха, в кондитерской было и второе рабочее помещение — царство тортов и пирожных, где обитали важные и разнеженные девочки-кондитеры. Их наманикюренные пальчики никогда не касались печей. Коржи для тортов делал Вася.

Иногда какая-нибудь кондитерша заходила в горячий цех. Все они раздражали Элю своей неспешностью. Эле, которая с остервенением, в липкой от пота форме раскатывала тесто, казалось, что кондитерши — на одно лицо. Они подходили к Васе и сахарно спрашивали:

— Вася, а скоро коржи будут?

— Да скоро-скоро, — отвечал наспех Вася, не глядя на карамельных девиц. И очередной противень с коржами уходил в раскалённую печь.

На одном из перекуров Эля спросила подругу:

— Какая у них зарплата?

— Ну, они же учёные, после института. Тысяч по двадцать получают, — щурясь от сигаретного дыма, ответила Белка.

— Вот поработаю немного, выучусь и обязательно стану кондитером, — мечтательно выдохнула Эля, снедаемая желанием повысить свою никчёмную квалификацию и из простых рабочих перейти в принцессы кондитерского царства.

— Ты забыла добавить “вот вырасту”. Вот вырасту, выучусь и стану кондитером! Прямо план-пятилетка.

— Ты мне не веришь?

— Верю, что хочешь, но жизнь всё по-своему выворачивает. — Белка уже докурила и не стала ждать подругу. Дверь за ней закрывалась так медленно, как будто железная улитка ползла на тепло.

Эля откатывала слойки уже целую неделю, когда впервые удостоилась стать причастной к тайне... тайне производства пирожного “картошка”.

После обеда в цех зашла кондитер Вера:

— Вася, помогай! “Картошку” готовить будем.

Вера нетерпеливо постукивала ухоженными коготками по Элиному столу. Эля густо покраснела и спрятала в карманы свои обгрызенные ногти. Вася загрохотал самой большой ёмкостью. Стальная дежа на колёсиках разинула всеядную пасть.

— Скидываем отходы. Скидываем отходы! — воззвал Вася к девочкам.

Когда пекарь подьехал к ней с грохочущим бочонком, Эля замерла, с недоумением разглядывая неприглядное месиво в ёмкости, из которого, как из болота, торчали куски печенья и раскисшие рулеты.

— Ты чё стоишь? Есть что-нибудь ненужное? — недовольно спросил Вася. Ему уже пора было доставать партию готовых коржей.

— Слойки подгорелые, крошка всякая. Но... но... это же не в пирожное? Вася засмеялся:

— Сыпь давай! Слойкой пирожное не испортишь.

В ход пошли даже просроченные торты из морозилки. Всё свалили в одну кучу. Эля, как заморожённая, следовала за Васей с его бочонком.

— Но там же арахис. А в этом торте чернослив. Разве это подходит? — шёпотом спрашивала Эля у Веры, также сопровождавшей процессию.

— Для “картошки” всё пойдет, что по сусекам наскребли, — сострила кондитерша.

Наконец, огромный тестомес смешал всё в однородную массу. Вера щедро насыпала в неё какао и сбрызнула ароматизатором рома.

Пирожные пошли пекарям в нагрузку. Кусок картошечной массы возвышался и на Элином столе. Она катала небольшие “сардельки” и укладывала их в коробку по 8 штук. А дальше кондитеры выдавливали на пирожные белоснежный крем.

Эля поняла, что навсегда разлюбила лакомство детства. Пирожное из отбросов — чёртов колобок, а не кондитерская сладость.

5

Всё самое худшее началось, когда в цехе сломалась сеялка для муки. Теперь, как Эля ни налегала на скалку, её выпечка не подымалась. Выходил брак!

— Когда же её уже починят? — спросила она у Васи.

— Вроде не собираются чинить.

— Но без неё у меня ничего не получается!

— Приспособляйся, — равнодушно хмыкнул Вася, напяливая огромные пекарские перчатки. Ему надо было снова лезть в печь за коржами.

Конец Элиной карьере положило получение зарплаты.

— Шесть тысяч. Серьёзно? За месяц работы? — воскликнула Эля прямо в кабинете директрисы. Она же была за бухгалтера и лично раздавала работникам зарплату.

— Эля, ты только пришла. Ты ещё помощник пекаря. А последнюю неделю портишь выпечку в производственных масштабах.

— Это всё из-за сеялки! Тесто не подымается! Почините её! Я же не могу через сито по мешку муки в пятнадцать килограмм перетрясать.

Директриса осталась непреклонной. Она уже надевала свою норковую шубу и явно собиралась уходить. На часах пять вечера.

— Эля, раз ты не можешь делать слойки, так сделай хотя бы снежинки из мастики для украшения тортов. Скоро Новый год. Справишься?

— Конечно! — шмыгнула Эля носом и покинула кабинет, сжимая в руке своё унижение — шесть тысячных кушор.

Мимо Эли пробежала Белка. Она тоже торопилась домой.

— Что, остаёшься? — раздался её удивленный окрик. Не дожидаясь ответа Эли, Белка затараторила из раздевалки: — Не переживай, перед Новым годом всегда так. То одних, то других оставляют.

Уже делая снежинки с помощью формочек и выкладывая их на подносы, Эля увидела, как последние кондитерши неспешно проплывали за окнами

пеха. Даже по их осанке понятно, что они довольны. Ведь они уносили в сумочках по двадцать тысяч каждая. И тут Эля не смогла сдержаться, заревела в голос.

— Что случилось? — удивился Вася. Он колот грецкие орехи — это было его новогодним заданием в нагрузку.

— Я никогда... никогда... не стану кондитером, — сквозь завывания и всхлипы еле выговорила Эля.

— Да, брось! Ещё станешь, — не понимая новенькую, пытался утешить её Вася.

— Нет, не стану! С такой зарплатой я не доживу.

— А-а-а, — протянул Вася, наконец отвлекшись от орехов и подходя к Эле. — Ты же пока только помощник пекаря. Что, шесть тысяч дали?

— Д-дали, — пытаюсь сглотнуть ком обиды в горле, сказала Эля.

— Ничё, пекарем станешь, двенадцать получать будешь.

— А что, на это можно жить?

— Ну, я же живу, — усмехнулся Вася, уже подсаживаясь прямо на Элин рабочий стол.

— Ты её убить хочешь?

— Кого? А... ты про директрису. Кто же не хочет. Я у неё третий год без трудовой работаю.

— Давай её уьем, — предложила Эля. — Мне терять нечего!

— Я, конечно, не пробовал. Но, кажется, я не люблю убивать людей.

— Ну, давай ей отомстим, как-нибудь отомстим... Колобка скатаем!

— Чего? — заржал Вася. — Какого ещё колобка?

— А вот такого! Такого колобка! — оживившись, закричала Эля. На глазах у Васи она сминала вместе только что сделанные снежинки.

— Смотри, Вася! Понимаешь, теперь понимаешь?! — не унимаясь, кричала Эля, которая уже сгребала в одну кучу со снежинками куски нераскатанной мастики. — Что там у тебя? Тащи своё!

— Эля, я не уверен, что стоит! — заметил Вася, пытаюсь загородить собой кастрюлю с лущёным орехом от приближающейся коллеги.

— Стоит, Вася, стоит!

Кусок мастики, несмотря на Васино сопротивление, бухнулся в кастрюлю к орехам.

— Что она нам делает? Да она нас не найдёт даже! В полицию не пожалуется, свою жопу подставлять не станет.

— Пожалуй, не станет, — согласился Вася, не отрывая взгляда от разошедшейся Эли. В отблесках развесёлого сумасшествия и праведного гнева на лице девушки неискущённый в любовных утехх пекарь ошибочно распознал призыв к разнузданной вакханалии. Последнее не могло не поменять в корне Васиный взгляд на заурадную новенькую-растяпу.

— Считай, мы боремся за свои права! — громко провозгласила Эля.

Достав ком из кастрюли, она швырнула его на пол и покатила ногой в сторону морозилки.

— Пошли за тортами, — позвала девушка Васю за собой.

В коридоре колобок будто замер перед сторожем Гришей.

— Вы чего это делаете? — спросил Гриша, подтолкнув кроссовкой серое нечто у своих ног. Он только что заступил на смену после отпуска и, впервые увидев Элю, разглядывал её с опаской.

— По сусекам скребём, по амбарам метём, — выдала новенькая, почувствовав себя форвардом, и умело выбила колобок из-под Гришиной ноги “ударом щёчкой”.

— Эй, ребята, вы чего? Я щас директрисе позвоню.

— Не ори, — неожиданно твёрдо сказал Вася, прижимая щуплого Гришу к стенке. — Мы тебя взяли в заложники!

Гриша, и без того хлипкий парень, задрожал от волнения мелкой заячьей дрожью, с ушами выдавая свою трусливую натуру. Он был охранником номинально, но никак не в душе.

— Когда это вы меня взяли в заложники? — спросил он, пытаюсь выкрутиться из Васиных объятий.

— Да вот сейчас и взяли. Элька, свяжем его? — спросил Вася. Лицо его всё шире расплзлось в усатой улыбке. Его очень сместила Гришина возня.

Глядя на Васю сейчас, в неформальной обстановке, Эля подумала, что у него точно две улыбки, одна — своя, а вторая — улыбка усов. Она тоже впервые за день легонько улыбнулась. Всё-таки нелегко улыбаться на празднике непослушания, за шаг до обрыва в неизвестность. Потеря работы и зарплата, которой не хватит даже на неделю — хотелось задвинуть эти мысли куда-нибудь подальше. Спрятать за колобок, за чудовищно-огромный колобок, за которым не видно чудесной пропасти впереди.

— Элька, что с пленником делать будем? — вывел Вася боевую подругу из задумчивости.

— Времени нет с ним возиться. Пусть сидит на складе.

Складом называлась узкая плохо освещённая каморка с бесконечными полками до самого потолка. Здесь хранились красители, консерванты, орехи, сухофрукты, сливки — в общем, всё, что могло пригодиться в кондитерском деле. Но больше всего здесь было глазури. Чёрная, шоколадная, белая — она буквально валилась с полок на головы входящих. Закупали глазурь огромными брусками. В отличие от магазинного шоколада, она твёрже и её сложно грызть. Куски для украшения тортов приходилось отпиливать, а потом разогревать до жидкого состояния. Только в таком виде глазурь становилась съедобной. В цехе пилить глазурь не любили, да и грызть тоже. Поэтому её никогда не подворовывали. Васе идея оставить охранника на складе пришлась по душе. Он даже невольной сочинил скороговорку:

— Гриша, грызлиглаз, — не смог выговорить с первого раза, — Гриша, грызи глазурь!

Гриша, не испытывавший симпатии к начальнице, посчитал, что лучше и правда быть заложником, чем нарваться на смачный фингал.

Тем временем из морозилки полетели первые торты. Ближе всего, сразу на входе, стояли шоколадные. Как отметил про себя Вася, коллега не стала блистать оригинальностью и начала инквизицию над тортами по порядку.

— Эля, а тебе не кажется, что мы с тобой какую-то дичь делаем? — спросил он в открытую дверь.

— Ты бы лучше помог, а не болтал лишнего, — раздалась почти мольба из морозилки.

— Чш-пок, — прошипела лампочка.

— Вот чёрт, в самый неподходящий момент, — застонала Эля в наступивших потёмках. Поняв, что методика выкидывания по одному тарту длительная и энергозатратная, Эля решила набрать сразу гору тортов. В момент, когда лампочка предательски перегорела, она несла к выходу 8 кремово-фруктовых “Великолепий”, поставив их башенкой один на другой.

6

Поспешивший на помощь Вася забыл про порожек.

— Это что, “Фруктовое великолепие”?

— Вася, убери руку с моей груди!

— Эй, ты чего дерёшься? Я тут ни хрена не вижу.

— Зачем дверь закрыл? Чтобы на пол меня повалить?

— Я ничего не закрывал, она сама захлопнулась.

— Отлично, валяемся в морозилке, перепачканные сладостями. Кажется, я ушибла затылок до крови... Этот дурацкий каменный пол, аж искры посыпались.

— Эля, тут лежать не стоит. Давай вставай, я тебе щас помогу.

— Спасибо, ты мне уже помог, — ядовито заметила Эля, лёжа на полу и беспомощно загребая руками. — И вообще, хватит щекотать меня своими усами.

— Эля, не фантазируй, — раздалось сверху у девушки над головой. — Я уже сижу и никого ничем не щекочу! — Вася чиркнул зажигалкой. Слабый свет озарил его лицо. Раздался писк, и тень с длинным хвостом метнулась от Элиной руки в тёмный угол. Девушка завизжала и, забыв про ушиб головы, вылетела из морозилки.

— Ну что ты орёшь! Как будто крыс не видела, — со смехом вышел следом за ней Вася.

— Это первая крыса, которая меня потрогала.

На свету в коридоре Эля крутилась и оглядывала себя.

— Крем, крем, крем, апельсинка, вишенка, — комментировала она увиденное.

— Не хочешь киви? — пошутил Вася, протягивая дохлый, прозрачный ломтик зелёного фрукта.

— Отстань, мне своего фруктового набора хватает, — отмахнулась Эля. Вдруг внимательно осмотрелась кругом. — А где колобок?

— Укатился, наверное, — пожал плечами Вася.

Эле стало тревожно: крысы, перегоревшие лампочки, сотрясение мозга, а теперь ещё и сбежавший колобок. Это слишком! Она быстро направилась на поиски беглеца.

— Колобок, колобочек, — звала дрожащим неуверенным голосом.

— Знаешь... ты вся такая воздушно-кремовая, с вишенкой на плече, зовёшь кусок отходов, в надежде, что он отзовётся, — размышлял Вася, шагая следом за Элей.

— Колобок, колобочек! — продолжала звать Эля, точно не слыша Васю.

— И со мной такого никогда не было, хотя я ел “Доширак”...

— Да, знаю я всё про твой “Доширак”. Не мешай, — прервала влюблённого пекаря Эля. И снова протяжно закликала:

— Колобочек!

— Я тебя хочу облизать и отшлёпать тоже хочу, за всю эту хреноту, в которую ты меня втянула.

— Колобо-о-ок!

Они уже зашли в горячий цех, и Эля на всякий случай вооружилась увесистой скалкой. “Скрип-скрап-скрап”, — раздалось привычное приветствие железяки над головой.

— Давай вместе жить, а? Я, конечно, живу в частном секторе, но домишко ничего, тёплый.

— Кажется, здесь его нет, — выдохнула с облегчением Эля, осмотрев все углы.

И тут со склада послышалось весёлое гиканье. Прямо на Элю с Васей катился заметно подросший колобок, а из-за него слышались одобрительные выкрики Гриши. Теперь колобок приобрёл серо-зелёный окрас и стал под два метра ростом. Его поверхность была испещрена мелкими пузырьками, которые без конца вздувались и лопались. Кислый запах отсыревших дрожжей и деревянных туалетов кружил голову. Казалось, что колобок вот-вот растечётся по полу липким вонючим болотом.

— Гриша, ты охренел... Апчхи! Что это такое? — с ужасом спросила Эля, морщась, чихая и прикрывая нос руками.

Обиженный Гриша вышел из-за спины своего “подопечного”.

— Ты разве не этого хотела? “Гриша, грызлиглаз... Гриша, грызлиглаз”. Думали, мне слабо, я не способен на месть? А я, между прочим, пока вы в морозилке уединялись, вам помог слегка. В конце концов, мне тут оставаться тоже не хочется.

— Ты чего в него напихал-то? — наконец спросил Вася, обойдя чудовище.

— Всё, что на складе было.

— Дрожжей ты, Гриша, явно не пожалел.

— Бросьте придирайтесь. Не нравится — засыпьте посыпками, бусинами, кокосом, чем вы там торты украшаете.

— Знаете, я сильно долбанулась головой, и мой пыл угас. Пошли по домам.

— Эх, а я думал, вы что-нибудь серьёзное отождёте. Типа, выложите на колбке послание для директрисы: “Иди на...” или “Иди в...”

— “Грызлиглаз” мы на нём выложим, в память о настоящих героях!

— Не смешно, Вася! — в очередной раз за день Гриша обиделся на грубоватого пекаря.

— Ребята, он зевает! — вдруг прошептала Эля, подойдя поближе к коллегам.

— Эля, ну ты скажешь тоже, — усмехнулся Вася, разглаживая рукой слипшиеся от крема усы.

— Да ты посмотри, посмотри!

Мужчины оглянулись на своё творение. Выемка на “лице” колобка и правда была похожа на открытый рот. Колобок, точно поняв, что речь идёт про него, расплылся в зловещей улыбке и зашёлся мелкой дрожью. Казалось, где-то в его утробе вибрировал проглоченный телефон: “Гр-р-р, гр-р-р”.

— Какого хрена он задумал? — спросил Вася, переходя на горячий шепот и пятясь поближе к стенке.

— Он не зевает. Он нас сожрать хочет! — визгливо, по-бабьи крикнул Гриша, вовремя укрывшийся за сломанной сеялкой от внезапно покотившегося колобка.

— Это всё твои дрожжи, смотри, как его разбарабанило! — зло зашипела на охранника Эля, присевшая на корточки между мешками с мукой. — Если бы этот Грызлиглаз не был такой большой, быстро по жопе бы схлопотал.

— Ты стрелки не переводи. Кто у нас по сусекам скрёб и по амбарам мёл? Кто меня в заложники взял?

Пока ребята переговаривались, колобок с противным утробным урчанием катался по цеху и вжёвывал в себя производственный мусор, мешки с мукой, черпаки и скалки. Наконец, раздавив рабочий стол, он вмял и его в свои бока.

— Может, воздухом подышим? Никому покурить не хочется? — предложил Гриша коллегам, проползая по-пластунски к выходу из цеха.

Эля с Васей идею одобрили и направились следом за охранником.

7

— И что мы с ним делать будем? — спросил Вася, когда они вышли с задворок на главную улицу.

— Мне кажется, что эта проблема теперь не в нашей компетенции, — сделав лицо посерьёзней, ответил Гриша. — Теперь с ним должны разбираться город, Росгвардия, МЧС.

Вдруг за их спинами раздался оглушающий грохот.

— Как будто кондитерская рухнула, — вздрогнув от неожиданности, заметила бывшая помощница пекаря.

Вася заглянул в ворота. Там во дворе и впрямь красовались руины кондитерского цеха “Незабудка”.

— Бежим, Грызлиглаз сюда катит.

Вовремя отскочившая от сваленной ограды троица наблюдала, как монстр покатился по городской улице напрямик в один из спальных районов. Свинцовое, переполненное замёрзшим снегом небо болталось, точно наброшенная беретка, на удаляющемся чудовище. Косые лучи падающих с отчаянным грохотом фонарей выхватывали страх на лицах разбегающихся прохожих. Страх, точно наводнение, накрывал город. Колобок увеличивался в размерах с каждой секундой. От его напора падали, как убитые, дома, рухнуло и старое здание вокзала. Грызлиглаз стремительно удалялся от развалин кондитерской, и ребята уже не слышали криков людей, треска вывороченных деревьев, машин, захлёбывающихся визгом сигнализаций. Их квартал уже накрыла непроницаемая тишина. Теперь вечерняя улица была переполнена людьми, но все точно вмёрзли в асфальт и молча глядели в сторону терпящего бедствие района.

— Вот чёрт лысый! Катится прямо к моей бабке, — угрюмо заметила Эля. Но позвонить старушке-хозяйке и предупредить её о надвигающейся угрозе — на это Эля не чувствовала в себе потенциала. Ведь больше всего после случившегося ей хотелось спать.

— Тогда поехали ко мне, хотя бы отмоемся, — обняв девушку за талию, сделал Вася предложение, от которого сложно было отказаться. Наверное, при других обстоятельствах это предложение прозвучало бы совсем убого и до банальности затёрто. Но в апокалиптических предновогодних сумерках оно было почти королевским.

ДАРЬЯ ИЛЬГОВА



...И ПЕСНЯ ЕЁ ЛЕГКА

* * *

Купить билет и мчаться наугад.
Москва—Берлин. Москва—Калининград,
Не сознавая, рад или не рад
Подобным смутам.

Красивые чужие города.
Мотаешься меж них туда-сюда,
Жизнь разделяя, нет, не на года,
А на минуты.

Что обретёшь ты там, где небеса
Стрелой пронзает Куршская коса?
Где отдохнут усталые глаза?
Уйдет отвага?

Сомнениям не веря ни на грош,
Куда бежишь, скажи, чего ты ждёшь?
Кого ты ищешь, что ты обретёшь
Под куполом Рейхстага?

Ты был ничей отважный генерал.
Был предан много раз и предавал.

ИЛЬГОВА Дарья Алексеевна родилась и выросла в Воронежской области. Выпускница Литературного института им. М. Горького (семинар Г. Н. Красникова). Автор книг "Снимки" и "Молчание". Стихотворения печатались в "Антологии русской поэзии 21 века", в журналах "Литературная учёба", "Наш современник", "Москва", "Дети Ра", "Плавучий мост", "Аргамак", "Слово/Word" и др.

Узнал и вкус победы, и провал
Души и тела.

Калининград, Москва или Берлин...
А ты один, а ты опять один,
И не с кем разделить хлебов и вин,
А так хотелось.

* * *

Это суть поколения: раб ты или атлант,
Пресмыкайся или труд бери по силам.
Не оплакивай ни отверженность, ни талант.
Стыдно плакать таким верзилам.

Словно нет ни зарплат, ни боссов и ни страстей,
Ни вражды, ни границ, ни аномальных зон.
Только небо и солнце, и светлая даль степей,
По ладони Бога, бегущие за горизонт.

Словно птичка в клетке: и пользы не принесёт,
И отпустить дрогнет Его рука.
Ей тревожно и тесно. И всё же она поёт.
Звонко поёт. И песня её легка.

* * *

У цветочного рынка — давка и суета.
Вот художник, рисующий лодку в тени моста,
Вот старуха всучить пытается всем чеснок,
Вот собака бежит и сбивает ребёнка с ног,
Вот молочник — как пряно пахнут его сыры,
Вот рыбак, что принёс от моря его дары...
Вот торгуется дама за мыло — упрямый нрав!
Вот цветы, вот масла, вот разноцветье трав.
Я иду в хороводе красок и голосов
И не чувствую страха, не помню про стук часов.
Я иду в окружении света над головой,
Так пронзительно ощущая себя живой.

* * *

Не имея лучших поводырей,
Мы идём туда, где цветёт пырей,
Осыпается ранней росы стеклярус,
Заставляя ступать быстрее.

Преклонить-то некуда головы,
Избежав всеядной людской молвы,
Кроме этой колкой, неприхотливой,
Невысокой степной травы.

Одинокие венчики распластав
Среди многоголосия диких трав,
Отпуская на волю семян созвездья,
Продолжением ветра став,

Так и мы качаемся на ветру,
Наблюдая дурашливую игру
Палача и бабочки в паутинке,
Немоту и её сестру.

Вот уже и сам замолчать готов —
Только нам пырей и болиголов
Не дают покоя, благословляя
Говорить из последних слов.

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА



КЭКУ*

РАССКАЗЫ

— Девушка! Руку!

Рокочут лопасти, хлопают о воздух, кружат снежную крошку. Ветер жалит кожу, снег застилает глаза, ныряет за ворот и там растекается по шее холодными струйками.

Яре зябко на ветру и страшно под лопастями. Ресницы её слиплись на морозе от слёз. Втянув голову в плечи, она идёт по белому полю сквозь пургу — вслепую, не разбирая дороги, прикрываясь пуховой варежкой в розовую снежинку. Другая варежка почти целиком утонула в чёрной кожаной рукавице. Ей там тепло и надёжно, уверенно как-то. Чёрная рукавица тянет пуховую варежку, а за ней тянется и вся Яра, с головой в плечах, под мохнатым капюшоном парки, с носом в заиндевевшем шарфе, с ногами в дурых штанах и новых тёплых ботинках. Эти ботинки она кушила на свои последние две стипендии. Ботинки — хорошие, фирменные, потому что Яра — паталогическая отличница и стипендии у неё всегда повышенные.

Тяга на миг слабеет. Над Ярой склоняется, закрывая собой тусклый дневной свет, парень в куртке снежно-защитного окраса:

ЯКОВЛЕВА Александра Геннадьевна родилась в 1990 году в г. Омске. Окончила Омский Государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности “филология”. Среди предков — остяки (коренной народ Сибири), что нашло отражение в ее творчестве. Автор книги рассказов “Вот она я” (диплом “За лучший литературный дебют” Германского Международного литературного конкурса). Лауреат молодежной литературной премии им. Ф. М. Достоевского, премии “Русский Гофман”

* Кэку (удэг.) — кукушка.

— Я от Хлопуши! — кричит он, заглядывая Яре под капюшон. — Борис Игнатьич! Просил встретить!

Яра кричит в ответ: “Хорошо!” — но саму себя не слышит.

Впереди светят круглыми фарами внедорожники. Сквозь шум вертолѐта пробиваются гудки, урчание двигателей. Кажется, весь посѐлок встречает пассажиров Ми-8. Яру усаживают на заднее сидение в одну из машин, пристѣгивают, вручают ещё тёплый термос. Она свинчивает крышку, открывает резиновый клапан — и слышит душистый можжевельник, таёжный мѐд. Она пьѐт маленькими глотками, согревает руки, горло, всю себя.

И вот автомобиль уже идѐт по бездорожью, а за окном скачет тайга, глухая, заснеженная, невиданная досель.

Водитель — невысокий мужчина под пятьдесят, с дальневосточными глазами. Говорит он много, шумно, и смеѐтся, и время от времени хлопает по плечу сына. Тот уже расстегнул свою снежную куртку, снял чѐрные перчатки. Руки у него тонкие, длиннопалые. Отцовские черты в лице смягчены. Он тоже много смеѐтся, а порой нет-нет, да и глянет на Яру в зеркало заднего вида. Наблюдает.

Яра тоже наблюдает — за убегающей вдаль тайгой. Мысли вспыхивают в её голове и тут же уносятся, да так стремительно, что вскоре остаѐтся лишь пустота, лёгкая, звенящая, и Яра, разморѐнная теплом и лесным чаем, прикрывает глаза на короткий миг — и проваливается в забытьѐ.

Она просыпается в чистой постели. Утренний свет слепит её даже сквозь занавески в зелёный горошек. На мгновение ей чудятся запах свежего хлеба, приглушѐнный бабушкин говорок с кухни, мерный перестук ходиков, а за окном — лето, родной двор, мальчишки уже запускают змея с верхушки староготополя, и змей трепещет на августовском ветру и бѐётся, бѐётся в стекло...

Но вот глаза привыкают к свету. И видит Яра, что это не змей, а малая птаха стучит клювом в промѐрзшую раму, заглядывает любопытным глазком. И ходики на стене совсем другие, без гирек, и солнце зимнее, и в доме стыло.

Какое-то время Яра лежит в чужой холодной постели, глядя в чужой белѐный потолок. Осознаѐт. В изножье кровати — стул. На стуле — одежда и пуховые носки в придачу. Также чужие. Всѐ кругом чужое, и даже Яра сама не своя: будто сдвинулось в ней что-то, провернулось вокруг оси, незаметно, но безвозвратно. И тянет, тянет куда-то в метель, в пустоту — так, глядишь, всю душу вытянет по ниточке.

— Во даѐт девка, — совсем близко вдруг старческий голос. — Чего ты, милая?

И крупная, задублѐнная, тёплая от печного жара ладонь ложится на светлую Ярину голову, с неуклюжей лаской ерошит волосы. От руки пахнет парной выпечкой и луком, и, смахивая кулаком настырные слѐзы, Яра говорит:

— Такая голодная, хоть плачь.

Она смеѐтся — долго, а потом так же долго рыдает в ситцевый передник.

*

Между второй и третьей булочками с изюмом Яра принимает решение. Она непременно выберется отсюда. Так она и говорит бабушке Игоря, бабе Мане, пока та подливает ей горячего брусничного чая в нарядную, тиснѐнную золотом пиалу из серванта. У Яры впечатление, что она первый человек за последние полвека, кто пьѐт из этой посуды. Японский сервиз — главная ценность дома, а может быть, даже всего посѐлка, поэтому Яра обращается с пиалой крайне бережно.

Баба Маня энергично хлопает Яру по плечу. Это у них семейное. Говорит:

— Знаемо, выберешься! Как не выбраться? Хоть в глуши живѐм, да уж не совсем. И корабель ходит, и вертушка лѐтает. Вертушка-то почаще: считай, каждый вторник.

Яра спрашивает с набитым ртом:

— А вы сами бывали в городе?

Смеётся баба Маня:

— Да зачем мне? Счастливей, что ль, там живётся?

— Комфортнее...

— У всех канфорт разный, — говорит баба Маня назидательно. — И счастлив тот, кому хватает, так-то.

— А мне здесь не хватает, — заявляет Яра. — Вот в следующий вторник и улечу.

Она обмакивает кусок булки в чай, рубиновый от ягод, ловко забрасывает булку в рот, и сладкие шарики изюма лопаются на зубах.

— Вёдрышко будет — так и улетишь, милая, улетишь птичкой! А то ещё передумаешь, Бог даст.

Баба Маня садится у окошка, отдёргивает занавески. Ей уже девятый десяток, и когда свет падает на её коричневое, изрытое временем лицо, кажется, будто это глиняная маска, а под маской Яра вдруг видит бабу Маню совсем молодой, какой она была, когда выходила замуж в этот посёлок. Баба Маня щурится на свет, от глаз её разбегаются счастливые лучики, складываются паутинкой.

— Бог даст — передумаешь, — повторяет она, и паутинка играет на стариковском лице. — Хорошо у нас, в Тихом месте. Спокойно, дышится легко. Пообвыкнешься — передумаешь... Останешься, птичка, — Игорёк обрадуется...

Баба Маня всё бормочет свою присушку, заговаривает, и Яра, будто в трансе, видит, как кусок размокшей булки падает из её руки прямо в чашку, распадается на крошки. Белыми звёздами кружат они в чайном небе и, мерцая, тихо умирают на дне.

*

— Ярославна Марковна? Прошу, входите, отогревайтесь. У нас натоплено... Вот обождите, помогу вам курточку... шапочку... Лизавета! Милая, чаю нам организуй в кабинет! Вот и добрались, вот и добро. Вы уж не сердитесь, Ярославна Марковна, что с вертушки не забрал вас лично, тут участковая нагрянула, разбирались... Ой, комедия! Одни алкаши ведь живут, прости Господи. Каждодневно морды бьют друг другу. В фарш бьют! Скучно им, псам, а Катенька, как подорванная, из другого посёлка мчитесь оформлять. “Буран” у ней — загляденье. Служебный... А вот и чай! Спасибо, Лиза, спасибо, золотая моя. Варенье? Мёд? Кушайте-кушайте! Прекрасный таёжный мёд. Такого мёда вы не ели никогда. Ну, так на чём я?... Ах, да. Смертным боем быются мужики. Из-за чего? Так знамо дело, из-за чего. *Шарше-ля-фам*, ха-ха! М-да... Вы, Ярославна Марковна, я вам честно скажу, девушка всяческих достоинств. Так что... К-хм... Будьте осторожны. Составляли мы протокол, а я и думал: “Как же наша новая учительница здесь, в глуши? Не ровён час — обидят!” Так что запомните, Ярославна Марковна: чуть косою взгляд, чуть кто тронет, принуждать начнёт — бегом ко мне! Мигом усмирим, отвадим. Ясно? Вы вот, у Игоря нашего остановились... Только что говорил с ним, разминулись маленечко. Игорёк, конечно, парень хороший, да ветра много в голове. Наивности. Глупости, если угодно. Да-да! Съездил в город, нахватался там энтузиазма: похвалил его кто-то или что... С идеями вернулся! Идеинный, язви его в душу. Господская охота! Этнотуризм! Растудить его в качель... Прошу прощения, Ярославна Марковна, но это ж невозможно без смеха слушать! Я так скажу, промеж нас исключительно: скovyрнуть он меня приехал. На моё место хочет. Он думает, быть главой — это очень просто. Думает, Хлопуша тут штаны просиживает день-деньской, бумажки перекладывает. Что это только по вине Хлопуши одного посёлок гибнет... Вы пейте, пейте чаёк-то, остынет. Нет, ну, а что я могу один?! Власти нам не помогают ни черта. Дом культуры надо отремонтировать, школу — видели школу-то, нет ещё? На вас-то одну еле наскребли:

зарплата, подъёмные, дом вам ещё положен... Н-да. Крутом же деньги нужны. А знаете, сколько бумажек надо собрать? Ещё же не просто так, ещё в конкурсах участие прими. Да какой глава будет этим заниматься?.. Должно как, если по совести? Вот я в край пишу, мол, нам надо то-то и то-то, помогите. И край помогает. А они только отписки, только отписки. А Игорька нашего вообще пошлют лесом, сопляка этого. Ишь, скovyрнуть меня решил! Не-е-ет, Хлопушу так просто не скovyрнёшь. Я десять лет глава, и ещё столько же главой буду. Да и народ уж давно ко мне привык. В посёлке одни старики, молодого и не выберут нипочём. А у нас демократия в стране! Народ решает. А я знаю, как народ решит, потому что это мой народ. Никому его идеи не нравятся, даже родной его бабке. Игорь хочет деньги привлечь — это дело благое, это я понимаю. Но как привлечь? Растрывать природные богатства, проложить туристическую тропу к самому нашему порогу! А место тут тихое. Даже название посёлка так переводится, знали? “Тихое место”. Хорошо, спокойно. Чистота и дичь первобытная. Любого спросите — скажут: не нужны нам чужие, не нужны охотники-туристы, браконьеры эти всевластные. Народ извели уже, ещё не хватало нашу тайгу им отдать. Дурак он, этот Игорь. Молодой ещё, не понимает. Как мёд, вкусный? О, то-то же! Вы, Ярославна Марковна, непременно заходите в гости ко мне домой, в любое время. Здесь же, только с другой стороны крылечко. Жена обрадуется. Новый человек для нас — всегда большая радость. Дети выросли, разлетелись, а мы свой век доживаем. В забвении. Иногда кажется, даже время здесь стоит на одном месте...

*

Яра с недоверием оглядывает здание школы.

Школа, кажется, заброшена, по крайней мере, уже лет пять. Обшарпанные стены, заколоченные окна, разрушенное крыльцо. Но местные мальчишки были очень убедительны, когда она спрашивала дорогу.

Вот и входная дверь приоткрыта. Яра заглядывает внутрь, но не видит ничего, кроме замусоренного пола со следами советской плитки. Дальняя стена тонет во тьме, тьма дышит холодом и запустением. От этого дыхания Яра вздрагивает, но тут же хлопает себя по синтепоновым бокам, чтобы взбодриться.

— Эй! — зовёт она вполголоса.

И заходит внутрь.

Посреди холла рядом стоят несущие колонны, покрытые глубокомысленными надписями. Кое-где бетон выщерблен до металлического каркаса, и высказывания обрываются на самом интересном месте. Будто незрячая, Яра пробегает по ближайшей колонне пальцами, считывая щербинки и бугоры распухшей штукатурки. Обойдя её, ныряет во тьму и находит рукой вторую. Света из приоткрытой двери уже недостаточно, и Яра включает фонарик на смартфоне. Хоть какая-то польза в этой глуши.

Яркий белый луч обтекает колонну. Ученические скрижали гласят: “Гошан — ушан”, “8 класс рудит!”, “Ленка — волосатая коленка” (зачёркнуто красной пастой), “Не взрослей! Это ошибка”, “Люблю Анну Сергевну”, “А что, если птицы поют от боли?”.

Вдруг — тихий шорох у дальней стены. Яра поднимает голову и видит человеческую фигуру. Приземистая, округлая, без рук и как будто на одной толстой ноге. Фигура слегка покачивается вперёд-назад. И молчит. Покачивается и молчит.

Яра шумно сглатывает.

— Кто здесь?.. — говорит она.

Белый свет фонарика отделяет фигуру от тьмы. Яра видит её целиком, от огромных расшитых бисером и пряжей валенок до цветастого платка поверх вязаной шапки. Маленькое женское личико расплывается в улыбке, прячет и без того узкие глаза в пергаментных складках кожи, за толстыми линзами очков.

— А я и думаю: кто тут ходит в такой час, кто светит? Ужо не слепи меня, не слепи, — сухонькая ладошка поднимается к лицу. — Ты чейная будешь? Отколь забрела?

— Так я... Новенькая, — лепечет Яра. — Учительница в школе.

А старушка уже семенит к Яре, шаркая валенками по битому кафелю. Она настолько маленькая, что ниже Яры на целую голову.

— Ба! Ярославна прилетела! Вот и праздничек нам! — Она берёт Яру под локоть. — Только чего ты в старую школу пришла? Аль не сказали тебе? Подшутили? Здание-то — рухлядь! Аварийное, во.

— И правда, подшутили. — Яра улыбается, вспоминая лукавые прищурены папанов. — Спровадили училку, герои.

— Ой, ты их слушай больше, этих оболтусов! — Старушка смеётся тихонечко. — Пойдём, милая, доведу тебя. По пути нам.

— А вы-то что здесь делаете? — Яра в последний раз оглядывает заброшенную школу.

— Так Давыдовна я. Старожилка тутошняя, кружок веду.

— Кому?

— Да известно кому: школьникам.

— Так всё-таки учатся здесь?

— Вроде молодая ты, а уже глухая. Я-те чего говорю? Аварийное здание, заколочено. Не положено тут детям. Садик, вон, отдали под школу...

Они уже на улице, и старушка машет рукой куда-то в сторону. Сквозь слепящий свет дня Яра пытается разглядеть детский сад.

— ... Всё равно три карапуза на посёлок. Но ты не беспокойся, дочка, у нас Маня завсегда готовая с дитём посидеть. А то и на урок возьми, он никому не помешает!

— Что вы, — смеётся Яра, — нет у меня детей.

— Это пока нет. Но будут же!

— Да я, может, с первым же вертолётном полечу отсюда.

Давыдовна смотрит на Яру из-под платка. Улыбается хитренько так:

— Ой, кэку! — тянет. — Закуковала Ярославна наша. Полечу, говорит, кукушкою... И детей бросишь тут одних, безмозглых?

— Да нет у меня никаких детей!

— Так уж и нет? Ну, пойдём, Кэку...

Они поднимаются по трём ступенькам крыльца детского сада, который выгладит ненамного лучше школы. Идут гулким коридором, сквозь запахи столовских тефтелей и мокрого бетона, мимо стенгазет и расписания уроков, на далёкий шум голосов. Голоса всё ближе, уже можно различить отдельные выкрики.

Давыдовна дёргает на себя дверь слева — и Яра оказывается в небольшой, но светлой комнате. Десять советских школьных парт, десять лавок подле них, один учительский стол, одна новенькая классная доска.

Из дальнего угла комнаты в доску как раз летит мокрая тряпка и, вмазавшись в неё, сползает на пол. Посреди внезапной тишины хорошо слышен её смачный шмяк. Восемь пар глаз недоумённо смотрят на Ярославну.

*

Ольге Давыдовне Языковой семьдесят восемь лет. В посёлке она старожил. Старше неё только баба Маня, но зато Ольга Давыдовна — уроженка.

— Как родилась в своей избе, так и доживаю в ней век, — говорит она, шумно прихлёбывая можжевельный чай. По учительской стелется аромат хвои.

— Раньше-то предмет был в программе по моей части. Знакомила ребят с народным прошлым: учили язык, много читали, переводили на русский. И прикладное искусство тоже я вела: берёсту резали, кожу расшивали... Ой! Чего только не было. Выучила, считай, весь посёлок. И это ещё малая часть осталась, а сколько разлетелось по стране!.. Да что теперь

вспоминать! Часы урезали, меня сократили. Как бы пенсионер уже давно. Оставили кружок раз в неделю, и то спасибочки. Только разве успеешь что?.. Сказки читаем тихоньку да картинки к ним придумываем — вот и вся народная культура.

На часах — два пополудни. Яра провела русский язык у старших (повторяли пройденное), литературу у среднего звена (начали “Петра и Февронию”), чтение в младшем классе. Во рту у неё всё пересохло от безостановочного говорения, горло саднит. Уроки она, само собой, не подготовила заранее — пришлось импровизировать.

Давыдовна подвигает ей кружку с чаем.

— Ты уж не держи на меня зла, *Кэку*, что я тебя, как в клетку, к ним бросила. Оформят задним числом, как директриса вернётся с конференции, не переживай. Оформят, дом выделят, подъёмные... Но работать, золотая моя, работать надо уже сейчас. Сама, небось, поняла: тут делов непочатый край. Особенно за больших страшно: как они “и-гэ” это машинное сдавать будут?..

С выпускниками действительно беда. За лето всё забыли, осенью непонятно, как и с кем занимались, до экзаменов осталось каких-то полгода, а они бланки ЕГЭ в глаза ни разу не видели. Это значит, нужно в срочном порядке делать заказ на пробники, а на первое время распечатать из интернета, если повезёт. А интернет только у Хлопуши, в администрации посёлка. Значит, подвинется. Хорошо, что группа маленькая, с малыми группами удобно работать, ещё и по парам бьются, по командам. Перекрёстные проверки, соревнования, командные игры... Надо увлекать, надо, чтоб им самим интересно было зазубривать правила... Девчонок всего две, и обе умные — значит, будут капитанами. Как там?.. *Шарше-ля-фам*... Вот то-то и оно...

Будто сквозь вату, Яра слышит голос — чужой, надтреснутый, сиплый. Это голос учителя Ярославны Марковны. Она говорит, еле ворочая припухшим языком:

— Ничего, Ольга Давыдовна. Натаскаю. Успеем.

— Вот и славно, вот и ладно! — радуется Ольга Давыдовна. — А то уж думала, опять нам дурочку молоденькую прислали. Думала, сбежишь первым же рейсом. А ты настоящая. Учитель. Ты не сбежишь. Не сбежишь ведь, а? Ну что, как горло? Попей чайку: расслабляет связки, мысли в порядок приводит. Давай, пей.

И Яра пьёт.

Связки действительно расслабляются, бежит вниз и разливается по всему телу приятная сладкая теплота. Но вот мысли почему-то идут вразброд, туманятся, меркнут и пропадают вовсе. Яра так устала, что ни о чём уже не думается, и когда Игорь входит без стука в учительскую и, расцеловавшись в обе щёки с Давыдовной, начинает собирать Яру — куртка, шапка, сумка, — она двигается, как сомнамбула, мягкая, податливая.

— А мы куда? — спрашивает она, но как-то между прочим, без особого интереса.

— Так время уже — посмотри! И *найна** заждалась...

— Как там, кстати, моя Манечка? — это Давыдовна.

— Да тихонько всё, спасибо.

— Вот и славно, раз тихонько.

— Приходите в гости.

— Ой, приду, да и *Кэку* проведу, раз уж она с тобой теперь.

— Почему *Кэку*, *татумни***?

Давыдовна улыбается только, мол, сам поймёшь рано-поздно.

— Что ж, я стеснять вас буду, — как-то невпопад говорит Яра. Ей тяжело поспеть за странным двуязычным разговором сельчан. — Мне ведь свой дом положен, как учителю... Обещал Хлопуша...

* Найна (удэг.) — бабушка, мать отца.

** Татумни (удэг.) — учитель.

— Что за глупости? — Игорь мягко прерывает её. — Ну, собралась? Пойдём. *Кэку*... Надо же.

Тяжёлая рука в чёрной рукавице опускается ей на плечо.

*

Игорь очень молодой, моложе Яры на три года. И немножко такой восторженно-наивный, прав Хлопуша. Мечты у него больно утопические. Хорошие, но утопические.

— Я обязательно стану местным главой, вот увидишь. И разовью посёлок. Сделаю базу отдыха, займусь этнотуризмом. И деньги заработаем, и культуру сохраним. Здорово придумал?

Они идут по главной из пяти улиц: мимо покинутой всеми школы, мимо сельского клуба и администрации с единственным фонарём на всю округу, мимо чьих-то хозяйств. Подмораживает. В каждой избе топится печь, и над посёлком зримо клубится стужа. Печной аромат щедро льётся из труб в морозную синь. Самый уютный из всех запахов, такой редкий для большого города. Яра тянет носом дымную пряность — и вся растекается в блаженстве.

— Сопелку-то спрячь, — мягко советует Игорь, — отморозишь ещё.

Справа от них вдруг порскает стайка свиристелей, а следом с гиком и криком уже несётся местная ребятня. Словно беспечные лесные зверята, они голосят, визжат, дерутся на бегу, падают в снег с разгона и барахтаются в этом белом сухом море, нечувствительные к холоду, избавленные от большого мира. Вот они уже облепили Яру со всех сторон, кружат хороводом, заглядывают в лицо:

— Ярославна Марковна! Ура!

— Мы вас любим!

— Оставайтесь у нас насовсем!

— Давайте мы вас до дому проводим?

С трудом Игорь разгоняет их, за что получает в спину звонкое: “Тили-тили-тесто!..”

— Эффект новенькой, — Игорь как будто смущён. — Ты теперь у них любимая игрушка. Может, ещё передумаешь улетать.

Улетать... Что-то внутри Яры вдруг трепещет при этом слове, и она силится ухватить это трепетание, но оно зыбко, будто в затяжном сне. Вот, наконец, схвачено, осознано, и Яра готова возразить, уже набрала в грудь воздух, уже почти произносит вслух...

— Не улегай, *Кэку*, — говорит он, — твоё место здесь, — и ставит морозную печать молчания на её губы.

Ночью рождается буря.

*

— Обычное дело, — говорит Хлопуша. — Ничего не попишешь, надо ждать. Бураны свирепствуют уже неделю. Вертушки отказываются вылетать. Это же очень опасно. Сколько их поразбивалось!..

Яра с сомнением смотрит в окно. На небе — клочковатая хмарь, по утрам бывает густой туман, но и только. Трудно представить, что вертолёты не могут пробиться в эту глухую тишь.

— Мы тут, — говорит Хлопуша, — в полной изоляции, спасибо тайге и горному хребту. Тихое место, помните?

— Как в отеле “Оверлук”, — кривит рот Яра.

— Каком отеле?..

— Неважно. Похоже на снежный плен, в котором можно с ума сойти.

— Н-да... — тянет Хлопуша задумчиво. — Сразу видно, много вы книжек читаете.

Спустя месяц стрекочущий Ми-8, наконец, садится на площадку в нескольких километрах от посёлка, в положенный ему вторник.

Яра как раз проверяет тетрадки подле окна с гороховыми занавесками и потихоньку ест ежевичное варенье, почти чёрное от зимнего закатного солнца. Баба Маня сидит тут же, на сундуке. Она тихо напевает что-то причудливое, расширяет Яре унты: “Вот — говорит, — лучшая обувь для тайги, а не эти твои покупные”.

Под её руками буйно цветут тонкие завитки, разноцветные лепестки. Узор складывается в птицу, и Яра чуть улыбается, узнав её. Это *кэку*.

Ольга Давыдовна рассказывала, что кукушка — птичка непростая. Покровительница женщин, предсказательница будущего, для душ отлетевших — самый надёжный провожатый. Жаль только, зимой её не слышать.

— *Найна*, а летом как здесь? Хорошо?

— Хорошо, милая, хорошо. Луга заливные в цвету. В тайге — папорот, лопухи у него — до плеч и широкие — земли не видать. К земле нагнёшься, а под папоротом — грибы, грибы, грибы!.. Горные речки звенят, с птицами спорят. Ох, и петь будут — заслушаешься! Знаешь, как у нас говорят? Поселись там, где поют: кто поёт, тот худо не думает.

И, словно в подтверждение этих слов, вновь затягивает грустную свою песню, какую пела, наверное, ещё молодой, расшивая мужнин кiset. Яра слышит и переливы её голоса, и гул жара в печной трубе, и треск поленьев, и клочотание густого супа на плите, и перебранку свиристелей за окном. Чудится даже, что слышит она лето.

А вертолёт совсем не слышит.

В Тихом месте далёкие хлопки лопастей вязнут и пропадают вовсе. То ли глухнут они в тайге да в снегу, то ли ветер так дует здесь, что уносит прочь любую тревогу.

*

Февральские ночи на удивление ясные, морозные. Игорь и Яра возвращаются с охоты. На Яре — меховые унты, расшитые кукушками, за плечом — мешок с битым соболем. Игорь расстроен: встретила на угодьях косуля, а подстрелить нельзя.

— Раньше лицензию на охоту бесплатно давали, как на пропитание, а теперь — налог. Одна косуля стоит восемьсот рублей, а где такие деньги брать? В этом году отец даже на рыбу квоту не получил. Говорят: национальность не подтверждена. Представляешь? В паспорте же не пишут сейчас. Это надо ехать в краевой центр, доказывать... Эх, провести бы сюда этнотуризм!.. Хотя тогда, конечно, всех косуль перестреляют, да и соболя перебьют. Жалко...

А Яра опрокидывает голову назад — и цепенеет.

Всею своей мощью, всей бесконечностью пустого безвоздушного пространства нависает над Ярой Бездна. Вспыхивает мерцающей шкурой, будто древнее священное животное. Брюхо её вспорото, и течёт из раны белая звёздная кровь. Звёздный свет каплет в глаза, и от него Яра видит вдруг всё лучше, глубже. Вот уже глаза не выдерживают, плачут космической благодатью. Слёзы натекают, и Яра слышит вдруг, как низко гудит Бездна.

Звёзды отзываются на звук. Так отзываются соринки на глади озера, если камешком пустить по нему круги. С дальних концов Бездны перемигиваются звёзды, приглашают Яру в свой зачарованный разговор. Голова её кружится, ноги едва касаются земли. Притяжение слабеет.

— Страшно... — шепчет она и слепнет от собственных парных дышков, от звёздного света, от хрусткого снега, те звёзды отражающего.

Рука в чёрной кожаной рукавице обхватывает её плечи — и наваждение проходит. Пятки накрепко вбиваются в белую землю. От Игоря идёт горячий, пряный дух живого тела, а Яра до костей вымерзла под брюхом у Бездны.

— Чего ты испугалась, глупенькая? — бормочет Игорь ласково. — Есть у нас сказка про двух братьев-охотников. Ходят братья по небу, бьют соболя

души. Возвращают их на землю. Вот мы с тобой пособольничали немного, теперь и они там, на небе, собольничают, гонят зверя обратно. Вон какую дорогу протоптали, во всё небо!

— С такими сказками наш сын шаманом вырастет, — улыбается Яра кротко. — Это просто Млечный путь.

— В таком случае, — Игорь глядит на неё очень серьёзно, — он унаследует бубен прапрабабки. Над нами *Буа Гидьни*, Дорога небесных людей. Запомни: здесь это *Буа Гидьни*. А ты — *Кэку*. А мы — твоя семья.

И *Кэку* покорно кивает.

*

Дни текут лениво, похожие один на другой, как небесные братья-охотники. Даты проставлены в классном журнале и дневниках, но они ничего не значат. Важно только, что по четвергам больше всего уроков, в пятницу — всего один, а в субботу факультатив для старших, и такой порядок вещей неизменен. Время зациклилось, замкнуло обод и неспешно катится сквозь зиму, будто красное солнце по небосклону. Только порой нет-нет, да и подпрыгнет на камешке, тряхнёт будто. Это по вторникам. Но всё тише тряска, всё реже вспоминается большой мир.

Где-то бурлит он, клокочет, переваривает сам себя в круговороте бессмысленного потребления ресурсов и информации. Дети там больше не играют зимой в снегу, не гоняют птиц: вся природа из городов давно повывелась, и даже пахнет в них едуче, мусорно как-то, а ночами ни звёзд не слышать, ни уж тем более соболей.

Да и *Кэку* отяжелела, укрепилась. Вся её жизнь, наконец, поросла корешками.

Она пьёт горячий чай, ходит на охоту с Игорем, учит детей, носит своего под сердцем. Слушает сказки тёмными зимними вечерами. *Найна* вещает напевно:

— Это ещё тогда было, когда, на камень глядя, каменного человека видишь; на медведя глядя, думали — таёжного человека видят; на рыбу глядя, думали — водяного человека видят; на дерево глядя, думали — древесного человека видят. Тогда с людьми всякие вещи случались, каких теперь не бывает.

Кэку слушает.

— Жила в дальних краях девушка. Красивая была — вот как ты у нас, такая же красавица. Ненасытная — страсть! Как будто одно только тело без мысли, жажда без контроля, одна в ней тяга земная, слепая, оморочная. А внутри — пустота. Всё-то наесться не могла. Набёт себя семенами и хвоей — встанет дремучий лес-тайга, насыплет речных камешков в рот — выпорхнут они белобокими чайками, а то орлами заклекочут, а то кукушками народятся...

Запомни, дочка: чем свой сосуд наполнишь, то и вызреет в голове: будешь через то на мир смотреть, и тем будешь отмерять всему свою меру. Вот я, как и ты, пришла со стороны: пустая, чужая. А здесь своею стала. Приняло меня Тихое место, одарило мудростью. Ну, так слушай дальше...

И тянется сказка долго, а за нею — ещё одна, а та переходит в сон, и вот уже снится *Кэку*, будто летит она в пустоте, под звёздным брюхом у Бездны, и ведёт за собой целую стаю не то детей, не то соболей. Провождает их на изнанку мироздания, по ту сторону *Буа Гидьни*.

И чуется *Кэку*, будто сама она жила здесь много раньше, давным-давно, когда степные *мунгалы* налетали чёрной ордой, когда на птицу глядя, думали — небесного человека видят. И поёт *Кэку* во сне, и худого не думает, но песня её — от боли невыразимой, подспудной. А где болит, того и не скажет *Кэку*. Вроде и крылья при ней, и перья целёхоньки, а за *Буа Гидьни* подняться не может. Налетает ледяной ветер-стражник, опрокидывает вниз — и она падает, падает, падает...

ВОТ ОНА Я

Я смотрю в чистое небо над тайгой. У неба и тайги — один цвет. Небо светлее, тайга темнее, вот и всё различие. В нашем языке есть слово, которым можно назвать сразу все цвета: *нярг*. Ни у кого такого больше нет, чтобы и трава, и вода, и одуванчик — всё одним словом. Прибавишь его к дереву — скажешь о цвете дерева, прибавишь к камню — скажешь о цвете камня. Бабушка говорит, в нём запрятан общий цвет природы. Это очень удобно. Скажи только одно слово — и ты уже сказал обо всём мире единым духом.

Мой мир — это наш посёлок на берегу речки. Это тайга кругом. Это хвоинки под ногами и небо над головой. Мой мир — это я, зовут Майкой. А ещё — Ларька, мама, папа и бабушка. Бабушка всегда дома, потому что ходит уже плохо. Папа сделал ей две палки, и она стучит ими по дому, пока, как она говорит, “поворачивается по хозяйству”. Поворачивается бабушка обычно на кухне. Я помогаю маме с остальным. У нас свой огород, пятинадцать кур и два петуха, а ещё корова, которую зовут *Кэй* — Зимняя.

Ларька — это мой брат, он уже взрослый и учится в интернате. Там он Илларион Игнатович. Интернат далеко от посёлка, поэтому Ларька уезжает туда с другими ребятами постарше каждую осень. Возвращается только зимой, ненадолго, и потом ещё на всё лето. Это называется “каникулы”. На каникулах Ларька каждый день ходит с папой в тайгу, на промысел. Все в посёлке знают: мой папа — самый удачливый охотник и рыбак. Поэтому я им горжусь. А ещё потому, что он добрый и нас очень любит.

Вот и весь мой мир. Он маленький, но я и сама небольшая. Даже в интернат не езжу: говорят, рано ещё. А я бы хотела когда-нибудь отправиться на одном из корабликов туда, далеко, в интернат. Летними вечерами папа с Ларькой возвращаются с промысла. Папа, уставший за день, быстро засыпает. Ларька тоже валится с ног, но сдаётся под моими уговорами. Начинаются рассказы о большом мире, а большой мир начинается с корабля.

Сырым промозглым утром, чуть свет, я выхожу на берег нашей речки и подолгу смотрю, не покажется ли корабль. Раньше корабли ходили к нам часто, почти каждый день. Привозили разное, в основном, конечно, табак, лекарства, домашнюю утварь. Иногда было сладкое или даже фрукты. Однажды сильно нагруженный кораблик привёз ящик мандаринов. Маме досталось два килограмма. Мандарины она внесла в дом бережно, как драгоценность. Очистила нам с Ларькой по одному. Я попробовала — кислятина ужасная! А Ларьке понравилось. Только он потом пошёл весь красной сыпью и чесался, как сумасшедший.

Сейчас корабль приходит пару раз в неделю. Большой мир всё реже стучится в мой маленький. Я смотрю вдаль, за горизонт, туда, где река впадает в небо, и уже не вижу ни реки, ни неба. Вот река несёт кедровую шишку. Вот порскнула плёсом большая рыба. А корабля всё нет.

Холодный ветер треплет моё байковое платье. Давным-давно у мамы был сарафан, такой же, только яркий. Где-то он сейчас?.. Я слышу, как мама зовёт меня — громко, на весь посёлок, но откликаюсь не сразу. Ещё немножечко я заглядываю за край своего мира. Ничего. И возвращаюсь домой.

Бабушка наша в молодости тоже была славной охотницей и рыбачкой. Она часто вспоминает об этом. Бабушка очень скучает по тайге. Иной год добывала вместе с сестрой своей по несколько тысяч белок и другого пушного зверя. Из большого мира ей за улов присылали подарки: то доброй ткани отрез, то платок шёлковый. Один раз гребень малахитовый подарили. Этот гребень до сих пор при ней. Она носит его на голове, под платком, им же расчёсывает себя и меня.

— Богатые у тебя волосы, Майка, — приговаривает тихонько. — Ой, бога-а-агы. Красавицей вырастешь, *манмы нетая*.

Это значит “моя девочка”. Бабушка говорит на двух языках одновременно, а на котором больше — от настроения зависит.

— Кому только отдавать такую красавицу... — это папа. Папа точит

ножи о камень в дальнем углу. Но слух у него охотничий, острый. — Женихов ей не народилось, а в город везти — она ж не коза.

— Ничего, *манмы нетая*, ничего, — воркует бабушка, и малахитовый гребень, послушный её руке, так и гуляет в моих длинных тёмных волосах. — Я охотилась с малых лет, и тебе уже пора науку осваивать, с тайгой общаться. Взял бы ты её с собой, сынок, всё подмога, пока Ларька учится.

— Малая ещё, — роняет отец по обыкновению, проверяя ногтем остроту ножа.

Нож этот — его любимый охотничий. У Ларьки тоже есть свой, подарок на десятилетие. В интернат его брать запрещено. Поэтому Ларькин нож лежит в нише за печкой, глубоко в гряде старых тряпок, спрятанный от меня.

Вечером, когда мама уже доит корову, а папа ещё не вернулся из тайги, я подсаживаюсь к бабушке, которая штопает наши носки при тусклом свете лампочки. Она не может попасть ниткой в игольное ушко.

— Сообрази, — говорит, — у тебя глаз остренький.

Я без труда вдеваю нитку. Бабушка ловко окучивает ею палец, вяжет узелок. Натягивает дырявую пятку моего носка на картофелину и принимается за работу.

— Ба, а ты и старенькой в тайгу ходила? — спрашиваю.

— Пока ноги были, везде ходила. Да в тайгу уж только за ягодами, да грибами, да кедрачить помогала мужчинам. Зверя не била уже.

— Почему?

— А знаешь, как бывало? Увидишь белку там, бурундука — тут бы их и... А жалко. Ух, как жалко! Ведь по тайге идёшь — разговариваешь с ними. А убьёшь — с кем словом перекинешься? Запомни, дочка: каждое дерево в лесу, каждая рыба в воде тебя поймёт, только заговори с ними. Не зря мы лесными людьми прозываемся. В тайге надо, знаешь, как ходить? А всё назад смотреть, промеж ушей — нет ли зверя или человека дурного. Тайга — она не злая, конечно, да всякое бывает.

Однажды зимой, в феврале, когда солнце уже на весну посматривало, сидим мы с мамой дома, на сундуке, поём да мастерим мне куколку из того, чего не жалко. Я стачиваю кукле юбку, а мама расписывает личико кисточкой из белки — у неё здорово получается рисовать.

Бабушка говорит, мама — пришлая. Может, оттого и рисует красиво, что большой мир видала. Теперь расписывает дощечки, игрушки, вышивает петухов и огромные, тяжёлые цветы на полотенцах. Вот только говорить о большом мире не любит — ей наш маленький милее.

Одно такое полотенце вдруг падает на пол вместе с кастрюлей, уха плещет через край. Бабушка замирает у окна, руки к голове прижала, причитает по-нашему, по-лесному.

— Закрой!.. Дверь закрой! — кричит маме.

Мама закрывается изнутри на все замки и щеколды, задёргивает занавески, даже угли гасит. Втроём мы садимся у остывающей печи и ждём, охваченные смутным страхом. За окном что-то ворочается и тяжело дышит — большое, неизвестное. Сонные куры в курятнике подают голос, и мама начинает молча плакать, потому что боится за корову. Но тут издалека доносится заливистый лай соседских собак, выстрелы и крики мужчин, и мне кажется, что я слышу папин голос.

— *Хомо тат!* — кричат они. — *Хомо тат!* — прогоняют.

Я слышу "*коркы*" — значит, в посёлке шатун. Теперь, когда я знаю, что это медведь колобродит, страх отступает. Голодный зверь ревёт совсем близко от нашего дома, а мне ни капельки не страшно. Если бабушка правду о тайге говорит, достаточно крикнуть мишке самое грубое, что есть в нашем языке: "*Хомо тат!* Пошёл прочь!" — и он уйдёт.

Но *коркы* приходит в посёлок ещё несколько раз: то корову соседскую выдерет, то собаку поломает. Папа говорит, зверь очень изобретательный попался: мужчины его с одной стороны села караулят, а он с другой появляется. После очередного набега папа приходит весь какой-то тихий и сгорбленный, руками самого себя обнимает. Мама ведёт его в спальню, а потом только и делает, что греет воду да сидит подле него, обтирает его новым

полотенцем, отплавляет травами. К нам приходят другие охотники из села, соседи — проведать. Говорят, папа тому медведю глаз вышиб.

Он потом долго не выходит на промысел. Вот и лёд уже начал вскрываться, и рыбалка идёт всюю, а мы едим зимние заготовки, потому что папа болеет. И тогда я сама, пока никто не видит, надеваю тёплые штаны и шерстяные носки, обуваю высокие резиновые сапоги, хватаю Ларькину острогу с наконечником из консервной банки и чешу на речку, туда, где нет других рыбаков. Я смело захожу в быструю, ещё студёную воду, ногами зарываюсь глубоко в донный ил. Замираю, чтобы рыба, одуревшая от весеннего воздуха, меня не видела. Руки у меня крепкие, глаз — зоркий, а острогу Ларька делал под малый рост, но на совесть.

Пойманную рыбу я выкидываю на берег. Она бьётся, ещё живая, на песке, сверкает на солнце. Солнце высокое, молодое, жаркое, припекает макушку даже сквозь платок. В реке такое же солнце, только жидкое, словно расплавленное. Оно играет на волне, летит во все стороны холодными, жгучими брызгами. Когда ноги мои совсем замерзают, я выхожу из воды и, неловко ступая по сыпучему берегу в огромных резиновых сапогах, поднимаюсь к посёлку. На плече у меня острога с пятком крупных рыбин, в подоле платья — ещё несколько, помельче.

Мне навстречу выходит папа, в кое-как накинутой душегрейке, опирается на одну из бабушкиных палок.

— Нарыбачилась? — спрашивает строго, а у самого глаза так и блестят, так и смеются. — Вот поглядишь, мать тебе даст.

Мама встречает меня у калитки и даже не ругает. Целует крепко в обе щеки.

В мае мне исполняется двенадцать, и папа впервые берёт меня в тайгу на несколько дней. Мама даёт нам вдоволь припасов, напоследок потуже затягивает мой платок. Соседская лайка увязывается поначалу следом, потом отстаёт.

— Пап, а мы ещё заведём собаку?

— Заведём, Майка, подожди немного.

Раньше у папы была собака, тоже лайка, и звали её, как звезду: Вега. Папа брал Вегу на охоту, когда Ларька был малой, а я только ходить училась. Вега была самой лучшей собакой и другом. Но однажды она погналась за волком — да так и сгнула в тайге. Папа верит, что Вега жива до сих пор, что она прибилась к волчьей стае и когда-нибудь он встретит её в лесу. Вот и не торопится искать замену.

В кедровнике даже воздух пропитан смолами. Если простудился — ходи и дыши, пока можется, самое лучшее средство. Папа ступает по рыжему ковру из хвоинок, что твой кот, не слышать его. Я тоже стараюсь идти тихо. В тайге сумрачно и спокойно, ещё слишком холодно для гнуса, кое-где в низинах лежит снег. Хвоя липнет к нему, греет, растапливает, гонит прочь спрятанную по углам зиму.

Мы приходим к папиному *карамо* — охотничьей землянке, глубоко вросшей в мох, так что и не видать почти крыши. Папа говорит, в таких раньше весь наш народ жил, да давно уж избы на русский манер ставят. А в тайге лучше всего оставаться самим собой. И мы с папой говорим на нашем языке всю дорогу. Я слов мало знаю, и папа учит. Смотрит вокруг себя и переводит мне тихонечко: как по-нашему вода, как земля, трава как, снег. Я повторяю за ним, и звуки перекатываются маленьким эхом между нами.

Папа приводит *карамо* в порядок, чистит его после зимы и где-то подлаживает, а я помогаю. Так проходит первый мой день в тайге. Ночуем мы внутри землянки. В протопленном *карамо* тепло, хоть земля ещё стылая.

В мае зверя и птицу уже не тревожат, объясняет папа, потому что потомство вывелось, и таёжным обитателям о детках надо думать, а не от охотников бегать. И мы чуть свет спускаемся от землянки к реке — здесь её русло делает плавный красивый изгиб — и долго сидим с удочками. У самого берега ловятся щука и язь. “Охота на охотников” — так папа называет нашу рыбалку. Он старается выглядеть сильным и бодрым, но я знаю: папа больной из-за медведя до сих пор.

Вот он ослабнет: “Что-то пристал я, дочка”. Ляжет на песок, глаза закроет. Спит — не спит, дышит — не дышит. Я срываю молодую травинку, подношу к носу — травинка колышется. Тогда я тоже ложусь на песок и смотрю на небо, на верхушки кедров, что к небу тянутся, в мягкие облачка головой укладываются. Солнце припекает, а песок спину холодит. Трава растёт почти у самой моей головы. В ней копошатся первые отважные букашки. Вот бежит муравей: пихтовое семечко во рту зажал и несёт его гордо, как флаг своей земли. Вот ползёт важный и блестящий майский жук, и спинка у него — всех цветов сразу, смотря как свет на неё упадёт. А кругом тайга, тёмная, глухая. Деревья на ветру качаются, лапами шевелят — а что там, за деревьями? Медведь ли, человек ли? Страшно! Вот и смотришь в траву, голову поднять боишься.

И будто слышу я голос бабушки, её напевный сказ о земле нашей. Первая земля была непригодна для человеческого житья — мертва, холодна, пустынна. Но Мать-старуха послала на землю кусочек мха, кусочек травинки, и разросся мох по всей земле, заколосилась трава и покрыла всю землю, насколько видать глазом, от неба до неба. Так выросла новая земля поверх старой и живёт она до сих пор. Трава — это волосы Матери-старухи, и собой она укрывает землю. А в каждой кочке болотной голова Матери-старухи угадывается. Всеми в мире управа — *Ном*: от него погода зависит, а от погоды уже зависит человек. В тайге же главенствует *Мачыль Лоз*, Лесной Хозяин. Бабушка говорит, у него только один глаз, прямо посреди лба, зато им он видит душу каждого. Кто кривит душой, кто от рода своего отворачивается, тому и не видать доброй охоты. Так говорит бабушка и учит нас с Ларькой языку, чтобы было, о чём с Хозяином при встрече побеседовать. Только Ларька бросил по-нашему говорить, как в интернат стал ездить.

А тем летом жду его, соскучилась, а он и не возвращается. Только письмо кораблик привёз: решил с друзьями в городе лето провести. “Майке мой нож не давайте!” — пишет. Разве жалко ему? “Думает, поранишься”, — объясняет папа. Он расстроен и почему-то сердится на маму, на её город. Я думаю, папа боится, что Ларька бросит его так же, как и Вега. Но я-то вот она, не брошу! В интернат больше не прошусь. “И правильно, — говорит бабушка. — Эдак если все поедут, кто будет с тайгой разговаривать? Заскучает Мать-старушка, иссохнет, сердечная”.

Папа всё болеет и поэтому-то берёт меня в тайгу всякий раз. Думает, если помрёт, так хоть я, живая душа, к людям выйду и расскажу, где он лежит. Уже осенью, когда становится понятно, что Ларька не вернётся, папа водит меня по тайге и говорит, говорит, говорит — почти шёпотом из-за хрипов в груди, передаёт науку промысла, самобытность нашу. Но я, глазастая, уже давно всё сама подметила, всему наострилась: и как силки ставить, и как беличьи капканы в пихтовой воде варить, и как стрелки мастерить для лука, и как следы читать. Научилась смотреть назад, промеж ушей. Тайга совсем не страшит меня больше. Я говорю с миром на его языке. Приспосабливаюсь к тому, что есть, смотрю вглубь, в самую чашу — без страха в ногах, без злости в сердце, без лжи в голосе.

*

Папа умер пронзительной, стылой осенью того же года. Белки уже сменили свои летние лёгкие наряды на зимние шубки, и мы обходили наш участок, расставляли капканы, пахнущие пихтой, на крупные кедровые шишки, раскладывали в них приманку. Когда с капканами было покончено, дело уже шло к вечеру. Ослабевший папа прилёг на лапник, сказал по-нашему: “Вот он я”. Закрыл глаза — и больше не поднялся. Я долго смотрела в прозрачное небо, провожала взглядом последние клинья птиц. Кедровые шишки, тяжело махали им вслед. Из-за кедров на прогалину вышел *коркы*. Большой и сильный, с лоснящейся шерстью, которая сливалась с кедровыми стволами, кривой на один глаз. Зато другой был цел, совсем как у Лесного

Хозяина. Им он пристально и долго смотрел прямо на нас, на папу, что лежал, недвижим, на лапнике.

Сколько он так стоял поодаль, сказать трудно. Потом где-то вдалеке завывли волки — и *коркы*, будто опомнившись, ушёл обратно в тайгу. Тогда я поднялась и пошла к людям, как хотел папа. Я накрыла его, как могла, ветками, и пошла в посёлок.

Впервые я была в тайге совсем одна, и уши мои едва ли не прыдали, как у косули, всякий раз, когда трещала ветка или падала крупная, тяжёлая от семян шишка. То и дело я оборачивалась и вглядывалась в стену кедров за спиной: нет ли медведя, нет ли волка? Но тайга не была зла ко мне. Я шла, и губы мои, как заведённые, выбивали папины последние слова: “*Ость-ях, ость-ях, ость-ях*”. Вот она я. Вот я. Я — это Майка, двенадцать лет. Я — это весь мир, и волосы мои — трава.

г. Омск

АЛЕКСЕЙ НИЗОВЦЕВ



ВСЁ ШЕПЧЕТ О БУДУЩЕЙ ВСТРЕЧЕ

* * *

Как яблоко в меду, сочилось лето,
Дышало небо негой и покоем,
И вишни зрели, и купались дети,
Обласканные тёплым ветерком.

На ветхой лавке посреди деревни
Я наблюдал в сверкающем смартфоне:
В каких изящных позах и нарядах
Друзья встречали Прагу и Бали.

А за рекой в объятых небосвода
Три маковки отстроенного храма
Без фильтров оцифрованного мира
Сияли мне в прекрасной простоте.

И я закрыл глаза, вернулся в детство:
К избушке, комарам, скрипучей койке.
Достал корзинку, свой любимый ножик
И в глушь берёз нырнул искать себя.

НИЗОВЦЕВ Алексей родился 11 октября 1983 года. Печатался в газетах и журналах "Наш современник", "Роман-журнал XXI век", "Литературная газета", "Молодая гвардия". Член Союза писателей России. Живёт в Москве, работает редактором.

БОРОВСК

Над храмом Бориса и Глеба
Пронзительно-синее небо,
Покой, чистота и любовь.

В шкатулочном городе этом
Хранится немало секретов
Под крышами старых домов.

Расписанным кружевом окон
Весь город как будто бы соткан —
Манящая древняя Русь!

Леса, монастырь недалеко —
Всё шепчет о будущей встрече.

Весной я, конечно, вернусь!

* * *

Я на лыжне, на простыне
Снегов, спустившихся ко мне,
Глоताю даль!

...Ещё вчера я до утра
Терзал затёртую тетрадь,
Как по весне...

И вот — подъём, и я на нём
Упёртым гордым муравьём.
И жжёт февраль.

Почти без ног... опять рывок!
Среди суровых белых строк
Рифмую снег!

МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ



ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗИМА

РАССКАЗ

Комбат нервно стучал огрызком карандаша по карте. Окоченевшие пальцы уже не чувствовали холода, но сильнее морозного ветра жгла душу притаившаяся среди холмов лощинка, которую нечем было прикрыть. Накануне вечером батальон с приданными ему шестью танками ворвался в Новопостояловку, а уже поздней ночью пришлось принимать “гостей”. Батальон врос в ледяную землю твердо, но под холмом все накапливались новые ручейки, грозившие скоро стать наводнением. Пестрое войско бурлило и дыбилося, готовое вновь броситься на штурм новопостояловских холмов.

Именно сейчас, в минуту затишья, перед глазами комбата всплыла недавняя картина. Два дня назад их батальон окружил хутор, где укрылись до трёх сотен итальянцев. Уже подошла “катюша”, и миномётчики уложили на ребристые швеллера длинные реактивные заряды. Откуда-то выскочил мертвенно-бледный солдат и упал комбату в ноги, сбивчиво умолял не стрелять по хутору: он здешний, в хуторе его жена и дети. Комбат, уже распалённый тем последним пылом, от которого не отвернуть, чуть поколебавшись, всё же рубанул рукой воздух, дав отмашку миномётному наблюдателю. Воздух задрожал от залпов. Подняв за плечи дрожавшего в рыданиях солдата, комбат крикнул ему в самое ухо:

— Разведка доложила: нет там никого! Хутор выселенный!

Солдат знал, что командир врёт, и всё твердил сквозь рыдания:

КАЛАШНИКОВ Михаил Александрович родился в селе Белогорье Воронежской области. Окончил Педагогический университет по специальности “История”. Участник поискового движения, Богучарский поисковый клуб “Память”. Публиковался в журналах “Подъём”, “Роман-газета”, в газете “Литературная Россия”. Лауреат премий “Щит и меч Отечества”, “Хрустальный родник”, “В поисках правды и справедливости”. Член Союза писателей России.

— Да как же я... воевать дальше... да как же... других освободить-то буду, когда своих...

“Катюша” проутюжила хутор, и тот вспыхнул с нескольких концов. Уцелевшие итальянцы кинулись навстречу красноармейцам с поднятыми руками. Из окна крепкого рубленого дома дула пулемётная очередь. С десятков сдавшихся, падая, зарылись в снег, а другие продолжали бежать, на ходу указывая в полыхавшее оранжевым светом окно:

— Ньемец! Ньемец!..

Кто-то из солдат закинул в окно две гранаты. Итальянцев переловили и собрали в колонну на краю горевшего хутора. Комбату доложили, что обошлось почти без потерь, только при штурме злополучного дома убит один и ранены двое. Ещё сказали, что среди трупов нет ни баб, ни детишек, одни погибшие итальянцы: хутор и вправду оказался безлюдным. Это, конечно, обрадовало бы того хуторянина, что просил у комбата милости для родного гнезда, но он-то и был тем единственным погибшим солдатом.

Комбат через вестового вызвал одного из ротных. Пристроившись на завалянке покосившейся хатки и расправив карту на жестяном корыте, перевёрнутом вверх дном, комбат объяснял:

— Видишь балку?

— Вроде как и хуторок имеется, — присмотревшись, ответил ротный.

— От хутора одно название. Был я там утром. Два сарая да три кошары. Остальное погорело, и немец на блиндажи растащил. В общем, набери у себя человек десять. Я Витюху своего за резервами послал. Возьмёт кашеваров, водительскую братию да ремонтников с санитарями. Десятка два с половиной наберётся. Витюху во главе поставлю — и туда. Пусть держат.

— Как считаешь, командир, выстоим?

Комбат ответил не сразу. Опять привычно постучал карандашом в какой-то топографический знак на карте, подул на заледеневшие пальцы, кашлянув, медленно произнёс:

— Вижу, к чему ты клонишь. Я и сам вчера думал: “Да чёрт с ними! Задачу мы выполнили, село заняли, через него они не пройдут, и пусть разбегаются, как тараканы, кто куда. Пусть их там, под Ольховаткой, другие перехватывают”. Только нам их потом опять же бить! Когда они на новых рубежах очухаются, окрепнут. Выходит, нельзя их туда пускать! Теперь надо! Пока он дерьмо своё из штанины вытряхнуть не успел. Пока у него под носом юшка не растаяла. А уж выстоим или нет...

Вестовой Витюха к этому времени уже подчищал тыловые резервы. Пожилой повар, быстро раскупорив банку консервов, снял сверху ножом слой жира и кинул на затвор давно не смазанного, застывшего на морозе карабина. Фельдшер из санбата туго набил сумку перевязочными пакетами, а карманы — пачками патронов в промасленной бумаге. Из-под капота итальянского грузовика вылез шофёр с мазутными полосами на щеке. Его пальцы, непривычные к здешним морозам, прилипали к металлу, и кожа на суставах кровила.

Шофёр был родом из далекой южной страны. Ещё три дня назад он носил другую форму, подчинялся иному начальству и другие в его окружении были соратники. Но в ночном бою его колонна попала под обстрел и сдалась без боя. Русским тоже до зарезу были нужны грузовики, ведь в этой снежной пустыне не угнаться за бегущими пешком. Шофёра и его товарищей построили тут же, у заглушённых грузовиков, и советский политрук на плохом языке их народа предложил послужить делу Сталина. Их увещевали, что служба будет глубоко в тылу, вдали от военной опасности. Им обещали скорую отставку домой, как только Советы победят Муссолини. А тем, кто не согласится, сулили долгую отсидку в далёкой и морозной Сибири, где холода и вьюги такие, что нынешние покажутся райским отдыхом. Почти все земляки шофёра согласились. Их тут же одели в старую, а порой и окровавленную красноармейскую форму и снова усадили за водительские баранки.

С тех пор шофёр наматал немало километров, дважды застревал в сугробах, переворачивал канистру над топливным баком, насыщая своего “зверя”, ещё меньше ел сам, почти не спал и вовсе не отдыхал. В его “фиат”

что-то грузили, выгружали, садились и вылезали солдаты. Перед глазами мелькали освобождённые, охваченные огнём, дотлевающие хутора, в которых совсем недавно жили его земляки. И он жил в таком же хуторе целых четыре месяца и всё не мог привыкнуть к этим русским. Три дня назад он видел, как в освобождённом хуторе убивалась над трупом солдата молодая селянка. Он подумал, что это фронтовые дороги завели погибшего солдата в родную сторону, и неутешная вдова плачет над телом мужа, но напарник Луиджи, сносно понимавший по-русски, объяснил ему, что эта девушка впервые видит павшего солдата. В ней смешались радость освобождения и тоска утраты. Она и живым-то его не видела, но вот теперь горюет, как по родному.

— Эй, Франческо, айда со мной! — хлопнул шофёра по плечу чубатый парень.

Этот чубатый постоянно был у главного начальника на побегушках. Интересно, что ему понадобилось? Может, начальник вызывает Франческо к себе, чтобы, наконец, отправить в глубокий тыл, туда, где есть натоленные хаты, горячая еда и настоящий гараж.

Но чубатый поставил его в строй с другими красноармейцами, вручил итальянский карабин и перепоясал патронташем, добавив: “На, твоей системы, должен разобраться”.

Шеренга из двадцати пяти бойцов развернулась и жидкой ниточкой потекла в лощину. От хутора и впрямь почти ничего не осталось. Зияло несколько пожарищ с чёрным закопченным настом вокруг и мутными лужами растопленного снега, уже подёрнутого ледяной коркой. Уцелевшие постройки были раскиданы по обеим сторонам дороги, что стелилась по дну лощины. Рядом с дорогой петляла неглубокая канава с перекинутыми то тут, то там шаткими мостками.

Вестовой распределял бойцов по уцелевшим строениям. Дошла очередь и до Франческо.

— Так, кто тут ещё остался из тыловой шатии? Друг наш итальянский да Терентий из санбата. Разбавим вас пулемётчиком вот, бронейщика дадим. Кто ещё? Ну, давай ты, Митрич! Да не журишь, с тобой медицина будет — Терентий, цельный фельдшер. Вот впятером и давайте в ту вон хибарку. Там и крыша целая, задувать не будет.

Пулемётчик первым подобрался к хибаре и надавил на низкую, вмёрзшую в землю дверь. Она крякнула и сорвалась с петель. Жилище оказалось полуобитаемым. В нём были маленькие сенцы, низкий потолок и крошечная печурка. Как только началась операция с дверью, на чердаке взбудоражено заголосила курица.

— О, теперь мы её быстренько в бульончик! — ожил Митрич, крайне теряющийся, если уходил от полевой кухни дальше, чем на километр.

— Охолонь, стряпуха! — цыкнул на него бронейщик. — Для начала позицию сготовь.

— И как уцелела, шельма? — будто не слыша, вставал на цыпочки и пытался заглянуть на чердак Митрич.

— Да заткнись, тебе сказано, поварска душа! Тут бой на носу, а винкуру гоняе, — ругался бронейщик.

Стёкол не было во всех трёх окнах, на земляном полу под ними высились снежные курганчики. Пулемётчик без разговоров встал у окна, выходящего к горловине ложбины, установил найденный низенький стол и упер в его крышку пулемётные сошки. Бронейщик пехотной лопаткой в пять минут прорубил в саманной стене хатки узенькую бойницу. Она расположилась у самой земли. Установив ружьё, он лёг на пол и поводит стволом из стороны в сторону. Фельдшер присел на колени у бокового окна и долго смотрел в него, изучая склон, на котором мог появиться противник, затем расстегнул сумку и, достав два жгута, обмотал их вокруг приклада своей винтовки. Рядом со стеной фельдшер разложил несколько перевязочных пакетов, самодельную шину, вырезанную из банки от американской тушёнки, и гранату в сетчатой рубашке. Митрич всё время топтался у третьего окна, переминался с ноги на ногу и прислушивался к недовольному куриному квохтанью.

— Не топчись там, — обернувшись, сказал ему бронейщик. — Нимэц с тылу не прыйдэ. Шагай до фельдшера.

Митрич покорно встал рядом с Терентием. Франческо всё это время жался у печки, не зная, что ему делать и куда приткнуться.

— Пидходь до мэна, итальянэц, — махнул рукой бронейщик. — Будэш вторым номэром. Бачь, оде бэрешь обойму и патрон пыхаешь.

Бронейщик легко вправил длинный патрон в магазин. Затем замкнул обойму под ложем долгоносого ружья, показал, будто выбил все пять патронов и, отцепив магазин, не глядя, бросил его Франческо, глазами указав на мешок с патронами. Франческо едва заметно кивнул. Пулемётчик, сняв диск и убедившись в его полновесности, с громким щелчком насадил его обратно.

Во вражеском стойбище гул не стихал. Ревели танковые двигатели и моторы артиллерийских тягачей, на низких оборотах страдали в последнем предсмертном рывке увязшие в сугробах грузовики. Изредка сквозь гомон прорывался пронзительный крик мула или надрывный коровий плач. Масса в двадцать тысяч человеческих голов, растянувшись на несколько километров, клекотала и клубилась в широкой заснеженной долине.

Разноязыкую многоголосицу разрезал зычный клич:

— Доблестные альпийцы! Многие из вас знают меня! Я был с вами в боях! За этими чёртовыми холмами наша с вами жизнь! А значит и жизни наших жен и детей! Спасение только в прорыве! Нас много, ведь не зря наш девиз — лавина, несущая смерть! Так давайте взроем эту трижды проклятую высоту! На ней лишь горстка русских. Накроем их своей лавиной!..

В толпе возникло оживление. Командир-оратор бегло подзывал начальников подразделений и раздавал торопливые приказы. Он спешил, пока колыхнувшее возбуждение не померкло. Многонациональная лавина из армий трёх государств поползла на взгорок перед Новопостояловкой. Отдельные рукава её заполнили балки, овраги, промоины.

В узкой горловине показалась серая человеческая каша. Закутанные в тряпье лица, плечи, укрытые поверх шинелей шерстяными одеялами, полосатые домашние чулки, торчащие из кожаных, подбитых железными крючьями башмаков. Какого-то порядка или строя не наблюдалось. Люди просто валили толпой в надежде прорваться или умереть.

С улицы донёсся голос вестового:

— Огонь по команде! Слушать, когда мой “папаша” загавкает!

Пулемётчик широко расставил ноги и наклонился над пулемётом. Сузив свои монголоидные глаза, он поймал в прицел передний ряд и замер. “Лучше, чем в тире, — думал он, — ни одной пули в молоко. Это тебе не на охоте, где за каждый впустую потраченный патрон дед до крови дерёт ухо. Волк — охотник, его жалеешь, когда подстрелишь. А этих стоит ли жалеть?”

Фельдшер ещё раз оцупал карманы с патронами, снял винтовку с предохранителя, загнал патрон в ствол. “Соотношение простое — один к сорока, не меньше. Только бы хватило бинтов. Жгуты на прикладе, в сумке рывться не придётся. Всё здесь, всё под рукой”.

Митрич подавленно опустил руки с винтовкой к земле: “А завтра Прощка сам будет крупу отмерять, сам в бак снег вместо воды таскать, сам дрва рубить... если сегодня выживет... прощай, Авдотья... прощай, Колошка... прощай, Маринка...”

Бронейщик плотно прижал приклад к плечу, притёрся щекой к кожаной накладке, прищурил левый глаз и, забывшись, в напряжении приоткрыл рот. В голове его пробегало: “Такой ценой умирать не страшно. Отплатят же они мне сегодня. За отцовский дом, за сестёр и мать, что остались под немцем! За Днепр, из которого их поганые рты святую воду мою пили... за всю нашу землю на веки веков опечаленную”.

Франческо лежал на животе рядом с бронейщиком и смотрел в напылавшие лица. Лица его земляков, его однополчан. Они ещё далеко и почти не различимы, но вот в фигуре того долгового парня столько схожего с Антонио... Его земляка Антонио. Та же сутулая спина и угнанная в плечи голова, та же походка. Совпадение или мираж?

Антонио, слабо сжимавший в руках, более привыкших к водительскому рулю, чем к оружию, короткоствольный карабин, конечно, не видел своего притаившегося за амбразурой товарища. Омертвев от страха, он двигался по инерции, влекомый толпою. Мысли роились в его мозгу: “Я целиком погружаюсь в эту стрельбу. До сих пор она была где-то спереди, сбоку, сзади, но всё время на расстоянии от меня, а теперь я полностью окутан ею. Нас все меньше, и никто не вернётся домой. Может быть, только эти немцы? Они бывали в переделках и держатся особняком. Мы для них “*italienische zigeuner*” — сброд, цыгане, мразь. А ведь это из-за них мы здесь! Разве это моя война? Я бы прожил и без этих заснеженных пустынь, без этих хуторков, без этого воздуха и неба. Мне всего хватало вдосталь дома”.

След в след за Антонио шагала венгерский гонвед, такой же долговязый и понурый. Винтовку он держал наперевес, и его правая рука выбивала мелкую дробь на прикладе. Трудно было сказать, отчего он трясся больше. Страх ли, усиленный холодом, колотил его промёрзшее тело или тоскливые мысли о доме? А может, и собственные воспоминания: “Господи! Я знаю, за что ты так со мной... за ту русскую девку, опоганенную... за расстрелянных русских пленных... за старуху, что спьяну зарубил посреди улицы”.

Среди венгерских солдат прихрамывал, волоча подмороженную ногу, закарпатский русин. Он часто поднимал глаза к небу, жмурил их, а когда раскрывал веки, то по щетинистым щекам его текли слёзы. Всё время, пока они шли по лощине, он истово молился. Иногда его молчаливые молитвы прерывали мысли: “Там, по ту сторону фронта, возможно, такой же украинец. Говорит на том же языке, что и я, поёт на Рождество те же колядки, что и я. Он тоже здесь поневоле?”

В хвосте непролазной тысячной тучи ползли два немецких танка с взводом пехоты. Солдаты осторожно ступали по взрыхленной гусеницами и двумя тысячами ног каше, изредка выглядывая из-за брони. Горбоносый ефрейтор накинуд кашпошон маскхалата, нагнувшись, ухватил на ходу горсть снега и бросил себе в рот. Снег был с запахом солёнки. Ефрейтор пожевал его и сплюнул на сторону. Выглянув из-за танка ещё раз, он подумал: “Скорей бы началось уже. Хотя, может, и нет здесь никого? Тогда рванем на скорости. Но сомнительно, чтобы русские здесь никого не оставили. Лощинка удобная, а они, кажется, научились воевать. Русак не тот, что в прошлом году, стал крыть нашей же картой. Ну, что там эта шваль? Сейчас её настелют слоями, а нам доделывать работу. Есть надежда, что русские переведут на них все патроны и силы. В этом и будет польза паршивой овцы”.

Первого выстрела ждала как одна, так и другая сторона. Когда в толпе наступавших стали различать ошетилившиеся стволы в окнах и проломах сараев, с крыши какого-то хлева проголосил ПППШ вестового. Франческо услышал, как на чердаке курица в последний раз вскрикнула и замолчала, то ли убитая, то ли перепуганная насмерть. Молчание вдруг, к удивлению италянца, сменилось живой переключкой и даже чуть ли не балагурством, которого он никак не ожидал от этих людей с жёсткими и сосредоточенными лицами.

— Гарнэ жнивё, лишь бы боезапасу хватяло! — кричал бронбойщик, переставляя в ружье кассету.

— Не думай, Толик! В штык пойдём, как соседний полк! — вторил пулемётчик, не отрываясь от прицела.

— Слышал и я эту байку!.. Там две сотни в ножи взяли!.. Итальянец квёлый, обессилел от Дона драпать!.. — между выстрелами вставлял фразы фельдшер.

— Эхма! Выноси угодники! Отродясь столько не стреливал... — отдувался Митрич.

Человеческое море натолкнулось на поток свинца, но не отпрянуло, а волна за волной неслось дальше. Люди уже не принадлежали себе — лишь стихии. Лёгкая плотина из советского многонародья затрещала под напором навалившейся волны фашистско-нацистского интернационала. Однако и волна заметно прогибалась, рушилась. Чем ближе к плотине, тем гуще стелились её потоки.

Бронбойщик дурил из самозарядного ружья очередями в пять патронов. За квадратной нащёпкой ствола он видел, как переламываются пополам тела, как отрываются руки, а порою и головы, срезанные ударами противотанковых пуль. В перерывах между стрельбой глаза его выхватывали людей, что рушились на колени, крестились по-заграничному, разводили руки в стороны, складывали их на груди и о чём-то молили небеса, тут же втаптывались в снег задними рядами или гибли под пулями, которые и вправду не единожды не пролетали мимо. И вновь плюхало его ружьё. Франческо не успевал набивать магазины, с непривычки и в растерянности едва попадая патроном в приёмник.

— Собачник паршивый! Як тэбэ в армии дэжалы?! Чёрт мазутный! — безжалостно крестил его бронбойщик.

Пули, легко прошивая саманные стены хибарки, выщёлкивали пригоршни сухой глины. Франческо вжимал голову в плечи, растягивался на земляном полу и ещё больше терялся под потоком бронбойной брани. Один из таких пулевых щелчков свалил на пол кашевара. Фельдшер дострелял обойму и склонился над телом Митрича. У того в боку вылез кусок ваты из засаленной телогрейки, но вата была не белой, а красно-рыжей. Разорвав пакет, фельдшер торопливо запылил в дыру телогрейки свежей ваты, зарядил винтовку и снова бросился к окну.

Из тылов неиссякаемой волны вырвался пушечный залп. Франческо увидел в заднее окно, как снаряд развалил стену в соседнем сарае. Через минуту из-под обломков стены проклюнулся ноздреватый ствол автомата. Из пыли и дыма проявилось лицо с примятым чубом, перепачканное кровью и глиной. Пламя из автомата ещё раз выскочило тонкой жалящей струей, а потом ствол безвольно ушёл в гору.

Франческо сел на пол и прижался спиной к стене. Пуля щёлкнула над его головой, затем у левого уха, а следующая вместе с доброй порцией глины отбросила его прижатый к стене затылок. Голова итальянца упала рядом с наметённым в разбитое окно сугробом. Ворох снежинок колыхнулся над маленьким курганчиком, и одна из них одиноко опустилась на глаз убитого, растаяв там, в уже мёртвом, но ещё тёплом, не остывшем зрачке.

Располовиненная волна смяла худенькую плотину и, утратив скорость и силу, всё же покатила дальше. Танки проутюжили развалины. Только хибарка с пятью мёртвыми солдатами осталась нетронутой. Когда снежно-глиняная пыль осела, а над ложиной ещё не утих стон раненых, курица, отчаянно кудахча и хлопая крыльями, слетела с чердака. Она прошлась по хибаре, переводя недоуменный птичий взгляд с предмета на предмет, клонула выпавшую из саманной стены раковину речного моллюска, и, продрогшая, угнездилась в оброненную кем-то солдатскую ушанку, спрятав от холода свои уродливые лапы.

МАРИНА ВОЛКОВА



ОБРАЗ РОДИНЫ – ИНОЙ

* * *

Там, где закат цветком раскрылся ало,
Даря лучи изменчивой волне,
Мы будем пить кальвадос из бокалов
И говорить о мире и войне,
О славном прошлом, вырванном с корнями,
О том, что было с нами и не с нами
В безумной череде кровавых дней,
Отчаянно хватаясь друг за друга,
Хоть каждый — дальше самых дальних звёзд...
...А за окном опять всё та же вьюга —
На тысячи бескрайних русских вёрст.
Так много снега и так мало света,
Вздохнёшь — а изо рта метельный пар.
Какой кальвадос? Даже водки нету.
И я спешу поставить самовар.
Огонь и чай — щедрейшие подарки
Сегодня от неласковой судьбы.
А рядом Триумфальной краше арки —
Могучие старинные дубы.

ВОЛКОВА Марина Георгиевна родилась в Санкт-Петербурге в 1981 году. По образованию юрист. Работала в МВД следователем. В настоящее время ведёт авторский проект "Виват, Петербург!" в творческой мастерской "Нордвест-СПб". Победитель конкурсов "Национальное возрождение Руси", "Золотая строфа", "Велесово слово", "Северная звезда". Автор книги "Веру храня в Рассвет". Живёт в Санкт-Петербурге.

Смотрю в окно и словно сказку вижу,
Ожившую на этих берегах.
Она прекрасней Ниццы и Парижа —
Земля моя, уснувшая в снегах.

ОЧАРОВАННАЯ СТРАННИЦА

Не хозяйкой. Не изгнанницей, потерявшейся во мгле, —
Очарованною странницей по родной хожу земле.
Не пугаюсь троп нехоженных, в небо чистое смотрю,
Изо всех путей положенных выбрав волю и зарю.

Я иду полями, весями, веря в правду и рассвет.
Говорят, что славлю песнями то, чего в помине нет.
Только вижу я за войнами, за обидой и враждой,
За ночами беспокойными — образ Родины иной,

Что сильна не гордым норовом, а любовью и добром,
От чужого, злого, хворого сберегая отчий дом.
И она — не громогласная, о победах не кричит.
Кружева сплетает ласково, а выходит — крепкий щит.

Чуждой воле не послушная, непокорна силам зла,
Не идеями, а душами наша Родина светла.

АВГУСТА КРОШКИ

1

Ночи полнолунные встали над деревнею.
Зори пышут юные, звёзды светят древние.
Низко над калиточкой наклонилось деревце,
Обережной ниточкой путь-дорожка стелется.
Покатилось, зрелое, лето наше чудное
Яблоками спелыми в травы изумрудные.
Мы с тобою росами, речек переливами
Убежали, босые, светлые, счастливые
Через доли стылые, чтобы снова встретиться.
Греют очи милые да любовью светятся.
И смеётся, вольная, и вздыхает, нежная,
Русь моя престольная, тропка бережная...

2

Зреют травы и полнятся соком,
Наклонилась к ромашке полянь.
Отражается в небе высоком
Васильковая, русская синь.
Пахнет мёдом цветочным и хлебом.
Замираю, почти не дыша.
У кого-то глаза, будто небо,
У тебя, будто небо, — душа.
Вечер теплится нежный, отрадней...
Ну, а я нынче, как во хмелю.
Ненаглядный ты мой, ненаглядней...
Если б знал, как тебя я люблю!

Я ТОЖЕ МОГУ НАОТМАШЬ

Я тоже могу наотмашь, без сожалений,
Жестоко и прямо, без ярких обёрток — суть.
Сквозь тысячу чьих-то ложных, досужих мнений
Не так это просто — жить, не теряя путь.

Зевакам досужим — не ведать моих печалей.
Что кануло в вечность, того уж теперь не жаль.
Бывали минуты — музы в бою молчали,
Но пела в руках и в сердце, как лира, сталь.

Поэтому в тёмный час улыбаться смею,
Костёр раздувая, — да мне ли жалеть огня?!
Война эта вечна. Только любовь — сильнее.
Сильнее пустого быта и злобы дня.

Пусть кто-то желает вечно бежать по кругу,
И кто-то на деньги волен менять мечту.
А я незаметно русам плету кольчугу.
И кажется только, что кружева плету.

СЕРГЕЙ МУРАШЕВ



АНГЕЛЫ

РАССКАЗ

Таяло. Дорога плохо почищена, скользкая, можно сказать, ледяная. Впереди Максим увидел большой гусеничный трактор с ножом, который шёл почти по бровке, но всё-таки захватывал дороги. Первое, что пришло на ум: сбавить газ и не обгонять на повороте — скользко. Но в ту же секунду включил левый поворотник, потом правый. Со встречи никто не выскочил, поэтому прошёл удачно, прямо посерединке дороги. Стрелка спидометра перескочила 80. И никакой суеты. Всё чётко, ничего лишнего. Пора снимать жёлтый восклицательный знак с заднего стекла. Ещё бы — обогнал трактор!

Машину занесло немного влево. Он привычно выровнял её. Удивился и даже огорчился, когда увидел, что теперь машину несло вправо. Он не знал, как и когда это произошло, но стало не по себе. Хотя мысли его были где-то далеко, где-то рядом с жёлтым восклицательным знаком.

Теперь занесло влево намного сильнее. Он ещё раз крутанул руль вправо. А вдруг всё выровняется, всё наладится?.. Впереди, метрах в двухстах, он увидел начало какой-то деревни. Вот и знак на белых ножках. Тёмно-синее название деревни в белой рамке. Машину несло по льду. Её почти развернуло

МУРАШЕВ Сергей Анатольевич родился в 1979 году в деревне Малая Липовка Архангельской области в семье штатного охотника. Много времени проводил в лесу и на реках. Занимался промысловой охотой, был дворником, дорожным рабочим, кладовщиком. В 1999 году опубликовал свой первый рассказ, в 2007 году выпустил сборник рассказов для семейного чтения "Маленькая книжка", в том же году был принят в Союз писателей России. В 2013 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Несколько лет работал корреспондентом районной газеты в г. Каргополе Архангельской области. В 2019 году вышла книга "Ленты Мёбиуса" в серии "Проза русского Севера" издательства "Вече". Женат, четверо детей.

поперёк дороги. Она влетела в правый белый сугроб. Впереди, прямо перед глазами, стеной стоял тихий зимний лес. Последнее, что успел подумать: он один, никого не взял с собой. Машину обдало снегом, ударило снегом в стёкла. “Полетел”, — скорее почувствовал, чем подумал он. Из бардачка, откуда-то с потолка посыпались бумажки, салфетки, лампочки, гайки, какая-то мелочь. Казалось, что машина разваливается на части. Через доли секунды она стукнулась о землю и встала на водительский бок.

Максим оказался теперь где-то, внизу, около самой земли. Живой. Первым делом отстегнул ремень безопасности. Выдернул ключ зажигания. Панель всё ещё светилась, значит, фары не выключены. Долго хлопал рукой, искал клавишу, чтоб выключить. Но не мог. Когда лежишь на боку, всё воспринимается по-другому. Хотелось поскорее выбраться. Он быстро поднялся, не обращая внимания на то, что стоит на боковом стекле и может выдавить его, попытался открыть пассажирскую дверку. Она открылась. Подтягиваясь на руках, толкая дверку головой, цепляясь ногами за что попало, похоже, опершись о водительское сиденье, выбрался наружу. Как из люка.

Вокруг был тихий зимний лес.

Машина улетела в кювет метров пять высотой. Она лежала на боку, чуть накренившись, словно в раздумье: переворачиваться окончательно на крышу или нет. Рядом лежали небольшие сломанные деревца, верхний погнутый багажник. Фары горели, но как-то тускло — видимо, это были габаритные стояночные огни. Внутри, в капоте, что-то капало, слегка пахло бензином. Ничего не дымилось и не горело.

Максим пальцем поправил очки (хорошо, что они не потерялись и не разбились), пригладил ладонью кудряшки своих волос и наискосок выбежал на дорогу. Трактор был ещё далеко. Максим посмотрел вниз на свою машину. Следы к ней были только его. Значит, она улетела по воздуху. По воздуху. Метров десять. В воздухе её окончательно развернуло носом против движения, едва не поставило на крышу и чуть было не хлопнуло об землю. Но не дали багажник и маленькие деревья — они смягчили удар. Помог и снег. Слава Богу. Фары слабо горели, как глаза собаки дворняги, которая ластится к тебе и показывает незащитное брюхо.

Трактор всё ещё был далеко. Максим спустился, открыл дверцу и забрался внутрь до пояса. Посмотрел, посмотрел, но ничего не сделал. Вылез обратно. Испугался, что трактор проедет мимо. Выбежал на дорогу снова и стал дожидаться, смотрел, как трактор увеличивается в размерах. Наконец, он стал таким большим, что стало страшно. Нож его, огромный, косой, остановился прямо около ног Максима. Тракторист где-то там вверху за стеклом кабины дёрнулся в одну сторону, в другую и открыл дверку:

— Чего тебе?!

— Лежит.

— Чего лежит?

Максим почему-то думал, что тракторист знает, что произошло, и всё видел. Но тракторист не видел. Пришлось кивнуть в сторону машины. Только тут тракторист заметил машину. Он выпрыгнул на гусеницу, потом в снег. Подошёл и посмотрел внимательно. Потом взглянул на Максима.

— Как это ты так? Сам-то как? Один был? — Голос тракториста стал добрее.

— Один, со мной ничего, пристёгнут был. Сначала в одну сторону, потом в другую... — Всё прямо словно зачесалось, как захотелось рассказать, но тракторист не стал слушать, уже медленно спускался к машине. Обернулся:

— Надо бы фары выключить, а то замкнёт, — и пошёл дальше. Максим за ним. — Деревья помогли и багажник. Теперь уже не перевалит на крышу, вон, в кусты упирает, — рассуждал тракторист. На вид он был весь какой-то плотный, тяжёлый, словно сбитый из пластилина. И лицо, словно из пластилина слеплено: овалный катыш головы, лепестки ушей, слегка прижатые шерстяной шапкой. Две шишки надбровных дуг, вдавши глаз. Большой нос картошкой и толстые припухшие губы. — Оттуда зацепим и на

колёса поставим, а потом выволокем. Ты полезай, полезай внутрь, — он открыл дверку.

Залезать не хотелось. Казалось всё-таки, что кусты не удержат, и машина перевалится на крышу.

— Троса только вот у меня нет длинного. Вот в чём дело. Надо трос искать, — сказал тракторист кому-то, но не Максиму. Так разговаривают по телефону с наушниками.

— У меня трос есть, — ответил Максим уже из машины.

Тракторист не расслышал.

В машине повсюду были разбросаны барбариски — Максим всегда брал их в дорогу.

— Выключай давай! — крикнул тракторист. — Слева кнопка!

— Выключил. У меня где-то трос есть, — снова сказал Максим. — Достать?

— Документы достань! Только на стекло не наступай смотри. — Он ещё что-то пробубнил, потом ещё что-то, но ничего было не понять.

Трос куда-то пропал. Наконец, Максим подал документы и вещи через дверку трактористу. Дверка захлопнулась, и было видно сквозь налипший на лобовое стекло снег, как тракторист медленно пошёл к дороге. В одной руке у него была сумка с документами, в другой — с одеждой. В машине стало совсем неудобно, и Максим, снова толкая дверку головой, вылез наружу.

На дороге стояла маленькая зелёная машина и мигала правым передним поворотником (задний, видимо, не работал). Около машины суетились двое мужиков в суконных пиджаках и валенках. Один из них сидел на корточках, валенки у него были какие-то особенно большие. Увидев Максима, он распрямился:

— Здорово, Юрий! — почти крикнул.

— Я не Юрий, — сказал Максим, ему стало неприятно.

— Так, наверно, и не Гагарин? — засмеялся мужик. — Извини, друг. Поможем.

Второй мужик стоял молча. Он очень походил на тракториста. Тоже словно из пластилина слеплен. Нос картошкой, такая же точно шапка, и уши точно так же этой шапкой слегка прижаты.

Максим поднялся на дорогу. Тракторист стоял рядом с трактором с сумками в руках, словно ждал автобуса. Подошли мужики. Тот, что разговаривал, похлопал Максима по плечу:

— Извини, друг, я ведь тоже не Юрий и тоже не Гагарин, — и засмеялся. Но как-то неестественно, словно у него это было нервное, закашлял. Когда перестал смеяться, снова похлопал Максима по плечу:

— Ты, друг, беги в деревню. Второй дом справа, найди Колю Носатого. У него трос есть. Скажи, от Свояка, — он улыбнулся, и оказалось, что у него нет половины зубов.

Но Максим не двигался с места. Тот мужик, что походил на тракториста, толкнул беззубого кулаком в бок и кивнул в сторону своей зелёной машины. Беззубый отмахнулся от него, взял Максима за плечи:

— Ты, друг, беги, беги к Коле. У него трос есть. Поможем.

Но он всё стоял, словно не слышал. Мужики сели в машину, она зарычала очень громко. Потом машина развернулась и уехала. Подошёл тракторист и посмотрел ему прямо в лицо. Максим всё понял. Он пошёл, а потом побежал. Ему очень захотелось пробежаться, он почему-то вдруг поверил этому беззубому.

Коля жил в старом рубленом доме, низком-низком. Весь передний напуск крыши, закрывающий фасад от дождя, был без шифера и без рубероида — одни доски и щели между ними. Словно перья у птицы. Дорожка к дому не прочищена — едва натоптана узкая тропинка. Разваливающаяся калитка забора была открыта наполовину, да так и застряла в снегу. Дверь на веранду низенькая, открывается тяжело, со скрипом, не до конца. И всё на веранде какое-то низенькое, маленькое, невзрачное, стёкла окон тусклые, грязные.

Максим постучался в обитую одеялом дверь и вошёл в избу. Натоплено жарко, очки запотели. Свет лампочки и люди где-то справа за печкой. Максим шагнул туда, на ходу протирая линзы очков платочком. На кухне на стене висел портрет во весь рост какого-то святого. В золочёной рамке. Под ним на табуретке сидел нога на ногу маленький мужичок в свитере и спортивных, босиком. Нос его был словно свёрнут в сторону — так иногда рисуют носы, когда не умеют рисовать. Напротив маленького мужичка, спиной к Максиму, сидел высокий и широкий в плечах — просто великан. Он упирался локтями в стол, был в тяжёлой чёрной шубе. На макушке его головы — лысына, а оставшиеся волосы длинные и седые.

Максим сразу догадался, кто из них Коля, но всё-таки спросил:

— Здравствуйте! Мне бы Николая!

Коля, видимо, не расслышал и крикнул с визгом:

— А вам кого?!

Великан медленно повернул голову в сторону Максима. Брови у великана были густые и тоже седые. Максим повторил:

— Здравствуйте! Мне бы Николая.

— Ну, я Николай. Что надо? — казалось, что он смотрит одновременно и на Максима, и в ту сторону, куда нос. Вдоль по носу полоса, чуть наискосок. Шрам. Слово когда-то нос отрубили, а потом пришли обратно.

— Я тут перевернулся на машине, мне бы трос. Меня к вам направили. — Максим поиграл ключами от машины. Игра ключами, видимо, не понравилась Николаю. Он сложил руки на груди:

— Нету троса.

Максим не смог ничего ответить и только убрал ключи в карман.

— Меня к вам направили, сказали, что есть. От Свояка.

Лицо Николая изменилось. Он убрал руки с груди и глянул на великана:

— Это наши люди.

— Ну, если наши, так дай. Если есть трос.

— Есть, есть, — засуетился Коля и встал. Сразу стало заметно, насколько он пьян, — едва держался на ногах. — Трос есть. Своим дадим.

Коля сначала по печке, а потом по стенкам вышел на улицу. Максим шёл сзади. Коля постоянно повторял, что он пьяный, но не давал помогать себе, стараясь идти сам. Около сломанной калитки он поскользнулся и упал лицом и голыми руками в снег. Максиму стало жалко его. Когда Коля приподнялся, всё лицо его оказалось в снегу, словно чем-то изуродовано. Он отёр лицо ладонью и тихо сказал:

— Вот видишь.

Когда пришли к гаражу, оказалось, что он не закрыт. Одна из небольших дверок тоже, как и калитка, открыта наполовину и застряла в снегу. В эту открытую щель вела собачья тропинка. Коля заглянул внутрь, потом ещё раз. Сказал, словно протрезвевший:

— Нету троса. Всё я пропил, парень.

Максим не сразу понял, к чему это сказано, и всё стоял в нерешительности.

— Ты где улетел-то?

— Вот, прямо перед деревней.

— На Мостках значит. Нету, парень, троса, — Коля ещё что-то говорил, но Максим не стал его слушать, пошёл.

— Я, парень, сейчас приду туда, помогу.

Максим уже с дороги взглянул на Колю около гаража, стоявшего на морозе в одном тонком свитере, в спортивных, в большущих кирзовых сапогах не по размеру, и зачем-то сказал ему: “Спасибо”.

Около трактора стояла теперь белая машина, точно такая же, как до этого зелёная, только теперь — белая. Из машины вылез шофёр, немного пошатываясь, неуклюже пошагал в сторону Максима, из-под правой его штанины виднелся пластмассовый наконечник протеза. Поравнявшись с Максимом, мужик схватил его за руку.

— Меня Иван зовут, а тебя?

— Максим.

Он крепко держал за руку и смотрел прямо в лицо, от этого Максиму стало неприятно и хотелось отвернуться.

— Железо — это всё ерунда, Максим. Железо — это железо. Главное, сам целый остался. Понимаешь? Я в этом месте, точно в этом месте, два раза бывал. Понимаешь? — Он ещё посмотрел на Максима, но больше ничего не сказал, отвернулся и ушагал к своей машине, сел в кабину.

Трактор монотонно урчал мотором. Тракторист стоял рядом с сумками и ничего не спросил про трос. Максим сам сказал:

— Нету. — И тут же побежал вниз к машине.

— Да у тебя, наверно, короткий?

Но Максим ничего не ответил. Он забрался внутрь, всё обыскал и нашёл. Красный, крепкой плотной лентой. Аккуратно свёрнутый и убранный в прозрачный пакетик. Вылез из машины, на ходу скинул пакет, развернул трос, отдал его трактористу. Тот едва глянул.

— Ну, что это, — и как попало стал засовывать трос в правый карман куртки. Неожиданно замер и поглядел вдоль по дороге в сторону, противоположную от деревни.

— Неужели едут? — сказал недовольно. — Словно на тот свет катались. — Трос он так и не засунул до конца, и тот болтался, вылезая из кармана красной нарядной ленточкой.

По дороге ехала та самая зелёная машина, она снова помигала правым поворотником. Сзади к машине был привязан железный трос. Он, видимо, плохо гнулся и тащился следом какой-то загибулиной. Все подошли посмотреть. Даже мужик из белой машины. Ржавый трос лежал на заледенелой дороге тонким уродливым червём.

— С трактора снял, велено вернуть.

— А вы сегодня работаете? — спросил мужик из белой машины.

— Работаем, работаем, Ваня.

Свояк схватил трос и напрямую пошёл к машине. Трос тащился за ним по снегу. Тракторист пошёл помогать. Вдвоём они долго возились около машины, куда-то заглядывали, приседали, словно делали упражнения. У Максима заболела голова, затылок. Если до этого ему казалось, что это всё неправда, что всё это происходит не с ним, то теперь он понял, что всё так и есть.

— Никак, — сказал тракторист, повернувшись к дороге. Это значило, что никак нельзя зацепить. И в этот самый момент Свояк ухватился за кончик красной ленты:

— А это что? — и стал вытягивать трос из кармана тракториста, как фокусник.

Максим засмеялся. Тракторист кивнул в его сторону:

— А это его, машинный.

— Вот этим и зацепим, а дальше мой пойдёт.

Тракторист кинул железный трос в снег и стал подниматься к дороге.

— Цепляй, — кинул через плечо.

Красная лента легко обвилась вокруг заднего колеса. Трактор с лязгом заскрёб гусеницами по льду. Трос натянулся, выскочил из снега, сначала красный, а потом рыжий. Машина встала на колёса, и все громко закричали, замахали руками, стали показывать трактористу, что больше не надо. У Максима болела голова так, как ноют руки, когда заморозишь их, а потом они отходят в тепле.

Все спустились к машине. Оказалось, что разбита задняя левая фара, сильно замято заднее левое крыло. И вообще, вся левая сторона помята. Зеркало оторвано. Но двери открываются. Когда их открыли, из машины посыпались лампочки, предохранители, открытки с храмами. Максим, не разбирая, побросал всё обратно.

Машину можно было вытащить только вперёд: в эту сторону насыпь более-менее пологая. Все поднялись наверх, и Максим вместе с ними. Один

Свояк остался около машины, словно он сапёр, а в машине бомба. Насвистывая, привязывал ленту к переднему бамперу. Все устали. Вернее, Максим устал, и ему было всё равно.

Из деревни подошёл Коля Носатый. Он крикнул вдруг:

— Ты чего делаешь?! — и упал в снег бруствера. Снова лицом. Приподнялся на руках и крикнул Свояку: — За ось цепляй! За балку! За бампер не цепляй, оторвёт!

Свояк посмотрел на Колю и засмеялся.

— Спасибо, Носатый! — Он отмотал ленту от бампера и залез под машину почти по пояс.

Над Колей никто не смеялся, все стояли сзади Максима, и никто не смеялся, словно никого и не было. Максиму снова стало жалко Колю. А тот поднялся и стал ходить по брустверу туда-обратно. Сгорбившийся. Держал то одну, то другую руку в кармане, а свободной рукой махал. Кричал почти одно и то же:

— Жёстко ездит молодёжь! Газ давят, а тормоза не знают. Газуют только. Летуны! Трактор забуксует, вытащить не сможет. Ещё всю неделю, дней десять здесь будешь жить. Новый год справлять с нами будешь. У меня можешь.

Казалось, говорит он это почему-то не Максиму, а Свояку. Казалось, что Коле нравится кричать здесь, в лесу.

Наконец Свояк вылез из-под машины. Лицо у него было красное.

— Ты, Носатый, кончай! Сам-то сколько раз летал?

— Тринадцать, а, может быть, и больше, — не задумываясь, ответил тот. Но болтать перестал.

Как только вытащили машину, Коля махнул рукой и пошёл к деревне. Снова пошатываясь, качаясь из стороны в сторону. Похоже, он замёрз без куртки и хотел скорее домой.

А машину вытащили легко, колёс не было видно, и казалось, что она плывёт по снегу. Трос отвязали быстро, Максим даже не успел этого заметить. Свояк первым делом открыл капот.

— Всё, вроде, на месте, масло по минимуму. Дружище, тебе везёт — радиатор полный, можешь заводить. — Он открыл водительскую дверцу. Из машины снова посыпались мелкие запчасти. У Максима дрожали ноги, и он не сходил с места, только достал из кармана ключи от машины и поиграл ими. Тогда тот мужик, что походил на тракториста, вдруг сказал басом:

— Давай сам, Свая!

Свояк радостно схватил ключи, сел на водительское сидение, что-то дёрнул, что-то нажал, включил зажигание — и машина заработала.

— Как часики! — засмеялся Свояк. — Ты давай садись, езжай потихоньку, а мы за тобой, как джипы сопровождения! — Он вылез из машины. — Только ничего не включай, без фар едь, а то замкнёт ещё! Ничего не включай! Давай, давай, а то нам некогда!

Они усадили Максима внутрь, а ему казалось, затолкали насильно, захлопнули дверцу. Все расселись по машинам. Из трубы трактора пошёл чёрный дым, видимо, тракторист дал слишком много газа. Максим включил первую скорость и тронулся. Как только он увидел перед собой белую ледяную дорогу, сразу вспомнил, как занесло: влево, потом вправо, потом снова влево, окончательно развернуло и кинуло в кювет. Он вспомнил, как при каждом заносе с боков машины и впереди неё поднимались белые облака снега. Видимо, того снега, что лежит сверху на ледяной корке. Максим хотел знать, едут за ним мужики или нет, он хотел отблагодарить их. Но не мог посмотреть: левое зеркало было сломано вовсе, правое свёрнуто в сторону, а на заднем стекле накидан снег. Он не знал, едут за ним или нет, но останавливаться не хотелось. Навстречу бежала только белая дорога, да иногда кажущиеся большими круглые, словно удивлённые, фары встречных машин.

МАРИНА ПЕРОВА



ДЫШАТЬ СВЕТЛО

* * *

Я человек.
И когда опущусь на кровать —
Не любовное ложе —
На строгие смертные простыни,
До последнего мига
Любовью и жизнью опростанный,
Я пойму, как мне дорого
Каждое слово моё,
Даже если
Оно было ложью,
Каждый выдох и вдох,
Каждый шорох неслышный,
Касание пальца о палец
И тяжесть ступней на полу.
И что бы мне ни говорили
О будущей жизни —
О рае, о перерождении,
О воскрешении —
Я знаю,
Что если умру,
Умрёт целый мир,

ПЕРОВА Марина Андреевна родилась в 1991 году в селе Старые Байдары в Курганской области. Окончила исторический факультет Курганского государственного университета. Аспирант КГУ, редактор газеты "Курганский университет". Финалист Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов "Мицери" в Москве (2016), победитель литературного конкурса "Стилисты добра" в Челябинске в номинации "Поэзия" (2017). Живёт в Кургане.

Сотканный из мыслей и ощущений.
Я не проснусь — молод и бодр,
Потому что не будет “Я”.
А значит, не будет мамы,
Моего кота и моего дома —
Ничего моего.
И небо я не назову небом,
И оно перестанет существовать.
Страшно быть человеком.

* * *

Старый колодец средь голой степи —
Чёрные брёвна и ржавь на цепи.
Вёдра пустые несут от него —
Выпило воду земное нутро.
Выпило воду — ни капли не взять.
Ветры из глубы земной сквозят.
Грязь на венцах — стылый гудрон.
Воздух чернее вдовы с похорон.
Держит засовы воздушная клеть —
Камень не может до дна долететь.
Скрипом колодезных журавлей
Ветер из глубы сквозит моей.
Чёрный безжалостный суховой
Вьётся над степью...

* * *

Хмурая суббота на Страстной:
Поминают мёртвого Христа.
Покаянный звон над мостовой
На мосту и около моста.
Догоняет — шагу не ступить:
Спасу нет с крестом и без креста.
Как бы наши жизни не скрестить
На краю Великого Поста.
Как бы успокоить эту дрожь
И в апрельский кануть окоём!
Без греха до смерти не дойдёшь,
Не воскреснешь с кем-нибудь вдвоём.
Колокольня. Небо. И апрель.
Я не верю. Просто так молюсь.
Без тебя я чище и светлей,
С каждым шагом легче становлюсь.

* * *

Я в Кургане, Риме и Москве,
И в деревне старенькой моей
Днями приколочена к стене —
Вроде отрывных календарей.

Каждый день — какое-то число.
Красные встречаются, но редко.
И от чисел в комнате черно,
За окном — одна и та же ветка.

Я стараюсь скрыться в суете
С февраля по праздничный январь,
Чтоб не замечать, как похудел,
До обложки сжался календарь.

Что ни делай — будет всё одно.
Только бы остаться человеком!
Может, завтра встретимся в кино
И закажем фрукты и вино?
Скоротаем век и станем веком.

* * *

Как много нынче снега намело!
Он город переполнил до краёв.
Дышать светло и засыпать светло
В холодной бели уличных роёв.
Зимой земля — невеста, говорят.
Берёзы тонко выстроились в ряд,
Раздетыми сиротами глядят:
Идти к венцу — растрёпанные слишком.
А снег валит неистовей и злей,
Машины бьют дорогу сквозь метель.
Я скоро в этой буйной белизне
Одна чернеть останусь.

МАКСИМ ВАСЮНОВ



“КУКЛА”

РАССКАЗ

Узенькая дорога у села Калюткино шла между обрывами — по обе её стороны всё было изрыто: котлованы, карьеры, ямы, воронки... Земля на срезах коржами: слой красный, слой розовый. Едешь, будто в раскалённый ад спускаешься. Съезился я весь от такого пейзажа, дрожью обкатился.

— Глину роют! — просипел таксист, заметив моё внимание к карьерам. — Вы к кому едете-то?

— В храм ваш едем, Сретенский...

— А, к ненормальной!

— Почему ненормальной?

Водитель лишь ухмыльнулся в ответ.

В Сретенский села Калюткино мы с оператором ехали снимать телевизионный сюжет про храмы местного района. Заранее знали — встретит нас староста церкви по имени Людмила. Мы хотели по-быстрому, как это говорится у нас, “набрать картинки”, записать интервью и уехать из этой красной преисподней восвояси. Но какую встречу подарила нам эта поездка! На всю жизнь запомним.

ВАСЮНОВ Максим Александрович родился в 1988 году в Нижнем Тагиле. Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Телевизионный журналист, автор и режиссер документальных фильмов (в том числе о писателях — “Чехов Интерстеллар”, “Доктор Пауст”, “Деревенский Данте”), публицист (“Православие. Ру”, “Российская газета”, “Год литературы”), главный редактор издания “Вера молодых”. Лауреат и призер литературных конкурсов, участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и Европы (Ульяновск, 2018). Публиковался в журналах “Урал” и “Крым”. В 2019 году вышел дебютный сборник стихотворений “От стрекозы до луны”. Живёт и работает в Калужской области.

Староста Людмила Тихонова — женщина среднего роста, с короткими белыми волосами, в косынке, карие глаза, полные влюблённости, встретила нас у въезда в село. Посадили её на переднее сидение — дорогу показывать, хотя мы бы и сами не заблудились: храм, пусть и низенький, но хорошо виден издали. Беленький, резной, двухкупольный; один купол — большой — над церковью, второй — махонькая совсем “луковка” — над трапезной.

Вход в храм заперт на замок, Людмила Георгиевна гремит ключами, телом подпирает дверь, что-то в замке щёлкает — открыла, значит.

— У нас, ребятки, в храме холодно, только на праздники топим, дров-то нету, — объясняет староста и проходит вперёд нас, мы — за ней.

Уютный храм, душистый, светлый, райский уголок, только над иконостасом — трещина огромная в стене, и ещё в двух местах — щели.

— Хорошо здесь у нас, — торопится угадать наши мысли Тихонова, — для меня это самое лучшее место.

— И, правда, душа поёт, — поддержал я новую знакомую.

К иконам подошёл, разглядывать начал, видно, что старинные, а я люблю такие, от них тепло идёт и дышится как-то по-другому — не то свет вдыхаешь, не то пыль от света — в храмах такое часто можно наблюдать — лучи широкие, толстые из окна на иконы тянутся, а от лучей пыль рассеивается, как будто снежок из облачка сыплет. Вся жизнь бы смотрел на это чудо. Но надо было начинать работать, задавать вопросы, разговаривать...

— Иконы-то у вас не новые, а храм, я слышал, вроде лет шестьдесят не работал? — спросил я у старосты.

— Это правда, закрыт был, а когда освящали его заново, местные принесли, у них все иконы-то с храма и хранились, никуда не делись.

— А вы местная?

— Я здесь родилась, да. Но при мне уже на месте храма школа была. Я там училась, на иконах прямо.

— На иконах?

— Да, парты такие складные были, сидишь, пишешь на доске, а потом доску-то поднимаешь, а там, с другой стороны, — образ, вот так и учились.

Нет, не сокрушалась, рассказывая это, Людмила, с улыбкой вспоминала. Да и что сокрушаться — она-то здесь причём, если из икон школьную мебель сколотили.

— Каких только историй не услышишь! — наигранно удивился я, чтобы спровоцировать собеседницу на продолжение разговора, и, конечно, моё актерство сработало.

— Ой, да что говорить, времена лихие, мы бестолковые, я сама всю жизнь с иконой проиграла, она у меня вместо куклы была, — что-то дрогнуло у меня внутри, какая интересная история может получиться, вот бы эта икона сохранилась, чтоб Тихонову возле её “куклы” снять.

— Вон она, моя лапушка, — и маленькая улыбка Людмилы Георгиевны на легко тронутом морщинками лице показалась мне ангельской, столько в ней было трогательности и любви — до сих пор помню. — Икона Божьей Матери Знамение. Старая, говорят, начала девятнадцатого века.

Икона лежала на деревянной подставке у левого окна, прямо как раз под световой пылью. Образ был под стеклом в серебряной ризе, потемневший, Божья Мать молитвенно подняла руки, а на груди у неё — Божественный Младенец в кругу.

Вопросительно посмотрел на Тихонову, мол, продолжайте, говорите.

— Под ризой-то сейчас не видно, но сама Божья Мать, она как бы вклеена в другую доску, потому что она вырезана была, как раз по своему силуэту, не знаю, как и кем вырезана, мне её так и подарили — в детстве ещё. “На, Люд, играйся!” — и Тихонова перекрестила икону. — Я её Машкой называла, одежду шила, таскала её везде с собой, да у многих тут такие “куклы” были, у девочек у наших, — то ли оправдываясь, то ли для полноты картины добавила Людмила Георгиевна.

В тот момент, когда Тихонова рассказывала нам про свою “куклу”, мы ещё не знали, какую роль она сыграла в судьбе этой женщины. История

невероятная, и нам её Людмила Георгиевна не сразу открыла. Сначала мы узнали про историю храма...

Построена Калюткинская церковь на деньги местного купца, который сам был из иноверческой семьи, но, придя в Православие, не скупился на богоугодные дела. Ещё известно, что во время революции прямо под стенами церкви красные с белыми сражались. Красные тогда победили, а убитых красноармейцев в церковной ограде похоронили. Вскоре храм закрыли, естественно. Сначала хотели конюшню устроить, потом надумались школу открыть, так вплоть до девяностых годов школа и была, парты, правда, ещё в семидесятых новые завезли, а так всё на иконах учились. А потом, когда парты стали выбрасывать, старушки их себе по сараям да чердакам запрятали. Там же у них хранились из поколения в поколение тайники с целыми иконами — всё вернулось в храм, когда открыли его после ГКЧП.

— А я в институте тогда работала, учёная я, докторскую как раз защищала, мне сестра звонит, говорит, тут батюшка опись икон нашёл старую, а где, спрашивает, икона Знамение, случайно не знаете? Якобы в архивах про неё такое написано! Якобы чудеса какие-то совершала. Сестра-то мне рассказывает это, а я сразу поняла — моя это икона, моя “кукла”. А я же с ней не расставалась всю жизнь, даже с собой увезла после школы. И вот она меня и спрашивает вскоре, а не та ли это икона, с которой ты бегала всё? А я говорю ей, дура неразумная: “Нет, Кать, моя-то и не Знамение вообще, и вообще я её уж давно потеряла. — Ну, потеряла, и нехай с ней”, — Катька моя отвечает. Поговорили мы с ней, а я потом до утра не спала...

Людмила Георгиевна спохватилось вдруг, к печке побежала, широченная печка с чугунной дверцей, такой мощной, что, когда староста её открыла, показалось, что створка перевешивает всю печку и она вот-вот вместе со всей стеной завалится прямо в храм.

— Холодно ведь, мы обычно не топим, только на праздники, — снова напомнила нам староста. — Но для гостей таких сейчас затопим немного, а то снимать вам холодно будет.

— Да вроде бы не сильно холодно, — поспешил успокоить её мой оператор Саша и выдохнул очередной клуб пара. — Так даже бодрит, свежо, — добавил он, уже, видимо, для себя.

— Да? А камера-то не замёрзнет, снимет? — поинтересовалась Тихонова с таким любопытством, будто больше нас была заинтересована в том, чтобы камера не подвела.

— Да снимет, куда она денется, я с ней весь Полярный Урал обегал, ничего не сделалось, — хорохорился Саша.

— А вы в Заполярье были? — любопытства в голосе старосты стало ещё больше.

Так, всё, подумал я, надо их разговор перебить, а то Саша как начнёт свои байки травить о командировках — до утра не управимся.

— Людмила Георгиевна, так что там про икону-то, куда увезли-то её? — спросил.

— Я школу-то закончила когда... Так что, значит, не топить? — Я покачал головой. — Так вот, школу я закончила и засобиралась в город, у нас-то учиться здесь было негде, а я мечтала физиком стать. С детства наш учитель сельский Пал Егорьевич меня к физике приучал. Я в школе лучше парней в ней разбиралась, все олимпиады, какие в районе были, — Тихонова всегда в медалистах... Так вот, значит, в город я собираться стала поступать-то... Мама, конечно, поревела, до последнего дня все божилась, что не отпустит, но отец сказал — пусть едет, нечего ей среди деревенских ошиваться, так и так в подоле, мол, принесёт, если в деревне останется.

Ну, значит, день отъезда. Мама ревямя ревьёт, чемоданы мне помогает застёгивать — набились полные. И тут она меня, как крапивой по душе:

“А Машку-то свою взяла? Возьми, с ней всё веселее будет”.

— А я думаю, и правда, что это я “куклу” свою не подумала даже с собой забрать, мы же с ней с раннего детства неразлучницы. Всё, помню, если чего набедакурю, отец накричит, а я в комнату к себе иду, иконку-то эту из-под подушки достану и сию, жалуясь ей, и вскоре все обиды как рукой

снимает, смеюсь даже я, что это я какие-то глупости подружке своей деревянной рассказываю, возьму её и побежим на реку или в поле, обкладываю её цветочками, веночки для неё плету... А однажды потеряла Машку свою, собака соседская меня спугнула, когда я клубнику у нас за домом на полянке собирала... Только домой когда прибежала, успокоилась, слезу утерла, и тут-то вспомнила, что “куклу” свою в траве оставила. Ещё пуще реветь начала, побежала обратно, а её уже и след простыл.

“Ну, что? Убежала от тебя твоя Машка? Кому такая подружка-растяпа нужна”, — мама-то мне говорит, а я ещё пуще прежнего реветь давай. Так расстроилась, что аж есть перестала. А у меня бабка по маме, баба Шура, она в сельсовете работала, коммунистка прожжённая, давай меня успокаивать: “И нечего детям иконами играть, и правильно, что потеряла, нечего эту заразу в доме держать”. А я на неё как накинулась, укусила даже: “Сама ты зараза, — говорю. — Не тронь мою Машку”. А она только рукой махнула, которую укусила-то я: “Но ничего, я тебя ещё перевоспитаю!” А я, когда ушла-то она, давай маму спрашивать, почему баба Шура “куклу” заразой называет? А та мне ничего не сказала, боялась, тогда же это совсем не приветствовалось, хотя у всех в доме иконы были, почти у всех, но все из себя атеистов на людях строили, не дай Бог, кто донесёт кому, неприятности, сами понимаете, лучше от них укрываться.

А была у меня ещё одна бабушка, по отцу, баба Аня, дояркой работала, так та, наоборот, никогда не скрывала, что верующая, крест никогда не снимала. Её не очень любили к нам в дом приглашать, не потому что доярка, а потому что верующая, и про Бога всегда говорила, и всех грешниками называла, меня только все “ангел” да “ангел”, а кто такой ангел, мне не сказывала... Со мной вообще о Боге она даже и словом не обмолвилась. Потом уж мне мама призналась, что это она бабу Аню как-то упросила меня в религию не посвящать, потому что дети есть дети — быстро разболтают, и разнесётся. А это же пропаганда считалась, понимаете? — и Людмила Георгиевна обернулась, стала прислушиваться, будто хотела удостовериться, нет ли кого за дверьми, или не сидит кто в печке? Но это она так, оказывается, ветер слушала, он бил в печную трубу изнутри, время от времени прикрикивая на кого-то своим металлическим, раздрающим грудь голосом. — Ветер поднимается, видать, всё-таки придётся затопить с вечера, завтра у нас отпевать Илью Петровича привезут, пожил мужик до восьмидесяти, всем бы Бог так дал пожить... Так на чём я там остановилась?

— О бабушке вы говорили, что о Боге ей запрещено было с вами...

— Да, да, запрещено, вы даже представить себе не можете, в какие времена мы тогда жили! И страшные, и абсурдные. А в тот день, когда я Машку-то потеряла, я заболела сильно, слегла с температурой, и как раз баба Аня пришла, к чему я её вспомнила-то, она редко заходила, как я вам уже рассказывала, но в тот день пришла. Я ей о своём горе и наставляла.

“Ну, ничего, ничего, просто так икона не уходит, твоя-то особенная даже, вернётся, если на то воля Божья будет. Не уходит запросто так икона”, — она-то мне в ответ, понимаете, так прямо и сказала, что, мол, “икона не уходит”, мама на неё цыкнула, но толку цыкать — я уж услышала...

“Какая икона, баба Аня?” — спрашиваю я.

“Так какая, какая, “кукла”-то твоя — это икона. Я уж давно хотела у тебя её сама отобрать, да думаю, пусть ребёнок хоть так общается, всё Божья Матерь к ангелу ближе”.

Ничего я тогда не поняла, конечно, лежу вся белая, всё болит, мухи вокруг, комары, жить не хочется.

“Найди мне мою Машку, баба, — прошу её. — Она на поляне за домом, где клубника дикая. Артос, наверное, унёс её, сходи к ним, а? — Прошу и плачу.

Баба Аня помолилась тогда надо мной, чего-то там с мамой сцепилась языками да ушла. А в ту же ночь у соседей баня загорелась, и на конюшню огонь перекинулся, а там у них и корова, и телята, и свиньи, кого только не держали. Мы тоже из дома вышли, на всякий случай, вдруг чего. Меня мама на руках держала, а я вся горю сама, как баня, температура страшная

у меня, ничего не понимаю, чего там, где, у кого огонь. Только вижу сполохи где-то вдалеке, как сквозь туман. И вдруг всё потухло. Я ещё минуту всматривалась — нет огня.

“Потушили?” — маму спрашиваю.

“Да вроде не горит больше. Ну, сейчас домой пойдём, сейчас ляжешь. — И мы к двери-то своей подходим, а она как раз напротив соседской конюшни, там дядя Вова — наш сосед — с сыном возится. — Ну, чего, Вов, потушили, ага?” — мама его спрашивает.

“Да само погасло. Огонь шёл такой, как шайтан какой налетел, и вдруг погасло всё”. — По голосу даже я понимала, что дядя Вова сам себе не верит.

“Как так? Как погасло-то?” — не верила и мама.

“Сам ничего не понимаю, но, видать, не судьба нашей скотине стореть-то было, а то ведь огонь сначала ворота обхватил, вывести не успели никого”.

“Ну, дела”, — подивилась мама и понесла меня домой.

Всю ночь я пробредила. Как же плохо мне было, одному Богу известно. Никогда больше так не болела, до сих пор вот Бог миловал, а тогда уже у мамы прощения просила — помирать всерьёз собралась. Для детей-то смерть проста, это взрослые её боятся.

А наутро дядя Вова к нам вбегает, орёт на всю Ивановскую:

“Нет, ты представляешь, Петровна, я сейчас-то подхожу, смотрю на то место, где огонь-то остановился, а там икона какая-то лежит, почернела вся, я её еле увидел. Поднял, рукавом обтёр, как есть — икона, это ж надо, а! Так и в Бога, не дай бог, поверишь!” — так басил, что аж люстра тряслась с висюльками стеклянными — тогда такие в моде были.

“Да не ори ты, моя вон температурит, — попросила соседа мама, сама она у печки пирожки стряпала. — Что за икона-то?”

А я лежу, всё слушаю.

“Да, вроде как Мать Иисусова с Младенцем посередине. Кто её знает? Обрезанная по краям, по силуэту-то...”

Слышу, у мамы противень из рук выпал.

“Где она?” — спрашивает у дяди Вовы.

“Икона-то? Да вон на дворе валяется, куда я её? Мне бабка своего добра, вон, в подполе оставила...”

Мама бегом во двор, я уж тоже к тому моменту поняла всё, с кровати встала, иду, еле ноги передвигаю, как раз до порога только дошла, смотрю, мама с Машкой моей заходит. Ох, уж и бросилась я на неё! А икона-то вся в саже, и я вся чёрная стою, мама ругается, я опять реветь — рёва та ещё была, как вы уже поняли. Но в тот-то раз я от счастья рыдала — “кукла” моя ко мне вернулась. И в тот же день к вечеру я уже снова бегала — болезнь отстала от меня, даже слабости никакой не ощущалось. Вот ведь как бывает! Я теперь вот что думаю — это видать “куклу”-то мою Артос тогда и унёс в зубах да бросил в конюшню, видать, она тогда соседям нужнее была, вот и ушла от меня. Нет, всё-таки я затошно, ребята, а то промёрзнет всё, тепло должно быть образам-то, лапочкам.

Людмила Тихонова вернулась к чугунной дверце, снова показалось, что со всей стеной падает печка. Староста, до этого остававшаяся в болоньевом плаще, расстегнула пуговицы, показался фартук, из переднего кармана которого она достала коробок со спичками. Через какое-то время из печки стал раздаваться лёгкий треск, будто кузнечик начал распеваться; ветер, голосивший до этого в трубе, умолк, напоследок поругавшись с рождающимся огнём, из-за чего тот и трещал, как баба на ярмарке.

— Ну вот, сейчас потеплеет, у нас быстро это, и славу Богу! — приговаривала Тихонова, топчась у печки.

Я ещё послушал печной треск, убедился в победе огня над ветром и поспешил задать главные вопросы, от которых Людмила Георгиевна пока что отступала в своём необыкновенном рассказе.

— Так как же вы в этом храме-то оказались? Чувствую я — здесь какая-то невероятная история! — снова подзадорил я старосту.

— Ну вот, я и рассказываю! Я, значит, после школы уехала в город, поступила в институт, замуж вышла, двое детей у меня, муж хороший, работала

я в НИИ, потом в оборонной промышленности, преподавала, докторскую защитила, в общем, дал Господь мне себя проявить. И всё это время “кукла” — то моя, матушка икона Знамение была со мной. А уж когда этот храм стали восстанавливать, я уж сама к вере в то время приходила стала. Вот хотя все и говорят, что учёные в Бога не верят, а я так скажу: учёные-то первые, кто знает, что Бог есть, просто они привыкли всё доказывать фактами, а здесь верой доказывать надо, любовью, а это для учёных, да тем более для физиков, совсем незнакомая область.

— А вы как пришли к вере-то, Людмила Георгиевна? — кажется, интервью подбиралась к самым вкусным деталям.

— Да вот я вам про это-то и рассказываю! Значит, вот когда сестра-то мне позвонила и сообщила, что икону мою ищут, я до утра не спала. Думала: отдать — не отдать. Вроде, все вернули свои, вроде, и правильно было бы вернуть: икона, раз она в церкви до этого хранилась и там какие-то чудеса совершала, в церкви и должна пребывать. Но я же вам объясняю, что это был мой талисман как будто, мой крестик, моя подруга настоящая. Как же её отдавать-то! А чудеса-то, знаете, какие эта икона совершала? — снова отошла от темы староста. — Она ведь не только от пожаров, она же и от болезней, и от холода все деревни вокруг спасала. Да тут до сих пор поговорка есть — Знамение будет, любовь не убудет. Это так старики ещё говорили наши, мол, пока икона-то эта здесь, то и Бог с нами. Это вот всё я потом прочтала в архиве, в журнале церковном, в нём батюшка Сергей Власов ещё до революции записи свои оставлял. Это уж я потом всё прочла, а тогда-то, конечно, и подумать не могла, что за “кукла” моя такая, чудесница Маша. Но тогда я сказала себе — моя “кукла”, со мной была, со мной и останется. Вот как маленькая, ей-богу, хотя к тому времени уж докторскую защитила, двух девочек поднимала. Сейчас, прям, смешно вспомнить даже, какая во мне тогда вредность проснулась!

Ещё месяц где-то прошёл, а сердце моё с того дня, как сестра позвонила, ноет, ноет, ноет. Всё хожу да поглядываю на доску с Божьей Матерью. А сестра с тех пор уж раза два звонила: “Как пить дать, — говорит, — икона-то твоя — это наша деревенская реликвия, по всем описаниям схожа, ох, как жалко, что потеряла ты её! Батюшка так переживал, когда узнал!” — капала мне, как это говорится, на совесть. Я-то ведь понимала, что не потеряла я её, вот она стоит передо мной, смотрит на меня. А смотрела она на меня, ой, ребятки, вот не поверите, смотрела всегда по-разному. То сурово, то улыбалась, то грустила. Это, как я для себя поняла, когда я что-то не то делала в жизни, “кукла” моя сердилась, когда правильно всё шло, она улыбалась. Ну, вот что ты ухмыляешься? Вот так и было! Да и по сей день так. Вот сам подойди, посмотри, если улыбнётся, значит, исполняешь волю Божью. Ты подойди, подойди, — начала уговаривать староста.

— Обязательно подойду, вот как только историю мне свою расскажете! — пообещал я Тихоновой.

— Ну, а что история моя? Через полгода я приехала в деревню погостить к своим, да и привезла “куклу” свою. Отдала её батюшке. Ой, на следующий день все наши старушки собрались, целый праздник они с батюшкой в церкви устроили. Так радовались, так молились, так пели, я ни на минуту тогда не пожалела, что с “куклой” рассталась. Для меня-то она тогда так и была кукла — ни больше ни меньше. О вере я только начала в ту пору размышлять.

Помолчала староста, призадумалась, а глаза у неё — радостные, светлые, и такие от них волны нежности и теплоты. Весь наш разговор они такими были, будто бы сам благодатный огонь в них зажигается. Никакой печки не надо.

— А потом, как приехала я домой, в город, чувствую — не на месте сердце, вот как душу оторвали, как будто только оболочка моя в квартире, а сама я — там, в деревенском храме.

Снова помолчала Тихоновой. И снова в глазах ее благодатный огонь

— Вот, знаете, как говорят? Вам, наверное, знакомо, у молодых есть такое понятие — сохнуть от любви? Ведь, правда, есть такое. Вот только от

влюблённости сохнут, от любви, наоборот, жизнью наполняются, но это другой разговор. Я к чему? К тому, что сохнуть стала, как икону-то в храм отдала. И сама не понимаю, что со мной. Ничего не мило, ничего не радует, по ночам сна нет, все мысли только о “кукле”, да о деревне, о церкви. И тут мне сестра опять моя звонит. “Ой, — говорит, — беда у нас, икона-то твоя вся чёрной стала. — Как же, — спрашиваю, — чёрной-то стала? Горела, что ли? — Да нет, — отвечает сестра, — сама по себе почернела. Никто не знает, что такое. Батюшка наставляет всех — усерднее молиться. Молимся, а что толку-то, совсем уж образа не видно”.

Значит, не зря со мной такое делалось, чувствовала я, что не так, неправильно я как будто поступила. Даже мысли у меня, вот вы понимаете, даже мысли у меня тогда не возникло, что икона не из-за меня почернела. Я виновата, и всё: от себя её оторвала, вот знала я это на все сто процентов. Понятия не имею, откуда у меня такая уверенность была, но вот была. Теперь-то я понимаю, а тогда сама себе удивлялась. Ну, да что — неверующие люди всему удивляются от глупости своей; верующие, те, кто по-настоящему верят, никогда ничему не удивляются.

Приехала я вскоре снова к себе в деревню. Первым делом в храм пошла. Смотрю на икону, а она к тому времени уже в ризе, под стеклом, а вся чернющая-чернющая, как вот когда мне её принесли после соседского пожара. Я на колени так и упала, и внутри меня закололо всё, будто горячим пеплом душу осыпало.

Батюшка говорит: “На, почитай”. Я смотрю, вроде, по-русски написано, а не понимаю ничего.

— Акафист это, почитай, не противься, — шепчут мне старушки, которые при храме были.

И вот я давай читать, сбиваюсь, конечно, на каждом слогe, к концу только уж обжилась со словами-то этими волшебными:

“Радуйся, душ наших сладчайшая весно, радуйся, сердец наших светлейшее утро,

Радуйся, высоты недомыслимая, радуйся, славо неуываеваемая...”

Чего говорить — боготворно! Акафист — это песня, никак иначе. И вот, почитала я, как могла, на следующий день тоже пришла, помолилась. Но нет, конечно, икона не очистилась, хотя я втайне верила, что, глядишь, и просветлеет передо мной моя Машенька. А Машенька ждала, чтобы просветлела я. Опять домой в город вернулась, да вскоре слегла. И отчего слегла? Врачи — воду льют, объяснений нет. Температура в норме, сердце — тоже, ничего не болит, а слабость — встать не могу, и пот ручьём льет; ага, то пот, то озноб. И простуду тоже не обнаружили. Всё, здорова! Больничный не дали мне тогда, еле-еле на работу ходила. Дня три так ходила, на четвёртый не пошла, не могу — и всё, будто к кровати приковали да на груду бульжников накидали. Давит всё. И белый свет не мил. В тот же день вижу сон. Вот захожу я в храм наш, а там пусто, я к “кукле” своей иду. Только дошла, слышу шорох сзади, оборачиваюсь, вижу — у печки женщина стоит, красивая, в голубом платье, волосы под косыночкой, на меня смотрит радостно, улыбается и говорит вдруг:

— Холодно мне!

А я ей и отвечаю:

— Так не топят, видимо, лето же вроде как на дворе.

А она опять своё:

— Холодно мне, холодно!

— А вы кто? — спрашиваю, потому что я, вроде, всех местных знала, а эту раньше не видела.

Та только улыбнулась в ответ и вышла из церкви. А я стою и чувствую, что и правда — холодно. И так резко вдруг продрыгла вся, съёжилась, думаю, дай затоплю. Гляжу, а у печки дров нету, обычно там накидано. Вышла на улицу — там, на полянке за храмом, дровня стояла. И вот перед глазами моими: солнце жарит, трава огромная, сочная, зелёная, цветы, как подсолнухи все, не меньше, ягод видимо-невидимо... И посреди поляны женщина та стоит, на меня смотрит, улыбается и снова:

— Холодно мне.

Я аж рассердилась, чего холодно, вон, лето какое, жара. И тут проснулась. Вся в мурашках лежу, замерзла, будто посреди зимы без одежды на улице вышла... И тут звон колоколов, я аж подскочила! Что такое? Где звонят? Вроде, нет церкви-то рядом. Мужа своего спрашиваю: “Ты слышишь колокола?” Он на меня смотрит, побледнел весь: “Ты чего, мать? Тебе плохо?” А я стою и понимаю, что хорошо мне! Хорошо! Колокола бьют, я радуюсь! Но только сон-то свой вспомнила, эту женщину в голубом, и снова в озноб ударило. Села я на кровать, зарыдала. Ясно всё стало мне тогда. Вот опять, коли спросите, не отвечу, откуда эта ясность взялась, но уверена была — это я Богородицу во сне-то видела. И звон колоколов тому подтверждение, мне уж тогда известно было, что бывают случаи — слышат люди звон, даже когда храма рядом и в помине нет. Это вроде как знак сверху...

Долго я в ту ночь не спала. Да, мне кажется, и вообще не уснула. А через неделю говорю мужу:

— Поеду я в деревню.

— Так ты же недавно там была, — муж-то удивился.

— Насовсем поеду я, — мой смотрит на меня, молчит.

— Ты чего, бредишь?

— Я всё решила, девочки наши уже на ногах, по семьям своим разбежались, мне на пенсию скоро, ты — как хочешь, а я поеду. — Вот так ему прямо и говорю, говорю и не чувствую ничего.

— Ты с ума сошла под старость! И что за болезнь ты подцепила?

Ну, конечно, мы ещё месяц с ним ругались, решали, что да как. Но я всё равно знала: уеду. На своём стояла. Смирился мой, наконец. С тех пор всё меня “ненормальной” называет, не иначе! Сейчас уже, правда, ласково, по-доброму, а когда приехала-то сюда, он год со мной не разговаривал. Потом уж заезжать стал, а сейчас ничего — со мной, живём, он бомбит иногда, я статьи пишу в журналы да книгу вот заканчиваю, ничего — везде жить можно. А на работе и в институте, где я преподавала, никто меня тогда не понял, само собой. Спрашивают: “А ты чего всё бросаешь-то? Ради чего?” А я и объяснить толком не могу.

— А потом что было? — спрашиваю я тихо, пока староста молчит.

— А потом светлые дни наступили. Я приехала, стала в храм ходить, молиться научилась, бабкам помогла порядок поддерживать, а потом, уж две недели прошло моего здесь жития-то, гляжу — “кукла” моя опять как была! Никакой черноты! Раскрылась икона-то, и снова мне улыбается!

Ну, вскоре я крестилась.

А когда бабки-то умерли, староста прежняя Антонина Ивановна отошла, Царствия ей Небесного, тогда мне батюшка и предложил вместо неё стать. Даже не думала — сразу согласилась. Так вот и живу. Все при “кукле”. Грею её, чтоб не холодно. Во сне она больше не приходила ко мне, а зачем? Мы же рядом, — и Тихонова подошла к своей иконе, стала целовать её, гладить, так гладить, как гладят самых любимых на свете людей в благодарность за счастье. — Вместе мы, да, матушка моя, Маша моя, подруженька. Хорошо нам, вот так и живём, хорошо живём!

Прощались мы тепло, сели в такси. Как догадался я — это муж Тихоновой нас привёз, он и увезёт обратно до станции.

— Что-то не быстро вы, накинуть за простой-то придётся, — предупредил таксист.

— Накинем, не проблема, — пообещал я и в последний раз посмотрел из окна машины на храм. Уже подкрадывался закат, белые стены и купола покрывались оранжевым отсветом, из печной трубы валил чёрный дым... Чудная картинка, фотография памяти.

Запомнились навсегда и карьеры по обе стороны дороги, красные, под закатом и вовсе марковные.

Уже в городе вспомнил, что так и не посмотрел, улыбается ли мне Богородица...

ОЛЬГА ЕФИМОВА



КАПЛЯ СВОБОДЫ

СЕВАСТОПОЛЬ

Сладкая дрёма старый бульвар сморила,
В море выходит чёрная субмарина.
Гладь водяная только мерцает зыбко:
Бухта сияет — круглая бескозырка.

Над Херсонесом ветер гуляет борзый,
Колокол древний дышит могучей бронзой,
Серые скалы тёплым прибой обнял...
Жить бы да жить затопленным кораблям.

Театр степенный — мраморный ряд колонн.
К сонным ступеням рыжий платан склонён,
Будто бы плечи скромный юнец поджал.
Пусть над холмами вновь заискрил пожар —

Осень к виску приблизилась роковым
Дулом холодным, длинной ручной пищалью,
Я вернусь в этот город, дымом пороховым
Пропитанный.

Обещаю.

ЕФИМОВА Ольга — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась в 1985 году в Москве. Окончила экономический факультет МГПУ по специальности “Менеджмент в сфере образования”. Публиковалась в журналах “Дети Ра”, “Зензивер”, “Зарубежные записки”, в газетах “Литературные известия”, “Поэтоград”. Живёт и работает в Москве.

* * *

Хищная зелень, утренний хмель земли.
Цвет одуванчика, поздний, сырой апрель.
Будто во сне бормочет тебе: “Замри!” —
Бурая твердь — постой, не ходи по ней.

Ты не спасёшься: тянутся трав полки —
Юное войско шёлковых янычар —
К бледной лазури, хóлодны и легки,
Жемчуг дождя рассеявши по плечам.

В ноздри ударил яростный дух листвы.
Лепетом почв ты весело пренебрёг:
Шаг торопливый, птиц голоса чисты.
Капля свободы — жёлтый цветок у ног.

* * *

Сотня дворов обветшалых. Там
Тянутся травы к звёздам.
Встал над рекой величавый храм:
Золото. Купол. Воздух.

Старая бронза упорно бьёт —
Благовест громкий льётся...
Неба глубокого синий лён.
Колокол. Церковь. Солнце.

— Помнишь? — тревожно шмыгнула мысль
как в потайную дверцу:

...Гулко дрожит голубая высь.

Звонница.
Утро.
Детство.

* * *

Анечке и Руслану

Когда ломается хребет
Горбатой, звончатой волны,
Пляж, солнцем утренним пригрет,
Вдыхает: силы не равны —

Всё, что на свет произвели
Летучий зюйд и тяжесть вод,
Твердь орошаемой земли
О серость гальки резко бьёт,

Как торжествующий левит,
Прибой клоочет всё мощней...
Барашек жертвенный лежит
На мокром алтаре камней.

Но ветер с новой силой вдаль
Погонит странниц голубых —
Отхлынет гордая вода,
Легко взовьётся на дыбы,

Как смех ребёнка, весела,
Слезы вдовицы солоней.
И чайка, гребень оседлав,
Качнётся на крутой волне.

НАТАЛЬЯ МЕЛЁХИНА



ДАШКИН КАРАВАЙ

РАССКАЗЫ

Зимний день на Севере короток, но кажется он нескончаемо длинным, если тебе, как Дашке, всего лишь пять лет и если ты целый день не знаешь, чем себя занять.

В садик Дашка не ходила, потому что садика в их деревне не было. Да и откуда ему взяться, если жилых двенадцать изб осталось, да и в тех одни старики? Кроме Дашки, детей в деревне не осталось. И вот мама ушла на смену — на коровью ферму, отец со старшими братьями — в лес дрова рубить, но и ружьишко с собой захватили, попутно поохотиться. Осталась Дашка одна с бабушкой. Чем заниматься?

Уж она и на санках покататься сходила, точнее, повозила их туда-сюда за собой по пустой деревенской улице, посадив на них пластмассовых зверушек: котиков, собачек, лисичек, зайчиков, медвежат. Везёт и поёт: “Тра-та-та! Тра-та-та! Мы везём с собой кота, чижика, собаку, петьку-забияку!” Пусто в деревне, морозно, солнечно! Далеко разносится одинокий Дашкин голосок. Расслышал пение сосед дедушка Толя, отправившийся на колодец по воду, заругался. “Нельзя, Дашка, на улице горло драть! — говорит. — Простудишься на морозе! Ангину схватишь! В медпункт далеко тебя родителям везти придётся”.

МЕЛЁХИНА Наталья — прозаик, критик. Окончила факультет филологии, теории и истории изобразительного искусства ВГПУ. Публиковалась в журналах “Знамя”, “Октябрь”, “Дружба народов”, “Сибирские огни”, “Север” и другие. Дважды лауреат Международного Волошинского конкурса (2013 и 2014 года), лауреат Балашовской премии и премии им. Б. М. Пидемского. Автор книг “Железные люди” (“Эксмо”, 2018 год), “Александр Панкратов” (“Древности Севера”, 2018 год) и других. Живёт в Вологде.

А молча просто так санки по деревне возить не интересно. Провела тогда Дашка всех знакомых собак в деревне. У деда Толи — ласковая серая Пальма. Её и на цепь-то не садят, потому что такая никогда и никого не укусит. У бабушки Лены — крупный неповоротливый Баке, лапы у него, как лопаты. Весь снег у будки изрыл. Молодой, не сидит ему на месте, всё чего-то копает. Не пёс, а чисто экскаватор! У деда Вени — Умка, похожая на овчарку, старая, даже слышит плохо. Зовёшь её: “Умка! Умка!” А она и голову не повернет, даже если в двух шагах сидит. Каждую собаку Дашка погладила и каждой принесла угощение — всем по корочке хлеба, а старушке-Умке — мякоти хлебной кусочек. Своих собак, охотничьих, лаек, дома не было: их отец с братьями в лес с собой забрали. Дашка постояла у пустующих вольеров и побрела домой.

Дома она и телевизор смотрела, и рисовала в альбоме и в “разукрашках”, и играла в охотников, и с дивана на кресло прыгала, и заставляла бабушку книжки вслух читать, и помогала ей ужин готовить, но всё без толку! Тянется и тянется зимний день, и нет ему конца и краю! Наконец, начали сгущаться сумерки. Они были для Дашки, как добрые глашатаи из фильмов-сказок: пришли сумерки, значит, и родные скоро вернуться! А ночей и темноты Дашка несколько не боялась. По ночам вся семья дома, включая отца, так какие ж тут могут быть страхи? К тому же родители иногда по вечерам ходили с ней на лыжах кататься под светом единственного на всю деревню уличного фонаря. И если ночь ясная, то заблестят звёзды на небе, просыплются снежными искорками вниз в сугробы и там заискрятся, зарумянится луна на чёрном фоне, что те румяный колобок на печном противне, — красотища! И наконец-то, наконец-то закончится скучный одинокий день.

Вот и на этот раз лишь упали на деревню сумерки, послышался за околицей лай. Один густой и низкий. “Это Тобол!” — узнала Дашка. Второй — высокий, звонкий. “Это Белка!” — обрадовалась она и побежала в прихожую к дверям. Вернулись из лесу отец и два старших брата. У всех чёрные волосы покрылись белым инеем, все трое высокие, широкоплечие, как богатыри, и пахнут хвоей да морозом. Сначала накормили собак. Показали Дашке и бабушке и тут же вынесли в сени сегодняшнюю добычу — куницу да белочку. Бабушка и внуков, и зятя хвалит, на кухне хлопочет: надо мужикам ужин подавать! Помогает Дашка бабушке, чем может: ложки несёт, майонез и горчицу на стол ставит, хлебный нож отцу подаёт. Самое интересное после ужина начинается.

Каждый вечер брат Игнаха приносит Дашке из лесу гостинец: то из-под снега горсть клоквы или брусники, то большое полотнище берёсты, на котором рисовать и писать можно, то хвостик заячий, на помпон похожий, то шишки еловые, сосновые, кедровые, ольховые, то колючего шиповника вместе с ягодами веточку, то еловый букет, чтобы игрушками самодельными украшать — много в лесу богатств! Ждёт не дожждётся Дашка, когда Игнаха чай допьёт и из рюкзака сегодняшний гостинец достанет. Но вот отставил брат чашку, говорит:

— Ой, Дашка, что я тебе сегодня принёс! Ни за что не угадаешь!

— Опять шишку? Опять хвост? Или ягоды? — гадают Дашка.

— Лучше! Послали тебе лесные жители каравай хлеба. Но ты уж не обессуди! Часть я отъел, проголодался на работе! Тебе три куска оставил, но зато на костре поджарил!

Достал Игнаха из огромного рюкзака пакетик, а в нем поджаренный на костре хлеб, а поверху — кусочки солёного сала.

— Передали они тебе, Дашка, с поклоном.

— Кто они? Какие бывают жители лесные? Смешные или страшные? — спрашивает Дашка.

— Перво-наперво — белки, — начинает свой рассказ Игнаха. — Ведь как дело-то было? Увидел я двух белок, сидят на ёлке, шишки лушат, а в меня шелухой кидаются, смеются: “Экий Игнаха дурачок! Мы наверху на ёлке сидим, а ему-то нас и не видно!” Ну, думаю, смейтесь-смейтесь! Хорошие

из вас выйдут для Дашки беличьей стельки в сапожки, вскинул я ружьё, прицелился, а белки мне и говорят человеческим голосом: “Не бей нас, Игнаха! Не губи! Что Дашке стельки в сапожки, уж лучше бы ей шапочку! Мы тебе покажем, где заяц прячется! — Не верю я вам, вертихвостки!” — говорю я им. А они цыкают-уверяют: “Цы-цы-цы! Не бойся, Игнаха! Мы хоть и рыжие, но ведь не лисы, не обманем!”

И верно, не обманули. Указали на заячью лёжку — лежит он себе под корнями выворотня, под огромной-огромной осиной. Ни за что без чужой помощи его не найдёшь. Прицелился я в зайца, а длинноухий как задрожит! Аж выворотень весь затрясло! “Не губи, — говорит, — меня, Игнат! Почему всё время заяц крайний?! Вечно чуть что, так сразу меня на шапку! Ничего я тебе плохого не сделал! Да и Дашке лучше уж шубку пошить! Теплее ей будет. Расскажу я тебе, где лиса живёт, тем более, что она меня из родного дома выселила”.

Сам пойти и показывать отказался, струсил, но на снегу лапкой путь-дорожку к лисьей норе нарисовал. Пошёл я для тебя, Дашка, шубку добывать. Пришёл к норе, а это, оказывается, и не нора вовсе, а избушка лубяная, та самая, из которой лиса зайца выгнала! Заглянул в окошко — лисонька обрягается у печи: кашу варит, курочку на противне запекает, каравай в печь ставит, а за столом на лавках сидят лисятки, песенки поют и ложками стучат. Заметили меня в окно, соскочили, под лавки забились. Возмолилась лисонька: “Не губи, Игнаха, ни меня и ни моих детушек! Возьми в откуп каравай для Дашки! Не простой, а волшебный! Как съест она от него два куска, так вырастет на два вершка!” И вот, Даша, принёс я тебе волшебный хлебушек.

Дашка куски рассмотрела и говорит Игнахе.

— Вставай, Игнаха, давай! Иди к косяку! Ты же хлеб тоже ел! Давай, сначала тебя измерим, насколько ты вырос!

На дверном косяке у входа в кухню отец широким охотничьим ножом ставит зарубки, как дети его росли: прямые — эти старшего сына, Шурки, наискос — среднего, Игнахи, а треугольные отметки — это дочкины, Дашкины.

Смеются все: и отец, и братья, и бабушка. Игнаха отнекивается:

— Ну что ты! Это ведь для тебя хлеб, я от него не вырасту, разве что ширь!

— Давай, Даша, чаю тебе налью, — говорит отец. — Попьёшь и до прихода мамы уже чуть-чуть подрастёшь! Тебя и измерим, на косяке вон новую метку вырежем, твою, треугольную.

Так они и сделали, как только мама с фермы вернулась. Обманула, правда, лиса: выросла Дашка с лета не на два вершка, а всего на один, ну так это ж известное дело: кто ж лисам верит, пусть и говорящим, все они до одной обманщицы.

ПЕСТЕРЬ-НЕВИДИМКА

Когда идёшь в лес по грибы, никогда не знаешь, куда выведут тебя тропы, проложенные дважды: первый раз мы проходим их по земле, второй раз путешествуем по картам нашей памяти. Вместе с другом детства Женькой мы ищем белые в ельнике за деревней.

Нам знакомы эти места так, что даже на ощупь мы опознаем не то что каждое деревце, но и каждую былинку, потому что эти травы, этот мох, эти ели росли вместе с нами. Кажется, и они тоже узнают нас по шагам, по запаху, по прикосновениям наших рук к ласковым зелёным лапам. И сам этот жест — будто спрятавшая когти-колючки лапа прижимается к ладони — так похож на рукопожатие.

Даже будучи ещё совсем малышами, мы с Женькой множество раз бывали в этом ельнике с нашими отцами, ныне покойными, с моим папой Мишей, с его папой Толей. Лес и река — колыбель нашей дружбы, переданной нам по наследству, как некое сокровище. И, будто записанные на плёнку, и сейчас звучат в моей голове отцовские голоса:

— Хочешь напиться, а воды нет, так можно пить и прямо из лужи, но выбирайте самую чистую, проточную. Вот сухой стебель дягиля — вот, смотрите! — вот так между колечками срежешь его, и здесь у дягиля есть перегородка, перепонка из мякоти. Надо в ней ножом дырочки сделать, будет, как дуршлаг у матери, чтоб макароны откидывать. Вот и фильтр: мусор из лужи не пропустит. Через трубочку такую и пить можно. Пейте, робята! Пейте!

И “робята” (так по-вологодски звал нас дядя Толя), и “ребята” (отец мой — родом с Кавказа, он никогда не окал) охотно пили лесные коктейли из луж на дороге, ведущей к вырубке. И была вода из них слаще лимонада, ароматнее и прохладнее, чем “Тархун” со льдом. В нынешний дождливый год этот старый тракторный путь больше напоминает реку. И пахнет так же — водой и илом, но вырубки больше нет: на её месте — новый лес. Тянутся ввысь молодые и тощие, но дерзкие деревья, жаждущие солнца и ветра без меры, жадно сосущие молоко земли через жилы своих корней.

— Ну, а если, ребята, заблудились в лесу, и с собой компаса нет, и день пасмурный, то ищите реку, ручей, дорогу, линию электропередач. Идите вдоль — они всегда к жилью выведут! Друг с другом не разлучайтесь, реку или ручей не переходите, а то еще сильнее заблудитесь. Если переночевать в лесу придётся, то помните — на земле не спят. Ставьте лежанку, на неё — настил, и лучше под навесом, а напротив — костёр.

О, сколько этих отцовских советов — по одному придётся на каждый наш шаг по земле, и в запасе ещё целый заплечный пестерь останется. Кажется, хотели наши отцы от всего нас уберечь, от всего сохранить, предостеречь, предупредить.

— “Спаси и сохрани!” — как в лес идёшь, так скажи да на образа перекрестись. В лесу не надо всем человек хозяин, порой, не всё там можем мы понять, не всё объяснить. В лесу мы гости, да ещё порой и непрошенные. Идёшь хоть и на час, а спички с собой возьми, в пакет целлофановый заверни, нож, воды бутылочку да хлеба кусок с солью. Ноша невелика, да и свой груз не тянет.

Пестерь с советами за моею спиной — груз невесомый, невидимый, неосязаемый, но сутулятся под ним плечи, совсем, как у моего отца, от прожитых лет. Иду я ельником, в одном кармане — горбушка с солью, в другом — спички, есть с собой и нож, и вода из колодца, и полным-полно уже грибов в ведре. Срезает друг мой Женька последний белый, щёлкает по тугой шляпке пальцем, и слова моего отца слышу я из его уст:

— Эх, хорош охлопуздик! Звенит, как ренка! — Так всегда папа мой говорил про особо крепкий гриб, и фразы эти достались нам с Женькой по наследству.

— Красота-то какая, красотищ-щ-ща! — вторю я словами дяди Толи.

И заглянув в полное ведро, говорит мне Женька:

— Пойдём домой, Михална!

И как ответ на пароль:

— Пойдём, Анатолич!

ОЛЕГ МАЛИНИН

МОИМ УЧЕНИЦАМ
(Литкружок)

Дружны и поэтому вместе
На ветках в саду соловьи,
Но покидают предместья
В начальные годы свои.

Аня, Люба, Наташа,
Да здравствует и вовек
Честная молодость ваша,
Горящая между век.

Её сохранив для большего,
Чем спор ни о чём у плетня,
За первую партой Большева
Вопросами душит меня

О Лермонтове,
О песне,
О пассионарности дней...
И с каждым вопросом известней
Становится юность у ней!

Изрядно края израня
Листков шелестящих... Простим.
Зато, как задорно Аня
Про плёс прочитает по ним.

...С горбинкою.
Волосы — кофе.
Веселье непойманных глаз —
Наташи Корякиной профиль
Рисую в тетради сейчас.

Поклонница
Маркса и Блока,
Которых подвинуть не прочь,
К минутам впустую — жестока,
Столетия минувшего дочь, —

А если по сущности дела —
Упорна и в слове умна,
И разрушает смело,
Не предавая она!..

Дерзайте идти дорогой
Навстречу ветрам и лучу!..

Я троице вашей много
Советов давать не хочу.

Да здравствует честность ваша,
Горящая между век,
Аня, Люба, Наташа,
Как молодость и человек!

*г. Черноголовка
Московской области*

ЭЛЬВИРА ПАРХОЦ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ О МЕСЯЦЕ

Месяц, лохматый дед,
Рыжая шапка — два уха,
По ольховым лесам идёт
Тихо-тихо в туманах-валенках.

Собирает тёмной рукой
В буреломах закаты-яблоки;
Расставляет, шурша камышом,
На реке золотую сеть.

Кто в неё попадёт — не избудет печали,
Травяных, горьковатых осенних дум.
И тягучая песня — рябиновый мёд —
Растечётся зарёй в перелесках.

* * *

По рассветной траве,
Глядя вверх,
Я пройду,
задевая кусты черёмух.
Услыхав колокольца птиц,
Пораспустит вязанье дрёма —
Шерстяную туманную нить.

Крещена я водой криниц,
Отшептали меня стерни
Да лозинник отпел
белый.
Уж не стану тебя винить:
Что предписано — то и делай
(А судьба твоя, знать, такая ж).

Зябнут руки, как на свиданье.
На десяток шагов воли дай мне.
На поляне, у пегого камня,
Меня расстреляешь.

Жаль полынных небес
Да несчитанных вёрст.
Лес —

Тихим эхом в груди:
 подожди...

Жаль
Светло-ярых озёр овса
С тополинами берегами,
И приснившихся дивовых гор,
И тропинок нехоженных...
 Жаль —

Мы похожи с тобою, похожи...
Слышу:
 щёлкнул затвор.

...Ветер гасит холодные
 свечи ослинника.

Травные слёзы горят.
Из корзинки ольховой
 брусничкой
Раскатилась заря.

г. Воронеж

ЕЛИЗАВЕТА КУРДИКОВА

* * *

Волжанка по духу, по плоти — труха,
Но помню, любезные друзья,
Что так ослепительно стала плоха,
В унылом степном Оренбурге.
Золою и тленом, и вешним дождём,
Жестокой насмешливой тенью,
Я канула в чахлый больной водоём,
Воскресла невинной сиренью!

Такую не ждут, на обед не зовут,
Но в каменных джунглях-трущобах
Волжанка-стихия отыщет приют —
Ещё бы! Ещё бы! Ещё бы!

Отрезан-заказан небесный мой путь,
А лестницы в бездну — парадны,
И мёртвой петлёй ниспадает на грудь
Горящая нить Ариадны.

* * *

Я птица, которой на свете нет,
Зачем мой полёт высок?
Всего-то и надо, что взять пистолет
И разрядить в висок!
Удушливым жаром беспечных лет,
Холодным пламенем сна,
Я птица, которой на свете нет,
Ты участь моя — весна!

г. Оренбург

СЕРГЕЙ КОНДРАТОВ

МАЛОЙ РОДИНЕ

Ты станица моя, станица!
Край сирени, край дымчатых ив.
Что курганам твоим грозным снится,
Чем им плещет притихший залив?

Полегли жёлтым цветом просторы,
Так, что взглядом одним не объять.
Рожь пушистую на косогорах
Будет ветер один волновать.

Пахнет хлебом и свежестью мая,
Так волнительно в час полдней!
Ты станица моя вековая,
Ты мой край безмятежный, родной!

г. Краснодар

ТАТЬЯНА ЖИЛИНСКАЯ

* * *

Люблю тебя, обворожитель мой,
И ты теперь люби меня такой.

С моей тоской и вечной кутерьмой,
С большой котомкой за больной спиной.

Я твой укор, твой ропот и венец.
Ты искуситель, зрячий и слепец.

Не объяснить такое никому...
Быть может, мы разгадываем тьму

Простой любовью без постылых фраз.
И кто-то вечность вымолит за нас.

Пусть будет наш порыв необратим...
Мы не умрём.
Мы, может быть, взлетим...

г. Минск

ВЕРА БУТКО

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

В чём счастья моего секрет?
Я покоряю дней стремнину.
Не жду, пока вязанка лет
Согнёт мою прямую спину.

Не наблюдаю из угла,
Как новостей струятся нити.
Вставляю добрые дела
В бегущую строку событий.
Под поцелуи подлецов
Не подставляю в страсти шею.
Враньём не пачкаю лицо.
Но главное, что я умею —
Носить потёртое пальто
С апломбом итальянской дивы
И благодарной быть за то,
Что все, кто мне так дорог,
Живы.

г. Москва

ПАВЕЛ ВЕЛИКЖАНИН

ОТ СЧАСТЬЯ

Я сплю, я сплю под стук колёс,
Я пуст, как мой стакан,
Но всё равно, как верный пёс,
Бежит к тебе строка.

К тебе за окнами бегут
Столбы и провода.
Дырявит снов моих лоскут
Полярная звезда.

К тебе гнёт ветер грозовой
Дождя диагональ.
Разлука яд пускает свой
По жалу слова “жаль”.

А стук колёс — как стук сердец,
Что бились в унисон.
В стекло упёршийся гордец,
От счастья я спасён.

Как вспышка памяти, гроза
В глаза сквозь веки бьёт.
И вся земля бежит назад,
Лишь я один — вперёд.

*г. Волжский
Волгоградской области*

АРТЁМ ПОПОВ

“ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК...”

Всегда так бывает: ищешь какую-то нужную и важную вещь и никак не можешь найти. Не помогает даже “Чёрт-чёрт, поиграй да отдай!”

Эту магнитофонную кассету я давно не мог найти в своей старой квартире. Только при переезде она счастливо нашлась. На этой кассете записан голос бабушки Сани, которой уже нет с нами тридцать лет. Вся большая семья – дочери с мужьями, внуки – приезжали к ней на всё лето в деревню. Дядя Валера брал с собой магнитофон и как-то раз записал наши голоса, чтобы вспомнить зимой, а оказалось – запись сохранила их на много-много лет...

И вот бесценная кассета в моих руках. Старых магнитофонов уже не найти, на “оцифровку” ленты ушёл целый день. Но что такое один день в сравнении с тридцатью годами?

“Кликаю” на ноутбуке нужный файл и... шебуршание. А потом звук:

— *Аты-баты! Шли солдаты.
Аты-баты! На базар.*

Это дядя Валера командным голосом поёт детские стишки. Сам он служил в милиции.

— Он сказал интелесно! – чей-то картавый голос из магнитофона.

— Сейчас будет говорить мой лучший друг Тёма! – объявляет дядя Валера.

— *Я иглаю на галмошке
У плохожих на виду,
К сожаленью, день ложденья
Только лаз в году-у-у!*

Неужели этот пискля – я?! Никак не могу соотнести голос с собой. Подумалось: почему всем детям нравится петь?

ПОПОВ Артём Васильевич родился и вырос в Северодвинске, окончил филологический факультет Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работал журналистом в Северодвинской городской газете. В настоящее время — пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска. Впервые опубликовал свою прозу в журнале “Двина” Архангельского регионального отделения СПР в 2018 году (№ 1). В этом же году в Северодвинске выпустил книгу рассказов и зарисовок “Счастье прошедшего времени”. Участник 2-го Всероссийского совещания молодых литераторов СПР в Химках (февраль 2019 года). По решению руководителя семинара А. И. Казинцева рекомендован в СПР.

Дядя Валера любил возиться со мной. Помню такую весёлую историю. В то же лето или годом позже соседский мальчик Андрейка часто к нам прибегал поиграть машинками. Он на пару лет старше, чем я. Андрейка любил взрослые песни из репертуара Валентины Толкуновой. Особенно мальчику нравилась песня “Я не могу иначе” со словами “Где-то жалейка плачет”. Мы так и прозвали Андрейку – Жалейка.

Однажды дядя Валера решил пошутить над Жалейкой или, может, он просто устал от такого детского исполнения.

– Тёмка, копай-ка ямку. Сейчас мы Жалейку закопаем!

На этих словах Андрейка перестал воображать себя Толкуновой и с плачем кинулся домой, только голые пятки сверкали по ярко-зелёной траве.

Кстати, у Андрея, с которым спустя много лет мы снова дружим (нет, пауза произошла вовсе не из-за той шутки дяди Валеры), по-прежнему любимая певица Валентина Толкунова.

Тем временем к магнитофону дядя Валера пригласил нашего родственника и одновременно соседа Леонида Ивановича. Он ещё тот был бухтинщик!

– Леонид Иванович, иди сюда!

Для деревенского жителя магнитофон был в диковинку, а тут ещё запись. Леонид Иванович напрягся:

– А зачем?

– Да поди, не бойся! За тобой – интервью.

Вот выдумщик дядя Валера: не песня, так интервью.

– Рассказывай, чем сегодня занимался?

– Картошку окучивал.

– Что ещё делал?

– Колбасу ел.

Дядя Лёня, кажется, принял игру.

– Ну, что ещё?

– Матюкался!

– Вот молодец!

Дядя Валера добился, чего хотел. Интервью получилось.

– Кушать подано, просим жрать!

Это тётя Рита, жена дяди Валеры, прерывает запись. Она работала поваром в обкомовской столовой. Как-то, наливая суп первому секретарю партии, который ей симпатизировал, пожаловалась на холод в квартире, из-за чего её маленькие дети часто болели. Вечером пришла домой – в норковой шубе начальник ЖКХ лично регулирует батареи в квартире. Больше проблем с отоплением во всём доме не было.

После перерыва дядя Валера снова донимает кого-то – к нам часто заходили соседи.

А-а, это тётя Маша...

– Тётя Маша, как здоровье?

– Сегодня хорошо, а завтра худо. С утра встаю плохо. Целый час разломаюсь. Потом по улочке похожу, поработаю – и слава Богу.

– А дедко не беспокоит? – подмигивает дядя Валера.

– Надаю поленом, так не беспокоит.

– А аппетит-то как?

– Хороший.

– Ну, значит, долго проживёшь!

Тётя Маша пережила своего дедка и младшего сына. Её схоронили на болотистом северном кладбище, там, куда уехали все дети, вдалеке от дома.

Вместе с дядей Валерой и его детьми запеваем любимую шуточную песню:

— Три танкиста выпили по триста,
А четвёртый — полное ведро.
Три танкиста шли домой шатаясь,
А четвёртый на карачках полз.

Все смеются.

Дядя Валера служил в танковых войсках. Я всегда поминаю его в День танкиста. Дядя Валера умер дома, в кресле, в окружении своих родных, внушек. Пацана-внука он так и не дождался. Тётя Рита сажает на его могилке самые редкие для сурового северного климата цветы...

- Выступает бабушка Саня! — объявляет мой брат Рома.
- Ой, не знаю, что и спеть-то. Может, и не надо.
- Но мы-то знаем, что бабушка любит и умеет петь. Просим, не отступаем.
- Ну, бабушка!

*— Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли стояла,
Люли-люли стояла...*

Бабушка поёт так, что все замолчали. Тянет гласные, как нить в веретене, как тянется долгая северная зима.

- Тяжёлая песня, — признаётся она.
- А ты давай частушки! — предлагает дядя Валера.

*— А я маленькая, а я худенькая,
Повернулась на кругу —
Не помешала никому!*

“Не помешать” — так жили наши бабушки-дедушки. Скромно. Тяжело. Но весело, с песней. Бабушка Саня подняла четверых дочек одна. Муж, мой дедушка, умер, когда младшая не умела ходить, а старшие учились в школе. Больше замуж бабушка Саня не вышла.

*— Я и так, я и сяк,
Я и зайчиком,
Почему не поплясать
С этим мальчиком?*

Эта частушка бабушки посвящалась мне.

- А теперь давайте вместе споём! — дирижирует дядя Валера.
- Только выпей молочка парного, — успевает вставить мама. — Хоть маленькую кружечку.
- Зубы, небо помнят этот вкус нелюбимого парного молока...

*— Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...*

С бабушкой поют все четыре внука, только у самого младшего, то есть у меня, получается “расцветали яблони и груши”.

И не было счастливее нашего хора.

Песня продолжается, а слёзы текут, не останавливаясь.

... Последний раз я видел бабушку Саню той же зимой. На Новый год она упросила всех нас в полном летнем составе приехать в деревню. Встретила в аэропорту на машине-летучке, как на такси. Так называли грузовую машину с фургоном для ремонтной бригады, наверное, потому, что она должна быстро перевозить рабочих к месту аварии. Но “лететь” по деревенским дорогам не получалось, даже зимой.

... 31 декабря, мороз за тридцать. Толку от раскалённой буржуйки в железном фургоне мало. Бабушка для сугреву взрослым наливает беленькой, нас закутывает с глазами в одеяла. По полу “летучки” гремит железная цепь.

Приехали... Тёмная зимняя ночь в деревне. Долго не ложимся спать. Бабушка молча слушает нас, наши нехитрые новости.

- Мама, давай спать! — говорят уставшие с дороги дочери.
- Да посидим ещё маленько. Не наговорились...

Бабушка чувствовала, что это может быть один из последних разговоров: она тогда уже болела, но нам не жаловалась. Они никогда ни на что не жаловались. Той зимой похудела, что было верным спутником смертельной болезни.

— Только бы умереть да вас не намучать, девки.

— Мама, что ты говоришь! — заругались дочери.

Трещат от мороза углы в доме, пугают ребятишек...

В следующий раз бабушка собрала дочерей в конце марта. Хоронили в её день рождения. Скоротечный рак печени.

В тот зимний приезд на Новый год меня не выпускали на улицу — так было морозно. Тётя Рита научила меня вырезать из бумаги снежинки. Все окна были ими заклеены. Чем ещё было заняться, когда не было телевизора в нашем деревенском доме? А бабушке некогда было его смотреть — большое хозяйство: корова, овцы, которых мы называли почему-то маси, свинья, куры...

— Бабушка, купи телевизор, — попросил старший брат.

— Куплю, дитячко!

Когда летом мы приехали в деревню, телевизор стоял на комод. Нераспакованный. Посмотреть его бабушка Саня так и не успела...

— *Плелетит вдлуг волшебник*

В голубом велтолете

И бесплатно покажет кино-о-о...

Магнитофонная запись продолжается. Как дорого бы я дал, чтобы этот волшебник превратил магнитофонную запись в “картинку”, и я увидел бы всех хоть на миг живыми — бабушку Саню, дядю Валеру, Леонида Ивановича... И запел бы с ними любую песню.

Тридцать с лишним лет не слышно голосов в нашем деревенском доме. Пустует изба, окна всё ближе к земле, куда ушли её хозяева. Отрезанные электриками провода бьются о чёрные стены, пугая случайно оказавшуюся в доме мышку.

...Мой ноутбук негромко гудит от напряжения, а я всё слушаю, вновь и вновь включая закончившуюся запись, и эти песни наполняют мою городскую квартиру и меня — до самого сердца.

РОДНЫЕ МАЯЧКИ

— Грачи прилетели, — это так Ленко встречал нас, заявившихся в деревню к бабушке на всё лето.

Ленко, он же дядя Лёня, был соседом и близким родственником одновременно.

— Пришёл попроведать, — зачем-то каждый раз говорил он, словно оправдывая своё появление в гостях. Хотя наши избы стояли друг против друга и весь день он мог наблюдать, чем мы занимаемся.

— Сиди, сиди, Леонид Иванович, — говаривала бабушка. — Не мешаешь.

Он курил через чёрный мундштук только сигареты “Прима”, потому что они были самые дешёвые. Денежку на другое курево Ленко жалел.

Как только он уходил, через минуту, словно сменив его на посту, прибегала Анюшка. Маленькая, практически невесомая старушка всегда была в белом платочке. Садилась тоже на лавку у печки, на то самое место, кажется, после Ленка ещё не остывшее.

— Как живитё? — Анюшка всегда задавала один и тот же вопрос.

В раннем детстве я считал Ленко и Анюшку мужем и женой. А как же? Они примерно одного возраста, жили в одном доме, говорили друг о друге, об общем хозяйстве. Были, как одно целое.

Только много позже, когда Анюшка и Ленко уже ушли на тот свет, я узнал, что они, оказывается, родные брат и сестра, Леонид Иванович и Анна Ивановна. А нашему дедушке — двоюродные.

Леонид Иванович успел захватить Великую Отечественную. Он служил юнгой на Северном флоте. С войны привёз осколок в животе и целый мешок матросских воротников.

— Ну, хоть бы что-нибудь ещё, гостинец какой, — вздыхала Анюшка для вида.

Однако и воротники не пропали в деревенском хозяйстве. Анюшка наткала из них половичков на весь дом, один и нашей бабушке перепал. Они служили уже не один десяток лет. “Крепкая материя!” — удивлялись женщины.

Сразу после войны Ленко посадил у дома два тополя, за ними он специально съездил в Устюг.

— Обычно ведь что у всех домов растёт? Черёмуха. То-то же. А тополь — городской житель, — объяснял он.

Тополя росли, как на дрожжах, и превратились в огромных великанов. Спустя десятилетия они стали заметны издалека, как только деревня показывалась путнику из-за леса. Если виднеется что-то зелёное, громадное, то здесь живут Ленко и Анюшка, а, значит, рядом и родной дом. Для нас это были своего рода маяки.

После войны жить бы да жить, жениться, выходить замуж, растить детей... Но не получилось у них создать собственные семьи, не дал Бог детей.

Многие за глаза Ленко называли Старйще. Прозвищами в деревне, конечно, никого не удивишь, у каждого почти имелось. Вот с Колей Красным понятно. Лицо красное, как из бани всегда. Но почему Старйще? Может быть, потому, что молодым Ленко никогда и не выглядел: после возвращения с войны и до самой старости лицо у него было худое и морщинистое.

Один раз мальцом, при людях, к дяде Лёне я добавил “Старйще”, чтобы посмотреть на его реакцию. Ругаться Леонид Иванович не стал, а сказал только: “Неэтично это”. Любил он что-нибудь этакое ввернуть в свою речь. Неделю не приходил к нам в гости — обижался. А потом снова — с порога:

— Давно собирался, вот пришёл попроведать...

Но я до сих пор краснею, когда вспоминаю этот случай с прозвищем...

Как все деревенские, Леонид Иванович нрава был весёлого, бухтинщик ещё тот — всё шуточки да прибаутки. “Тётка, у тебя чёрная серёдка”, — это из его самых приличных присказок.

В 1960-е в деревне была общая баня, в которой по “мужским” дням мылись мужчины, по “женским” — женщины и дети. Так Ленко Старище обязательно придёт, когда парились женщины. “Лешак тебя принёс!” — ругались бабы и прогоняли Ленка.

Анюшка всю свою нерастратенную любовь и заботу дарила нам, соседским детям.

— Ромашка, белая рубашка, — говорила она моему брату Роме и, как фокусник, доставала из-под чистого передничка пистешник (пирожок с “пистиками” — молодыми ростками хвоща полевого) или шанежку с картошечкой, ещё горячую.

— Только Ленку не говорите. Ругать будет, — просила Анюшка и жаловалась: — Хоть бы пряники магазинские когда разрешил купить, не едала...

Все в деревне и так знали, как Старйще был скуп. Говорят, все деньги он откладывал “на книжку”. Но сколько их там он накопил, никто не знал.

В деревне мало у кого был телевизор — можно по пальцам одной руки пересчитать. Но Леонид Иванович купил его одним из первых. Из телепередач, видно, и набрался интеллигентных слов. В доме Ленка и Анюшки был идеальный порядок, наверное, у хозяина это повелось ещё с флота. Даже мухи у них, кажется, не летали, а телевизор после просмотра обязательно накрывали белой кружевной накидкой.

Анюшка, Божий человек, умела заговаривать грыжу, лечила все болезни живота.

— На сегодняшний денёк смолеватенький пенёк, — гладила сухой ручкой мне, малышу, животик, и боль уходила.

Но вылечить себя она не смогла: умерла внезапно от грыжи. Надорвалась с телятами на ферме.

Ленко после её ухода сильно сдал.

— Я долго без моей Анюшки не проживу, — как-то раз грустно сказал он нашей бабушке.

Так и случилось. Пошёл в больницу “проверяться” — и там через месяц умер. Недолго он смог прожить без сестры. Любил её, оказывается, крепко...

Всё “наследство” досталось племяннику, которого в деревне и видели-то пару раз. Молодой мужчина пришёл с завещанием в сберкассу снимать деньги

с книжки Леонида Ивановича, а оказалось — там шиш да ни шиша. Хватило только на похороны да на поминки.

— Не может быть! — рассвирепел племянник.

Не оказалось у Ленка никакого богатства. Да и откуда же ему было взяться, когда в колхозе работали за трудодни, а потом в совхозе — за копейки?

Племянник зачем-то срубил оба тополя, может, на дрова, чтобы побольше денег поиметь с дядькиного хозяйства.

Не стало Ленка и Анюшки, не стало и тополей. Не видно издалека, где же дом... Лишились мы родных маяков.

На тихом деревенском погосте рядом три могилки — бабушки Сани, Анюшки и Ленка. На памятниках — одна фамилия. Как жили всю жизнь вместе, по-соседски, так и сейчас лежат рядышком.

...В кровь порезал руки, выдирая сорную траву с могилки, — опять перчатки забыл. Поправлю у памятника Леониду Ивановичу выцветшую георгиевскую ленточку. Покрошу городских пряников для Анюшки, которых она так и не наелась досыта.

Помяну и тихо уйду, не оглядываясь...

АНДРЕЙ КАЛАШНИКОВ

ДЕРЕВНИ УМИРАЮТ ТИХО

1

Не знаю, насколько это название соответствует тому, что будет изложено ниже, но я не нашёл другого.

28 октября 2018 года я с группой молодых людей из фотостудии “Вспышка” (Кристина Муха) из города Ржева посетил в очередной раз потерянную в дремучих лесах деревню Мончалово. В этой деревушке из 33 домов в данный момент осталось всего два. В одном из них живёт наша давняя знакомая – 93-летняя Дроздова Нина Ивановна.

Тут же, с южной стороны деревни, расположено братское захоронение, в котором покоится прах 1601 красноармейца из 29-й и 39-й Советских армий, погибших в немецком окружении зимой 1942 года. Здесь же находится небольшое гражданское кладбище, вполне ухоженное, но со всех сторон заросшее бурьяном и кустами.

Братское захоронение в терпимом состоянии. За последний год нашлись родные трёх красноармейцев, которые привезли и установили портреты и мемориальные доски своим героям. Трава на захоронении подкошена, листья и сухая трава не убраны.

Гражданское кладбище небольшое, разделено на две части. Имеются недавние свежие могилы, установлены новые гранитные памятники – видно, что сюда приходят родные погребённых. Слово “приходят” я не случайно выбрал... Дороги до деревни Мончалово попросту нет.

Дорога от станции Мончалово до деревни Мончалово – около 2 км, и она вкрай разбита. Это огромные колеи с вязкой жижей и водой, глубиной до 70 см. Большая часть дороги заболочена – проехать по ней можно разве что на тракторе или лесном вездеходе.

Вдоль дороги стоят нестарые железобетонные опоры линии электропередач. Правда, проводов на них нет – украли в 2000 году. Говорят, сначала украли один пролёт охотники за цветными металлами, а пока власти и электрики медлили, воры срезали остальные провода. С тех пор электричества в Мончалово нет.

И вот живёт здесь уже 93-й год Дроздова Нина Ивановна. В 16 лет узнала она, что такое настоящая война. Советские войска спешно и хаотично отходили от наступающих германских дивизий осенью 1941 года. В ту пору они

Автор — депутат Совета депутатов сельского поселения “Медведево” Ржевского района Тверской области. Ему 31 год. Публиковал очерки в журнале “МолОко”. Готова к выходу книга очерков о Ржевской битве.

заявились и в Мончалово. В деревне завязалась перестрелка. Вся семья Нины Ивановны (брат, две сестры, папа с мамой и бабушка) спрятались в окопе, куда немцы бросили гранату. Взрывом убило бабушку и ранило Нину Ивановну осколками в живот и руку. Из окопа они побежали к дому, и по дороге её брату разрывной пулей оторвало кисть левой руки...

Зимой 1942 года советские войска пошли в прорыв в ходе наступления фронта и освободили Мончалово. Но спустя месяц немецкие части окружили советские 29-ю и 39-ю армии и стали их методично уничтожать на территории от Мончалово до деревни Павлюки на юге. Все кусты и канавы были завалены трупами красноармейцев. В ходе боёв был убит отец Нины Ивановны. Похоронить его смогли лишь весной, когда сошёл снег. Тогда же оставшиеся жители хоронили погибших красноармейцев, стаскивая тела в воронки от бомб и в овраги.

В начале 1943 года Нину Ивановну вместе с другими молодыми мончановцами немцы загрузили в вагоны и увезли в плен. Довезли до немецкого города Пиллау (ныне Балтийск), где до освобождения в апреле 1945 года она трудилась на принудительных работах. После освобождения Нина Ивановна ещё год работала на восстановлении города Витебска.

В 1947 году она смогла вернуться в родное Мончалово. Здесь она с оставшимися в живых членами семьи жила в землянке, потом в колхозном домишке. Работала в местном колхозе. В первые годы возделывали почву вручную.

В колхозе Нина Ивановна проработала до пенсии. Муж её, участник Великой Отечественной войны, штурмовал Берлин.

И вот сидит эта совсем старенькая бабушка на такой же старенькой табуретке в кухне своей избы. На стене как раритет висит без дела электросчётчик, к которому уже не подходят провода, – электричества нет 18 лет! Рядом самовар, в одном месте давший течь. Вместо холодильника – подпол. Вместо телевизора – вид развалившегося от времени соседского дома в окне. Есть радио на батарейках – Нина Ивановна в курсе событий в стране. На скамье возле печки стоят два ведра с водой из покосившегося колодца, расположенного рядом с крыльцом. Тут же керосиновые лампы – в тёмное время они освещают избу. Газовая плита есть, и газ есть, в баллоне, но он на вес золота, так как доставить в Мончалово по бездорожью этот баллон стоит больших трудов и денег.

Нина Ивановна долго отвечала на наши вопросы, потом умолкла. Повернулась ко мне и спросила: “За что же мы страдали столько тогда? Зачем вокруг моей деревни погибали тысячи молодых красноармейцев? Зачем мой муж был ранен и штурмовал Берлин? Ведь мы живём сейчас хуже, чем те, кто проиграл войну. Страна в разрухе, руководители на местах наворовать не могут! Что стало с Родиной? Откуда столько злости и жажды денег в людях?”

Что я ей мог на это ответить? Как я могу вложить совесть в чинуш – местных и рангом выше? Они возомнили себя стратегами, политиками, экономистами... Нина Ивановна не понимает, что стало с людьми, а я ей не в силах этого объяснить! Внутри всё переворачивается, когда ты, представитель молодого поколения, сидишь перед таким вот человеком и готов сквозь землю провалиться за чужие поганые души. Не дай Бог нам всем видеть то, что видели глаза этой старенькой жительницы Мончалово...

Эй, власть имущие!!! Ваши лозунги и речи с телеэкранов и страниц газет ничего не стоят! Им будет хоть какая-то цена, только если вот такие люди, как Нина Ивановна, будут жить достойно!

Да, ей выделили в 2010 году однокомнатную квартиру в Ржеве, но она не поедет туда жить – я её понимаю!.. Пока она живёт в Мончалово – жива эта деревня, приглядывают за братским захоронением. Благодаря этой бабушке сотни людей смогли найти это захоронение, ведь среди леса и зарослей кустов родственники погибших часто блуждают и не могут дойти до цели. Там нет ни единого указателя.

Дочка же Нины Ивановны ежедневно утром и вечером ходит в сапогах по этой жуткой дороге среди леса до автобуса. Сапоги оставляет у знакомых, далее на автобусе она доезжает до Ржева, работает и так же добирается обратно – вот пример настоящей любви детей к своим родителям. Зимой она на лыжах ходит по этому пути – дороги не чистят.

В прошлом году, когда проблему Нины Ивановны мы подняли в социальных сетях, работники районной администрации защищались наличием у Нины

Ивановны квартиры в Ржеве. То, что она не хочет переезжать, – её личные проблемы!

Наплевательское отношение к людям, к памяти, к уважению того героического поколения... Но сколько пафоса в табличках на трассе “Балтия”! “До братского захоронения Мончалово – 5 км”. Попробуйте после этого знака найти братское захоронение – без местного провожатого не обойтись. На установку знака, небось, кучу денег списали! Лучше бы подсыпали дорогу на них, толку больше было бы.

Я рассказал Нине Ивановне о скором строительстве крупного железобетонного изваяния на повороте на деревню Хорошево, куда протянут и газ, и электричество, и воду... И бюджетных денег с миллиард вбухают. На этот пирог уже достаточно высокопоставленных ртов нашлось. “Герои же тут лежат, в этой могиле, в Мончалово, в десятках других могил среди кустов и непроходимого бурелома, куда и дорог уже нет. Зачем там памятник? Для показухи? Почему про живых забывают, а для мёртвых такие вложения?” – задаёт мне вопросы Нина Ивановна.

Как рассказать ей про псевдопатриотизм, на котором дербанят бюджетные миллиарды? Чем объяснить десятки заброшенных братских могил, в которых лежат тысячи наших героев? Как в вековую годовщину комсомола ей объяснить, что для современных правлстных молодёжных организаций (типа “Молодой гвардии”) проявлением патриотизма является махание флажками на площади да агитация за своих кандидатов на выборах?

Нина Ивановна говорит, что керосин сейчас трудно достать хороший. На зиму нужно литров 50. Постараюсь найти и доставить. В субботу ближайшую первую партию керосина отнесу в Мончалово.

Народ, может, сможем мы вместе купить бензогенератор для Нины Ивановны да обеспечить её топливом... Купить пару новых баллонов газа... Может, будет возможность подремонтировать братскую могилу и дорогу до Мончалово... Эти дела, наверно, должны быть от сердца, а не из-под палки, поэтому призываю при желании поразмыслить совместно.

Пока же всё так...

2

Этот очерк про жизнь в Мончалово я опубликовал сначала в соцсетях. Статья задела сердца многих людей. Говорили много правильных слов в поддержку Нины Ивановны, многие решили помочь материально – об этом чуть ниже.

Прошло две недели. За это время неравнодушными жителями Москвы, Твери, Ржева, Зубцова на карту по номеру телефона была перечислена приличная сумма денег, но самый весомый вклад сделал депутат Заксобрании Тверской области Станислав Петрушенко. Он приобрёл для нужд Нины Ивановны бензиновый генератор! Да, вот так, позвонил мне и сказал, в какой день прибудет генератор и где его в Твери нужно забрать. Человек, малое отношение имеющий к Ржевскому району, но имеющий сердце, совесть и чувство долга перед тем поколением, которое выдюжило фашистское нашествие и возродило страну из руин. Спасибо Станиславу Петрушенко за это!

В среду, 7 ноября, на вездеходе к Нине Ивановне приехали гости из города Зубцова. Во главе группы был депутат Зубцовского района Игорь Бабушкин, который доставил газовый баллон, пакеты с продуктами и передал денежные средства. Мужчины собрались после прочтения моей статьи, и из побуждения совести и чувства долга посетили 93-летнюю жительницу деревни Мончалово! Бабушка с добротой о них отзывается, ведь главное – ей уделили внимание совершенно незнакомые люди, поговорили с ней, выслушали!

В субботу вечером мне всё же удалось добраться до Твери и забрать бензогенератор, приобретённый депутатом Заксобрании. В воскресенье, в 9 часов, мы с женой стояли возле начала разбитой дороги на деревню Мончалово. Мы думали, как нам вдвоём тащить по жиже и воде 40-килограммовый генератор, 25 литров бензина и мешок с проводами и инструментами. Я пытался всё это тащить волоком на срубленных ветках кустов, но идея оказалась провальной.

Мы приняли решение взяться за генератор с двух сторон, во вторую руку я взял канистру с бензином, Настя понесла мешок.

С частыми короткими передышками за 1 час 45 минут мы смогли преодолеть расстояние в 3 километра и донести груз до дома Нины Ивановны. Путь наш увеличился в связи с тем, что дорога до Мончалово стала совсем непроходимая, и мы решили идти по лесной дороге, где ранее пролегла узкоколейная железная дорога, построенная ещё немцами в годы войны (в 90-х годах все рельсы и часть шпал здесь украли).

Путь нам дался не очень легко, но мы выдюжили и добрались до Нины Ивановны. Конечно, я поразился силе духа Насти, которая со мной наравне тащила все тяжести и, хоть ей было очень тяжело, она не жаловалась и прошла весь путь!

Нина Ивановна встретила нас с переживаниями, ведь долго шли. Говорила, что не нужно столько сил тратить ради неё, а потом расплакалась, увидев, что мы принесли источник электроэнергии и запустили его...

В течение двух часов мне удалось смонтировать новую электропроводку в доме (старую хозяева сняли давно за ненадобностью). Бензогенератор установили в отдельное помещение с хорошей вентиляцией, откуда шум меньше слышен в избе. На кухне и в комнате были повешены две энергосберегающие лампы, оборудованы две розетки. В ближайшее время планирую установить розетку в комнате и вывести освещение на веранду.

Нина Ивановна принималась несколько раз плакать... Всё говорила, что неудобно ей, столько заботы... Её дочь очень нам помогла и напоила нас чаем, а я её обучил, как пользоваться генератором.

И вот торжественный момент – в избе Дроздовой Нины Ивановны впервые за два десятка лет загорелся свет от электричества! Теперь уйдут в прошлое долгие тёмные вечера и такие же утра, которые жители этого дома коротали при керосиновой лампе. Нина Ивановна, конечно, беспокоилась – безопасно ли это, но, в конце концов, она окончательно поняла, что цивилизация всё же дошла до её дома.

Бензин для генератора я буду стараться периодически доставлять в Мончалово. Может, получится найти старенький телевизор.

Хочется выразить человеческую благодарность людям, перечислившим деньги в помощь бабушке. Это Лидия Новикова, Галина Лазарева, Ирина Чуйко, Лидия Сычёва, Наталья Манилова, Ирина Спирина! Спасибо вам огромное! На эти средства уже закуплен бензин, электропроводка и сопутствующие этому комплектующие, баллон газа и т. д.

Друзья, мы вместе сделали огромное дело! Каждый из нас смог внести часть тепла и добра в жизнь Дроздовой Нины Ивановны. На 94-м году жизни впервые за два десятка лет она сможет жить при электрическом освещении и пользоваться теми благами цивилизации, которые для нас являются обыденностью! Нина Ивановна искренне всех благодарит за доброту и отзывчивость!

В конце всё же хочется добавить ложку дёгтя. Вам не кажется, что во всём этом повествовании чего-то не хватает? Чего-то такого, что должно быть обязательно? Я говорю о властях Ржевского района всех уровней! Ни слова, ни действия не было от муниципальных властей. Будто это их не касается! Люди, представители высших эшелонов власти, из разных городов России принимают участие в этом благом деле ради живого человека и памяти погибших солдат, а власти Ржевского района безмолвствуют.

Но нет! Для них этот не тот масштаб! Здесь, в поле возле Ржева, планируют строить грандиозный мемориал. А рядом доживают в нищете десятки свидетелей и участников той войны... Тут же неподалёку лежат в братских могилах тысячи тех самых освободителей, но только на ремонт этих могил нет денег у местных властей, порой к этим могилам нет и дороги...

Последняя жительница деревни Моржово

...Ещё каких-то пять лет – и крупные, но отдалённые от городов сёла и деревни превратятся в тлеющие очаги существования последних коренных селян. О мелких уже никто и не вспомнит – они и сейчас пусты, а спустя пять лет выгорят и зарастут бурьяном.

В северной части Ржевского района, которая ныне входит в сельское поселение “Победа”, темпы вымирания деревень и впрямь “победные”. Не доезжая до деревни Парихино, есть справа неприметный съезд без каких-либо указателей. Свернув, через 2 км мы оказываемся у деревни Моржово, чуть

левее – деревушка Степанцово, спустя ещё 1,5 км, справа вытянулась по берегу маленькой речушки Млинги деревня Бураково, а далее через километр мы упираемся в тупик – здесь руины деревни Висино, и дальше дороги нет.

На четыре деревни сейчас не наберётся и десяти жителей. Не так давно эти деревушки были населены, в них были свои промыслы и традиции.

В январе 2019 года я познакомился с жительницей деревни Моржово Татьяной. Хоть ей уже 61 год, к отчеству она не привыкшая. Познакомился с Татьяной через бывшую её односельчанку, которая через социальные сети попросила помочь хозяйству жительницы деревни. Помощь заключалась в покупке и доставке сюда нескольких мешков овса. Оказывается, у Татьяны имеется большое хозяйство, но у неё возникли трудности с кормом для животных.

Моржово встретило безлюдными покосившимися домами, среди которых виднелись некоторые покрепче, видимо, дачные. При въезде справа в руинах стоит большая ферма – грустный памятник некогда существовавшему в этих местах сельхозпроизводству. Строение имеет второй этаж, на котором раньше вязали и развешивали берёзовые веники для корма овец. Как мне поведали в деревне Бахмутово, эту ферму в нулевые облюбовал один местный житель для передержки угнанных автомобилей (славится Ржев этим преступным “промыслом”). Сейчас же ферма вовсе без дела стоит, ветшая ежегодно всё сильнее.

Первый дом в Моржово как раз и есть жилище моей героини. Сразу видно – дом жилой. Рядом – загон для овец, с другой стороны – курятник, сарай для коровы, перед домом – дровник. Возле дома ходят мощный конь и темная лошадка поменьше, они умело раскручивают рулон сена. Собачка Дружок на страже – встречает машину лаем.

Татьяна вышла навстречу. Она коренная жительница. Родилась в 1958 году в Моржово, учиться ходила в начальные классы в соседнее Харино, а дальше продолжала обучение в Ефимовской школе деревни Парихино. Родители её также всю жизнь прожили в Моржово, ощутили тяжесть немецкой оккупации, всю жизнь трудились на земле.

В 1954 году отец выстроил этот дом. У Татьяны – две сестры. После обучения она некоторое время пожила в городе. В 1982 году вышла замуж в Ржеве. Через год у неё родился первый сын, в 1986-м – второй. В этом же году она со всей семьёй вернулась к себе в деревню и стала трудиться на ферме, относящейся к совхозу имени Кирова.

“Кстати, в прошлом году здесь у нас лагерь поискового отряда из Тюмени стоял, всё ж повеселее было. Я им показала две воронки рядом с дорогой, где похоронены советские солдаты. В итоге в одной воронке ребята подняли 41 бойца, а во второй – 151-го! Я просто помню эти места, мне отец показывал”, – рассказывает последняя жительница Моржово.

Я стою с Татьяной возле дома. Дружок играет с конём по кличке Орлик. “Этот крупный питомец – как член семьи, – признаётся Татьяна. – Уже более 10 лет служит нам верой и правдой. Орлик приспособлен и к плугу, и к верховой езде. Раньше на нём все в деревне огороды пахали, муж же всё пытался его объездить. Получилось. Да только он далеко не пойдёт от дома. Дове-зёт, бывало, мужа до моста на краю деревни и всё, дальше не заставишь его...” – улыбается Татьяна.

Тут улыбка с лица Татьяны сходит... “Продавать придётся Орлика, уже и покупательница нашлась. 80 тысяч рублей даёт за него. У нас безвыходная ситуация, придётся отдать за эту цену”. Сложно спросить о личном, но всё же получается узнать, что за “безвыходная ситуация” сложилась у этой трудолюбивой женщины.

Оказывается, в прошлом 2018 году её сыну суд вынес наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Деревенские жители ежегодно заготавливают дрова на зиму в окрестных лесах, пилят в основном ольху, режу – берёзу и осину. Сыновья Татьяны также ежегодно помогали маме с заготовкой дров, расчищая от зарослей олешиника опушку соседнего леса. С точки зрения законодательства – да, это нарушение. С точки зрения деревенского уклада жизни – это санитарная обработка леса, ведь если его не подрубать, деревья вскоре к огородам подойдут.

Так вот, одна семья дачников из Моржово решила свести личные счёты с Татьяной (это я уже сам выяснил) и сделала донос в полицию. Наши “доблестные” стражи порядка молниеносно среагировали, приехали со специа-

листами лесного хозяйства к Татьяне, а та по наивности и доверчивости, не чувствуя за собой вины, показала место вырубki... В итоге полицейские изъяли бензопилу и завели дело на сына. Может, нужно было дать участковому денег, и дело бы замяли?..

Стоит моя собеседница, гладит морду Орлику, плачет... Не поймёт она, за что взъелись те люди на её семью... Жалко ей расставаться с Орликом. Тот будто понимает тоску хозяйки, подгибает шею, пытается спрятать морду ей под руку. Полицейские сказали, что в марте приедут, изымут остатки дров в дровнике, видимо, как вещдоки...

Стою я и вспоминаю, что в тот день, когда я привозил овёс для лошадей, мне навстречу попало четыре груженых лесовоза. Местные говорят, что их с десяток проезжает ежедневно. Нещадно вырубают ржевские леса под видом санитарной обработки. Полиция на такие вещи не реагирует... Опасно это для них, можно с высокооплачиваемой службы слететь. Лесной бизнес в Тверской области крышуют серьёзные дядьки, там всё схвачено. Зато план по раскрытию можно сделать вот на таких последних жителях ржевских деревень, как Татьяна.

Но это не вся беда, приключившаяся с моей героиней. Летом от рака лёгких у неё на руках умер муж... Татьяна роняет слёзы, рассказывая о последних минутах его жизни... Тяжело слушать... В начале декабря прошлого года во время родов умерла единственная корова. Татьяна называет её кормилицей... Всё – молоко, творог, сметана – расходилось среди дачников. Это был единственный заработок. Хоть Татьяна и работала почтальоном, да только 2000 рублей в месяц сложно назвать зарплатой...

Коровник теперь пустует... Дом и все дворовые постройки в хорошем состоянии – дети еженедельно приезжают и помогают по хозяйству.

Сильно подкосили Татьяну события последнего года. Она морально подорвана, и по этой причине нет сил вести хозяйство, да и возраст уже. Без мужика в деревне туго. Она уже решила на продажу Орлика, вырученными деньгами закроет судебный штраф. Может, за лето продаст остатки скотины и в сентябре поедет к сыну в Ржев...

Вторая лошадь – местного «барина». Он выстроил дорогушную усадьбу в Харино. Скупил все поля и леса в округе. Теперь вот катается на охоту по обезлюдевшим полям. Остатки местных мужиков у него работают по хозяйству. Лошадь «барин» оставил на содержание Татьяне, платит ей минимум на содержание.

Мы около двух часов стояли в окружении лошадей, собаки и кур с Татьяной, беседовали о многих проблемах деревни. Она видит их через призму своего опыта проще, по-деревенски. Моя героиня винит в смерти деревни не только власти, но самих жителей... Ведь именно они бросили малую родину ради потребительского комфорта, разучились производить, а теперь травят свой организм магазинными фальсификатами и состояния тратят на лекарства от букета городских болезней.

Моя помощь овсом для лошадей кажется каплей в море проблем, с которыми столкнулась эта крепкая, трудолюбивая и добрая женщина. Она слёзно благодарит. Я постараюсь в ближайшее время привезти ей ещё несколько мешков овса.

Пришло время прощаться. Уже стемнело, а во всей округе нет ни единого фонаря. Не светятся окна домов. По округе разносится звон оторвавшегося с крыши полуразрушенного дома листа железа. Меж кустов завывает ветер. Следующей зимой, скорее всего, Моржово станет вовсе нежилой деревней. Не будут гулять по лугам кони, бляеть овцы, куда-то денется резвый Дружок. Сложно Татьяне осознать, что предстоит проститься с родной деревней... Сложно верить, что её деревня никому не нужна...

А сколько таких деревень в Ржевском районе? Да что там район – в стране? Тысячи прекращают своё существование ежегодно. Этого не услышишь в отчётах президента и даже районных властей. Деревни умирают тихо. Деревни, стойко выдержавшие многие войны, в том числе немецко-фашистскую оккупацию, воспряли из пепла, а теперь гибнут от бесхозяйственности и безразличия современной власти. А ведь 80% Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны дала русская деревня. А сколько она дала поэтов, учёных и деятелей культуры, которыми по сей день восторгается весь мир!

Страшно оказаться провидцем, но со смертью русской деревни неминуема смерть государства в нынешних его границах.

ДМИТРИЙ ФИЛИПШОВ

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. ГОЛОС БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Феномен Ольги Берггольц – это феномен попадания во время, как в яблочко. В блокадном городе были и другие поэты, не меньшего дара. Вообще о Берггольц, да простят меня её поклонники, можно говорить, как о крепком, талантливом поэте, но крупный поэтический дар, равный Ахматовой, Пастернаку, Мандельштаму, Луговскому, Корнилову у неё, конечно же, отсутствовал. А в блокадном Ленинграде, в войсках ленинградского фронта выживали и творили Михаил Дудин, Владимир Лифшиц, Елена Вечтомова. Да что там! Анна Ахматова застала кусок блокады перед эвакуацией в Ташкент. Но Ленинград выбрал Берггольц. Это её тихий голос давал измученным людям надежду, веру, воскрешал из мёртвых, вливал силы в окоченевшие руки и ноги. В чём её магия? В чём секрет? “Блокадная Мадонна”, “наша Оля”, “блокадная муза”... Из автора милых, но малоизвестных детских книжек и сценариев она, сама того не понимая и не желая, стала голосом Города. А Город не ошибается.

Попробуем разобраться в этом чуде.

Ольга Берггольц родилась 18 мая 1910 года, менее, чем через шесть месяцев после свадьбы родителей. Этому, конечно же, было объяснение. Фёдор Христофорович оказался честным молодым человеком и женился на девушке, зачавшей от него ребенка. Он перевёлся из Дерпта в Санкт-Петербург и продолжил обучение в Военно-медицинской академии. Не всё гладко было в их семье. Свекровь травила Марию Тимофеевну: за бедность, за зачатого в грехе ребёнка, просто за то, что она оказалась рядом с её сыном.

Маленькая Оля стала жить в доме Берггольцев на Палевском проспекте. Фёдор Христофорович снова перевёлся в Тартуский университет, а Мария Грустилина, оставив дочь на попечение бабушки и деда, уехала работать в Новгородскую губернию преподавательницей кройки и вышивки. Мария Тимофеевна вновь вернулась под крышу дома Берггольцев, когда забеременела во второй раз. В 1912 году она родила вторую дочь Марию, Мусю. Впоследствии в повести “Дневные звёзды” Ольга Берггольц много возьмёт из тех первых, детских воспоминаний, опишет Заставу, Углич, Петербург, уютный мещанский быт своей патриархальной семьи. И всё это будет вплетено в ткань блокадного города, в ежедневную смерть от голода и холода. И само это ощущение конечности жизни, страсти, взлётов, ежеминутного горения (как перед смертью, как в последний раз) станет центральным мотивом в её творчестве.

В 1914 году отец, окончивший Тартуский университет, был призван на фронт.

“В октябре 1915 года отец побывал дома. Привёз дочерям в подарок немецкую каску, всей семьей сходили в зоопарк и снялись в фотоателье: Христофор Фридрихович, Ольга Михайловна, Фёдор Христофорович, Мария Тимофеевна, Ольга и Муся.” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 14).

Но вскоре отец снова уехал на фронт и там встретил княжну Варвару Николаевну Бартеневу, работавшую сестрой милосердия. У них возник роман. Мария Тимофеевна догадывалась, что муж не очень-то стремится вернуться к семье, и это стало для неё ударом. Их брак медленно, но верно разрушается.

Революцию маленькая Оля Берггольц вспоминала впоследствии так: “Участок на углу Палевского и Шлиссельбургского проспекта сожгли почему-то не в феврале, а в октябре семнадцатого года, – вспоминала Ольга. – Утром мы ходили с мамой на проспект и видели, как ещё дымились развалины участка, а по Шлиссельбургскому мчались грузовики, в кузове которых, опираясь на ружья, стояли рабочие в кожанках и матросы, крест-накрест опоясанные пулемётными лентами, и ветер раздувал у них на груди огромные красные банты”. (Там же).

В 1918 году, когда жизнь стала особенно тяжёлой, свекровь прямо сказала невестке, что та должна сама искать себе и детям пропитание. Мария Тимофеевна с дочерьми уехала в Углич, где жили её родственники. Об этом периоде жизни у Ольги Берггольц остались самые яркие и светлые детские воспоминания. Несмотря на тяжёлые условия жизни (они поселились в келье Богоявленского монастыря), на недостаток хлеба, маленькая Оля своим неопытным детским сердцем что-то узрела в суровых монастырских стенах, в людях, населявших монастырь, в самом неспешном угличском укладе... Это место было определённо сакральным для всей русской истории. И эту глубинную память (нет, не счастья, но возможности иной судьбы, иного человеческого предназначения, иных временных координат) она сохранила на всю оставшуюся жизнь.

Уже в Углич за ними приехал отец, красный командир, начальник медицинского военного поезда.

“Мне было десять лет, а сестре восемь, когда однажды утром я проснулась и вдруг увидела, что какой-то военный стоит посредине кельи, спиной к нашей кровати. Его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке он держал мешок, а левой обнял маму и, быстро похлопывая её по плечу, говорил негромко:

– Ну, ничего, ничего...

Невероятная догадка озарила меня.

– Муська, – закричала я, – вставай! Война кончилась! Папа приехал!

Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, тёмное и без усиков, а мы знали, что он должен быть с красивыми усиками и волнистыми волосами: мы почти семь лет – с тех пор, как он ушёл на войну ещё с германским царём Вильгельмом, – знали его по студенческому портрету и давно забыли, какой он – живой.” (Ольга Берггольц. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. – Л.: Художественная литература, 1990. – С. 220)

С отцом Ольге Берггольц пришлось знакомиться практически заново, заново узнавать его, привыкать к этому мужчине. Сложные отношения останутся у них надолго, пока новая война и новые испытания не толкнут их друг к другу, заставляя проснуться дремавший голос родной крови.

Фёдор Христофорович в 1921 году увёз жену и детей обратно в Петроград. Чтобы не попасть под уплотнение, в двухэтажный дом Берггольцев поселилась семья Грустилиных и ещё несколько близких, почти родственных семей. Дедушка Ольги, Христофор Берггольц, был выбран домоуправом. Ольга и Муся пошли в 117-ю школу на Шлиссельбургском проспекте. Оля начинает писать первые детские стихи. Мать трепетно относится к увлечению дочери, всячески поощряет и бережёт каждый исписанный неумелыми строфами листок.

Ольга растёт и взрослеет вместе с молодой республикой Советов, с её подвигами, с её трудностями. Как и сотни тысяч мальчишек и девчонок, чьё детство пришлось на смену эпох, она восторженно приняла новую жизнь,

идеи строительства коммунизма и братства народов. В этом не было карьеризма или подпевания общей линии. Это шло из глубины её души, искренне, с огромной верой в светлое будущее. Дети революции, не видевшие ужасов гражданской войны, смертей, братоубийственной бойни, — только они и могли построить новый светлый мир. А самое главное, они твёрдо знали, что ИМ суждено его построить.

В 1924 году умер Ленин.

“...смерть Ильича была для нашего поколения тем рубежом, с которого мы из детства шагнули прямо в юность, почти миновав ту тревожную, неопределённую пору, которую называют отрочеством... Я написала о том, что только было:

Как у нас гудки сегодня пели!

Точно все заводы

встали на колени.

Ведь они теперь осиротели.

Умер Ленин...

Милый Ленин...

... когда я написала своё самое первое стихотворение о революции, о Ленине, я прочитала его папе... Через два дня он пришёл с работы важный, даже какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий — он совершенно не умел прятать радость, хоть на время прикрывать её важностью или безразличием, ему не терпелось раздать её другим. В то же время он не умел жаловаться на невзгоды — он стыдился, если был несчастен, точно сам был виноват в этом.

— Ну, Лялька, дела обстоят так... — важно начал он и тут же воскликнул, хлопая в ладоши: — Напечатали! Понимаешь, в нашей стенгазете напечатали! Сказали — отлично. Поздравляю. Теперь, пожалуй, ты настоящий поэт: напечатали.

Мне стало ужасно приятно и даже страшно. Я покраснела, выскочила в другую комнату и, закрыв глаза, расставив руки, немножко, но очень быстро покружилась, как тогда, когда была маленькой. Потом посмотрела на себя в трюмо: ну-ка, какая я стала после того, как моё стихотворение напечатали? Ведь я же теперь... настоящий поэт.” (Ольга Берггольц. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. — Л.: Художественная литература, 1990. — С. 308–312).

С этого момента начинается восторженность и одержимость революцией, жажда подвига, героизма. Ольга хочет броситься на баррикады, как герои Парижской коммуны. Всё это, безусловно, поощрялось в советской системе воспитания, в пионерских и комсомольских организациях, набиравших силу и массовость, но напрасно относить эту вовлечённость в советское настоящее только лишь к следствиям пропаганды. Для людей, на глазах которых творилась история, произошла смена вех и начался невиданный за всё время существования человечества эксперимент, слова Ленин, партия, коммуна, труд — не пустой звук. Молодые люди по всей стране вовлекались в процесс даже не строительства коммунизма, но конструирования новой реальности, в которой человек человеку — брат. И эта великая идея захлестнула их с ног до головы, понесла вперёд, навстречу новому будущему, которое просто обязано быть светлым. Не осталась в стороне от этих процессов и Ольга.

Её стихи и очерки появляются в газете “Ленинские искры”. В это же время шестнадцатилетняя Ольга начинает посещать литобъединение для рабочей молодёжи “Смена”. Занятия проходят несколько раз в неделю в Домпросвете, знаменитом Юсуповском дворце. Сюда приходили начинающие поэты Борис Корнилов, Геннадий Гор, Александр Решетов. Руководил “сменовцами” Илья Садофьев, поэт, ныне известный только литературоведам, а тогда — глава Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов, получивший благосклонную оценку своих стихов от самого Брюсова. Одним из руководителей “сменовцев” был Виссарион Саянов, чьи хулиганские и даже приклатнённые стихи были очень популярны в молодёжной среде того времени.

Ольгины же ранние стихи совершенно неотличимы от тысяч девичьих опусов, которые пишутся во все времена молодыми девушками 14–15 лет:

*Я дева белой молочной ночи,
Меня творили Невы напевы,
Гляди смелее, гляди мне в очи,
Ведь я, — не бойся! — ночная дева...*

Скромный талант просвечивает, как можно видеть из приведённого опуса, но не более того.

Впрочем, Ольгу в “Смене” запомнили и отметили. В первую очередь, её внешность. Но и стихи с определёнными оговорками были приняты. Ольгу Берггольц зачислили в разряд “подающих надежды” — самый жуткий, страшный и бессмысленный разряд для поэта. В нём можно остаться до конца дней и так никогда и не выбраться в большую литературу. В это же время, в 1926 году, Ольга впервые слышит стихи Бориса Корнилова, одного из самых талантливых поэтов своего времени. Ей суждено будет стать его женой. Ему — её первым мужчиной, отцом её ребёнка. Их брак не продержится долго — слишком разные энергии в них бурлят, каждый из них — личность и поэт, не собирающийся быть подспорьем для второго. Но этот брак и эта первая любовь сыграют ключевую роль в судьбе Ольги Берггольц.

“Смена” входила в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей (ЛАПП), которая, в свою очередь, являлась частью Российской ассоциации (РАПП). Во второй половине 1920-х годов это новое писательское объединение по своему размаху вытеснило все остальные писательские группы и течения. Ольга Берггольц совершенно сознательно и искренне влилась в организацию, претендовавшую на создание нового литературного кода молодой республики Советов. Судьба многих РАППовцев незавидна: РАПП так же, как и ряд других писательских организаций, была расформирована постановлением ЦК ВКП(б) “О перестройке литературно-художественных организаций” от 23 апреля 1932 года, вводившим единую организацию — Союз писателей СССР. Впрочем, многие руководители РАПП (А. А. Фадеев, В. П. Ставский) заняли высокие посты в новом Союзе; однако многие другие были в конце 1930-х годов обвинены в троцкистской деятельности, репрессированы и даже расстреляны. И близкое знакомство с руководством РАППа впоследствии сыграло трагическую роль в судьбе Берггольц.

Достаточно извилистым путём складывается её литературная судьба в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Сначала приехавший из Москвы один из руководителей РАППа Юрий Либединский исключает её из организации за незнание жизни рабочего класса. Затем он же советует ей через некоторое время подать заявление на восстановление. Ольга восстанавливается в организации. Параллельно ищет знакомства с известными писателями и литературными начальниками: посещает квартиру Анны Ахматовой, читает ей свои стихи; тесно общается с Либединским; знакомится с Леонидом Авербахом, с которым у неё завязывается лёгкий роман. Ольга ведёт богемно-советскую жизнь, если можно так выразиться. Не чуждается бюрократических, аппаратных и откровенно заказных статей, посещает “правильные компании”, то здесь мелькнёт, то там её заметят, обмолвятся, порекомендуют. В её защиту следует добавить, что это был естественный образ жизни для молодого литератора советской эпохи. Подобное поведение не вызывало осуждения. Всё было в рамках заданных правил игры. К слову, ничего не изменилось в нашей действительности с тех пор. Разве что сменился вектор “правильных” компаний, организаций и площадок для публикации.

В 1928 году она выходит замуж за поэта Бориса Корнилова. Ольга вспоминала о начале их отношений: “В литгруппе “Смена” в меня влюбился один молодой поэт, Борис К. Он был некрасив, невысок ростом, малокультурен, но стихийно, органически талантлив... Был очень настойчив, ревнив чудовищно, через год примерно после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы — М.: АСТ, 2017. — С. 25)

И ещё: “Борис, весь содрогавшийся от страсти, сжав и целуя меня, шептал: “Моя?.. Моя?.. Хочешь быть моей? Только моей, а я — только твоим? ...? И я сказала: “Да, хочу” <...> а он, впившись мне в губы, рукой так терзал грудь, что я кричала и выбивалась, но он был совсем, как зверь...” (Там же)

Чутьё не обмануло Ольгу. Корнилов был действительно одним из самых талантливых поэтов своего поколения. Их брак продлился всего два года, был тяжёлым, изматывающим для обоих. Борис ревновал и много пил. Ольга не желала жертвовать молодостью и талантом ради мужа; роль “подруги поэта” её не устраивала. Она сама строила свою биографию, если не равно-великую, то совершенно точно самостоятельную. Сохранилась их совместная фотография: Ольга словно выглядывает из снимка, подаётся вперёд и смело, с некоторым вызовом смотрит на мир, а Корнилов, наоборот, со своим узнаваемым, чуть приспущенным правым веком говорит всем своим видом: суета сует, копошеньё и детский лепет... Пусть такими они и останутся в нашей памяти.

Берггольц ищет собственный голос. В её ученических тетрадях, наряду со стихами собственного сочинения, обильные выписки с цитатами Блока, Некрасова, Пушкина, Пастернака, Гумилёва, Ахматовой, А. Белого, Асеева, Уитмена, Верхарна. Из прозаиков – цитаты Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова, Леонова, Эренбурга, Федина.

До конца 1930-х годов в стихах Ольги Берггольц легко видится влияние старших поэтов: Есенин (стихотворение “Предчувствие”, “Не жалея ты меня, не жалея...”) и Ахматова (“Осень 1927 года”, “Хоть что-нибудь приду-лась”), Маяковский (например, “Среда”) и Блок (“Как я часто удивля-лась”), да и другие, менее значительные поэты (например, М. Шефер, стихотворение которого “Война”, опубликованное в 3-м номере “Резца” за 1927 год, перекликается с “Войной” Берггольц). Впрочем, для любого большого поэта этап заимствования неизбежен. “Воруя” у великих, писатель и поэт растёт сам, ищет свой путь, набирает голос.

В 1928 году у Ольги Берггольц родилась первая дочь Ирина. Забегая вперёд, скажем, что счастье материнства будет пронзительным и недолгим в её судьбе и станет определённой вехой, этапом, после которого перед нами предстанет совершенно другая Берггольц: с искалеченной душой, разбитым, выжженным нутром и взятой новой поэтической высотой. Потому что, хорошо это или плохо, но поэт за свои строчки платит всей жизнью, всей судьбой, всем своим существом. Только тогда эти строчки набирают вес и будоражат сердца людей.

Дикая, разнузданная сила Бориса Корнилова, ярко выраженное грубое, мужское начало в какой-то момент становятся невыносимыми для Ольги. В 1929 году его исключают из комсомола. Корнилов много пьёт, ударяется в загулы. А Ольга совершенно осознанно выбирает свою дорогу вместе с партией, с РАППом. Само время всё дальше разводит их друг от друга.

Юрий Либединский, ухаживавший в это время за Марией Берггольц, писал ей 25 февраля 1930 года: “Я недоволен, что Борис и Ольга помирились. И ты не дружи с Борисом. Бывают люди, которых нужно, чтобы они были хорошие, – ласкать. А бывают – которых надо бить. Он принадлежит ко вторым. Кстати, я это понял благодаря тебе, благодаря твоим рассказам о нём. Надо, чтобы ему стало плохо, тогда он поймёт, чем может быть для него Ольга и чем – он сам. Мне кажется, что в интересах Оли – да и, пожалуй, Бори-са, – чтоб они не мирились. Ну, впрочем, это их семейные дела”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 26)

Память об этой любви-страсти, любви-уничтожении надолго останется в сердце у обоих поэтов. Корнилов в поэме “Моя Африка” так будет вспоми-нать Ольгу:

*Вы все такие —
в кофточках из ситца,
любимые, —
другими вам не быть, —
вам надо десять раз перебеситься,
и переплакать,
и перелюбить.
И позабыть.
И снова, вспоминая,
подумаешь,*

*осмотришься кругом —
и всё не так,
и ты теперь иная,
поёшь другое,
плачешь о другом.
Всё по-другому в этом синем мире,
на сенокосе,
в городе,
в лесу...
А я запомню года на четыре
волос твоих пушистую лису.
Запомню всё, что не было и было.
Румяна ли? Румяна и бела.
Любила ли? Пожалуй, не любила,
и всё-таки любимая была.*

(Корнилов Б. П. Стихотворения. Поэмы / Сост. С. В. Музыченко. — М.: Советская Россия, 1991)

Разводятся они в 1931 году, хотя фактически уже год не живут вместе, у каждого из них своя жизнь. Напомню, что Ольге на тот момент — 21 год. Борису Корнилову — 23. А они оба уже поэты.

На этот образ-воспоминание в поэме “Моя Африка” Ольга Берггольц ответит Корнилову в 1939 году, когда уже умрёт в возрасте семи лет их дочь Ирина, когда сама Ольга пройдёт издевательства и пытки в тюрьме НКВД.

*О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь,
а может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если — я верю — вернёшься обратно,
но если сумеешь узнать, —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоём, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чём.*

Обратно Корнилов не вернётся. На момент написания стихотворения он будет уже год как расстрелян “за участие в троцкистском заговоре”. Ольга не знала об этом, поэтому и обращается к бывшему мужу как к живому.

В 1930 году она познакомилась с Николаем Молчановым — будущим мужем и главной любовью всей её жизни. Оба — студенты филологического факультета Ленинградского университета. “Он с первого взгляда ей понравился. Молчанов отвечал всем её представлениям об идеальном советском человеке. Он был аскетичный, честный, порядочный и настоящий комсомолец. Именно такого мужчину Ольга хотела видеть рядом с собой. “Донской казак по происхождению, высокий, удивительно ладный, он был необычайно, строго и мужественно красив, и ещё более красив духовно”, — писала она в автобиографии.” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 32)

После учёбы их вместе отправляют в Казахстан по распределению корреспондентами газеты “Советская степь”. Собственная молодость звучит в унисон с грандиозными задачами строительства молодой республики. На казахские мотивы Ольга напишет через несколько лет повесть “Журналисты”, одним из героев которой будет Михаил Якорев. Прототипом этого персонажа стал журналист Леонид Дьяконов, родственник Николая Заболоцкого, печатавшийся под псевдонимом Анк. Все трое — близкие товарищи, делающие одно дело. Они выезжают на поля, на сбор хлопка, описывают строительство социализма в Казахстане в правильном идеологическом ключе, хотя не могут не видеть, как идёт коллективизация в Средней Азии, сколько приписок, разгильдяйства,

саботажа, бедности и нищеты вокруг. Но линия партии требует терпеть, описывать успехи и победы, и Ольга искренне верит, что так правильно, так и должно быть. К несчастью, именно знакомство с Дьяконовым сыграет трагическую роль в судьбе Берггольц — он будет одним из немногих, кто даст против неё обвинительные показания, оговорит её на допросах. К несчастью для Берггольц и к счастью для Ленинграда (да простят мне этот невольный цинизм). Потому что сейчас можно совершенно определённо сказать, что, не будь тюремного периода в её жизни, травли в писательской организации, следствия, допросов, исключения из партии, не обрёл бы её голос ту звенящую высоту, какая позволила ей стать “Ленинградской Мадонной”. Писали о блокаде изнутри и Николай Тихонов, и Александр Прокофьев, и Вера Инбер, все трое получили Сталинскую премию “за блокаду”, а голосом Города, его жителями стала только Ольга Берггольц.

Через какое-то время Ольга возвращается в Ленинград, а Молчанов остаётся в Казахстане. Статус их пока не определён. Ленинград закручивает Берггольц в вихре знакомств, литературных продвижений, богемных посиделок. Она знакомится с Максимом Горьким и с одним из руководителей РАППа Леонидом Авербахом. Авербах был родственником Генриха Ягоды, имел доступ к высоким кремлёвским кабинетам, решал судьбы писателей.

В письме Николаю Молчанову в сентябре 1931 года Ольга восторженно пишет: “Потом приехал Авербах... По приезду он сразу проявил максимум заинтересованности ко мне. Мы с ним сразу подружились. Ходили, разговаривали, ужинали в “Европейской” и т. д. Колька, что это за человек, наш Князь! Интересно, что ему 28 лет! А человек два раза был на нелегальной работе в Германии и Франции, его там били, выслеживали и т. д. Да всего не расскажешь. Ведь он, кроме того, член первого ЦК КСМ, организатор его и т. д. В общем — князь, князь. И (деталь) потом вдруг ещё открылась его сторона, вдруг (?) говорит: “Неделями тянет к револьверу” и т. д. <...> Ну, ладно, потом приезжает небезызвестный тебе Горький. Маршак тянет меня к нему насчёт “Костров”. Идём, долго говорим (больше я, чем Маршак). Спорим. Горький заинтересован, заражён. Пишет рассказ о Ленине, воззвание относительно “Костров”. Колька, Горький до того милый, хороший парень, что я просто обалдела. Сидела с человеком, который написал “Клима Самгина”, и чувствовала себя лучше, вернее, непринуждённее, чем с Авербахом. Тоже, если писать, книжку надо.” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 36)

Ольге 21 год, конечно, у неё кружится голова от открывающихся перспектив. Да и с Авербахом завязывается фривольный роман. Молчанов (ещё не муж) подозревает, но ничего не может поделать. Или не желает. Это будет единственный человек в её жизни, принимающий Ольгу Берггольц такой, какая она есть. Он будет терпеть и прощать все её измены, будет верно ждать, не отречётся, когда она попадёт в тюрьму. И, конечно, будет любить её до конца своей жизни нежно и горячо, как редко умеют любить мужчины.

А связь с Авербахом сыграет в её судьбе роковую роль. За всё придётся расплачиваться.

Из Казахстана Николая Молчанова забирают в армию. Ольга селится в Ленинграде в доме-коммуне, называемой в народе “слеза социализма”. Этот дом в стиле конструктивизма стоит и поныне на улице Рубинштейна, он хорошо известен петербуржцам — любителям и знатокам городской архитектуры.

В 1932 году от Николая Молчанова рождается вторая дочь — Майя. Берггольц наполнена материнством до отказа. Омрачает радость жизни лишь одно: Николай Молчанов комиссуют из армии по болезни. Во время учений рядом с ним разорвался снаряд, его тяжело контузило. Вследствие этого у него открылась эпилепсия. Но они оба молоды, жизнь продолжается.

1933 год — это рубеж, после которого жизнь Берггольц круто меняется. 25 июня в больнице в Сиверской умирает девятимесячная дочь Майя. Пережитая трагедия словно приоткрывает в поэте силы, ранее дремавшие, спавшие в ожидании своего часа. Через боль, через страдание прорастает настоящий, живой голос поэта:

*На Сиверской, на станции сосновой,
какой мы страшный месяц провели,
не вспоминая, не обмолвясь словом*

*о холмике из дёрна и земли.
Мы обживались, будто новосёлы,
всему учились заново подряд
на Сиверской, на станции весёлой,
в краю пилотов, дюн и октябрят.
А по кустам играли в прятки дети,
парашютисты прыгали с небес,
фанфары ликовали на рассвете,
грибным дождём затягивало лес,
и кто-то маленький, не уставая,
кричал в соседнем молодом саду
баском, в ладошки: “Майя, Майя! Майя!..”
И отзывалась девочка: “Иду...”*

Эти строчки появятся спустя три года, когда умрёт вторая дочь, Ирина. Стихотворение-диптих так и будет называться “Два стихотворения дочери”. Но в этих строчках уже будет слышен ритм “Февральского дневника”:

*А девушка с лицом заиндевелым,
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завёрнутое в одеяло тело
На охтинское кладбище везёт...”*

Оттого и оживут блокадные стихи Берггольц, и отдадутся мгновенным узнаванием в сердцах людей, что сама Блокада зарифмуется с пережитым прошлым: всё это Ольга уже видела, уже пропустила сквозь себя, а потому имеет право говорить от имени сотен тысяч ленинградцев.

На фоне личных трагедий литературная жизнь Ольги Берггольц вполне благополучна и даже успешна. Она сотрудничает с издательствами “Детская литература”, “Молодая гвардия”. О её повести “Углич” комплементарно отзывался Максим Горький. В околосредотворенных кругах ходят слухи о ней как о приспособленке, двигающейся “по линии партии”. Ольгу это задевает, безусловно, но она уже осознаёт меру своего таланта и место в литературной иерархии 1930-х годов. Она верный, искренний советский писатель. Громит в печати обэриутов, Хармса и Веденского, начинающего Юрия Германа. Её принимают во вновь образованный Союз писателей. Но внутренний надлом уже определён, и это не только следствие пережитых личных несчастий. Её вера в социализм (не безосновательная, надо сказать) сталкивается с окружающей реальностью. Муж, Николай Молчанов, более осторожен в оценках происходящего. Они часто спорят. У Николая портится здоровье, учащаются припадки эпилепсии. Ольга начинает терять друзей из-за своей непримиримой позиции в отношении партии и коммунизма. После смерти Кирова в 1934 году общественно-политическая обстановка в стране накаляется, начинаются отставки, исключения из партии, аресты. К 1936 году массовые посадки людей уже невозможно не замечать. Ольга ищет компромисс в своей душе, пытается соотнести реальность и идеал, веру в партию. “Иду по трупам?” – пишет она в дневнике. – Нет, делаю то, что прикажет партия”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 48)

В марте 1936 года умирает дочь Ирина. После ангины у девочки началось осложнение, уходила она тяжело, мучительно, задыхалась, теряла сознание. Вместо традиционного креста Ольга распорядилась поставить на могиле пирамиду с красной звездой. По воспоминаниям сестры Марии, когда на место захоронения пришёл священнослужитель, чтобы отпеть усопшую, Ольга закричала и в гневе прогнала его. Убеждённая атеистка, она и в горе оставалась верна своим принципам. Пройдёт несколько лет и, оставленная всеми (а главное – партией, которую она любила всем сердцем, которой была предана всем своим существом), находясь в застенках тюрьмы, Ольга переосмыслит действительность, себя в этом страшном и героическом времени. От прежней идеалистки не останется и следа. И вот такой, обновлённой, она войдёт в Блокаду. А стихов, посвящённых Ирине, будет написано много. Все они впоследствии войдут в цикл “Память”.

Отец Ирины, первый муж Берггольц поэт Борис Корнилов на похороны не явился. А 20 марта 1937 года его арестовали. Новая жена Корнилова, Люся Борнштейн, находится на третьем месяце беременности. Перед тем, как уйти навсегда, он успеваеет сказать жене, что, если родится девочка, пусть назовет Ириной. Так и случается. Ирина Басова только в 60-х годах узнает, что её настоящий отец – великий советский поэт Корнилов. 20 февраля 1938 года Бориса Корнилова расстреляли “за участие в заговоре против Кирова”. Такова официальная версия следствия. Ольга Берггольц ещё долго не будет знать о судьбе первого мужа.

Сгущаются тучи и над ней самой. Плюс ко всему брак с Молчановым становится напряжённым, трудным после смерти Ирины. Ольга Берггольц пытается унять депрессию с помощью вина. И сама откровенно говорит об этом в своих дневниках: “Есть и ещё выход – пить. Говорю без всякой позы: очень, очень вино помогает. Всё становится каким-то лёгким, преходящим, невесомым. Я испытала это раза три за эти месяцы, но этого-то и испугалась... И слёзы тогда какие-то лёгкие, и главное – не жаль ничего, ничего...” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 56)

В 1937 году разгромлено издательство “Детская литература”. Арестованы Заболоцкий, Хармс, Введенский, ряд других, менее именитых писателей и редакторов. Арест грозит Маршаку. Берггольц работает в это время в “Литературном Ленинграде”, прекрасно видит, что происходит, но старается не думать, не анализировать, цепляясь за веру в партийную линию, как за соломинку – утопающий.

“Она даже не понимает, что арест угрожает и ей. И только когда придут за главным редактором “Литературного Ленинграда” – её близким другом Анатолием Гореловым, – она в растерянности запишет в дневнике: “15 марта 1937. Первое чувство – недоумение. Рыжий – враг народа? Или тут перестраховка известных органов, или действительно надо быть исключительной чудовищности гадом, чтоб быть врагом народа, вдобавок ко всему, что мы слышали от него на партсобраниях. Не может быть, чтоб он был арестован только за то, что мы знали. Пока – непонятно.

Второе чувство – опасение за собственную судьбу.” (Там же. С. 61)

В марте 1937 года арестовывают Леонида Авербаха. За связь с “врагом народа” привлекают и Ольгу. Беда не обрушивается внезапно, а ходит вокруг да около. Сначала Ольгу Берггольц исключают из Союза писателей. После этого партийная комиссия на родном заводе “Электросила” исключает её из кандидатов в члены ВКП(б). Это был самый чёрный знак того времени. Дальше мог следовать только арест. Ольга попадает в больницу с преждевременными родами. У неё очередной выкидыш.

Беда приходит, откуда не ждали. Арестовывают близкого знакомого Берггольц, друга семьи, писателя Леонида Дьяконова, образ которого был описан в ранней повести “Журналисты”, того самого друга казахской юности. Донос на него написал некто Алдан-Семёнов, председатель Кировского отделения Союза писателей. Через год, впрочем, арестовали и самого Алдан-Семёнова. “Я вам расскажу обо всём, – заявил он. – Я – враг советской власти. В августе 1936 года мною по поручению Акмина была создана террористическая группа: М. Решетников, Л. Лубнин, Л. Дьяконов, были связи с О. Берггольц, К. Алтайским (Королёвым), П. Васильевым. На собраниях отделения союза писателей Заболотский, Уланов, Колобов, Васенев, Решетников, Дьяконов вели антисоветскую агитацию” (Мильчаков Е. Грозы и травы. Жизнь и творчество Алексея Ивановича Мильчакова – поэта, издателя, библиофила (1900–1966). – Киров, 2001. – С. 66–67.)

Дьяконов и арестованный позднее по тому же делу “вятских литераторов” Игорь Франчески под угрозами и побоями дали показания против Ольги Берггольц.

Алдан-Семёнов двенадцать лет провёл в лагерях, был осведомителем НКВД в лагере, по мнению некоторых исследователей. После выхода писал книги, воспоминания, изданные большим тиражом. Вёл успешную жизнь советского писателя, пострадавшего от сталинских репрессий.

Берггольц арестовали в ночь с 13 на 14 декабря под Ленинградом, в Доме творчества писателей как “участницу троцкистско-зиновьевской организации” и доставили в Шпалерку – тюрьму Большого дома. В постановлении об

аресте говорилось, что Ольга Берггольц входила в террористическую группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКП(б) и Советского правительства (т. Жданова и т. Ворошилова).

Вот протокол первого допроса. Короткий, лаконичный, ничего не объясняющий. Только время вызывает оторопь: три часа!

“Вопрос. Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаёте себя виновной в этом?”

Ответ. Нет. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда и ни с кем я работы против советской власти не вела.

Вопрос. Следствие не рекомендует вам прибегать к методам упорства, предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе.

Ответ. Я говорю только правду.

Записано с моих слов правильно. Протокол мною прочитан. О. Берггольц.

Допросил Иван Кудрявцев.

Обозначено и время: с 21:30 до 00:30.” (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — С. 397)

Ровно через год, оказавшись на свободе, она напишет в своём дневнике: “13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидав Колю и родных, — и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, — но я живу... подкрасила брови, мажу губы...”

Я ещё не вернулась оттуда, очевидно, ещё не поняла всего...” (Там же. С. 11)

Основанием для ареста послужили показания Семёнова-Алдана и Дьяконова, Кировских писателей. Вот выдержки из этих показаний.

Ф. Семёнов-Алдан (показания от 5 апреля 1938 года):

“... В Алма-Ате Дьяконов был связан с троцкисткой О. Берггольц, которая потом переехала в Ленинград. В начале 1937 г. Дьяконов приезжал в Ленинград, где связался с О. Берггольц. Берггольц обещала нам полную поддержку.”

Л. Дьяконов (показания от 14 апреля 1938 г.):

“... Подобно мне, она уже готовила себя для террористической деятельности. И на мой первый же вопрос — как она смотрит на террор? — Ольга ответила: только положительно.” (Там же. С. 399)

Для тех времен этих показаний было более, чем достаточно, чтобы арестовать человека. Она провела в тюрьме 197 дней. Во время этого срока неоднократно подвергалась психологическому и физическому воздействию. Говоря проще, её били, на неё кричали, не давали спать. В тюрьме она потеряла ребёнка. Выкидыш произошёл на 6-м (5,5) месяце беременности. Ей больше не суждено будет родить. Каждый раз на том же сроке беременности организм, запомнив этот точный срок, будет отторгать дитя.

“Следователь. Подумайте хорошо! Вы ещё можете спасти ребёнка. Только нужно назвать имена сообщников.

— Нет, гражданин следователь. Я ребёнка не сохранию. (И в это время кровь как хлынет...) Немедленно отправьте меня в больницу!

— Ещё чего захотела!

— Называйте меня на вы. Я — политическая.

— Ты — заключённая.

— Но ведь я в советской тюрьме...

Меня всё-таки повели в больницу. Пешком. По снегу. Босую. Под конвоем.

— Доктор Солнцев! Помогите мне!

Сидели несколько врачей. Не подошёл никто. Молодой конвойный со штыком наперевес, пряча слёзы, отвернулся.

— Ты что, солдатик, плачешь? Испугался? А ты стой и смотри, как русские бабы мёртвых в тюрьмах рожают!

— Доктор Солнцев! Вы на воле. Вы можете передать моему мужу, что Стёпки больше нет... всего два слова, понимаете, два слова: “Стёпки нет!”

С тех пор ни мальчики, ни девочки у меня больше не рождались”. (Там же. С. 403).

3 июля 1939 года Берггольц освободили из тюрьмы за недоказанностью преступления. Она не признала вину и никого не оклеветала. Вышла страшная, обновлённая, с уничтоженной верой в партию, не обретшая веры в Бога.

Не сломленная. Пытающаяся жить дальше. Было ли это чудо или “пересменка”, когда сменивший Ежова Л. П. Берия проводил чистку в органах НКВД, в связи с чем некоторые старые дела пересматривались, на какие-то просто махнули рукой, какие-то расследовали объективно. Или это уже Город вмешался в её судьбу, готовя Берггольц для большего? Понимая, что ни один поэт-мужчина не сможет стать пульсом и голосом сотен тысяч голодных ленинградцев? Как знать...

И тем не менее, первое, что делает Ольга Берггольц после освобождения, подаёт заявление в бюро РК ВКП(б) Московского района Ленинграда о восстановлении в кандидатах в члены ВКП(б). 17 июля 1939 года её восстанавливают, а в феврале 1940-го Ольга становится членом партии. Но уже без восторга, без пиетета перед членским билетом, не веря в его силу и правду, просто потому, что таковы правила игры. Но человеку обязательно надо во что-то верить. Мечта оказывается сильнее. В дневнике от 6 ноября 1939 года Берггольц пишет: “Завтра 22 года Октябрьской революции.

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили, – коммунистки, беспартийные честные товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!..

Я с вами, товарищи, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей – великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!” (Там же. С. 12-13)

Это не статья для газеты, это дневник. Здесь нет смысла врать или кривить душой. Напрасно некоторые исследователи стараются представить Берггольц антисоветчицей. Перемолотая тюрьмой, растерявшая веру в партийный аппарат, в людей, определяющих дальнейший путь страны, презиравшая бюрократию, она остаётся верна мечте социализма. И это искренне в её душе, настоящему и до конца.

В это же время она формулирует исходный постулат отношения к действительности и миру: “Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идёт по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилён.” (Там же. С. 25).

В дневниках 1941 года прорывается уже тревога, ожидание предстоящей войны, но лишь изредка, неким отголоском *memento mori*: “Успехи немцев подавляют меня. Падение Югославии, на днях – несомненное падение Греции.

Неужели прожить и умереть при торжестве фашистского режима?! Страшно, жалко!..” (Там же. С. 29)

“Если наше правительство избежит войны – его нужно забросать лавровыми венками.” (Там же. С. 39)

И, наконец, запись от 22 июня 1941 года: “14 часов. ВОЙНА!”

Как бы цинично это ни звучало, но война внесла смысл и цель в жизнь Ольги Берггольц. Она почувствовала себя, наконец, НУЖНОЙ своей стране, своему народу. И хотя в дневниковых записях военных лет будет прорываться скепсис относительно своего места, роли, значимости этой роли в обороне Города, но судьба уже всё решила за неё. А самое главное для неё как для поэта происходит как будто бы случайно, исподволь, незаметно, но органично: она обретает свой голос, доводит его до предельных высот. Блокадные стихи Берггольц обладают, при всей кажущейся их простоте, невероятной силой ещё и потому, что обращены не в самоё себя, не внутрь собственной души, а наружу, ко всем людям. Это и не стихи даже, а в чистом виде блокадная агиография, где святыми становятся все блокадники, от мала до велика.

Муж её, Николай Молчанов, скрыв свою эпилепсию, уходит добровольцем на фронт 26 июня 1941 года, но уже через месяц его комиссуют.

Ольга потом утверждала, что, когда Николай вернулся с фронта, они “влюбились в друг друга ...какой-то особой, обострённо-нежной, прелазлучной влюблённостью... Помню, стояли мы один раз с ним на солырии, бомбежка была дикая, было светло от пожаров, как днём, и этот свист от бомб – подлый и смертный. Я изнемогала от страха, но стояла, я же была комиссаром дома.

И Коля вдруг подошёл ко мне, взял моё лицо в ладони, поцеловал в губы и сказал: “Знаешь, если один из нас погибнет, то другой обязан досмотреть трагедию до конца”. Я ответила: “Ладно, Коля, досмотрю”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 89)

Николай Молчанов был одним из немногих, кто не отвернулся от Ольги во время её ареста, писал письма в её защиту всем, кому только можно и нельзя. А на комсомольском собрании, когда его поставили перед выбором, спокойно положил свой комсомольский билет на стол со словами: “Отрекаться от жены – недостойно мужчины”. По воспоминаниям современников, это был очень светлый, чистый человек. Ольга всю жизнь будет хранить память об этом свете как о пределе, образце не человеческой, но небесной природы. И всю жизнь будет к этому свету тянуться.

В конце июня Союз писателей направил Ольгу на работу в Радиокomiteт. Её редактором становится молодой военкор Юрий Макогоненко, который сразу же начинает за Ольгой ухаживать. Она с благосклонностью принимает эти знаки внимания.

По радио в те первые месяцы войны выступали многие поэты и писатели, от Лавренёва и Прокофьева до Анатолия Мариенгофа и Анны Ахматовой. Ольга Берггольц в те первые месяцы не выделялась среди других, но уже тогда в её стихах появляются те ноты личного обращения к каждому ленинградцу, которые через несколько месяцев будут дарить людям надежду и давать силы в замёрзших, тёмных декабрьских квартирах. В архиве ленинградского радио сохранился список писателей, поэтов и журналистов – корреспондентов Радиокomiteта в период блокады. В этом списке шестьдесят семь имён, не считая штатных сотрудников. Но Голосом блокадного Ленинграда стала одна Берггольц.

22 августа Ольга записывает в дневнике: “22 августа 1941. Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъём был, как все надеялись... А сейчас – уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну – это ясно.

Мы были к ней абсолютно не готовы, – правительство обманывало нас относительно нашей “оборонной мощи”. За восемь лет Гитлер сумел подготовиться к войне лучше, чем мы за 24 года”. (Там же. С. 90)

В конце августа война подошла практически к стенам Города. Но несмотря на внутренние сомнения, в том же августе Ольга пишет полные жизни и надежды стихи:

*...Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...*

*Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамёна Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:
“Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей”.*

К слову сказать, в конце августа неуверенность в собственных силах проявляется на самом высоком уровне. В тот день, когда Ольга пишет о неготовности к войне, между Ставкой и Смольным состоялся очень тяжёлый разговор.

Сталин осуждал создание Военного совета обороны Ленинграда, спрашивал, почему в него не вошли Жданов и Ворошилов, приказывал отменить выборный принцип батальонных командиров. Пожалуй, впервые у него появились сомнения в возможности действующего руководства отстоять Город. Ольга обо всём этом не знает, да никто не знает. Люди просто живут своей трудной военной жизнью.

И в дневниковой записи от 24 сентября 1941 года – дикая, крамольная мысль: “Они, наверное, всё же возьмут город. Баррикады на улицах – вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей, вожди вообще никогда не думают о людях...”

Только через несколько дней Военному совету станет понятно, что Город немцы не возьмут, атаки прекращаются и противник переходит к позиционной войне. Но в те сентябрьские дни всё висело на волоске. Отметим лишь, что, если бы Берггольц не попала в тюрьму в 1938 году, появление такой записи в дневнике было бы просто невозможно представить. Абсолютно преданная партии и социализму, восторженный певец строек и заводских будней... Но, наверное, такой поэт не смог бы стать голосом Города. Здесь сплелось всё: и личная трагедия, и тюрьма, и многочисленные романы с мужчинами, и бесконечная череда выкидышей. И даже в голодном, замёрзшем Ленинграде, навещающая в больнице умирающего мужа, Ольга спешит на обратном пути к Макогоненко, проводит с ним ночь, методично отмечает это в своём дневнике – и душа её не болит, и нет стыда, и совесть не мучает. Когда находишься ежедневно на пороге гибели, ценности сдвигаются, невозможное становится обыденным.

Уже 30 августа 1941 года Комиссия ГКО решением 601сс упраздняет Военный совет обороны Ленинграда, передав его функции Военному совету Ленинградского фронта. Другим решением Комиссия постановила немедленно переселить из пригородов Ленинграда местное немецкое и финское население в количестве 96 000 человек. Что и было большей частью выполнено. (Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 212) Эта мера, о справедливости и необходимости которой можно спорить, коснулась отца Берггольц. В своём дневнике Берггольц запишет: “2 октября 1941. Сегодня моего папу вызвали в управление НКВД в 12 час<ов> дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа – военный хирург, верой и правдой отслужил Сов<етской> власти 24 года, был в Кр<асной> Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную старческую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия – это без всякой иронии.

На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, НУЖНОМУ для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда”.

На фоне гибели, бомбежек, эвакуации, на грани распада и неверия – с Ольгой происходит перерождение внутреннее. Она влюбляется в Георгия Макогоненко.

*...Я никогда с такую силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюблённой не была... —*

пишет она в сентябре 1941 года.

“В конце сентября Ахматову на правительственном самолёте отправляют в Москву. Её должна была сопровождать Ольга Берггольц. “Мне предлагали уехать, – писала Ольга 1 октября, – улететь на самолёте в Москву с Ахматовой. Она сама просила меня об этом, и другие уговаривали. Я не поехала. Я не могу оставить Кольку, мне без него всё равно не жизнь, несмотря на его припадки, доставляющие мне столько муки... Я не поехала из-за Кольки, из-за того, что здесь Юра, Яшка и другие. В общем, “из-за сродственников и знакомых”, которые все здесь, в городе, находящемся под угрозой иноземного плена, под бомбами и снарядами”. (Н. А. Г р о м о в а. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 92)

Можно сказать, что именно в этот период Город делает свой выбор. И это не метафора и не красивые слова ради образа. Берггольц остаётся в Ленинграде носителем Миссии (именно так, с большой буквы), которую никто другой просто бы не потянул. Ради этого она жила, появилась на свет, развивала свой скромный дар, которому суждено стать обжигающим, неистовым и спасительным. Об этом, наверное, можно будет забыть через сто лет, но я ещё помню рассказы бабушки, которая 13-летней девочкой в декабре 1941 года слушала по радио стихи Берггольц, и они давали ей силы взять в руки ведро и идти к Неве за водой.

“Постоянное недоедание и непрерывное нервное напряжение обострили болезнь Молчанова. Николаю становилось всё хуже и хуже. Первый тяжёлый эпилептический припадок, ставший прологом к гибели, случился у него 27 октября 1941 года. Ольга записывает: “Сейчас у Кольки был страшный припадок — боюсь, что это начало статус-эпилепсии. Как он весь, просветлённый, с неземным каким-то, божественно озарённым и красивейшим лицом, тянулся ко мне после припадка, целовал меня и говорил нежнейшие, трепещущие слова любви...”

А я вчера провела ночь с Юрой М... я радовалась ему, и было даже неплохо в чисто физическом отношении, — но какое же сравнение в том же отношении с Колькой, — совсем не та сила, не тот огонь и сосредоточенная, огромная, отданная только мне — страсть. Но всё же он очень мил мне, и он нежен и страстен, и влюблён, — не знаю только, понравилась ли я ему, как женщина, — я так исхудала за время войны, даже знаменитая моя кожа стала плохой. Но он мил мне, — всё же... Только что, выйдя из припадка, Коля стал уговаривать меня уехать из Ленинграда, если будет эвакуироваться Союз писателей. Я должна уехать, чтоб спасти его, — ему тут очень трудно, — он недоедает остро, нервничает (не из страха и трусости, конечно), стареет, хворает. Но я не хочу уезжать из Ленинграда из-за Юрки, и, главное, из-за внутренне-го какого-то инстинкта, — говорящего мне, что надо быть в Ленинграде.” (Там же. С. 95)

Этот *внутренний инстинкт* и есть предчувствие той Миссии, которую Ольге суждено исполнить. Когда сама история выбирает человека из мутного потока времени и ведёт его, несёт, как песчинку, как щепку, и нет воли, чтобы изменить этот ход. Фатализм? Нет, метафизика истории. Именно это и произошло с Берггольц.

В декабре в Ленинграде отключают электричество, перестаёт работать канализация. Люди в Ленинграде ведут себя по-разному. Потому что близость смерти и голод слизывают с человека тысячелетия цивилизации, обнажая его натуру до дна, выталкивая на поверхность всё низменное, тяжёлое, грязное; вбивая в кружащуюся голову, что человек — не образ и подобие Божье, а всего лишь животное, которое жрёт, пьёт, сношается, убивает, грабит и насилует. Нет барьеров. И надо было обладать твёрдой волей и иметь неиссякаемый запас человечности, чтобы не упасть в эту первобытную яму озверения.

Ещё с осени значительно снизился приём в члены ВКП(б). Опасаясь прихода немцев, люди перестали подавать заявления в партию. Оценивая положение с приёмом в партию в Красногвардейском, Ленинском и Московском районах осенью 1941 года, горком ВКП(б) вынужден был констатировать, что на ряде предприятий приём совершенно прекратился. Настроения в городе были разные, в том числе и упаднические, и пораженческие. Наивно было бы предполагать, что в городе с довоенным населением в 2,5 миллиона человек все бы сплотились, как один. Но массовой паники и протестных настроений всё же не было.

Тем не менее, “в период с 15 октября по 1 декабря 1941 г. число арестованных за “контрреволюционную деятельность” Управлением НКВД достигло 957 человек, в том числе была раскрыта 51 “контрреволюционная группа” общей численностью 148 человек. Несмотря на некоторый средний рост числа арестованных, можно с уверенностью говорить об отсутствии в Ленинграде осенью 1941 г. сколько-нибудь значительного организованного сопротивления власти. В среднем в каждой “группе” было менее трёх человек, а более 800 арестованных никакими “организационными” узлами связаны друг с другом не были.

За то же самое время УНКВД пресекло деятельность 160 преступных групп неполитического характера общей численностью 487 человек, которые

занимались бандитизмом, хищениями и спекуляцией. Это почти втрое больше, нежели численность “контрреволюционных” групп. Всего же за “экономические” преступления с 15 октября по 1 декабря 1941 г. были арестованы 2523 человека. Таким образом, осенью 1941 г. на одного “политического” приходилось трое “неполитических”, избравших для себя иной путь борьбы с голодом и трудностями блокады.” (Н. Ломагин, Неизвестная блокада. – СПб.: Издательский дом “Нева”. – С. 150).

“К декабрю в людях появилось, – пишет в своём дневнике Берггольц, – какое-то холодное оцепенение, душа так же промёрзла, как и всё тело”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 96)

“Николай не дотянет – это явно, – фиксирует она в дневнике. – Он стал уже не только страшен внешне, но жалок внутренне. Он оголодал до потери достоинства почти что. Он падает без сознания. Он как-то особо медлителен стал в движениях. Он ест жадно, широко раскрыв глаза, глотает, не чувствуя вкуса.

Он раздражает меня до острой ненависти к нему, я ору на него, придираюсь к нему, а он кроток, как мама.

Я знаю, что я сука, но ведь и на мне должно было всё это сказаться”. (Там же)

Пришли холода, непривычные, очень сильные холода. Зима 1941-1942 годов по совокупным показателям является одной из самых холодных за весь период систематических наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге–Ленинграде. Среднесуточная температура устойчиво опустилась ниже 0°С уже 11 октября, и стала устойчиво положительной после 7 апреля 1942 года – климатическая зима составила 178 дней, то есть половину года.

И в то же время Берггольц, ежедневно видя гибель людей, ухаживая за безнадёжным мужем, пишет потрясающие по силе воздействия стихи:

*...Скрипят полозья в городе, скрипят...
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
Что слёзы вымерзли у ленинградцев.*

*Нет, мы не плачем. Слёз для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не даёт.
Нам ненависть залогом жизни стала:
Объединяет, греет и ведёт.*

*О том, чтоб не прощала, не щадила,
Чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
Ко мне взывает братская могила
На Охтинском, на правом берегу.*

(Ольга Берггольц. Поэмы. – Л.: Лениздат, 1974. – С. 72-73)

И всё же до декабря 1941 года Берггольц пытается уехать из Ленинграда. Ей крайне важно спасти мужа. О себе она не думает. “О, только бы Коляка продержался, только бы его дотащить до Архангельска и положить в госпиталь. Ведь он у меня главный, самый любимый, и я всем сердцем верна ему, несмотря на Юрку. Я обоим им верна и никого из них не обманываю... Странно, что не ощущаю никакой личной путаницы, и Юра и Коля совмещаются. С Юрой – некий отдых, с Колей все тяготы – двойные для меня – его болезни и страшной войны...” – пишет она 26 декабря 1941 года. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 97)

От одной из безумных попыток вырваться её отговорил Георгий Макогоненко. Крайне мало изучен вопрос, как в декабре 1941 года люди, осатаневшие от голода, пытались самостоятельно вырваться из города: договориться с “левыми” шоферами, уйти по льду Ладоги. Именно таким путём хотела вырваться и Ольга, отчаявшись ждать очереди на эвакуацию.

“Недалеко от контрольно-пропускного пункта неширокой цепочкой, прямо на снегу сидели закутавшиеся с головою люди. Несколько сотен вконец исто-

щённых ленинградцев привела сюда, на берег Ладоги, надежда перебраться по льду на Большую землю. Матери и жены, ещё державшиеся на ногах, спасали своих детей и свалившихся от голода мужей. Закутав и запеленав их всем тёплым, что было в доме, усадив их на салазки, они начали свой страданный путь сначала до Финляндского вокзала, затем от станции до озера. Здесь они и остановились – их не пускали на лёд, терпеливо объясняя, что не дойти им до другого берега. Да и сами люди только теперь начинали понимать безумие своего замысла – пройти тридцать километров по пустынному льду, где бушевал ветер.

Отчаявшиеся умудрялись самовольно уходить и через час-другой замерзали в пути. Оставшиеся усаживались на берегу и ждали чуда: раз установился лёд, то пойдут же по озеру машины, они-то и перевезут! Это был страшный исход из заблокированного Ленинграда. Спасавшиеся бежали от голода, а он достигал их на самом краю надежды... Они сидели и ждали, а их заносил снегом свирепый ветер.” (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 126-127)

В начале января Николай Молчанов окончательно теряет связь с окружающим миром. Его переводят в больницу. Ольга навещает его раз в несколько дней, но сердцем уже понимает, что мужа не спасти. И не узнает в опустившемся от голода мужчине своего любимого.

“Его нет, – пишет она в дневнике. – Коли Молчанова на сегодняшний день просто нет, есть некто, которому можно дать лет 60–70 по внешнему виду, некто, ни о чём не думающий, алчущий безумно, дрожащий от холода, еле держащийся на ногах, и всё. Человека нет, а тем более нет моего Коли. Его, на сегодня, уже нет, и если б умер этот, которого я сегодня видела, то умер бы вовсе не Коля... Я не знаю, как объяснить это. Но я понимаю, что это существо – когда-то было Колей и надеюсь, что Коля опять появится. Я сделаю для этого всё, что в моих силах. Надо было бы каждый день ходить на Пряжку и подкармливать его, но это немыслимо – через 3 дня ежедневных таких походов я свалюсь сама – с сердцем всё хуже и хуже”. (Н. А. Громов в а. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 98)

29 января 1942 года Николай Молчанов умер в больнице. Как и тысячи ленинградцев. Умер от голода и болезни. От надрыва. От всего того, что им вместе с Ольгой довелось пережить. Берггольц остаётся с Георгием Макогоненко. Как бы цинично это ни звучало, но такова жизнь. Нет, Берггольц не хранила верность, не несла строгий траур. Она выживала в умирающем городе и продолжала писать стихи. Результатом смерти мужа станет “Февральский дневник” – одно из самых пронзительных произведений о блокаде, написанных за всё время. Свою жизнь и свои поступки она давно определила в дневниковой записи от 22 сентября 1941 года: “Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: “героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или не скоро человек признается в любви или в чём-то в этом роде”. (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то, важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это – самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей.” (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 55)

По воспоминаниям Георгия Макогоненко, чтобы как-то отвлечь Ольгу от обрушившейся на неё трагедии, он и тогдашний начальник литературно-драматического вещания Ленинградского радиокомитета Яков Бабушкин уговаривают Ольгу взяться за поэму о блокаде. Срок – к 23 Февраля, ко Дню Красной армии. Берггольц раньше поэм не писала, но видимо, сам текст, его структура уже внутренне вырели в ней, оформились интонационно и стилистически. А самое главное – содержание подсказывала сама окружающая действительность. После смерти мужа Берггольц окончательно переезжает в Радиокомитет. “Ольга Фёдоровна сидела в дневное время на диване, закутавшись в платок, и что-то писала, тихо “бормоча” рождавшиеся стихи” (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 137). Так, фактически за полмесяца, родилась поэма “Февральский дневник”. Поэма была впервые прочитана Ольгой Берггольц 22 февраля 1942 года в 195-м номере “Радиоэха”. Это был бессознательный рубеж, навеки связавший маленькую

хрупкую женщину с Ленинградом. А 25 февраля Ольга встречает в Доме писателя... свою сестру Мусю. Узнав в Москве о смерти Молчанова, Муся добилась приёма у Фадеева, смогла организовать грузовик с продуктами для ленинградских писателей, и сама в качестве добровольца-сопровождающего провела машину в Ленинград через полстраны и по льду Дороги жизни. По другим данным, машину организовал Николай Тихонов, прибывший в Москву для выполнения срочного задания и рассказавший Владимиру Ставскому, секретарю Союза писателей СССР, о бедственном положении писателей Ленинграда. Именно Ставский добился разрешения послать машину с продовольствием из Москвы. (Там же. С. 139)

Как бы там ни было, в конце февраля сестра приезжает к Ольге Берггольц в Ленинград. А 1 марта 1942 года Ольгу самолётом переправляют в Москву. Казалось бы, все позади: голод, холод, бомбёжки. Но Ольга не находит себе места в сытой Москве.

“Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде всё скрывалось, о нём не знали правды так же, как о ежовской тюрьме... Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио “Февральский дневник”, ни издать книжки стихов так, как я хочу... Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас”, – вспоминает Ольга в своём дневнике сразу по приезде в Москву. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 68-69)

И спустя неделю: “Я совершенно не понимаю, что не даёт мне сил покончить с собой. Видимо – простейший страх смерти... Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него.” (Там же. С. 70)

“Живу в гостинице “Москва”. Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода.

В Ленинград! Только в Ленинград... Тем более, что вовсе не беременна – опухла просто.

В Ленинград – навстречу гибели...” (Там же. С. 70)

Город не отпускает Ольгу. Не отпускают личная трагедия, близкие люди, Миссия, дыхание которой она уже почувствовала. В письме к Макогоненко от 8 марта 1942 года она пишет: “Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи – всё это отлично, но как объяснить тебе, что это ещё вовсе не жизнь – это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ – нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнажённое, грозное, почти освобождённое от разной шелухи”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 140)

В Москве Ольга ведёт активную деятельность, пытаюсь помочь Ленинграду, писателям, оказавшимся в кольце блокады. Она даёт творческие вечера, буквально выбивает в Наркомпищепроме продукты для ленинградских писателей: лимоны, апельсины, сгущённое молоко, кофе. По негласному распоряжению Жданова, адресные посылки для организаций Ленинграда не приветствуются. С одной стороны, распоряжение жестокое. С другой – перед голодом все равны, а слухи об отдельных категориях граждан, находящихся на особом положении, и так бродят по городу. Москва отталкивает Ольгу. Она всё больше убеждается, что на Большой земле не представляют реальной тяжести и последствий блокады. Тем не менее, люди везде разные. И в Москве находится очень много искренних, по-настоящему переживающих за Ленинград писателей.

“В Москве и Союзе писателей есть отдельные люди – полны самой настоящей боли за Ленинград, самого настоящего стремления помочь ему. И они делают всё, что могут. Тут, в первую очередь, надо говорить о Тихонове, потом о Ставском (он наладил вторую солидную посылку ленинградским писателям и несомненно поможет в добыче лекарств и для Радиокомитета), о Маршаке, у которого, правда, очень невысок КПД, но всё же он хлопочет и т. д., о Фадееве, который, к сожалению, сейчас болен воспалением лёгких. Я слышала от Ставского, что и вообще – “тот, кому это нужно”, о Ленинграде знает и старается, чтобы поскорее пришла помощь городу...” (Там же. С. 143-144). “Тот, кому это нужно”, закавыченный в письме Берггольц, вероятно, товарищ Сталин. С Владимиром Ставским – особый разговор. Это тот самый случай, когда партийный функционер не лишён личной храбрости, а доносы пишет не из страха или выгоды, а искренне, по велению души, исходя из видения текущего момента и идеалов социализма. В 1938 году он написал

докладную записку на имя Ежова, требуя “решить вопрос о Мандельштаме”. Нарком внутренних дел обращению внял, вопрос был решён. Мандельштама повторно арестовали и в этом же году он умер от сыпного тифа в пересыльной тюрьме. Ставский написал донос на имя Сталина и о “грубых политических ошибках” Шолохова. Но Шолохов был не той фигурой, которую можно свалить одним доносом, даже на имя Сталина. И тот же Ставский храбро вовёл в гражданскую войну, был военным корреспондентом в самых горячих точках на Халхин-Голе и во время финской войны, где получил тяжёлое ранение. От пуль не прятался, дважды награждён орденом Красного Знамени. Погиб во время вылазки за нейтральную полосу вместе со снайпером Клавдией Ивановой недалеко от Невеля в 1943 году. Его пример наглядно демонстрирует нам две простых истины. Во-первых, личная храбрость ещё не является гарантией внутренней порядочности. Во-вторых, невозможно служить добру драконовскими методами. Всегда, как бы высоко ни завила нас жизнь, необходимо помнить, как свет, как отцовский наказ: дьявол начинается с пены на губах у ангела. Посылка, собранная по ходатайству Ставского, вероятно, спасла многие жизни в блокадном городе. Но в памяти потомков он останется как человек, убивший Мандельштама.

А “Февральский дневник” Берггольц расходится в списках по Москве, без малейших усилий принося автору бешеную популярность, хотя сама Ольга терзается сомнениями насчёт художественной силы поэмы. Все ей кажется, что сказано не то, не так. Параллельно с творческими выступлениями и хождениями по кабинетам, Берггольц составляет книгу стихов, посвящённых блокадному Ленинграду. И снова чувствует себя маленькой пылинкой в руках времени. “И вот жуюсь с книжкой, всё ещё не снесла её в издательство, кажется она мне слабой, рассыпчатой, недостойной Ленинграда, недописанной”. (Там же. С. 144)

Её раздражает то, что правда о Ленинграде замалчивается. “Ни слова о голоде, и вообще, как можно бодрее и даже веселее. Мне ведь так и не дали прочитать по радио ни одного из лучших моих ленинградских стихов. Завтра читаю “Машеньку”, “Седую мать троих бойцов”, “Ленинградские большевички”. Даже “Новогодний тост” признан “мрачным”, а о стихотворении “Товарищ, нам горькие выпали дни” сказано, что это “сплошной пессимистический стон”, хотя “стихи отличные” и т. д.”. (Там же. С. 146)

В Москве газета “Литература и искусство” предлагает Ольге Берггольц стать их военным корреспондентом. Для неё это был большой соблазн: командировки по всем фронтам, возможность увидеть всю воюющую Россию. К тому же газета была не еженедельная, что давало возможность внимательно и вдумчиво подготовить материал. Но для Берггольц выбор был очевиден, о нём она и говорит в письме Георгию Макогоненко: “Я ни одной минуты не думала бы – принять или нет это предложение, – если бы не было на свете Ленинграда и тебя... “Аще забуду тебя, Иерусалиме...” (Там же. С. 148–149). Письмо датировано 16 марта 1942 года, но к этой фразе из 136-го псалма Псалтири Ольга обращается раньше, в дневниковой записи от 9 марта. “Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя”. И адресована эта фраза была погибшему мужу, Николаю Молчанову. Убеждённая атеистка, Берггольц обращается к Богу как к последней инстанции, как к высшей воле, дающей наказание за грехи, но и дарующей крест, понять всю тяжесть которого можно только испытав то, что испытала в жизни сама Берггольц.

Её не покидает чувство вины за смерть мужа.

“Сегодня всё время приступаю – видение Коли во второе моё посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, всё время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за боковую, опухшую руку. О, сука, сука!.. Мне нельзя жить. Это всё равно не жизнь. Я оправдываю своё существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели”. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 81)

Её терзает чувство вины и какая-то раздвоенность бытия. Она в прямом смысле сходит с ума от собственной совести, но ничего не может поделать.

“О, как я одинока без Коли, – он один, при всей трепетной его любви и обмирании за меня, не давил на меня, не отягощал меня своею любовью

и заботой”. И тут же: “Я хочу в Ленинград, хочу приняться за какое-то дело, хочу к Юрке, ждущему и жаждущему меня”. (Там же. С. 83)

“Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием — слушая радио и читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар всё, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом...” (Там же. С. 87)

20 апреля 1942 года Ольга Берггольц возвращается в Ленинград, и это возвращение становится очередным личным рубежом. Всё меньше самобичующих записей в дневнике. Ольга спокойно принимает свой крест и свой путь, как и полагается большому русскому поэту.

“Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью — я вижу это теперь... Когда я приехала, я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень тёплую, даже с мягкой мебелишкой (“на этом диване ты сидела в 50 хронике”), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом — мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он (Георгий Макогоненко. — **Прим. авт.**) приготовил для меня отдельный угол, человеческое светлое жильё, — правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар — на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных”. (Там же. С. 91)

Голода в жизни Берггольц больше не будет. Во-первых, к маю 1942-го Ленинград немного оправился после блокадной зимы. С февраля 1942 года суточную норму хлеба для иждивенцев и детей подняли до 400 граммов в день, а для рабочих — до 600 граммов в день. Во-вторых, снабжение редакторов радиокомитета всё же шло на несколько ином уровне, чем для всего остального населения, за исключением партийной номенклатуры. И паёк был повышенным, и кормили в столовых общего питания, и талоны на крупу и мясо выдавали.

Первого мая 1942 года в Ленинград из Москвы прилетели Фадеев, Тихонов, Маргарита Алигер. Писатели встречаются с коллегами в Доме радио на том самом 7-м этаже.

5 июня 1942 года по инициативе Шолохова в Ленинграде выходит, наконец, отдельным изданием “Февральский дневник”. Ольга в Городе — почти икона. Её знают все, ей пишут письма благодарности.

“Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: “Знаете, когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на помощь приходят ваши стихи. Они были для меня как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня умер муж, и, знаете, спичек, спичек не было, а коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку и гас, и я кормила мужа, а ложку куда-то в нос ему сую — это ужас, — и вдруг мы слышим ваши стихи. И знаете — легче нам стало. Спокойней как-то. Величественнее...” (Там же. С. 97)

А в августе того же года неожиданно из Радиокомитета увольняют Макогоненко. Причиной увольнения стали стихи. Не Берггольц, а замечательного поэта Зинаиды Шишовой. Макогоненко пустил в эфир её поэму “Блокада”, даже не поэму ещё, а наброски, отдельные главы. Полностью поэму Шишова закончит только в 1943 году, но и того, что ушло в эфир, было достаточно. Передача по радио ещё не закончилась, как раздался звонок из горкома, эфир пришлось прекратить. Возможно, из-за этих обнажённых строк:

*...Ты просишь пить — и я опять иду
И принесу — хотя бы полведра...
Не оступиться б только, как вчера!*

*Вода, которая совсем не рядом,
Вода, отравленная трупным ядом,
Её необходимо кипятить,
А в доме даже щепки не найти...*

*Наш дом стоит без радио, без света,
Лишь человеческим дыханием согретый...
А в нашей шестикомнатной квартире*

*Жильцов осталось трое — я да ты,
Да ветер, дующий из темноты...*

*Нет, впрочем, ошибаюсь — их четыре.
Четвёртый, вынесенный на балкон,
Неделю ожидает похорон.*

(Победа. Поэты о подвиге Ленинграда
в Великой Отечественной войне. Л.: Лениздат, 1970)

Такую откровенность городской комитет ВКП(б) счёл недопустимой. Макогоненко был уволен, что означало лишение брони и возможную отправку на фронт. Впрочем, как видно из дневников Ольги Берггольц, сам Макогоненко не был рыцарем без страха и упрека. Горком запретил поэму к эфиру, предупредил об этом Широкова, директора Ленинградского радиокомитета. Широков об этом никому не сказал (забыл?), а Макогоненко, не зная о запрещении, дал поэму в эфир. Горком был в ярости, Широков и Бабушкин свалили всё на Макогоненко. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — С. 126) После увольнения Макогоненко некоторое время проработал в политуправлении Балтийского флота и только в сентябре 1943 года был восстановлен в Радиокомитете.

В июне-июле 1942 года Берггольц пишет “Ленинградскую поэму” — не просто стихи, а попадание в нерв блокадного Города.

*Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
— Сменяй на платье, — говорит, —
менять не хочешь — дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала... —
И я сказала: — Не отдам. —
И бедный ломоть крепче сжала.*

(Ольга Берггольц. Поэмы. —
Л.: Лениздат, 1974. — С. 81)

Как и с “Февральским дневником” до этого, успех был оглушительный. “Успех поэмы превзошёл все мои ожидания. Нет смысла записывать все перипетии борьбы за неё — походы к Маханову (один из инициаторов увольнения Макогоненко. — *Прим. авт.*), разговоры с Шумиловым и т. д. Главное, что с очень небольшими, непринципиальными словесными изменениями (разумеется, ненужными и ухудшающими эти строки) она была напечатана в “Лен. Правде” от 24 и 25 июля и читана мною по радио 21/VII”. (Ольга Берггольц. Никто не забыт, и ничто не забыто. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — С. 128)

Чтобы понять причину внезапного успеха Берггольц, необходимо, во-первых, представить, как много значило радио для жителей блокированного Города. Одним из худших дней блокады, по воспоминаниям многих очевидцев, был декабрьский день, когда по техническим причинам радио не работало три часа. Даже метроном не стучал. Полная тишина. Голодные люди находились в полной неизвестности, не зная, захвачен город или просто произошёл сбой на линии. Во-вторых, необходимо просто послушать, как она читает свои стихи. С лёгким грассированием, невероятной искренностью, по живому, что называется. Воистину, голос Города!

“Едва этот голос произносил первые слова, как его интонация уже становилась как бы твоей собственной, словно она жила в тебе всё время, но — мучимая голодом, бедою, страхом — не смогла ожить и зазвучать; горожанин, услышавший этот голос, тоже напрягал все свои усилия в отчаянном рывке к жизни и победе, и он, естественно, воспринимал его как свой собственный, но только — многократно усиленный, — голос победоносно звучал

из пробитых осколками уличных громкоговорителей и в заводских цехах, и в “тиши глухих обледеневших зданий”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. Л.: Лениздат, 1979. — С. 161)

В Ленинграде Берггольц и Макогоненко живут на Рубинштейна, 22. Большая квартира, есть даже кабинет для творчества. Известность Ольги приносит ей повышенный паёк и возможность работать на дому. С продуктами перебоев больше не будет. Жизнь войдёт в относительно спокойную колею. Ольга не оставляет попыток забеременеть, но каждая беременность заканчивается выкидышем.

18 января 1943 года советские войска после ожесточённых боёв прорывают кольцо Блокады. Ольга на страницах дневника делится радостью с покойным мужем Николаем Молчановым. Что происходит в ночь на 19 января в Ленинграде — не передать никакими словами.

24 января 1943 года она пишет сестре слова, полные счастья и боли: “... Как я думала о тебе, сестрёнка, в ночь с 18 на 19 января... У нас всё клубилось в Радиокomiteте, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали — правда! И хотя мы знаем, что этот прорыв ещё не решает окончательно нашу судьбу, — ведь, чёрт возьми, так сказать, с другой стороны, немцы-то ещё на улице Стачек, 156, всё же весть о прорыве, к которой мы были готовы, обдала совершенно небывалой, острой и горькой в то же время радостью... Мы вешали всю ночь, без всякой подготовки, но до того всё отлично шло — как никогда... ”

До чего это трогательно было и приятно, что именно сюда, в Радиокomiteт, стремились люди. Одна старушка в пять часов утра встала и шла из Новой Деревни пешком, не в силах дожидаться трамвая, “поговорить по радио”, её выпустили, конечно...

Повторяю, хотя мы ещё накануне кое-что существенное знали и, слыша гром нашей артиллерии, понимали, что он значит, — известие меня ошеломило. Просили, чтоб я написала стихи, — но рифмовать я ничего не могла. Я написала то, что просилось из души, с мыслью о Коле, вставила две цитаты из “Февральского”, — и как будто бы вышло. Когда села к микрофону, волновалась дико, и вдруг до того начало стучать сердце, что подумала, что не дочитаю — помру. Правда. И потому говорила, задыхаясь, и чуть не разревелась в конце, а потом оказалось, что помимо текста именно это “исполнение” и пронзило ленинградцев.

Мне неудобно даже тебе писать об этом, но факт, при этом для меня совершенно неожиданный: на другой день все говорили об этом выступлении (“Вот сказала то, что все мы думаем, и так, как все чувствовали”) — и до сегодняшнего дня я продолжаю получать письма — отклики на это выступление — в стихах и прозе. Некоторые пишут: “Мы сразу после известия о победе стали ждать Вашего выступления — и не ошиблись: мы услышали Ваш уже так знакомый и милый голос, и Вы сказали то, что у всех у нас горело в сердце”. Но что мне действительно приятно — это сообщение Любы Спектор, которая в эти минуты была на Волховском фронте, соединившемся с нашим. Она прибежала ко мне 20.1 и, захлебываясь, рассказывала: “Понимаешь, именно в той землянке, откуда генералы руководили боем, они тебя слушали и ревели, понимаешь, ревели генералы, и бойцы тоже слушали, и все говорили: увидите её — обнимите”. (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 107)

Вот что сказала Берггольц ленинградцам и всей России:

“Здравствуй, Большая Земля!

Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья!

Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые чёрные месяцы Ленинграда — в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: “Мы победим”. Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу Ленинграда. И мы сами, каменея от горя, не в силах даже облегчить свою душу слезами, хороня в мёрзлой земле их без всяких почестей, в братских могилах, вместо прощального слова клялись им: “Блокада будет прорвана. Мы победим!” Мы чернели и опухали от голода, валились от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что день освобождения придёт, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны,

во имя жизни нашего города, и каждый знал, что день расплаты настанет, что наша армия прорвёт мучительную блокаду.

Так думали мы тогда. И этот час наступил – ночь с 18 на 19 января 1943 года.

Мы знаем, нам ещё многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим всё. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу.

Мы знаем, что сейчас с восторгом, с гордостью, со счастливыми слезами слушает сообщение о прорыве блокады вся Россия – вся Большая Земля. Здравствуй, здравствуй, Большая Земля! Приветствуем тебя из освобождающегося Ленинграда! Спасибо тебе, Большая Земля, за твою помощь! Клянемся тебе, что мы будем бороться, не жалея никаких сил, за полное уничтожение блокады, за полное освобождение всей советской земли.

*О, дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты ждала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твоё лицо.
Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слёз своих: теплей
в сердцах у нас, бесслёзных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.
Пусть эти слёзы сердце успокоят...
А на врагов — расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты боя
за всё, за всех, задушенных кольцом.
За девочек, по-старчески печальных,
у булочных стоявших, у дверей,
за трупы их в пикейных одеяльцах,
за страшное молчанье матерей...
О, наша месть — она ещё в начале, —
мы длинный счёт врагам приберегли:
мы отомстим за всё, о чём молчали,
за всё, что скрыли от Большой Земли!
Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер
я расскажу подробно обо всём,
когда вернёшься в ленинградский дом,
когда я выбегу тебе навстречу.
О, как мы встретим наших ленинградцев,
не забывавших колыбель свою!
Нам только надо в городе прибраться:
он пострадал, он потемнел в бою.
Но мы залечим все его увечья,
следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях
выйдем к вам навстречу,
к “Стреле”,
пришедшей прямо из Москвы.
Я не мечтаю — это так и будет.
Минута долгожданная близка.
Но тяжкий рёв разгневанных орудий
ещё мы слышим: мы в бою пока.
Ещё не до конца снята блокада...
Родная, до свидания!
Иду
к обычному и грозному труду
во имя новой жизни Ленинграда.*

(<https://public.wikireading.ru/10609>)

Сейчас действительно сложно понять, почему именно Берггольц стала “блокадной Мадонной”. Не гениальные стихи с точки зрения стихосложения.

Не самый правильный взгляд на партию и власть. Не самый целомудренный образ жизни. Всё — “не самое”. А вот случилось попадание в нерв ленинградского быта...

В декабре 1941-го—феврале 1942-го жизнь ленинградцев вышла за предел человеческих возможностей. И то, что Город выжил, — свидетельство промысла Божьего. День блокадника был поделён на череду маленьких подвигов. Спуститься к реке и принести воды — подвиг; раздобыть дров — подвиг; отovarить карточки — подвиг; не упасть на улице — подвиг. И так каждый день. И в этой череде свершений тихий голос Ольги смог упорядочить распадающиеся куски бытия. Она своими стихами, как клеем, скрепляла блокадную действительность, сосредоточенную в душе каждого отдельного человека. Быт Города вырастает из быта его жителей, каждого в отдельности. И если человек — это микрокосм, целый непознанный мир, то не существует универсального ключа, отмыкающего все духовные засовы. К каждому потребен свой ключик. Но в том-то и секрет Берггольц, что она такой ключ нашла, выточила, сама, может быть, того до конца не осознавая. И люди поверили ей. А значит, и Город повернулся ей навстречу своим высохшим серым лицом.

Сама Ольга сформулировала это похожим образом: “Итак, весной сорок второго года мы бурно, с восторгом переживали возвращение к обычной жизни, — писала Ольга, — и знаете, когда впервые после зимы заплакали ленинградцы, действительно переставшие плакать, не из мужества, а из-за того, что просто не было тех эмоций, которые соответствовали бы тому, что было зимой? Они заплакали на первом после декабря сорок первого года симфоническом концерте — это было пятого апреля сорок второго года, заплакали, потрясённые тем, что вот на сцене сидят люди — не в ватниках, а в пиджаках, и что не просто люди, а артисты, и они... играют на скрипках! Всё, как когда-то ТОГДА, “как у людей”, мы живы, мы даже вот музыку слушаем, которую специально для нас играют специально занятые этим люди. Что играли — было не важно, важно было само, что ли, явление...”

Никогда не позабыть этого первого после той зимы концерта!

... Потом стали копать грядки... Потом стали переселяться, стеклиться, обстоятельно устраиваться жить, в ноябре-декабре сорок второго года стали рождаться в Ленинграде дети, первые новые дети осаждённого города. Прозимовали очень прилично... У нас бытом стало само Бытие, и быт — Бытием, наоборот...” (Там же. С. 111)

Немного коряво, восторженно и даже панибратски, но при этом наиболее точно этот феномен объяснила отдалённая подруга Берггольц — Ольга Хузе, в письме от 12 июля 1942 года: “Родная моя, то, что ты написала, это ж то, что испытано миллионами, — “такими мы счастливыми бывали, такой свободой дикою дышали, что внуки позавидовали б нам”. Ты перестала быть маленькой ленинградской поэтессой — ты стала чувствилищем тысяч и тысяч нас, вот теперь ты стала поэтом.

Такое пишется тогда, когда между поэтом и жизнью ничего нет между, никаких оглядок, никаких мелочных беспокойств о свежести рифм, образов, — тут уверенность в правоте каждого слова, а слово полноценно, весомо, зримо-полновесное зерно, о котором мечтал всегда Маяковский.” (Вспоминая Ольгу Берггольц. — Л.: Лениздат, 1979. — С. 254)

В апреле 1945 года, ровно за месяц до Победы, Ольга Берггольц пишет поэму “Твой путь” — лучшее, что было написано о блокаде во все времена. Она достигает поэтического потолка, выше некуда, выше — только звёзды и небо. В этой поэме нельзя выкинуть ни единого слова, ни единой запятой. В ней — ни строчки о непобедимой Красной армии, партии и зверствах фашистов, но вместе с этим предельно сжатая суть блокады, человека внутри бесчеловечного, — ода любви, силе духа. Ни единой строчки о Боге — и вместе с тем — самое христианское, что было ею написано за всю жизнь. Она в ней пишет о себе, поочередно обращается на “ты” к погибшему мужу и Георгию Макогоненко, так внезапно, так случайно и вместе с тем выверенно, что два любимых мужчины в её жизни сливаются в одно — в один образ, равный Городу. А тысячи неизвестных, погибших в блокаду, не сдававшихся — оживают в неизвестном, вмерзшем в лёд человеке. Он — жуткий и честный символ умерших и съеденных, и вместе с тем — не сломавшихся и выживших. Как Берггольц это сделала, для меня остаётся загадкой — это Чудо поэзии.

*...И на Литейном был один источник.
Трубу прорвав, подземная вода
однажды с воплем вырвалась из почвы
и поплыла, смерзаясь в глыбы льда.
Вода плыла, гремя и коченея,
и люди к стенам жались перед нею,
но вдруг один, устав пережидать, —
наперерез пошёл
по корке льда,
ожесточась пошёл,
но не прорвался,
а, сбит волной,
свалился на ходу,
и вмёрз в поток,
и так лежать остался
здесь,
на Литейном,
видный всем, —
во льду.*

*А люди утром прорубь продолбили
невдалеке*

*и длиною чредой
к его прозрачной ледяной могиле
до марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь
ходить сюда, не говори: “Забудь”.
Я знаю всё. Я тоже там была,
я ту же воду жгучую брала
на улице, меж тёмными домами,
где человек, судьбы моей собрат,
как мамонт, павший сто веков назад,
лежал, затёртый городскими льдами.*

*...Вот так настал,
одетый в кровь и лёд,
сорок второй, необоримый год.*

(Ольга Берггольц. Поэмы.—
Л.: Лениздат, 1974. — С. 105-106)

И — впервые — Ольга смело обращается к самому Городу, узнавая, подтверждая свою случайную избранность. Смело и во весь голос проговаривая вслух те тонкие материи, которые в принципе проговаривать не принято. Но ложная скромность уже не работает в случае поэта, твёрдо знающего, за чем он родился на свет:

*Я счастлива.
И всё яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.
И гордости своей не утаю,
что рядовым вошла
в судьбу твою,
мой город,
в званье твоего поэта.*

*Не ты ли сам зимой библейски грозной
меня к траншеям братским подозвал
и, весь окостеневший и бесслёзный,
своих детей оплакать приказал.*

*И там, где памятников ты не ставил,
где счесть не мог,
 где никого не славил,
где снег лежал,
 от зарев розоватый,
где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришёл,
 чтоб землю вздыбить под могилы,
там я приказ твой гордый выполняла...
Неся избранье трудное своё,
из недр души я стих свой выдирала,
не пощадив живую ткань её... .*

*И ясно мне судьбы моей веленье:
своим стихом на много лет вперёд
я к твоему пригвождена виденью,
я вмёрзла
в твой неповторимый лед.*

(Там же. С. 114–115)

“В письме от 23 апреля 1945 года к сестре Ольга делится переживаниями и радостями, связанными с созданием “Твоего пути”: “Дорогая Муська! Очень, искренне рада, что тебе понравилась моя поэма. Она меня очень вымотала и всё ещё живёт со мной. Я кое-что уточняю, переделываю... Но знаешь, — я же не хвастаюсь перед тобой, — мне всё-таки думается, что эта самая интонация, которая позволила тебе говорить о Маяковском, — налицо: как сказала Ахматова, “властный стих”, — понимаешь, вот это “я”, вот это осознание личности, себя и права своего говорить о себе полным голосом. <...>

Я устала смертельно. У меня всё внутри истончилось, как давно носимая ткань, всё трясётся и готово прорваться. Хотелось бы встретить победу светлой песней, достойной её крови и ужаса, — и не знаю, хватит ли сил... Только что была сводка, что мы “прорвались к Берлину”. Дуся, вчера они были в 4 км от Бранденбургских ворот, на Унтер ден Линден. Сегодня они дерутся в центре Берлина... Муська, обнимаю Берлином! Родная!” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. — М.: АСТ, 2017. — С. 113).

Поэма автобиографична. Николай Молчанов и Георгий Макогоненко. Любовь и Смерть. Всё рядом. Всё до конца. Испытания, заставившие пройти Ольгу сквозь муки ада (физического и внутреннего, ада совести, самокопания и вины) высекали каждое слово этой поэмы ленинградским гранитом: щербатым, холодным, неповторимым и вечным. Выскажу страшную мысль, но, может быть, Город (как сумма земного и метафизического) устоял только потому, что жила в нём маленькая хрупкая женщина, сдерживавшая ад своими стихами.

Критики и недоброжелатели не упустили повода обрушиться на Берггольц. Мотив верности погибшим мужьям в послевоенной литературе стал не высказанным вслух указующим лейтмотивом. Поэтому сама возможность счастья с другим человеком, после того как твой муж умер от голода, не умещалась в партийную линию соцреализма.

“И вот вне всякой связи с постановлением, — писала она в дневнике через год после выхода поэмы, — появился в одной ленинградской газете огромный подвал, где в разнузданно-хамских тонах опорочивались мои блокадные стихи и в особенности поэма “Твой путь”. Писалось текстуально следующее: “В этом произведении рассказывается о том, как женщина, потеряв горячо любимого мужа, тотчас благополучно выходит за другого. Эта пошлая история не имеет ничего общего с героической победой Ленинграда.” (Там же. С. 114)

Мало кто понимал, что никакая критика, никакие постановления и осуждения не могли вынести Ольге приговора тяжелее, чем вынесла она себе сама.

“Когда поэма уже вышла, Ольга, перечитывая свой военный дневник, записывает: “Где-то затерялся день, когда однажды Коля немисливо нежным голосом уговаривал, молил меня: “Оленька, уедем, солнышко, Псоич,

уедем...” Я сидела рядом с ним на кровати, положив ему голову на грудь, и сказала только: “Ладно, уедем”.

Как он собирался, как складывал все в мешки, сшитые им же крупными, чёрными стежками. Он чувствовал, что гибель подходит к нему. А у меня это только до ума доходило, а до сердца — нет. Чёрствое и легкомысленное оно было.

И неверным он выглядит из этих записок. Да, он и жалок был, и оголодал дико, но в то же время — сколько доброты и кротости в нём было, и весь он жил мыслью — спасти меня, увезти. Ведь он и от Юры хотел меня увезти — я знаю, я и тогда догадывалась об этом.

Господи, только бы не забыть ничего.

Пусть мучит его лицо, его облик весь, пусть совесть терзает всё так же гуче, как посейчас, только бы не забыть ничего.

Добрый мой, прекрасный, мука моя пожизненная и отрада, — не уходи из меня.

ЛЮБОВЬ МОЯ,
ВЕЧНАЯ КАЗНЬ МОЯ,
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ МОЯ”. (Там же. С. 114)

После войны, после Победы, когда все испытания были пройдены, когда пришла по-настоящему всесоюзная слава, когда Берггольц обрела ясный и звонкий поэтический голос, случился надлом. Как это произошло? Что стало последней каплей? Лучше всего на эти вопросы отвечает сама Берггольц в автобиографии.

“Вино я пила и до войны, и во время войны — эпизодически, в компании. Средством утешения и забвения оно для меня не было... сил ещё было много и до знаменитого бублика, съев который после двух калачей чувствуешь себя сытым по горло, — было ещё далеко. Но дело не в вине. Дело в жизни, о ней и буду продолжать писать. К <19>46 году у нас был уже уютный, красиво и хорошо обставленный дом, хлебосольный, любимый друзьями, всё более совершенствующийся, требующий всё большего внимания хозяйки. Мы оба с любовью им занимались (...) Но уже с начала <19>46 года призраки стали возвращаться (...)

Затем, в августе 1946 г<ода>, известное постановление ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ленинград”.

Я, как и все писатели, не была к нему подготовлена — надо было много продумать, понять, а сначала оно меня ошеломило. Кроме того, Анну Ахматову я знала с 18 лет, дружила с ней, любила её и её стихи, и все об этом знали, и хотя я никак не упоминалась в Постановлении, и хотя моё творчество прямо противоположно ахматовскому, вокруг меня в Лен<инградском> отд<елении> Союза писателей начали некоторые братья-писатели и критики поднимать свистопляску. Среди них были и те, которые исключили меня из партии в <19>37 году. За 9 истекших с того времени лет имена их не стали широко известны советскому читателю, а моё, к их прискорбию, стало (...)

Потом, так как я не “разоблачила” Ахматову, меня отовсюду повыгоняли — из Правления, из редсовета издательства, выступление моё по поводу постановления на решающем собрании — ленинградская печать признала “неправильным”, “несамокритичным” и т. п., и т. п., мою книгу “Избранное”, включённую в “Золотую серию” к 30-летию Октябрьской Революции, ленинградский союз с восторгом вычеркнул из списка. И открылись во мне раны <19>37—<19>39 гг... И вот, вкпе с общими и другими ощущениями, — это был тот самый бублик. (...)

Правда, через некоторое время московский секретариат Союза писателей, в частности, лично А. А. Фадеев, затем покойный Всево<лод> Вишневский и вообще весь секретариат исправили ленинградские перегибы: статья о моих стихах была квалифицирована как хулиганская, сборник “Избранное” Москва включила в свой план, книга редактировалась в Москве и была издана в “Золотой серии”. (...) Сразу после Постановления я взялась, с помощью Юры, за большую работу. Мы написали пьесу на послевоенную острую тему, честную, правда, не лишённую чисто драматургических недостатков. На Всесоюзном закрытом конкурсе она получила вторую всесоюзную премию. В конце <19>47 г<ода> состоялась премьера в Большом драматическом <театре>

в Ленинграде. Премьера, на которой было всё начальство города, прошла с шумным успехом, зрители были очень довольны – через несколько дней в ленинградских газетах появились статьи, где в пух и прах с чисто шулерскими передержками разносили пьесу, обвиняя нас в “клевете на рабочий класс” и т. д., и т. д. Как мы выяснили, господину Попкову, бывшему на премьере, не понравилось, что у одной из наших героинь, работницы-стахановки, была личная драма. (Попков Пётр Сергеевич – Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), 26 марта 1946 года – 15 февраля 1949 года. – Прим. авт.) Этого недовольства оказалось достаточно, чтобы снять спектакль и вместо критики начать травлю. Даже ленинградское отделение Союза писателей на специальном собрании, посвящённом обсуждению пьесы и статей, с единодушным возмущением осудило появившиеся статьи. Об этом, разумеется, нигде напечатано не было.

К концу <19>48 года я закончила трагедию в стихах, пять актов с прологом, – о Севастополе. (трагедия “Верность”. – Прим. авт.) Покойный А. Я. Таиров и Алиса Коонен заявили, что такой трагедии они ждали много лет, что это будет их “лебединая песнь”. Театр принял трагедию, увлёкся ею. Н. П. Охлопков прочёл и стал уговаривать меня отдать эту вещь “только ему”. Главрепетком запретил трагедию “за мрачность” и “искажение действительности”, Комитет по делам искусства заявил, что не согласен с запрещением, но просил меня “сделать трагедию повеселее”. Я ответила, что с созданием такого новаторского жанра, как “весёлая трагедия”, заведомо не справлюсь и положила её в стол. Она “отлежалась”, я её всё же доработаю, превратив в драматическую поэму. Она написана в результате нашей поездки в только что освобождённый Севастополь в <19>44 году, после ликвидации блокады, её тема – “великое доверие народа к Советской власти в период отчаянного положения” – то, о чём говорил Сталин в известном своём тосте.

В начале <19>49 года я взялась за поэму “Первороссийск”, задуманную и начатую даже ещё до войны. Юра в это время выпускал свою книгу о Радищеве, она выходила в Москве. (...)

Он нанял дачу, далеко от Ленинграда, на Карельском, утащил меня туда, мы жили там весь сентябрь. (...)

Там, в <19>49-м на даче, я всё же начала писать “Первороссийск”, вцепившись в него, как в спасательный круг. Писала запоем, меньше чем за год написала 2000 строк, не считая множества вариантов, вложила в поэму всё, во что свято верила и верю, что люблю бесконечно, чем жила и живу.

С июля <19>50 года началось прохождение поэмы по редколлегии и ответственным инстанциям; дельные советы, необходимые по советам переработки и доработки перемежались изнурительным отстаиванием того, в чём автор был убеждён и не хотел портить... Отняло это у меня столько нервов, что не сосчитать. Всё время при этом ощущала – уже потребность – в определённом допинге. Последний, 1951 год, несмотря на читательский большой успех “Первороссийска”, а затем получение Сталинской премии, был в отношении “допинга” самым тяжёлым. (...)

Может быть, всё это вышло по формуле Достоевского – “страдание есть – виновных нет”. (Ольга Берггольц. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. – Л.: Художественная литература, 1990. С. – 494–496)

Автобиография написана весной 1952 года по просьбе врача Психоневрологической больницы на 15-й линии Васильевского острова Якова Львовича Шрайберга. Именно он осознал её ценность и впоследствии передал в Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). В клинике Ольга лечилась от алкогольной зависимости.

С 1947 года, после получения денежной премии за пьесу “Они жили в Ленинграде”, в семью приходит достаток. Ольга обустроивает дом роскошными предметами мебели, даёт обеды для друзей с обилием деликатесов, без оглядки шикует, словно всё существующее – в последний раз. С Макогоненко возникает некоторая двусмысленность в отношениях. С одной стороны, он популярный преподаватель университета, молодой, красивый, аспирантки и студентки выютя вокруг него толпой. С другой – уязвленное самолюбие мужчины, его не устраивает роль всего лишь “мужа Берггольц”. И, конечно, тень Николая Молчанова незримо присутствует в их доме.

Александр Крон в своих воспоминаниях не обходит тему “допинга”: “Застолье в доме на улице Рубинштейна никогда не было пустой болтовнёй,

говорили о жизни и о литературе, было весело, и всё-таки, вспоминая наши встречи, я не могу отделаться от укоров совести, не думать о том, как мы, друзья, нежно любившие Ольгу, мало её берегли, как скоро мы привыкли к тому, что Оля – “свой парень”, и забывали, что она всё-таки женщина, притом многое пережившая, с незалеченными травмами, с необыкновенно тонкой, легко возбудимой нервной организацией, и не всегда понимали, что Ольга заметно отличается от нас, в большинстве своём здоровенных мужиков, своей незащищённостью. Ольга ни в чём не знала удержу и беречь себя не умела”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. С. – 176-177)

Изменяется и тональность дневниковых записей Ольги Берггольц. Они становятся... не унылыми, нет – усталыми! Возникает мания преследования.

“29 января 1948. Сижу и думаю над моей жизнью – и всё более странной, мучительно-странной кажется мне она. В сущности – она катастрофична: такое счастье, как две мои дочки, – и их страшная гибель. Коля – и страшная его гибель. Настоящая, народная, честнейшая, всей правдой и только правдой заработанная слава – и непрерывное ожидание кары за неё, удара сверху, это имеет основания и в общей судьбе искусства, и в том, что “наверху” не только, т<о> е<сть> не санкционировали эту славу, но демонстративно не признают её, – замалчивая меня в течение ряда лет или глупо ругая, не награждая, не выдвигая, – т<о> е<сть> не соблюдая элементарных традиций. Это бы – плёвое дело, если б за всем этим не стояла “угроза каторгой”. И я, как щедринский тип, который не известно за что сосчитан “злодеем”... трепещу ежемгновенно и прежестоко, – а почему, собственно?! За что этот вечный страх, отравляющий жизнь? Эти уши и глаза – всюду, всюду...” (Н. А. Громова. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы. – М.: АСТ, 2017. – С. 127)

7 ноября 1948 года умер отец её, Фёдор Христофорович.

В 1949 году начинается печально известное “ленинградское дело”, которое рикошетом затрагивает и Берггольц: книги о Ленинграде убирают с полок магазинов, разгоняют и закрывают Музей обороны и блокады Ленинграда, книга Берггольц “Говорит Ленинград” оказывается под запретом. Москва стремительно, одним махом решает уничтожить героико блокады, вытравить саму память о ней как о подвиге сотен тысяч жителей, рабочих, солдат. За изъятием книги в сталинское время обычно следовал арест. Ольга с Юрием Макогоненко решают уехать из Ленинграда на дачу.

“31 октября 1949. ... Ощущение погони не покидало меня. Шофёр, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, – а мне показалось – он ждёт “ту” машину, кот<орая> должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись: “Вот эта... Нет, проехала... Ну, значит, – эта?”

Уже за Териоками, в полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. “Эта”. Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась – идёт сзади. “Она”. Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это – луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой... Дорога идёт прямо, и она – всё время за нами. Я чуть не зарыдала в голос – от всего.” (Там же. С. 130)

В эти дни на рукописных тетрадках Ольгиных дневников появляются несколько сквозных дыр. Опасаясь возможного обыска, Макогоненко прибил их молотком к тыльной стороне скамейки.

На этот раз беда прошла мимо.

Весной 1952 года Ольга с группой писателей была направлена на строительство Волго-Донского канала, на завершающую его стадию. Канал возводили трудом пленных немцев, заключённых и малой части наёмных работников. После возвращения она записывает в дневнике: “Путь с Карповской в Сталинград, зимой после пуска станции: во вьюге свет машины выхватывали строителей, которых вели с торжества с автоматами наперевес... и окружали овчарки. В темноте, под вьюгой. Сидела в машине, закинув голову, и куда-то глубоко внутрь, как свинец, текли слёзы. За стёклами машины шёл мой народ, 90% из него были здесь ни за что... Чего они удивляются, что я запила после этого? Если б я была честным человеком, мне надо было повеситься или остаться там”. (Там же. С. 135)

После возвращения с Волго-Дона Ольга уходит в запой и попадает в психоневрологическую больницу. Вот он, последний бублик после двух калачей...

Стихи, вошедшие в цикл “Волго-Дон”, безусловно, написаны “эзоповым языком”, по-другому Ольга не могла, но в опубликованных строчках чуткие критики уловили “отсутствие пафоса радостного созидания”.

*И вздрогнул свет, чуть изменив оттенок...
Мы замерли — мотор уже включён!
За водосбросом, за бетонной стенкой
всхрапнул и вдруг пошевелился Дон.*

*И ключьями, вся в пене, ледяная,
всей силой человеческой сильна,
с высокой башни ринулась донская —
в дорогу к Волге — первая волна.*

*...Я испытала многие невзгоды.
Судьбе прощаю всё, а не одну —
за ночь,
когда я приняла с народом
от Дона к Волге первую волну...*

(Там же. С. 136)

И уже в психиатрической клинике беспощадные к самой себе и своей стране слова: “. . . А внутри всё голосило от бешеного протеста: как?! Так я вам и выблюю в ведро всё, что заставило меня пить? И утрату детей и самой надежды на материнство, и незаживающую рану тюрьмы, и обиды за народ, и Николая, и сумасшедший дом, где он погиб, и невозможность говорить правду, и сомнения в Юрке (уже знала об его пошлейшей измене в 1949 году, и очень это болело), — и вот всё так и остаётся кругом, и вы думаете, что если я месяц поблужу, то всё это во мне перестанет болеть и требовать забвения? Ну, куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы живём, которой не видно никакого конца? Как же мне перестать реагировать на неё? Кем же мне стать? Ничего, кроме отвращения к человеческой тупости, ощущения какого-то бездонного расхождения с обществом, — конкретно, с “лечащими” меня людьми, — сестрой, приятелями, частично с мужем, — это “лечение” мне не принесло. И ещё — глубокую грусть: оттого, что никак не объяснить им, что лечить меня от алкоголизма — не надо. Не объяснить по странной стыдливости и потому, что всё равно не поверят и не поймут. Хотя я и пыталась. Муська, очень любящая меня, кричала: “Я не могу для тебя изменить государственную систему”. А в ней-то главное дело и было. “Я хочу быть в мире с моей страной”, — и было почти невозможно. Видит бог, как я пыталась быть с ней в мире, — хотя бы, не закрывая глаз на Волго-Дон, пытаюсь писать о том свете, который в нём заключался, — о людском бессмертном труде. Но каторга оставалась каторгой, и вся страна и физически и духовно (о, особенно духовно!) была такой, и не только мирясь, но и славя её, я гнала и знала, что я лгу, и мне никогда было не уйти от сознания своей лживости, — даже в водку. И в водке это сознание достигало острейшего предела, пока не потухало сознание общее”. (Там же. С. 139)

Лечение не помогает.

“Последние события, — партколлегия, привлекающая якобы за “недостойное поведение” — за пьянство, с подъёмом всего <19>37—<19>39 г<одов> “упаднического творчества” и т. д., с доносами . . . наконец, сентябрь <19>52 г<ода>, когда я вошла в страшнейший запой, и этот звонок, анонимный, правда, когда мне сообщили, что у Юры любовница, и занесение меня в чёрные списки перед съездом, и Юрина декларация — “как женщина, ты мне давно противна, я себя искусственно настраивал (как будто бы я сама этого не замечала!). Хочешь вешаться — вешайся. Исключат — пусть исключают. Посадят — пусть сажают. Я на тебя насрал”.

Когда Ольга абсолютно теряет контроль над собой, ей на помощь приходит мать. О том, что творится у дочери дома, Мария Тимофеевна пишет Ирине Гурской: “3/XII <19>54 г<ода>. Сейчас пришла от Ольги. Ирина дорогая, мне кажется, что и я заболеваю! Что творится! Прихожу к Ольге. Макогоненко дома нет. Вхожу в её комнату. Лежит она на постели и, свесив голову, шарит рукой около постели. И спрашивает домработницу слабым пьяным голосом: “Зина,

а моё тут стоит? — Да, да стоит около вас”, — отвечает домработница. Я подхожу и вижу: стоит большая бутылка коньяку, в бутылке уже немного. Это уход за ней дома такой. Чтобы она не ушла. Так две домработницы и говорят: “Хозяин уходит, только так её и успокаиваем”. Я знаю много случаев, что так делалось и по его распоряжению... Ведь её запой — это не распутство, а тяжкая болезнь, и без врачебной помощи она погибнет”.

С 1952 года попадание в больницу после тяжелейшего запоя, когда уже нет сил самостоятельно из него выбраться, становится регулярной историей. Ольга разрушается нравственно и физически. Алкоголь давал ей ощущение свободы, возможность паясничать и в лицо говорить всем самую неудобную правду, поносить начальство и партию. Её пьяные выходки были на слуху всей литературной общественности Советского Союза. Одну из таких выходок вспоминал Даниил Гранин, когда к нему пришла бумага из КГБ с требованием исключить Берггольца из партии: “Бумага была письмом из Комитета госбезопасности. Группа сотрудников сообщала, что они из своего дома отдыха поехали на экскурсию в Дом творчества писателей в Малеевке. Приехали. На ступенях подъезда стояла Ольга Бергголец, узнав, что они из КГБ, она потребовала, чтобы они убирались вон: “Вы нас пытали, мучили, а теперь ездите к нам в гости, катитесь вы...” И далее следовали с её стороны нецензурная брань, оскорбления. Это была не просто пьяная выходка, заявили они, это политический выпад, недопустимая клевета на органы... в заключение они требовали принять меры, считали, что такой человек не может быть членом партии, что это идёт вразрез...”

— Так что надо будет вам её исключать из партии.

— Это как? Нам? — сказал я. — Почему нам?

Сознаюсь, это было самое глупое, глупее не придумаешь, но это было первое инстинктивное движение отпихнуться.

— Согласно уставу партии, — сказал Козлов.

Я пришёл в себя:

— Нет, мы не можем.

— Это почему?

— Потому что у нас её не исключат.

— Как так? Организовать надо. Мы обеспечим.

— Нет, не получится, — это я сказал уже уверенно — Нельзя её исключить.

— Что за персона, всех можно, а её нет? Не таких исключали.

Я любил Ольгу Фёдоровну, любил с первого дня, как увидел её, даже ещё до этого, я полюбил её и продолжал настаивать на своём: “Она символ, символ блокады, нельзя блокаду лишать символа”. Слово это, тупо повторяемое, как ни странно, озадачило... Ольге поставили на вид”. (Г р а н и н Д. Причуды моей памяти. — СПб, 2011. — С. 99)

Трещит по швам брак с Макогоненко. С 1952 года всё катится в пропасть, набирая скорость с каждым прожитым годом. Макогоненко изменяет, Ольга прощает и снова сходит с ума от ревности. Пьёт запоями. Лечится. Снова пьёт. Наконец, в 1959 году он окончательно от неё уходит: от другой женщины у него рождается дочка. Другая женщина дарит ему радость отцовства — то, что Ольга была подарить не в силах. Это был конец, окончательный разрыв. А расставшись с мужем, мысленно Бергголец возвращается к Николаю Молчанову, убеждая саму себя, что её тогдашняя измена в 1941 году стала (неявно, но на высшем, небесном уровне) причиной его гибели.

После разрыва с Макогоненко Ольга редко появляется на людях, запирается в своей маленькой комнате, как в скорлупе. Мало пишет. Уходят в иной мир лучшие друзья.

В 1974 году Лев Левин и Александр Крон навещают Берггольца в её квартире. Вот как вспоминает эту последнюю встречу Левин: “Я не видел Ольгу около четырёх лет. Она катастрофически переменялась. Передо мной лежала старая женщина, почти ничем не напоминающая прежнюю Ольгу. Разве только смеялась она ещё по-прежнему.

Мы с Кроном незаметно переглянулись. По выражению его лица я понял, что он думает о том же самом. (...)

После нескольких глотков коньяка Ольга оживилась, на лице появился слабый румянец. Она едко иронизировала по поводу некоторых наших общих знакомых. На мгновение возникла прежняя Ольга — умная, злая, острая на язык. (...)

На прощание Ольга подарила каждому из нас свою пластинку, недавно выпущенную фирмой “Мелодия”.

Придя в гостиницу, я прочитал надпись: “Другу юности, зрелости и нынешних лет”.

“Нынешних лет”, – невольно повторил я. Употреблять более уместное в данном случае слово “Старость” Ольга не захотела.

С одной стороны бумажного футляра, в который была упакована пластинка, на меня смотрела Ольга времён нашей юности и зрелости – золотоволосая, с умным и весёлым взглядом, с неповторимой, единственной на свете золотисто-льняной прядкой, падающей на высокий и чистый лоб.

Такой запечатлел её в 1950 году Натан Альтман.

Такой я помню и буду помнить её до конца моих дней.

Ольгу “нынешних лет”, лежавшую в январе 1974 года в своей квартире на Чёрной речке, я всячески стараюсь забыть”. (Вспоминая Ольгу Берггольц. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 90-91)

Она умерла 13 января 1975 года, ей было шестьдесят пять лет. Похоронили её на Волковом кладбище, рядом с писателями Петербурга – Ленинграда, хотя сама Берггольц просила похоронить её на Пискаревке.

Город выбрал её – одну из сотен тысяч, вознёс на вершину народной любви, отобрал самого любимого и дорогого человека. И одно из своих последних стихотворений Ольга посвятила Ленинграду:

*Теперь уж навеки,
теперь до конца
незыблемо наше единство.
Я мужа тебе отдала, и отца,
и радость свою — материнство.*

*И нет мне дороже награды,
чем в годы военной угрозы
моих благодарных сограждан
скупые и светлые слёзы...*

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

СТОНЫ СТРАНЫ

Писатель в Думе

Так получилось, что в Думе я депутат от четырёх сибирских регионов. Но просят о подмоге люди со всей страны.

Предлагаю читателям горячо любимого “Нашего современника” заметки о том, что удаётся сделать и с какими бедами приходится иметь дело, и чего хотелось бы добиться. Такое вот, быть может, продолжение народнической линии русской литературы.

И ещё. Всегда можно ко мне обратиться, и там, где это в моих силах, рад буду пособить. Мой электронный адрес: shargunov@list.ru.

Ваш Сергей Шаргунов

Отогнать убийственную волну

С 2000 года волной “оптимизации” на селе снесено свыше 20 000 школ. Но над сколькими нависает эта волна!

У нас же около 40 миллионов сельских жителей.

Надо рассказывать о каждой школе, на которую легла тень обречённости. Что я и делаю. И рассказываю о тех школах, которые удаётся отстоять.

Хочется думать, что официальный запрос на депутатском бланке и огласка в федеральных СМИ – это то, что не в последнюю очередь заставляет местных чиновников притормозить.

Например, удалось (вместе с родителями, учителями и детьми) отстоять Заклинскую школу Дновского района Псковской области.

А вот ещё Вятка, откуда все мои предки по отцовской линии.

Яранский район Кировской области. Школы в деревне Пушкино и селе Никола. Приговорённые к закрытию.

Я составлял запросы, вспоминая стихи Рубцова:

*Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!*

Ответное письмо от правительства Кировской области:

“Администрация Яранского района отменила своё решение о ликвидации вышеуказанных образовательных организаций”.

Таков официальный ответ: школы спасены. Обещано от них отвязаться.

Нельзя относиться к нашим сельским людям, как к лишним и ненужным, но безропотным и безответным. На днях прозвучали восклицания вице-преьера о “катастрофической убыли населения”. Всё взаимосвязано: условия

жизни и уход из жизни. А потом на фоне кладбищ выжившим объясняют, что их слишком мало и их больницы, ДК, библиотеки, школы слишком дорого обходятся государству.

Нельзя скупиться вкладываться в село, в образование, в судьбы людей. Нельзя, постыдно, преступно.

В России закрыто множество школ. Множество приговорено. Бороться надо за каждую.

Был болен, и сэкономили на мне...

Не хочется о грустном, но, с другой стороны, это же моя обязанность – рассказывать о ней, о России для грустных. И стараться ей помочь.

“Был болен, и вы посетили меня”, – евангельские слова звучат естественным паролем милосердия. Нормальное человеческое сообщество не может обрекать на страдания и смерть тех, кто болен.

В Дубне неизлечимо больную девушку Сашу Комлеву лишили статуса инвалида и всех положенных льгот на лечение и приобретение лекарств.

Несколько лет назад у Саши обнаружили болезнь Крона. Девушка передвигается на костылях и часто впадает в обморочные состояния. Каждый шаг – через боль. За полтора года Саша лежала в больнице 14 раз.

24 мая ей исполнилось восемнадцать, и её поздравили, сообщив: “Тебе же стало лучше, дальше лечись сама”. Областное бюро медико-социальной экспертизы не продлило ей инвалидность.

Саша живёт с отцом, он слесарь, зарабатывает 35000. А надо делать уколы. Тратить на медикаменты минимум 100 тысяч рублей в месяц. Для семьи – сумма неподъёмная. За некоторыми аналогами приходится ехать в Москву. Каждые полгода Саше необходимо проходить обследования, многие анализы небесплатны, а ещё ей предписаны пять реабилитационных курсов для ног. Врачи говорят, что иначе Саша снова окажется в инвалидной коляске и уже с неё не встанет. Теперь от многих лекарств приходится отказываться...

Жестокости чиновников все возрасты покорны.

История Саши Комлевой – одна из множества. По всей стране люди проходят круги ада, доказывая, что не выживут без медицинской помощи.

Если у больного начинается ремиссия, если ему стало чуть легче, его лишают инвалидности и снимают с довольствия лекарствами. И тогда становится хуже. Кошмарный круговорот.

Нужно менять законодательство. Я обратился и в Минздрав, и в Министерство труда и социальной защиты (почему-то так получается: ему в большей степени подотчётно пресловутое бюро медико-социальной экспертизы, чьи специалисты оказываются выше врачей, которые ведут пациента всю жизнь). Ещё два года назад правительство просили уточнить функции этого БМСЭ, где едва ли есть интерес поддерживать больных и просто признавать их больными. Пока никакой реакции.

Что всё это значит? А то, что здоровье и жизнь слабых, больных и беззащитных не хотят поддерживать.

И несётся над страной пароль нашего времени: “Был болен, и сэкономили на мне...”

“Женщины рожают только днём”

Ещё одно подлое решение удалось остановить. Повернуть вспять ещё одну убийственную волну.

Весной я получил обращение от медработниц Анжеро-Судженской городской больницы Кемеровской области. Они, удивительное дело, оказались не рады тому, что их лишат и без того скромных зарплат. Более ста человек – санитарок и младших медсестёр – решено было “оптимизировать” и привести к “профессиональному стандарту”.

Это такая сладкая формулировка, а ведь им просто указали на дверь. На дверь в пропасть.

В обращении сотрудниц ГАУЗ КО “Анжеро-Судженская городская больница” констатировалось: “Онкологическое отделение полностью лишается младшего медицинского персонала, акушерское и оперблок – почти полностью. Это на больницу, обслуживающую около 80 тыс<яч> населения города (не считая районы). Считали и считаем, что данное решение нарушает трудовые

права работников, а также право населения на медицинскую помощь в соответствии с действующими федеральными нормами и правилами”.

— У нас женщины рожают только днём, поэтому ночью нам санитарки в роддоме не нужны! — заявила уволенным главврач.

Одних медсестёр перевели в уборщицы, других выгнали сразу. Согласились с этим далеко не все, некоторые даже объявили голодовку. Тогда посыпались угрозы и тем, кто ропщет, и их родне. А местные власти даже позлоурядствовали: так и надо бесполезным и ненужным, лишние рты...

Но люди не сдались. И вот — кое-чего добились.

После моих запросов и протестов медработниц пришёл наконец-то подробный прокурорский ответ.

“Выявлены нарушения трудовых прав сотрудников больницы. В отношении руководства больницы возбуждено три административных дела, по итогам которых назначены наказания в виде предупреждения и штрафов”. Установлено, что женщины трудились без положенного отдыха, переведённых в уборщицы всё равно заставляли выполнять работу, за которую положены другие деньги.

А недавно санитарок и младших медсестёр Анжеро-Судженской больницы начали знакомить с приказами об отзыве уведомлений об их увольнении. Людей возвращают на должности, где тяжкой работы — море, а зарплаты копеечные, но всё-таки это торжество справедливости.

Теперь надо добиться возвращения всех уволенных. Намерен помогать в этом по максимуму.

Погорельцы

“Человек из Подольска”, — хорошая пьеса Дмитрия Данилова. Люди из Подольска, недавно обратившиеся ко мне, тоже достойны пьесы — трагической и абсурдной.

Погорельцы из Подольска не могут получить жильё. Дом по улице Плещеевской был почти полностью уничтожен огнём уже 11 лет назад, и всё это время здесь вынуждены жить семьи с детьми. Возгорания случаются постоянно. Люди живут в страхе. Но мучения в обугленных стенах предпочитают переезду в тесноту так называемых “временных комнат” с текущими потолками.

Ольга Дикова, чья квартира сгорела дотла и чья семья признана “малолетней”, пришла на днях на приём. Молодая мать двоих детей. Женщина из Подольска. Местные чиновники пытаются запихнуть её с детьми в клетку в коммуналке — навязать жильё в два раза меньшее положенного по закону.

Ещё погорельцы... Есть такой город Среднеуральск на берегу Исетского озера.

Огонь оставил без жилья восемь семей. Которые раскиданы по всему городу. Живут, где получится. Ютятся, теснятся... Сначала обитали в промёрзшем общежитии, теперь целыми семьями снимают одну комнату, в неё набившись. И каждый день рассылают жалобы все эти пять лет.

Через прессу они обратились в администрацию Среднеуральска с просьбой организовать встречу с главой города. Пока не дождались ни конкретного ответа, ни приглашения.

Одна из погорелиц, Анна Загрядская, делится с прессой: “Обращались к нашим местным депутатам — от них никакого толка. В сентябре 2018 года написали в Москву Сергею Шаргунову. Он нашёл кучу нарушений по нашим документам и передал дело в суд. В итоге появилась обнадёживающая информация, что нас расселят. Но не обманут ли?”

Рад помогать.

Моя помощь — официальные запросы и огласка. Иногда получается помочь быстро, иногда не сразу, иногда приходится лупить в стену опять и опять.

А люди ждут, измученные бесправием и беззаконием.

Отморозки пытаются холодом

Весной во время приёма в Улан-Удэ ко мне пришла женщина со словами отчаяния и листами обращения, под которым более 800 подписей. К людям зимой вламываются в дома и спиливают батареи. И оставляют в холоде — и детей, и стариков. И так массово, повсеместно.

Я поначалу даже не поверил. Нет, рассказала правду.

Речь о масштабном бандитизме в отношении незащищенных людей – иначе не скажешь. Крики, плач детей, дюжие налётчики расшвыривают хозяев, визг “болгарки”, искры...

Начнём с закона. По закону и по правилам предоставления коммунальных услуг, лишать отопления вообще не имеют права. Потому что можно погубить людей.

Впрочем, для губителей здоровье и жизни тех, кого губят, – пустяки.

В стране очень много бедствующих, у которых возникают задолженности за коммуналку. И что, их всех уничтожить, обречь на вымерзание?

Оказывается, каждый второй разбойный налёт “коммунальщиков” происходил в семьях с несовершеннолетними детьми, пенсионерами, инвалидами. Но и после того, как батареи спиливали, с людей продолжали требовать новые суммы за отопление. А затем арестовывали последние копейки на пенсионных счетах.

Проще говоря, выбивали плату по несуществующим мнимым долгам, по бандитски поставив на счётчик.

Собрав все вопиющие факты этого беззакония, я обратился в Генеральную прокуратуру. Велась сложная переписка. Возбудили дела. Потом, как следует из совсем свежего ответа Прокуратуры, “следствием не было принято исчерпывающих мер по установлению обстоятельств незаконного демонтажа приборов отопления в жилых помещениях”.

Такой вот гладкий язык официоза, а в реальности – стальной визг, снопы искр, попытки согреться в одеждах и одеялах, кашли и хрипы, дрожь безнадёги... Что это за жизнь, если в твоём собственном доме лежат нелепыми обрубками батареи и хозяйничает смертельный холод?

Итак, совсем новые сведения от Прокуратуры.

О той справедливости, которой удалось добиться.

Коммунальщиков заставили сделать перерасчёты платы за тепло на общую сумму около пяти миллионов рублей для 109 жителей Улан-Удэ и свыше трех миллионов рублей для потребителей из посёлка Каменск Кабанского района. Вся задолженность аннулирована. В 106 домах Каменска и Улан-Удэ вновь подключены приборы отопления – обратно поставлены батареи.

Да, чего-то удалось добиться. Но почему по-прежнему так невесело?

Машина выживания

В феврале было обращение тяжелобольных пациентов городской больницы Соликамска Пермского края. Они жаловались на условия их перевозки для прохождения гемодиализа. Как известно, это метод очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности.

Эту жизненно необходимую процедуру люди еженедельно проходят в городе Березники, от Соликамска по трассе им ехать 30 километров.

До января больных перевозили на специальном транспорте, оборудованном электроподъёмником для колясочников. А потом перестали. Три раза в неделю они вынуждены были на колясках самостоятельно закатываться и выкатываться из машины без посторонней помощи.

Измученных людей запугивали: будете жаловаться – никакой машины вообще не будет, отберём и ту, что есть.

Прокуратура Пермского края отреагировала на мой запрос и провела проверку Соликамской больницы.

Результат проверки: в действиях лечебного учреждения выявлены нарушения действующего законодательства, а именно “необеспечение надлежащей перевозки инвалидов”. Главврачу больницы было вынесено представление.

31 мая пришло очередное письмо из Соликамска: “Обещанную машину так и не дали. Обманули больных. Каждая их поездка превращается в настоящий кошмар. А они ждут!”

Пришлось звонить начальствующим Пермского края. Вот она эта машина – на фотографии. Наконец-то её получили люди. Буквально на днях.

Не самое великое достижение? Конечно. Но большая радость – облегчить страдания тех, кому и так плохо.

Безвоздушное пространство сиротства

Это не то, что станут увлечённо обсуждать в соцсетях. Но это вопросы жизни и смерти для наших людей. Самых несчастных. Оставшихся без родни.

Где и как живут “воспитанники детдомов”?

Должны жить в своих домах, если по закону.

В реальности те, у кого нет близких, выходят в безвоздушное пространство сиротства.

Их (это официальные данные) – почти 270 000 по стране. Тех, кто попадают на улицу после казённых учреждений. И количество бездомных сирот растёт!

Они приходят ко мне на приём, пишут письма. Некоторые пытаются судиться с государством, отстоять право на жильё и жизнь. Я спрашивал об их судьбах у премьера.

Они – обречённые. Их дома – вокзалы и зоны. Предоставьте им хотя бы социальное жильё, общаги, дайте крышу над головой. Вождённые “квадратные метры” получают совсем немногие. Например, в Забайкальском крае было 7695 сирот без жилья, за год стало 8059, и лишь 282 человека обрели квартиры. Вопрос ещё: какие?

Сейчас занимаюсь историей сирот из Кормиловского района Омской области. Там им будто в издёвку наконец-то выделили жилища, но аварийные. Отсутствие отопления, огромные трещины в стенах, проблемы с канализацией и электричеством, из-за чего случился пожар. Спаслись чудом. Ребятам пришлось съехать, теперь опять мыкаются без своего угла.

Да, опасное и непригодное жильё по всей стране дают, прежде всего, юным страдальцам, безответным Божьим людям. Буквально по пословице: “Вот тебе, Боже, что нам негоже”.

И ещё кое-что, что не станет поводом для горячего обсуждения нигде. Только что стало известно, что множеству сирот по всей стране, тем, кому должно было повезти, не выдали положенное жильё из-за небрежности чиновников, ошибки в ведомственных документах. В договорах, заключаемых между Минпросвещения и субъектами России, указывается специальный бухгалтерский код. Но по причине бюрократической беспечности или равнодушия выделенные средства “не были освоены и вернулись в бюджет”, а ожидающие квартир дети-сироты продолжают ждать. Так произошло в 66 регионах РФ.

Уже направил необходимые запросы.

Главный вопрос – почему не приняться всерьёз за спасение молодых судеб? Все нужные законы и бюджетные поправки внесены. Необходим единый орган власти, который займётся этой бедой. Без него и случаются “ошибки” в документах, только усиливающие у брошенных всеми ощущение собственной ненужности.

Острая лекарственная недостаточность

Всё чаще пишут мне о лекарствах. С лекарствами – беда. Жизни под угрозой.

Счастлив, когда получается помочь.

Некоторое время назад обратилась жительница села Мамонтово Алтайского края, молодая мама девочки Марии, страдающей муковисцидозом.

Для поддержания жизни и уменьшения страданий ей необходимо постоянно принимать лекарства, положенные бесплатно. Но в местной больнице таких лекарств не оказалось.

По депутатскому запросу прокуратура Алтайского края провела проверку и выяснила, что руководство больницы ненадлежащим образом оформило и несвоевременно направило ходатайство-заявку в краевой минздрав. Оказывается, такая же история произошла и год назад. Но в тот раз лекарства успели поступить в больницу раньше, чем среагировала прокуратура.

Теперь, благодаря моему и прокуратуры вмешательству, лекарства тоже успели подвезти. А если бы не успели?..

Но ещё больше массовых отчаянных обращений. Страдают целые регионы.

В Ярославской области с марта из аптек исчезли жизненно необходимые препараты для лечения бронхиальной астмы, сахарного диабета, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний.

Тяжко в Саратове.

Жители Тюмени с онкологическими заболеваниями жалуются на то, что в диспансере нет необходимых для химиотерапии препаратов.

В больнице города Полевской Свердловской области годовалой девочке ввели антибиотик с истекшим три года назад сроком хранения.

“Я федеральная льготница, инвалид третьей группы, мне лекарство положено по закону. У меня на вечер осталась последняя капсула, сегодня я ещё дышу, а завтра не знаю, чем всё обернётся”, – рассказывает пенсионерка из Каргопольского района Курганской области, которая не может получить необходимый ей препарат от астмы.

А в Кургане на митинг вышли встревоженные родители инсулинозависимых и больных диабетом детей.

У тех, кто серьёзно болен, нет времени ждать. Для них любые правильные слова недостаточны. Как и рецепты. Нужна скорая всероссийская помощь.

Что такое эти истории и обращения? Это несутся сигналы SOS со всей страны...

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ВИХРИ РУССКОЙ МЕЧТЫ

Югорская мечта

Я – молодой художник, жадный до новых впечатлений, желающий описать грохочущую, устремлённую в будущее жизнь могучей страны, – двигался вниз по Оби на танкерах, сухогрузах, баржах. И вместе со мной на север плыли в разобранном виде целые города, причаливали к диким берегам, покосившимся пристаням. И на берег катилось железо, стальные буровые, турбобуры, алмазные фрезы, панели домов. В этой крошечной работе, среди ливней и красных зорь возникала русская нефтяная цивилизация, вставляли из топи и мерзлоты города.

Теперь, через полвека, я восхищаюсь Сургутом, чудесным городом на берегах великой Оби, Нефтеюганском, Нижневартовском – созвездием восхитительных городов, сверкающих стёклами, разноцветным бетоном, нержавеющей сталью, золотом храмов. И среди них – Ханты-Мансийск в ослепительной красоте своих школ, университетов, супермаркетов, ночных бриллиантовых огней. Изумительный город, воздвигнутый на месте древних языческих капищ, на перекрестье сухопутных и водных дорог, по которым Русь, перевалив Урал, двигалась на восток всё дальше и дальше к Тихому океану в сокровенном желании узреть бесконечное, заглянуть за окоём, за тридевять земель, в поисках земли обетованной. Это великое пространство, куда восточными склонами скатывается Уральский хребет, гранитные отроги, березняки, сосновые чащи, брусничники, откуда взлетают стаи тетеревов, сочные мхи, по которым бродят тысячные стада оленей, всё это – родина малых северных народов, каждый из которых несёт свою тайну, свою небесную звезду, свою божественную истину. Это место зовётся Югрой.

Среди нефтяных полей и зимников, по которым дни и ночи мчатся грузовики, бензовозы, выступая в университетах, окружённый молодыми, с чудесными лицами, людьми, вопрошающими меня о том, о чём я с высоты своих лет уже не ведаю, а только догадываюсь, только стремлюсь догнать убегающий век, я хотел понять, куда уже тысячу лет движется этот вал народов, поток энергий, это влечение сильных, непобедимых духом людей? О чём их югорская мечта, в чём их потаённая вера? Что движет их по бескрайним просторам Евразии среди великих рек, хребтов и океанов?

Одна из площадок Приобского нефтяного месторождения, где стальные трубы днём и ночью сосут сокровенную нефть. В глубину земли уходит сталь, работают насосы, гудят трансформаторы. Ревёт, утекая под землю, вода под огромным давлением. Геологи слушают жизнь подземных пластов, откуда силой машин, энергией насосов выкачивается нефть. Каждая скважина – это мини-завод, где вечная земная материя встречается с рукотворной машиной,

Окончание. Начало в № 1–7 за 2019 год.

где в сложном подвижном взаимодействии сочетаются законы геологии с законами физики и химии, электроника улавливает тончайшие изменения в работе скважин, компьютеры следят за балансом множества параметров нефти, пульсирующей на огромной глубине. Здесь, на этой площадке, сводится воедино вечное и сегодняшнее, человеческое, машинное и земное, возникает сложнейший синтез природы и техносферы, здесь дышит учение Вернадского о ноосфере, которая творит новую землю, новую геологию. Югра – это место, где природа сливается с машиной, человек одухотворяет природу, драгоценно мерцают приборы, отражающие небесные радуги.

Русская нефтяная цивилизация, возникшая среди льдов и снегов, есть часть вековечного русского дела, преобразующего льды и пустыни в места цветения и творчества.

Здесь, в Югре, среди древних капищ, рыбных ловов и оленьих угодий живут ханты, манси, лесные ненцы, селькупы – изумительные в своей неповторимой красоте народы, каждый из которых драгоценен для России, привносит в неё свой дивный мазок, свой прекрасный звук, своё отражение небесного свода. Душа человеческая среди ревущих бетонных трасс, стальных буровых, грохочущих в небе вертолётов, дивная природа, отношение к которой благоговейно. И это не просто экологическое мышление и этика, это благоговение перед жизнью, это обожествление природы, которая прощает человеку его огрехи, сберегает его под своим покровом, соединяет человека с добрым, светоносным, бессмертным.

Югорская мечта – это не просто мечта о благополучии, об одухотворённой человеком машине, о сбережённой природе, о соединении современной цифровой цивилизации с реликтовой берестяной красотой. Югорская мечта – это обожествление жизни во всей её полноте, преклонение перед жизнью, это внесение в труд человека, проходящего среди природы, молитвенной бережливости, божественного поклонения.

Югорские интеллектуалы объясняют нам родной край как соединение народов, извечное перемещение их, обогащение друг другом. Это то народное многоцветие, которое свойственно России и сотворяет её из неповторимых культур, языков и космических устремлений. Югра – то место, где шаманы встречались с первыми христианскими проповедниками и деревянные храмы стояли рядом с языческими капищами.

Сюда в советские времена пришла первая волна народов Кавказа – волна, которая не иссякает и поныне. Та волна, где возник могучий пассионарный взрыв нефтяных открытий. Волна, на которой азербайджанец Фарман Салманов стал богатырём Самотлора, гением советской нефтяной цивилизации.

Теперь, как поведал нам местный владыка Павел, христианская литургия в отдалённом посёлке, где только что возведён православный алтарь, соседствует с традиционными плясками и песнопениями хантов и манси. Прихожане – ханты и манси, являясь в православный храм, поклоняясь Христу, в глубине своих чувств несут обожание природы, обожание солнца, для них Христос и есть солнце. И батюшки, которые ставят в пустынных местах алтари, бережно относятся к культурным поверьям, не топчут, не бранят, а влекут к себе сердца недавних язычников своей любовью, добротой и терпимостью.

Местные интеллектуалы – это не провинциальные последователи новомодных столичных витий, не те, кто робко повторяет постулаты столичных филологов. Это блестящие молодые мыслители, управляющие категориями геополитики, носители евразийского сознания, открывающие в своей чудесной земле её сакральные центры, те благодатные точки, где на протяжении тысячелетий возникали потоки пассионарных энергий, в том числе и недавняя советская нефтяная страда.

Сегодня Югра – драгоценное место, где зарождается новый русский порыв. Место, где трудятся могучие нефтяные корпорации, уходящие всё дальше на север, окунающие трубы своих буровых в Ледовитый океан. Югра – то место, что питает новое государство Российское не только нефтью и газом, но и энергией нового исторического творчества. Нефтяники, дорожники, университетские профессора – это люди упорного порыва, бесконечного трудолюбия и поиска. Их увлечённость выше всяких заработков и достатка, она зовёт людей всё дальше и дальше на север, в голубые полярные льды, там чудится им благословенная земля – Беловодье, где нет болезней, печалей, нет лжи и насилия, стяжательства и эгоизма, где люди живут – как цветы

цветут, где все сливаются в братских объятиях. Откуда это царство добра и божественного откровения распространится по всей России и дальше – по всему белому свету, ибо русское счастье невозможно среди людского горя, и русская мечта о божественной справедливости включает в себя благо и счастье всех земных народов.

Югорская мечта невыразима простыми словами. Это не цель, не конкретный план. Она невыразима, как божественная тайна. Возможно лишь приближение к ней в рисунке, в стихе, в молитве, в человеческом подвиге. Эта мечта о звезде пленительного счастья, о Полярной звезде движет русского человека на край земли, где он непременно найдёт тридцатое царство, потому что там, где кончается Россия, где проходит её прочерченная по небу граница, там сразу начинается Царствие Небесное.

Сегодняшнее поколение арктических странников, югорских землепроходцев, северных философов и художников, спуская на воду ледоколы, добывая богатства нефти и газа, строя по ледовой кромке военные радары дальнего обнаружения, занимаясь кромешной земной работой, никогда не забывало о небесах.

Арктика намолена. Арктика – это храм русской красоты и обожания. Поезжайте в Югру, отведайте душистой строганины, подержите в руках бутылку с горячей нефтью, восхититесь искусством изумительного художника из народа хантов. Побеседуйте с губернатором Натальей Владимировной Комаровой, которая своей женской дланью правит этими огромными пространствами. Побывайте на ночных буровых, где сталь звенит от непомерных морозов. Прокатитесь по зимнику, где усталый водитель гонит свой бензовоз под полярными радугами. И вы почувствуете, что такое югорская мечта, и вы станете югорским мечтателем.

Цель и мечта

Указы, с которых Путин начал свой новый президентский срок, – это обращение к строителям, инженерам, губернаторам, депутатам, обращение к людям дела, точного расчёта, к рациональным политикам и творцам. Исполнение этих указов потребует огромных энергий, будет сопровождаться взлётами и падениями, черновой, иногда кромешной работой. Эти указы должны улучшить нашу земную жизнь, обустроить наше земное общежитие, сделать возвышенней и гармоничней наше русское общество.

Среди этих жёстких программ, обеспечивающих долгожданный рывок, нет обращения к художникам, писателям, к монахам и духовидцам. Но это только кажется. Такое обращение есть. Оно негласное, оно подразумевается. Ибо эти указы, рождённые в конкретное время, на сегодняшнем этапе русской истории, продлевают вековечное русское время, связаны с предшествующими великими русскими трудами по созданию и сбережению государства российского. Куликовская битва или создание русского флота, написание великих русских опер или строительство советских промышленных гигантов, беспощадные схватки с врагом, увенчанные великой победой сорок пятого года, – всё это укладывается в линию русской жизни.

Указы президента в их экономической и политической форме, обращённые к технократам, к хозяйственникам, управленцам заводов и корпораций, – эти указы одухотворяются русской мечтой, наполняют её рациональным содержанием, опускают мечту на землю, чтобы она взмыла потом ещё выше и сияла ещё восхитительней.

О чём мечтает русский народ, на что уповает во все тысячелетия своей истории, начиная с языческих сказочных времён и кончая сегодняшней цифровой реальностью? Русский народ мечтал и продолжает мечтать о божественной справедливости, о благом устройстве земной жизни, о гармонии в отношениях между людьми, где сильный протягивает руку слабому. Где гордец или кичливый богач всегда проигрывает народному простаку, несущему людям добро. Именно на это стремление к гармонии, к преодолению мучительного неравенства, терзающего наше общество, направлен президентский указ о преодолении бедности. Но только гармоничное общество, объединённое высшей целью, осенённое русской мечтой, способно осуществить прорыв, долгожданный рывок, к которому ведут президентские указы.

А скатерть-самобранка? Расстели её, и появятся на ней все яства, все царские блюда. А волшебный горшочек, в котором варится каша, и её так много, что она может напоить весь люд, насытить все города и селения? И всякий будет сыт и доволен. А удачливые молодцы, которые в одну ночь могут построить небывалой красоты дворцы, чудесные города? Ведь это всё — та же русская мечта о семейном благе, о достатке, о крепкой крыше над головой, о красоте и порядке в наших городах и сёлах, где больше не будет хрущоб и свалок. И там, где сегодня унылые, закопчённые посёлки, с мёртвыми остановившимися заводами и печальными жителями, там возникнет городсад. Тот самый, о котором мечтал Маяковский. Тот самый, о котором мечтали раненные войной, в линялых гимнастёрках садовники, разбивая сады на разорённой войной земле. Об этом говорят указы президента, изложенные сухим языком государственных уложений, но таящие в себе вековую русскую мечту о райских садах.

А ковёр-самолёт, а русский Икар, что карабкается на колокольню и оттуда летит на крыльях из берёсты и воловьей кожи, ликует и славит Господа перед тем, как упасть и разбиться? А страна, которая пахала землю деревянной сохой, а потом, благодаря великой мечте, стала страной космических станций и ядерных установок? Об этом говорит указ о цифровой экономике, о народившейся цифровой сфере, потрясающей в своей сложности, красоте и опасности, цифросфере, которая вдруг явилась в наших семьях, в наших учебных классах, на поле боя, на огромных заводах и в громадных корпорациях. Сегодня цифра помогает взращивать пшеницу, проектировать сверхсложную машину, создавать сверхскоростные дороги. Всё это невозможно без вездесущей цифры, которую уже нельзя отвергнуть, а нужно понять, принять и одухотворить, сделать её помощником в наших духовных и трудовых победах.

Указы — это поставленные цели, так, как они ставились в прежние века, будь то уложения царей или директивы партийных съездов. Эти поставленные цели были достижимы, иногда целиком, иногда не в полной мере. Достижение этих целей передвигало страну с одной цивилизационной ступени на другую.

Но цели отличаются от мечты. Мечта недостижима, как недостижима Полярная звезда. Мечта — это то, что существовало всегда, изначально, от зарождения народа в его непрерывном пути и странствии. Мечта соединяет людей с абсолютным благом, с абсолютным совершенством, с абсолютной красотой и любовью. Мечта — это путь. Не из Москвы в Петербург. Не с Земли на Марс. А в то незапятнанное, неосквернённое, прекрасное в своей недостижимости будущее, которое, едва мы его коснёмся рукой, вновь удаляется в бесконечность.

Цель — это только ступень к великой мечте. Этих ступеней — бесчисленное множество. По мере того, как мы поднимаемся по этим ступеням, соскальзывая и падая, мечта остаётся недостижимой и путеводной. Она спасает нас в самые страшные периоды нашей истории, она ведёт нас, и мы плывём за ней на обломках разбившегося в бурю корабля через пучину исторических вод, доплываем до нового берега, выходим на сушу и вновь строим наше великое государство.

По образованию я инженер. Чувствую красоту математики, физики, самолётного крыла или отточенной лопатки турбины. Я занимаюсь политикой, принадлежу к тем, кто зовётся государственниками. Я вижу в государстве оплот и опору народной жизни. Есть государство — и есть народ. Исчезло государство — и народ превращается в пыль, в рассыпанное зерно, которое жадно расклёвывают слетевшиеся на обочину вороны. И сегодня, как и в прежние русские времена, мы живём мечтой. Вокруг нас столько неурядиц, много безжалостной несправедливости, много унывающих, казалось, погибших душой людей. Но эти временные напасти преодолимы. Мы живём с упованием на неизбежность нашего русского торжества. С этим упованием и мечтой мы идём в Бессмертном полку. С этой мечтой мы строим на Дальнем Востоке порты, трубопроводы и космодромы. С этой мечтой мы стремимся преодолеть терзающие нас распри, ненависть, внутренние неурядицы. С этой мечтой мы обращаемся к богачам и толстосумам, хотим достучаться до их совести, до их оглохших сердец. Пусть поймут: всё, чем они владеют, всем этим они обязаны русскому народу, русским лесам, русским недрам. Всем они обязаны русскому государству, которое не отдаёт их на растерзание более сильным заморским стяжателям. И пусть докажут своему народу, что они —

не слепые стяжатели, не ненасытные поедатели благ, рассматривающие Россию как добычу, пусть станут достойной частью нашего общества и народа. А на баснословные прибыли, которые они получают, пусть строят не заморские кабары, не содержат заморские футбольные клубы, не питают заводы и лаборатории чужих цивилизаций, которые зачастую действуют против России, против их Родины. Пусть не забывают, что построенные на эти деньги американские огнеметы нацелены на Россию.

Не боюсь показаться наивным, веря в преобразование этих жестоководных людей. Ибо у них нет выхода: либо снискать доверие народа и государства, либо опроретью бежать из страны, туда, где их ждёт неизбежное разорение.

В нашей истории есть иные примеры. Демидовы и Строгановы, жестоководные купцы и промышленники, они не просто набивали кошину – они служили царю и России. Демидовские пушки громили шведов под Полтавой и Нарвой. А строгановские иконы с их божественными цветами и волшебными листьями, строгановские белые церкви – это чудо нашего русского искусства.

Указы Путина говорят об экономических и научных свершениях огромного масштаба. Они требуют специалистов, строителей новых мостов и дорог, врачей и ядерщиков, электронщиков и управленцев. Но я ожидаю, что эти указы в самом начале их воплощения вдохновят художников и писателей, и их творения тронут глубинные народные коды, и эти коды, разбуженные великодушными словами и образами, образами русской мечты, поднимут из донных глубин фантастические русские энергии, которые помогали нам одолеть все разрухи и неурядицы, все смутные времена и нашествия.

Божественная справедливость, соединяющая власть и народ, соединяющая все сословия, соединяющая машину и природу, полевой цветок и звезду небесную, – это и есть главная русская цель. Это и есть главное русское слово жизни, которое уже трепещет на русских устах и которого ждёт сегодняшний, пребывающий в заблуждениях мир.

АЛЕКСАНДР БЕЛОНЕНКО
директор Свиридовского института

ШОСТАКОВИЧ И СВИРИДОВ: К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Борьба за Ленинскую премию началась ещё в 1957 году, сразу после Второго Всесоюзного съезда советских композиторов. Главными претендентами были Д. Д. Шостакович и Т. Н. Хренников. Премьеры Одиннадцатой симфонии и оперы “Мать” были максимально “раскручены” в прессе, по радио.

О том, как шла информационная подготовка к выдвижению, можно судить по передовице “Новые достижения советской музыки” в последнем номере за 1957 год журнала “Советская музыка”. Она открывалась следующим пассажем: “Советские композиторы встретили славную годовщину Октября большой серией новых интересных произведений. Многократно исполнена с громадным общественным успехом новая, Одиннадцатая симфония Д. Шостаковича, посвящённая революции 1905 года. Заслуга первого исполнения выдающейся симфонии принадлежала двум прославленным коллективам: Государственному симфоническому оркестру СССР (дирижёр Н. Рахлин) и оркестру Ленинградской филармонии (дирижёр Е. Мравинский). Одновременно в трёх крупнейших театрах страны – Большом театре СССР, Ленинградском театре имени С. М. Кирова и Горьковском театре имени А. С. Пушкина – поставлена новая опера Т. Хренникова “Мать” по одноимённой повести М. Горького. Появление новой оперы на столь значительный классический сюжет привлекло большой общественный интерес”.

Для того чтобы иметь как можно больше шансов в борьбе за Ленинскую премию, и симфония, и опера были представлены не только сами по себе, но, в качестве подстраховки, ещё и с выдвижением исполнителей. За симфонию – оркестр Ленинградской филармонии и дирижёр Е. А. Мравинский, за оперу – коллектив Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина¹.

При внимательном чтении прессы начала 1958 года можно понять, что борьба в скрытой форме продолжалась и длилась не только до окончательного решения вопроса с премией 1958 года, но даже после её присуждения. Борьба эта была ожесточённой, в ход шли разные, принятые в ту эпоху приёмы.

В январе Хренников решил провести общее собрание московских композиторов и музыковедов и поручил основной доклад сделать секретарю СК СССР, члену Правления С. В. Аксюку. 22 января состоялось первое заседание, слово было предоставлено Аксюку, и он начал свой доклад с обзора достижений советской музыки за 1957 год, причём с оперы, и в числе первых достижений назвал оперу Хренникова “Мать”, уделив ей главное внимание. И лишь после оперы перешёл к симфоническому жанру, упомянув Един-

надцатую симфонию. Затем, перейдя к проблемам, стоящим перед композиторами, он вновь упомянул оперу и симфонию: “И опера “Мать”, и Одиннадцатая симфония – высокое достижение советского искусства, и оба они ставят один и тот же вопрос, одну и ту же важную для нас проблему – о героическом обобщающем бетховенском начале, которое ещё должно возникнуть в советской музыке”².

Одновременно был дан “залп” журналом “Советская музыка”. В первом номере за 1958 год появилась передовица “За дальнейшие успехи советской музыки”. Статья имела внешне несколько отвлечённый характер эстетического рассуждения на общие темы, которые были вполне актуальны как в предыдущем, так и в наступавшем году.

И хотя в статье не назывались конкретные имена, но по содержанию статья эта продолжала критику в адрес Шостаковича, прозвучавшую в докладе Хренникова на Втором съезде советских композиторов в марте-апреле 1957 года. Отнеся Одиннадцатую симфонию к числу успехов советской музыки, автор статьи не преминул вновь поднять тему трагедийности, которая обсуждалась в связи с Десятой симфонией. Именно на этой теме Хренников выстроил свою критику Шостаковича и на съезде композиторов, и в Комитете по Ленинским премиям, когда там обсуждался вопрос о выдвижении Десятой на Ленинскую премию 1957 года.

Автор статьи высказывает мнение, что “за последнее время у нас проявлялись ложные, ошибочные взгляды, удивившие композиторов от верного и правдивого отображения современной жизни. Под флагом борьбы с последствиями культа личности и с поверхностной лакировкой действительности предпринимались попытки вообще дискредитировать большую героическую тему современности. Таков был основной смысл “теории” о том, что трагедийность должна быть основой советского искусства”.

Заявляя о “существовании трагической темы в нашем искусстве”, о ложности и неправомерности “противопоставления трагедийного начала героическому”, автор статьи задаёт риторическим вопросом: чем вызван “полемический азарт” защитников трагедийного начала? И сам даёт на него весьма недвусмысленный ответ с подтекстом: “Оно проистекает из одностороннего, ущербного понимания трагического как только ужасного, тяжёлого и гнетущего. Отстаивая своё “право на трагическое”, сторонники этой точки зрения фактически сближались с авторами тех литературных произведений, которые рисовали нашу действительность одной чёрной краской и не видели самого главного и основного в ней, того, что позволяет советским людям – строителям коммунизма – побеждать все трудности и препятствия, преодолевать внутренние противоречия и идти уверенным шагом вперёд, к всё новым достижениям и успехам”.

Автор прекрасно был осведомлён о ситуации, сложившейся в советской литературе, о недовольстве Хрущёва настроениями, имевшими место в среде литераторов. Это был, в сущности, скрытый намёк на некую неблагонадёжность. Правда, автор находит главного виновника – бывшего главного редактора журнала “Советская музыка” Г. Н. Хубова. Не называя его по имени, ясно даёт понять, кого имеет в виду: “Теория” ведущей роли трагедийного начала в искусстве наших дней нашла отражение в ряде высказываний на страницах журнала “Советская музыка”. Она являлась частью целой системы взглядов, пропагандируемых журналом в течение довольно длительного времени и сводившихся на деле к ревизии некоторых основных положений эстетики социалистического реализма”. Это уже было серьёзно. Собственно, на этом ложном обвинении и было построено дело Хубова, закончившееся его смещением с должности главного редактора журнала. Однако на самом деле автор целился отнюдь не в Хубова, отставленный глава журнала был лишь “ложной целью”. На самом деле имелся в виду Д. Д. Шостакович, которого Хубов всячески поддерживал в своём журнале.

В очернительстве советской действительности и в гипертрофированном трагизме с начала 1954 года и вплоть до Второго съезда советских композиторов весной 1957 года Шостаковича дружно обвиняли сторонники ждановской эстетики, в том числе и сам Хренников.

Точно такой же смысл имело и другое обвинение в адрес журнала под руководством Хубова: “Явно ревизионистский характер носили установки журнала по вопросу о народности музыки. <...> Между тем, в ряде статей

журнала “Советская музыка” выдвигалась абстрактная, схоластическая трактовка народности, по сути, вытравливающая из этого понятия всякое определённое и конкретное содержание. В частности, систематически опорочивалось непосредственное обращение композиторов к фольклорным источникам как якобы низшая, примитивная ступень в развитии национального музыкального языка”³.

Первые три номера журнала “Советская музыка” вышли в свет раньше окончания работы Комитета по Ленинским премиям. Помимо передовицы в первом номере, остальной материал, что называется, на всякий случай, был взвешенным – в равной степени упоминал по разным поводам и симфонию Шостаковича, и оперу Хренникова. Так сказать, на паритетных началах.

Осторожный И. Нестьев в своей “Заметке о современной теме в музыке” в первом номере журнала воздал каждой сестре по серьге. “Разве несовременны для нас сюжеты Одиннадцатой симфонии Д. Шостаковича или оперы “Мать” Т. Хренникова, повествующие о событиях первой русской революции?”⁴. В этом же номере помещены одна за другой статьи Е. Грошевой о постановках оперы “Мать” в разных театрах и Л. Лебединского о фольклорном материале в Одиннадцатой симфонии.

В третьем номере журнала “Советская музыка” знаток оперы Б. Ярустовский рассуждая о современной советской опере, упоминает оперу “Мать”, а теоретик, знаток творчества Шостаковича А. Должанский делится своими наблюдениями об Одиннадцатой симфонии. Не забыл упомянуть Одиннадцатую и в своей солидной, объёмистой статье Ю. Келдыш. Кстати, в этом же номере музыковед Л. Полякова опубликовала свою статью о балете “Отелло”.

Впрочем, силы были неравны. Хренников сумел на какое-то время при помощи Ю. В. Келдыша прибрать к рукам журнал, но это ему не помогло. И дело тут не в том, что опера “Мать” и Одиннадцатая симфония были, что называется, в разной весовой категории, и Хренников не мог соперничать с Шостаковичем по художественной линии. Теоретически могли быть присуждены две премии за музыкальные произведения, так как они были разных жанров. Да и подстраховка давала шанс Хренникову получить Ленинскую премию не за саму оперу, а за постановку её в Нижегородском театре. Да и мало ли было Ленинских, не говоря уже о других премиях, присуждённых произведениям очень скромным по своим художественным достоинствам! Причина была совсем не в художественной ценности оперы “Мать”. Случилось так, что после июньского 1957 года пленума ЦК КПСС Хренников потерял мощную поддержку в лице своего покровителя со Старой площади – секретаря ЦК КПСС Д. Т. Шепилова. И судьба-злодейка на какой-то момент отвернулась от первого секретаря СК СССР.

Третьего января 1958 года газета “Правда” публикует статью Д. Кабалевского о фестивале музыкальных театров, который шёл почти весь 1957-й год и был посвящён юбилею – 40-летию Октябрьской революции. Кабалевский был членом жюри смотра музыкальных театров и видел если не все, то большинство спектаклей на столичной сцене. В конце 1957 года в статьях, посвящённых этому смотру, как правило, первым делом упоминали оперу “Мать”.

В своей статье Кабалевский сначала отметил чешского дирижёра Э. Халабалу, успешно продирижировавшего оперой В. Шуберта “Укрощение строптивой” в Большом театре. Потом напомнил, что жюри выделило постановки оперы С. Прокофьева “Война и мир” в Киевском государственном театре оперы и балета им. Т. Шевченко и московском Театре оперы и балета им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко⁵. А затем перешёл к критическим замечаниям. И первой в разделе критики у него оказалась постановка оперы “Мать”. Привожу целиком фрагмент его статьи: “Жюри иногда отмечало недостатки в премированных спектаклях и сильнейших наших театров. Вот, например, в постановке новой оперы “Мать” Большой театр привлёк лучшие силы. Пюот в этом спектакле лучшие солисты, дирижирует Б. Хайкин, ставит Н. Охлопков, оформляет В. Рындин! А тем не менее, именно этот спектакль вызвал большое число критических замечаний. В нём есть то, чего больше всего надо опасаться в музыкальном театре: несоответствие театрального решения характеру музыки. Замысел Охлопкова-Рындина очень интересен сам по себе. Плодотворен он уже тем, что направлен против натуралистической рутины, весьма живучей в оперных театрах. Но невозможно отделаться от впечатления, что замысел этот рождён абстрактно, исходя из

темы оперы, но вне всякой связи с её музыкой. Невзирая на то, что некоторые, преимущественно массовые, сцены решены режиссёром блестяще, спектакль не оставляет цельного впечатления”. Казалось бы, речь идёт лишь о постановке, но о самой опере — ни слова. Это был очевидный сигнал.

Восьмого января газета “Известия” отдаёт целый подвал статье Д. Шостаковича с названием, менее всего ожидаемым от композитора, которого ещё сравнительно недавно причисляли к сторонникам формалистического, антинародного направления, — “Ближе к народу!”. Надо отдать должное Дмитрию Дмитриевичу как великолепному мастеру полемики. Не чураясь принятого газетно-журнального этикета, умея весьма ловко и кстати вставить в свой текст необходимые словесные штампы пропагандного официоза, он, тем не менее, находил возможность дать достойный отпор своим противникам. Так и в этой статье он искусно парирует обвинения в его адрес со стороны сторонников ждановской эстетики, пестуемой Хренниковым и его окружением.

Шостаковича обвиняют в отрыве от народа — Дмитрий Дмитриевич отвечает высокой риторикой: “Бесплодно творчество без глубокой связи писателя, художника, композитора с жизнью своего народа. Лишь тот из них выступает активным выразителем дум народа, кто чувствует биение его сердца и дыхание современности; без этого невозможны большие произведения реалистического искусства”.

Шостаковича критиковали на Втором съезде композиторов за то, что он выступает против метода цитирования народных песен в симфонических произведениях — Шостакович легко, как искусный рапирист, наносит встречный “укол с уходом”: “Сколько есть у нас прекрасных, часто незаслуженно забытых песен, сложенных безымянными поэтами и музыкантами! Эти песни вдохновляли на подвиги, на борьбу поколения передовых людей, воспевали родную нам русскую природу с её необозримыми просторами степей и лесов. Вполне естественно, что композиторы часто вводят в свои произведения мелодии таких песен. Но мы не всегда умеем почувствовать их по-настоящему своими, увидеть сквозь призму своего творческого мироощущения. В этом случае песни оказываются вставными номерами или цитатами, отнюдь не придающими музыке колорита воспеваемой эпохи. Ведь композитор, владеющий профессиональным мастерством, сможет разработать и расцветить оркестровыми красками мелодию любой песни. Но она станет необходимым элементом оперы или симфонии только тогда, когда автор глубоко прочувствовал и выстрадал весь тематический материал произведения. Только тогда песня станет органической и родной всему строю его музыки. Никто не скажет, слушая такую музыку, что песня является простой цитатой”.

Шостаковича обвиняли в нарочитой сложности языка, делающей его произведения недоступными для простого слушателя. Дмитрий Дмитриевич возражает, прибегнув к софистике: “В творчестве надо быть последовательным и принципиальным. Нельзя жить компромиссами, нельзя подделываться под примитив, оправдывая это тем, что якобы, чем проще, тем понятнее, что сложное будто бы не дойдёт до слушателя. Примитив — враг искусства точно так же, как заумность, серость и штамп. Художнику нельзя не искать новых путей, не двигать вперёд своё искусство. Но эти новаторские поиски надо сочетать со стремлением к тому, чтобы творчество отражало сокровенные думы народа. Мы против упрощения музыкального языка, мы за ту высокую простоту, которая была свойственна всем истинно гениальным художникам, которая свидетельствовала не о примитивности, а, наоборот, о богатстве их духовного мира. Здесь сокрыт источник подлинного новаторства. Такую музыку услышат, поймут современники, к чему и должен стремиться композитор”.

И далее Шостакович затрагивает болезненную тему состояния массовой песни, киномузыки, касается и актуального вопроса создания хорового общества, острых проблем преподавания музыки в общеобразовательной школе и музыкально-эстетического воспитания молодёжи. (Мы ещё вернёмся к этой статье в связи со статьёй Г. В. Свиридова в “Правде” в сентябре 1958 года.)

Уже само размещение такой внушительной по размерам и проблемной статье говорит само за себя. Хренникову в это время не предоставляли возможности выступить в центральной печати. Есть и ещё одна особенность статьи Шостаковича. Она выстроена вокруг песенного жанра. И в скрытой форме Дмитрий Дмитриевич фактически афишировал свою Одиннадцатую симфонию, давая понять, что она — песенная по своему музыкальному материалу.

Эта публикация очень сильно разнится от статьи Д. Кабалевского о смотре оперных спектаклей. Вероятно, по этой причине, чтобы не было похоже на предвзятость, в следующем номере “Известий” от 9 января появилась передовица “Высокое призвание искусства”, посвящённая Всесоюзному фестивалю театров, ансамблей и хоров. Утешительно звучит в ней скупая строка: “Возросшим мастерством творческих коллективов отмечены оперные спектакли “Мать” (композитор Т. Хренников) в Большом театре СССР, “Война и мир” (композитор С. Прокофьев) в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко”. Точно так же поступила газета “Советская культура”. В передовице “К новым успехам советской музыки” в номере от 16 января, посвящённом фестивалю музыкальных театров и коллективов к 40-летию Октября, автор передовицы упомянул первыми среди достижений советской музыки 1957 года Одиннадцатую симфонию Д. Шостаковича и оперу “Мать” Т. Хренникова. Правда, газета не преминула на четвёртой странице поместить краткую заметку под рубрикой “Советские артисты за рубежом” – о выступлении Шостаковича в Болгарии⁶. Однако интрига предстоящего конкурса оказалась совсем иной, не связанной с противостоянием Шостакович – Хренников.

15 января в газете “Известия” под заголовком “От Комитета по Ленинским премиям” публикуется список кандидатур на соискание премии 1958 года. Список был более чем внушительный. Только в области музыки и концертно-исполнительской деятельности было тринадцать кандидатур, композиторов и исполнителей. Среди исполнителей что ни имя – то звезда первой величины: Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Евгений Мравинский. К этому следует добавить выдающихся музыкантов, режиссёров, дирижёров, балетмейстеров и артистов балета из тех, кто попал в список из области театрального искусства, такие певцы, как А. Пирогов, Б. Руденко, Д. Гнатюк, дирижёры С. Самосуд, О. Димитриади, режиссёр Л. Баратов, балетмейстеры и артисты балета В. Чабукиани, Л. Якобсон, Ю. Григорович, А. Макаров, И. Зубковская, Н. Петрова.

В обоих списках значились следующие композиторы: А. Баланчивадзе (за Третий фортепианный концерт), Н. Жиганов (опера “Джалиль”), Г. Майборода (опера “Милана”), Г. Свиридов (Поэма памяти Сергея Есенина), О. Тактакишвили (симфония № 2), А. Хачатурян (балет “Спартак”), Т. Хренников (опера “Мать”), В. Шебалин (опера “Укрощение строптивой”), Д. Шостакович (11-я симфония), из театрального списка – А. Мачавариани (балет “Отелло”), А. Бабаев (опера “Арцваберд”) и А. Ленский (балет “Дильбар”).

Уже по этому списку было понятно, что в выдвижении усматривается некоторое неравенство. Одни композиторы были представлены только своими сочинениями. Эти сочинения выдвигались только Союзом композиторов какой-либо республики или общесоюзным. Поэма памяти Сергея Есенина Г. В. Свиридова или опера В. Я. Шебалина “Укрощение строптивой” рекомендовались только Союзом композиторов СССР. Другие выдвигались одновременно Союзом или даже Союдами композиторов и Министерством (Министерствами) культуры. Третьи выдвигались дважды, причём в разных списках. Например, опера “Мать” Хренникова, как мы уже говорили, проходила по списку авторов и по списку театрального искусства – за спектакль в Нижегородском театре.

Балет А. Хачатуряна был выдвинут как авторское сочинение Союзом композиторов и Министерством культуры СССР, да ещё и в списке по театральному искусству – как спектакль Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

Точно так же была представлена опера “Милана” Г. Майбороды: и как авторское сочинение в первом списке, и как спектакль – во втором, театральном списке.

И здесь первенствовал Д. Д. Шостакович. Одиннадцатая симфония шла дважды в первом списке и была представлена сразу двумя Министерствами культуры, Союзом композиторов СССР, да ещё и Ленфилармонией, а за её исполнение отдельно выдвигался Е. А. Мравинский и оркестр Ленфилармонии.

На сей раз Шостакович очень серьёзно подготовился к битве за премию в отличие от предыдущего года, когда он пытался получить её за Десятую симфонию. Казалось, что теперь всё должно было пройти гладко. И в конечном итоге, он получил Ленинскую премию. Но, тем не менее, прохождение на конкурсе в Комитете оказалось не совсем благополучным. А главное – хотя и не такое опасное, но всё же препятствие возникло с совершенно неожиданной стороны.

Возмутителем спокойствия оказался Г. В. Свиридов со своей Поэмой памяти Сергея Есенина. Поэму Свиридов показывал на секретариате Правления ССК СССР в Москве в апреле 1956 года. Поэма прошла “на ура”, её рекомендовали к исполнению в мае. Предполагалось, что премьера состоится в день открытия Второго Всесоюзного съезда советских композиторов. Но съезд был перенесён на следующий год. Тем не менее, директор Московской филармонии М. Гринберг настоял на том, чтобы не переносить премьеру поэмы, и она была исполнена 31 мая 1956 года в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Дирижировал Е. Светланов. Поэму встретили с невероятным энтузиазмом, она имела огромный успех.

Однако судьба её поначалу была незавидной. Как я уже писал раньше, лишь в середине июня на премьеру откликнулась одна-единственная газета “Вечерняя Москва”. Она поместила одну-единственную после премьеры рецензию. Её написал Дмитрий Дмитриевич Шостакович⁷, дав ей высокую оценку: “Поэма памяти Сергея Есенина” – это гордость советской музыки”⁸.

Потом наступило долгое молчание, и лишь в августе 1956 года странной, двусмысленной статьёй разразился Марк Сокольский⁹. Умный, многознающий и соблюдавший повышенную бдительность человек, он, конечно, сразу догадался об идейном замысле Поэмы, о чём это сочинение, особенно две последние его части – “Я – последний поэт деревни” и “Небо – как колокол”. “Поглядите, – призывает Сокольский, – после стихов “Я последний поэт деревни” – на них Свиридов вовсе не хочет ставить точку – как отрицание, как преодоление их трагического смысла следует: “Небо – как колокол, месяц – язык, мать моя – родина, я – большевик!” Но преодоления и отрицания тут всё же не чувствуется. Почему? Прежде всего, потому, что такое прямолинейное, в лоб, сопоставление двух текстов таит в себе неразрешимое противоречие: “часы... прохрипят мой двенадцатый час” и рядом, тут же: “я – большевик”. И далее Сокольский даёт политическую оценку поэту: “...на самом деле Есенин не был, не стал большевиком. И лишний раз убедиться в этом можно хотя бы по ...стихам “Небо – как колокол”, в которых Есенин “ради вселенского братства людей” провозглашал жертвенную гибель матери-родины и готов был “радоваться песней” её смерти... Как бесконечно далеко это от истинного понимания нашей революции!”

Вероятно, Сокольский (или редакция “Литературной газеты”) не хотел вешать на автора обвинение в идейных ошибках. Всё же на дворе стоял август 1956 года, ещё свежи были впечатления от знаменитого доклада Н. С. Хрущёва о культе личности. Тем не менее, критик не преминул указать на неверный, идейно не выдержанный отбор стихов Есенина и отсюда – неверную интерпретацию творчества Есенина в Поэме. Как он писал, “чтобы создать достойный музыкальный памятник своему любимому поэту, чтобы верно очертить его облик, Свиридову нужно взять всё живое, всё лучшее, наиболее характерное и неповторимо индивидуальное в творчестве Есенина. И, конечно, не закрывать глаза и на трагическое, тяжёлое, тёмное в его личной и поэтической судьбе. <...> Но передавая эту трагедию, необходимо ярче и отчётливее показать и искреннее, горячее, светлое стремление Есенина постичь революционную новь, не рисуя его большевиком, не оставляя Есенина и за околицей старой деревни”.

Окончательный вывод М. Сокольского малоутешителен: “Памятуя всё это, мы и считаем, что поэмы как единого и законченного целого в партитуре Свиридова пока ещё нет”.

Позднее за Поэму заступились музыковеды и композиторы, близкие и сочувствующие Свиридову, журнал “Советская музыка” в 1956 году поместил несколько антикритик – возражений Сокольского. Тем не менее, в 1957 году, хотя Поэма вновь с успехом была неоднократно исполнена и прозвучала на первом симфоническом концерте Второго съезда советских композиторов 27 марта 1957 года, пресса дружно молчала о ней. Главными

героями в центральных СМИ были Одиннадцатая симфония Шостаковича и опера “Мать” Хренникова.

И всё же Правление Союза композиторов СССР, вероятно, не без активного участия Д. Д. Шостаковича, вынуждено было выдвинуть Поэму на соискание Ленинской премии. В архиве Комитета по Ленинским премиям сохранилась выписка из протокола № 11 заседания Секретариата Союза советских композиторов СССР от 16 декабря 1957 года:

“1. Слушали: О выдвижении кандидатов на соискание Ленинских премий за 1957 г.

Постановили: а/ Выдвинуть на соискание Ленинских премий следующие произведения

1. Г. Свиридова – поэма “Памяти Сергея Есенина”.

П/п Секретарь СК СССР – Ю. Шапорин.

За секретаря Правления СК СССР – Ю. Коров

Выписка верна:

Зав. Секретариатом (подпись) /Е. Лигская/”.

18 декабря в Комитет по Ленинским премиям высылается решение Секретариата Союза советских композиторов СССР:

“№ 2458/1а 18 декабря 1957 г.

В Комитет по Ленинским премиям

Решением Секретариата Союза композиторов СССР на соискание Ленинских премий за 1957 год выдвигаются произведения следующих композиторов:

1. Г. Свиридов – поэма “Памяти Сергея Есенина”

Секретарь Союза композиторов СССР – Ю. Шапорин”¹⁰.

В сохранившемся в фонде Комитета по Ленинским премиям личном деле Г. В. Свиридова, помимо биографии и библиографии, есть аннотация на Поэму памяти Сергея Есенина. Судя по тексту, она написана самим композитором. Когда читаешь сегодня аннотацию, становится очевидным, насколько была беззащитна Поэма перед лицом мощной партийной машины официальной идеологии того времени. Привожу авторскую интерпретацию Свиридовым двух последних частей Поэмы:

“Две последние части (также контрастные) завершают основные сюжетные линии поэмы, рассказывая о судьбе поэта и судьбе Родины.

Трагический монолог – “Я – последний поэт деревни” – предсмертное прощание поэта с родной землёй. Приветствуя революцию, он в то же время не нашёл своего места в новой жизни. Сурово-сдержанный в начале, монолог становится всё более взволнованным. После резких ударов, пронзающих тишину, словно выстрелы, вступает хор: он звучит, как завывание ветра, как плач матери-родины, природы, провожающей поэта в последний путь.

И сразу же наступает полный ослепительного света финал – величавое утверждение веры в жизнь. В оркестре возникают торжественные звуки колоколов. Простая, эпически выразительная мелодия хора соответствует гордым, мужественным словам:

*Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик”¹¹.*

Безусловно, бдительный М. Сокольский в своей критике Поэмы был намного ближе к подлинному авторскому замыслу Поэмы. И, конечно, он знал, что Свиридов убрал последний катрен из второго стиха “Иорданской голубицы”, не оставив никакой надежды на “светлую весть”, акцентируя трагический смысл финала Поэмы:

*Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.*

*Крепкий и сильный,
На гибель твою
В колокол синий
Месяцем бью.*

*[Братья-миряне,
Вам моя песнь.
Слышу в тумане я
Светлую весть.]*

В начале 1958 года была создана новая партийная структура – Идеологическая комиссия ЦК КПСС. Некий своеобразный парафраз организации *Opus Dei* (Дело Божье), но, в отличие от своего испанского прототипа, проверяющий коммунистическую “святость” тех или иных мыслей, деяний и намерений простых советских смертных, советских и зарубежных учреждений и организаций. 19 июня 1958 года в его недрах родилось Постановление “О неправильном подходе к переизданию сочинений С. Есенина”¹². В основе Постановления лежала Записка отделов пропаганды и агитации и культуры ЦК КПСС от 27 мая того же года, подготовленная заводделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам Л. Ильичёвым, заместителем заводделом культуры ЦК КПСС Б. Рюриковым и заместителем заводделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР А. Косульниковым.

В Записке звучало тревожное предупреждение: “Считаем необходимым доложить об ошибочной практике многочисленных переизданий сочинений Сергея Есенина, сложившейся за последние 2-3 года.

Как известно, в творческом наследии С. Есенина, наряду с замечательными поэтическими произведениями, посвящёнными русской природе и родине, есть и такие произведения, которые проникнуты упадочническими, религиозными настроениями, отражавшими идейную незрелость и растерянность поэта, не понимавшего смысла перестройки страны на социалистических началах. Противоречивость творчества С. Есенина требует от издательств, выпускающих его произведения, объективного объяснения сильных и слабых сторон творческого наследия поэта. Как показала практика, эти требования соблюдаются издательствами неудовлетворительно, что наносит ущерб воспитанию читателей, особенно молодёжи”¹³. И далее говорится об истории изданий произведений С. Есенина после войны, даётся рекомендация не издавать новых сборников его стихов и подготовить собрание сочинений С. А. Есенина. Рекомендация была дана Госиздату, что, кстати, и было осуществлено в начале 1960-х годов.

Записка писалась в мае, но готовилась раньше. Впрочем, такая интерпретация творчества Есенина была присуща официальной идеологии и до начала работы Идеологической комиссии. И М. Сокольский, когда писал свою статью о Поэме в августе 1956 года, прекрасно знал партийную установку.

В своих воспоминаниях о встрече с Г. В. Свиридовым литературовед С. И. Субботин привёл рассказ композитора о прохождении его Поэмы на конкурсе. “В 1958 году “Поэма памяти Сергея Есенина” была выдвинута на Ленинскую премию одновременно с 11-й симфонией Шостаковича. С Дмитрием Дмитриевичем тогда мы были в большой дружбе; накануне объявления решения он позвонил мне и сказал, что всё вроде бы складывается неплохо. Но один композитор – не хочу называть его имени, – посоветовавшись с другим композитором (имени которого я тоже не хочу называть), побегал в ЦК и сказал, что Есенин – это кулацкий поэт. Этим дело тогда и кончилось”¹⁴.

Имена композиторов Свиридов мне называл. Я тоже не хочу их упоминать по той простой причине, что был ли на самом деле такой поход в ЦК или его не было, доказать теперь невозможно. Но само выражение “кулацкий поэт” вполне могло прозвучать в кабинете какого-нибудь сотрудника отдела культуры ЦК КПСС на шестом этаже здания на Старой площади.

Поэма памяти Сергея Есенина была обречена на провал и не прошла по конкурсу на Ленинскую премию 1958 года. Тем не менее, она потрепала нервы руководству Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства.

Очередная сессия в работе Комитета по Ленинским премиям началась 6 февраля. В конце января – начале февраля в прессе появились отклики о разных сочинениях, которые были выдвинуты на Ленинскую премию. Особое внимание привлёк балет “Отелло”. О нём появились рецензии в “Правде” 26 января¹⁵ и в “Советской культуре” 4 февраля¹⁶. 1 февраля газета “Советская культура” поместила обзорную статью М. Игнатъевой о новых оперных спектаклях в театрах Киева, Харькова и Львова, в том числе и об опере “Милана” Г. Майбороды¹⁷.

Не был забыт в эти дни и Д. Д. Шостакович. Музыковед Л. Бергер в рубрике “Концертный дневник” поместила статью об исполнении Одиннадцатой симфонии Госоркестром под управлением К. Иванова в Большом зале московской консерватории, в Доме культуры завода им. И. А. Лихачева и в Центральном доме Советской армии. Не обошлось и без критики. Бергер посетовала, что на концерте в Доме советской армии не было ни афиш, ни программ¹⁸. Как будто в насмешку, в этом же номере газеты была помещена статья о постановке на Ленинградском телевидении оперетты Свиридова “Огоньки”¹⁹. Нашли время, когда вспоминать о сочинении, созданном в самое глухое для Свиридова время – в 1951 году, после того, как он был оглушен Постановлением ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года! О Поэме памяти Сергея Есенина в эти дни ни одна из газет не вспомнила.

6 февраля начали работу секции в Комитете по Ленинским премиям. В том числе и секция музыки. К этому времени секцией был решён вопрос с исполнителями. Их кандидатуры просто сразу отсекали. Слишком уж непомерно большим был список кандидатур. Остались только композиторы. Стенограмма заседания секции 6 февраля свидетельствует, что в тот день кандидатура Свиридова прошла без труда. Привожу текст стенограммы.

Стенограмма заседания секции музыки 6 февраля:

“Присутствуют: тт. Кухарский В. Ф., Шостакович Д. Д., Тактакишвили О. В., Мухатов В. М., Чебан Т. С., Капэ Э. А., Соловьёв-Седой В. П.

Председательствует – Хренников Т. Н.

<...>

Хренников Т. Н.

– <...> Следующая кандидатура – Свиридов Г. В. “Памяти Сергея Есенина”, вокально-симфоническая поэма. Выдвигается Союзом композиторов СССР. (С места: Оставить). Остаётся”²⁰.

15 февраля в газете “Известия” было помещено следующее сообщение от Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства:

“Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства сообщает, что из всех работ, представленных на соискание Ленинских премий 1958 года, после их рассмотрения секциями и пленумом Комитета отобраны для дальнейшего рассмотрения следующие кандидатуры.

В области музыки

1. **Жиганов Н. Г.** “ДЖАЛИЛЬ”, опера.

Представлена Союзом композиторов СССР.

2. **Майборода Г. И.** “МИЛАНА”, опера.

Представлена Союзом композиторов Украины.

3. **Свиридов Г. В.** “ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА”, вокально-симфоническая поэма. Представлена Союзом композиторов СССР.

4. **Тактакишвили О. В.** ВТОРАЯ СИМФОНИЯ.

Представлена Союзом композиторов Грузии.

5. **Хачатурян А. И.** “СПАРТАК”, балет.

Представлена Министерством культуры СССР, Союзом композиторов СССР.

6. **Хренников Т. Н.** “МАТЬ”, опера.

Представлена Союзом композиторов СССР.

7. **Шостакович Д. Д.** Одиннадцатая симфония “1905 ГОД”. Представлена Министерством культуры СССР, Союзом композиторов СССР, Министерством культуры РСФСР, Ленинградской государственной филармонией.

В области театрального искусства:

2. **Баратов Л. В.**, **Златогоров П. С.** — режиссёры. **Самосуд С. А.** — музыкальный руководитель постановки, **Пирогов А. С.** — исполнитель роли Кутузова. Спектакль “ВОЙНА И МИР” в Государственном московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Представлены Управлением культуры исполкома Моссовета, Московским станкостроительным заводом имени Серго Орджоникидзе.

5. **Мачавариани А. Д.** — композитор, **Чабукиани В. М.** — балетмейстер и исполнитель роли Отелло, **Вирсаладзе С. Б.** — художник, **Димитриади О. А.** — дирижёр. Спектакль “ОТЕЛЛО” в Тбилисском театре оперы и балета имени З. Палиашвили. Представлены Министерством культуры Грузинской ССР.

9. **Тольба В. С.** — дирижёр, **Лобанова Л. Д.**, **Чавдар Е. И.**, **Гмыря Б. Р.** — исполнители ролей. Спектакль “МИЛАНА” в Государственном украинском академическом театре оперы и балета имени Т. Г. Шевченко в г. Киеве. Представлены Министерством культуры Украинской ССР, Киевским государственным университетом имени Т. Г. Шевченко, Киевским заводом “Ленинская кузница”.

10. **Шерман И. Э.** — дирижёр, **Бакалейников А. И.** — режиссёр, **Чиненкова М. Л.** — исполнительница роли Ниловны. Спектакль “МАТЬ” в Горьковском театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. Представлены заводом “Красное Сормово” имени А. А. Жданова²¹.

Перед тем, как газета “Известия” опубликовала второй список, состоялось одно знаменательное событие. 10 февраля в Кремле Н. С. Хрущёвым был устроен приём для представителей научной и художественной интеллигенции. Как известно, на этом приёме Д. Д. Шостакович провозгласил здравицу в честь КПСС²².

В тот же день, когда “Известия” опубликовали список претендентов на соискание Ленинской премии, газета “Советская культура” поместила на своих страницах очередную рецензию на авторский концерт Д. Д. Шостаковича в Большом зале Московской консерватории, в котором прозвучала Одиннадцатая симфония, а сам автор исполнил партию рояля в своём втором фортепианном концерте. Кроме того, была исполнена Праздничная увертюра²³. Все эти сочинения прозвучат на Всемирной выставке в Брюсселе в августе, и главным исполнителем будет Госоркестр СССР. Только в Москве дирижировал А. Гаук, а в Брюсселе будет дирижировать К. Иванов. Как-то с трудом верится, что публикация списка номинантов на Ленинскую премию и рецензия на концерт одного из главных претендентов на премию вышли случайно в один и тот же день.

Второй список был всё же достаточно большим. К концу сессии в начале апреля он сократился до пяти кандидатур. В начале сессии каждую кандидатуру обсуждали сравнительно быстро, без подробностей. Ближе к концу обсуждения, перед выносом окончательного списка на пленарное заседание, споры становились всё более жёсткими, порой останавливались на той или иной кандидатуре подольше, обсуждали подробнее. Так было и на первом апрельском заседании секции 2 апреля. На этом заседании присутствовали Э. А. Капп, Т. С. Чебан, В. М. Мухатов, В. Ф. Кухарский, Д. Д. Шостакович, В. П. Соловьёв-Седой, О. В. Тактакишвили (его кандидатура к этому времени уже была отклонена). Председательствовал Т. Н. Хренников.

В этот раз кандидатура Свиридова всё же подверглась обсуждению, не так, как раньше, когда она проходила автоматически. Она шла наряду с Одиннадцатой симфонией Шостаковича. Привожу текст этого фрагмента стенограммы заседания 2 апреля:

“Хренников Т. Н.

— Следующая кандидатура — Свиридова, “Памяти Сергея Есенина” вокально-симфоническая поэма. Какие будут мнения?

Шостакович Д. Д.

— Хотелось бы оставить в списке. Произведение замечательное, производит сильное впечатление.

Тактакишвили О. В.

— Вполне присоединяюсь к этому мнению.

Соловьёв-Седой В. П.

— Произведение талантливое и новаторское. Но мне лично кажется, что это произведение камерное и в камерном исполнении производит более сильное впечатление. Мне представляется, что то новаторское, что он нашёл в средствах выражения с помощью одного исполнителя и фортепиано, в оркестре утрачивается. У Свиридова есть особый приём, который им найден, — колокольного перезвона на фортепиано, который произвёл на меня большое впечатление. Когда я услышал в оркестре натуралистический удар колоколом, — это приём, часто использующийся в музыкальной литературе. Хор недостаточно доносит слова, ораторски он не сделан. Ораторский текст отличается от камерного тем, что должен более широко говорить, более скандированно, чтобы донести мысль до слушателей. Мне кажется, что произведение Свиридова в таком исполнении, как слышали в зале Чайковского, проигрывает по сравнению с тем исполнением, когда я слышал <её> впервые. Мне представляется, что это произведение камерное. Единственная претензия, что автор не нашёл настоящих средств исполнения для своего произведения. Тем не менее, я считаю, что это произведение настолько талантливое, выдающееся, что его надо поставить на голосование.

Капп Э. А.

— Я слушал сколько раз произведение Свиридова и не нахожу, что оно камерное, разве только теноровая партия, которая воспроизводит самого Есенина. Она интересно написана. Единственное замечание: я бы не написал музыку на такую тему, как “грабители, убийцы”, потому что это не революционеры²⁴. Как-то не вяжется, чтобы писать музыку на эту фразу. Но у автора интересно и удачно использован непосредственный русский фольклор — это несомненно.

Чебан Т. С.

— Мне произведение Свиридова понравилось. Но надо сказать, что не было ансамбля хора и оркестра. Оркестра не было слышно, так как хор очень большой, много шума. Действительно, в камерном исполнении было бы лучше. Моё мнение — поставить на голосование.

Мухатов В. М.

— Я бы поставил на голосование.

Кухарский В. Ф.

— Я бы поставил на голосование, потому что нет другого выхода. Произведение Свиридова исполнялось много раз и определило свою концертно-исполнительскую судьбу. Произведение талантливое и не старорусская, а новорусская современная музыка. Я не почувствовал проблему камерности и массовости. Мне кажется, оно великолепно написано в той форме, в какой задумано, <о> е<сть> с оркестром, хором и солистом. Этому произведению не повезло в том отношении, что оно исполнялось в зале Чайковского, где хор за оркестром не звучит. Если бы исполнялось в Большом зале, этой претензии к автору не было бы. В смысле концепции — неверна финальная часть, но это не может служить основанием для того, чтобы не ставить на голосование. Достоинства её глубже, нежели некоторые неточности финальной части. Что касается “грабителей, убийц” и проч., это знаменитые есенинские образы и стихи, Есенин не был революционером и так воспринимал Владимирскую дорогу.

Хренников Т. Н.

— Никто не возражает против оставления в списке? (Нет). Остаётся в списке.

<...>

Хренников Т. Н.

— Следующая кандидатура — 11 симфония Шостаковича. Какие будут предложения?

<...>

Мухатов В. М.

— Это выдающееся произведение. Правда, каждый по-разному воспринимает музыку. На многих большее впечатление производит оратория Свиридова. Но я лично поддерживаю мнение, что симфонию Шостаковича <нужно> оставить в списке²⁵.

В конце этого заседания секция исключила из списка оперу “Мать” Хренникова. Голоса разделились. Большинство голосов (4) решили перенести её

на следующий год. Три голоса было за то, чтобы включить её в список. Соловьёв-Седой предложил вынести этот вопрос на Пленум. Шостакович мягко критиковал оперу.

3 апреля состоялось очередное заседание секции, на котором должен был быть согласован список для выноса его на пленарное заседание Комитета. Необходимо было окончательно определиться по количеству выдвигаемых кандидатур и сделать персональный выбор. Вопрос был совсем не простой. Дело в том, что и в остальных секциях было представлено довольно много кандидатур и везде шло горячее обсуждение, порой переходящее в ожесточённые споры. Обсуждение на секции музыки не было исключением. Оно было кратким и носило какой-то агрессивный характер. В выражениях не стеснялись. Страсти были накалены до предела. Да и ставка была высока. Помимо престижа премии, она имела и цену – сто тысяч рублей. Это целое состояние.

На заседании присутствовали все члены секции, отсутствовал высокий гость – замминистра культуры СССР С. В. Кафтанов. В каком стиле шло обсуждение, красноречиво говорит текст стенограммы. Сначала отвели кандидатуру А. Мачавариани. Просто, что называется, зарубили. Причём как-то некрасиво, оскорбительно для почтенного, профессионального композитора.

“Соловьёв-Седой В. П.

– Почему ноги Чабукиани для меня должны быть дороже, чем пальцы Гилельса или Ойстраха?

Хренников Т. Н.

– Мачавариани не оркестровал свой балет. И 35000 руб<лей> уже пошла на оплату оркестратору²⁶.

Шостакович Д. Д.

– 5% похоже на Прокофьева. Музыка не самостоятельна.

Хренников Т. Н.

– Прокофьевский дух там сильно живёт.

Хренников Т. Н.

– Насчёт спектакля разговор будет на Пленуме²⁷. А наша секция должна сказать, что поддерживает кандидатуру одного Шостаковича”.

Увы, не помогли А. Д. Мачавариани ни положительные рецензии в центральных газетах, в том числе и Г. Улановой, ни посещение его балета в Москве королевой Бельгии Елизаветой... И надо отдать должное выдержке Хренникова. Днём раньше не прошла его опера, и Шостакович внёс свой вклад в её “непроходимость”. И вот на следующий день у Хренникова хватило сил смириться и, подобно римскому гладиатору, приветствовать цезаря: “*Ave, Caesar, morituri te salutant*”²⁸. Впрочем, к третьему апреля уже был ясен выбор будущего лауреата от музыки, сделанный наверху, и Хренников, конечно, знал об этом выборе. Надо сказать, что Шостакович был в своих оценках неумолим даже по отношению к своим друзьям. Об этом красноречиво говорит его высказывание о балете А. Хачатуряна в тот день.

“Шостакович Д. Д.:

– Балет “Спартак” не является его творческой удачей”.

И балет в постановке Л. Якобсона забраковали.

Обсуждение подошло к концу. Осталось две кандидатуры. Вот как проходило заключительное голосование по этим двум кандидатурам и какое решение окончательно приняла секция.

“Хренников Т. Н.

– У нас остались две кандидатуры: 11 симфония Шостаковича и Свиридова. Вчера художники показали самоотверженный пример. Есть поэтому предложение оставить в списке одну 11 симфонию, так как вполне достойным кандидатом является Дмитрий Дмитриевич. Если оставим два произведения, голоса могут разделиться.

Капп Э. А.

– Кроме всего прочего, она написана к 40-летию и на революционную тематику.

Тактакишвили О. В.

– Я тоже горячо поддерживаю, чтобы Д. Д. Шостакович получил премию. Конечно, жалко отводить выдающееся произведение Свиридова, но Ленинскую премию надо заработать всей жизнью. Свиридов ещё успеет это сделать.

Хренников Т. Н.

— Следовательно, мы все единодушно поддерживаем кандидатуру Дмитрия Дмитриевича. На этом секция заканчивает свою работу”²⁹.

Казалось, вопрос был ясен, и секция спокойно приготовилась идти на пленарное заседание с окончательным решением. Но там их ждал сюрприз.

Первое пленарное заседание проходило 4 апреля. От секции музыки выступал В. Ф. Кухарский. Цитирую стенограмму:

“Кухарский В. Ф.

— <...> 11 симфония — единственная кандидатура, достойная премии. <...> народный революционный фольклор <...> к 40-летию Октябрьской революции <...> прочно вошла в репертуар <...>

Александров Г. В. — поддерживает кандидатуру 11-й симфонии.

Кухарский В. Ф.

— Маленькое добавление: вернуться к операм “Муса Джалиль” Жиганова и “Мать” Хренникова на будущий год.

Уланова Г. С.

— Как секция относится к Свиридову? Я считаю, что это замечательная вещь!

Кухарский В. Ф.

— Галина Сергеевна, с огромной симпатией и любовью большинство членов секции относится к этому действительно талантливому произведению. Но нам показалось, что, видимо, с кандидатурой Шостаковича в этом году ни одна из кандидатур сравнения не выдерживает, и мы пришли к единодушному мнению, чтобы подчеркнуть, что в музыке 1958 год — это, как сказал в одном выступлении т. Сурков, — это год Одиннадцатой симфонии Шостаковича. Свиридов пишет новое произведение, талантливое и интересное, и нам казалось, что к кандидатуре Свиридова нужно вернуться в будущем году или дальше.

Уланова Г. С.

— Почему другие жанры — эти две оперы — вы перекладываете на будущий год? Эта вещь Свиридова несколько не слабее, даже сильнее этих двух вещей. Это всё-таки самое лучшее, что у нас есть.

Сурков А. А.

— Когда начали исполнять эту вещь Свиридова?

Кухарский В. Ф.

— Два года назад. Я присоединяюсь к вашей хорошей оценке. На предыдущем пленуме мы оставили до будущего года ещё <i> оперу Бабаева “Орлиное гнездо”, чтобы посмотреть, что будет с ней на следующий год. Можно перенести на следующий год и Свиридова.

Уланова Г. С.

— Но ведь опера не будет лучше, если перенесёте?

Кибальников А. П.

— Мы согласились с секцией оставить в списке Шостаковича, поскольку он написал выдающееся произведение. На фоне этого вы предлагаете перенести “Мать”. “Мать” просмотрел народ, а не только мы. У меня складывается странное представление. Если мы перенесём на следующий год и если выйдут ещё выдающиеся произведения, опять на следующий год будем переносить? Мне кажется, если опера существует, её смотрят, нужно выдвигать или сказать, что не заслуживает. Было понятно, когда речь шла о “Поднятой целине” или кинофильме, которых народ ещё не видел. Но оперу “Мать” многие уже посмотрели.

Соловьёв-Седой В. П.

— Разрешите высказать свои мысли, которые я уже высказывал на секции. Каждое драматическое произведение, особенно музыкально-драматическое произведение должно иметь особую форму своего выражения, сценического выражения. Я считаю, как музыкальная поэма Свиридова, так и опера “Мать” — это талантливые произведения, но они не найдены соответствующим сценическим воплощением. Это — камерные произведения. Опера Хренникова “Мать” не является произведением оратора, трибуна, говорящего с большой площади. Это произведение, говорящее лирическим языком, беседующее со зрителем от сердца к сердцу. Оба эти произведения требуют камерной обстановки. Ошибка театральной общественности и композитора была в том, что спектакль состоялся в Большом театре. Большой театр, как известно, это огромная сценическая площадь, где никакое камерное произведение не выживало.

На этой сцене выживают большие произведения огромного масштаба. Если бы опера Хренникова “В бурю” первоначально была поставлена в Большом театре, она не имела бы того успеха, который имела, будучи поставлена на соответствующей сцене, а опера “Тихий Дон” Дзержинского, которая получила сценическую жизнь в Ленинграде в Малом оперном театре, в Большом театре провалилась, так как это произведение в смысле средств выражения — произведение камерное. Точно так же и произведение Свиридова. Я слышал это в исполнении самого Свиридова, когда он сам играл на фортепиано и пел. Я могу подтвердить своей совестью, что это произведение на меня больше впечатление произвело, когда автор сам исполнял. Это произведение отнюдь не ораторское. Стихи Есенина — это стихи, обращённые не к целому народу, а к небольшой аудитории. Они гораздо больше и сильнее звучат в сочетании с музыкой в камерном исполнении. Когда это вышло на большую трибуну, это много потеряло в исполнении. Свиридов нашёл в фортепиано очень интересное изображение колокольного звона, изображённого на рояле. Это была новаторская находка композитора. Когда же этот колокол я услышал, как натуралистический звук в оркестре, эта находка пропала. Ударил нормальный колокол, и ничего я в этом хорошего не услышал. <...>

Уланова Г. С.

— Выходит так, что театрам нужно заниматься тем, чтобы вещи ставились на той площадке, которой они требуют. Тогда нужно заниматься распределением, где что ставится, где что прослушивается. Это не наше дело. Если “Мать” оставляется на будущий год, то и Свиридова нужно оставить на следующий год.

Соловьёв-Седой В. П.

— Как вы себя почувствовали бы, если бы танцевали в “Динамо”?

Уланова Г. С.

— Я танцевала в Лужниках и очень плохо себя чувствовала. Поэтому отказалась. Но ведь моё качество танца и там не пропало.

Сурков А. А.

— Я несколько не понимаю. Допустим, написан роман. Читает его не Сурен Кочарян, а обыкновенный человек. Но впечатление создаётся. Здесь написано музыкальное произведение, которое смотрели знающие люди, в том числе люди, как говорят, умеющие читать с листа. Почему не можем сказать о впечатлении, независимо от того, ставится оно на одной сцене или на десяти сценах?

Тактакишвили О. В.

— Я тоже не согласен с таким подходом, когда объясняют снятие со списка произведения Свиридова недостатками в оркестровом изложении или тем, что это произведение другого жанра. Я считаю, что произведение Свиридова высокоталанливое, полноценное, законченное. Но когда говорим о перенесении оперы Хренникова на следующий год, будем не до конца искренними, если не скажем, что в опере есть недостатки и секция считает возможной доработку и приведение в более хороший вид, а также о том, что новый театр по-новому <её> поставит. Ставить в такие условия произведение Свиридова — неверно, оно более законченное. Но секция рассуждала так, что до последней фазы обсуждения оставались два произведения — “Симфония” Шостаковича и “Оратория” Свиридова. Если снимем второе произведение и второго композитора, это увеличит шансы Дмитрия Дмитриевича, что им вполне заслуженно всей его жизнью и всей деятельностью.

Ермилов В. В.

— Но почему же Вы переносите “Мать”, но не переносите Свиридова?

Тактакишвили О. В.

— Будет неплохо, если перенесём на следующий год и произведение Свиридова.

Ермилов В. В.

— Если отложить, что изменится? Вино изменится, если постоит, а что изменится в музыке? Одно произведение вы оставляете, потому что оно менее целостное, другое не оставляете, потому что оно более целостное. Над первым можно ещё мудрить, а мы должны смотреть, как будете его перекорректировать. Какая это художественная логика и художественная принципиальность?

Серов В. А.

— Это не очень основательно... — почему? Все выступающие товарищи из музыкальной секции говорят, что Шостакович очень хорош и с ним не выдерживают сравнения другие, что, принимая во внимание, что эти товарищи не выдерживают сравнения с Шостаковичем, есть нужда перенести <их> на будущий год. Может быть, на следующий год они выдержат сравнение с более слабыми? Это не логика. Если мы напишем, что откладываем на будущий год, читателю это будет непонятно. Давайте называть вещи своими именами: ну, не тянут эти вещи! Зачем делать излишние пируэты? Для Галины Сергеевны это закономерно — и то на сцене, а нам не по габаритам и незачем этим заниматься.

Кухарский В. Ф.

— Очень хорошо, что наши предложения вызвали такой живой и блестящий остроумный отклик среди членов Комитета. Почему мы так решили? Если говорить о Жиганове (опера “Муса Джалиль”), то члены секции будут настаивать, чтобы его кандидатуру переложить на следующий год. Это очень хорошая опера на труднейшую тему о Мусе Джалиле, в которой композитор нашёл новые формы воплощения современности. Я буду настаивать на этом и прошу проголосовать. Если есть возражения против оперы Хренникова, высказывайтесь. Я остаюсь при убеждении, что её нужно перенести на следующий год, и не считаю правильным изничтожающее отношение к этой опере, которое прозвучало у Владимира Владимировича.

Ермилов В. В.

— Я об опере ничего не сказал. Я говорил, что нельзя ставить так вопрос, что в этом году она менее ценная и поэтому переносим на следующий год. Я ни слова не сказал об опере Хренникова “Мать”.

Кухарский В. Ф.

— Последовательность нашего решения заключается вот в чём. Сколько <раз> нужно было поставить оперу “Война и мир”, чтобы убедиться, что это патриотический спектакль? Только в этом сезоне нашёлся театр, который нашёл форму воплощения этого произведения. Вот живое доказательство, а не беспринципные рассуждения. Причём это Прокофьев, а не Хренников, и нам показалось, что опера настолько сложная и не сразу доходящая до ума и сердца, что мы не поступимся своей совестью, если перенесём эти две кандидатуры и ещё кандидатуру Бабаева³⁰ из Еревана. Если мнение по опере Хренникова отрицательное и члены Комитета считают, что дело ясное, давайте обсудим. Я объяснил точку зрения музыкальной секции. Опера Жиганова поставлена в Казанском театре. Это интересный спектакль, но поставленный в одном театре. Теперь в Москве собираются ставить. Это будет очень интересно. И композитор, и его творение заслуживают того, чтобы к ним вернуться в будущем году.

Кедров М. Н.

— Относительно произведения Свиридова. Я не специалист в музыке, но это произведение слышал. Вы, с одной стороны, указываете, что оно не дотягивает до симфонии Шостаковича. Хотя оно в другом жанре и сравнивать нужно не с симфонией Шостаковича. С другой стороны, указываете, что в секции оно расценивается как завершённая форма, и до последнего момента оно было в списке. Или же приводите такой довод: а вдруг разобьются голоса. Мне кажется, что это не доводы, которые определяют достоинство произведения. Надо сказать прямо, достойно оно или не вытягивает по другим каким-то объективным причинам.

Кухарский В. Ф.

— Почему секция довела это произведение до последнего дня, а потом исключила? Потому что мы решили, что самая весомая во всех отношениях — это кандидатура Шостаковича. Сравнить нужно обязательно. По сравнению с этой кандидатурой, та несколько померкла. Если есть необходимость перенести на следующий год, это можно сделать.

Уланова Г. С.

— Я предлагаю перенести кандидатуру Свиридова на будущий год.

Кафтанов С. В.

— С этим надо согласиться.

Завадский Ю. А.

— Мне непонятно, почему должно быть одно произведение в каждом жанре.

В театре четыре кандидатуры – балет и драматические произведения. Здесь разница в жанрах. Но я считаю, что внутри музыкального искусства не обязательно, чтоб один жанр вычёркивал другой.

Тихонов Н. С.

– Действительно, в театре у нас осталось несколько кандидатур. То, что в музыке одна, это достигнуто путём внутренней работы секции и в результате обмена мнениями. Зачем же нам так увеличивать список, чтобы кандидатуры потом сбивали друг друга.

Завадский Ю. А.

– Но если второе произведение тоже достойно, надо и его оставить в списке.

Васильев С. Д.

– Здесь нет ничего особенного. Может быть год, когда те или иные жанры искусства будут давать великолепные образцы движения вперёд. Почему <мы> не можем это отражать в решении? Если музыка обоих произведений достойна быть выдвинутой на Ленинскую премию, почему нужно снять одно, потому что рядом другое тоже достойное? Почему не можем отметить, что оба достойны?

Тихонов Н. С.

– Дело в том, что они неодинаково достойны.

Сурков А. А.

– Сегодня последнее заседание и нам нужно предельно хранить равновесие душ. Нас часто заносит в сторону. Вы правильно сказали, что вопрос о Шостаковиче – это самый ясный вопрос на повестке дня. Что это есть выдающееся произведение музыки, бесспорное по отношению ко всей музыкальной периферии 1957 г<ода>, и всё было ясно, а потом начались неясности, которые начали вызывать большую дискуссию. Я не специалист, кроме того, поэмы Свиридова я не слышал, но, как говорит секция, которая должна за это совестью отвечать, это произведение, во всех отношениях хорошее, рядом с симфонией Шостаковича не является соревнующимся кандидатом. Но что изменится от перенесения на следующий год? Только то, что м<ожет> б<ыть> в будущем году рядом появится Двенадцатая симфония. Я слышал предложение по разделу музыки остановиться на Одиннадцатой симфонии Шостаковича.

(Голоса: Он остаётся).

Рыльский М. Ф.

– Я бы настаивал, чтобы поставить на голосование два произведения: совершенно бесспорную Одиннадцатую симфонию Шостаковича и бесспорную с моей точки зрения симфоническую поэму Свиридова. Я давно не слышал такой своеобразной, свежей, самобытной музыки, как Поэма Свиридова, причём написанная на близкую нам поэтическую тему.

Сурков А. А.

– Шостаковича не надо голосовать, этот вопрос ясен, а проголосовать, добавляется ли в список симфоническая поэма Свиридова или нет. Если оперы перенесются на следующий год, то голосуйте предложение Галины Сергеевны.

Тихонов Н. С.

– Но поступило предложение Рыльского, чтобы включить <его> в список.

Кибальников А. П.

– Секция изобразительных искусств имела семь кандидатур. Работая в дружном коллективе, взвешивая все требования Ленинского комитета, секция пришла к выводу, что должна отдать должное вполне заслуженной кандидатуре – памятнику Пушкина в Ленинграде работы Аникушина. Секция пришла на Пленум единодушной и имела мужество так и заявить. Но смотря на работу остальных секций, я думаю, что мы могли бы ещё выдвинуть кандидатуру, например, Тулина³¹, который не дотянул, но дотянет. Если музыку, написанную композитором, можно изменить, то у художника такое широкое поле деятельности в этом отношении, он допишет. Меня удивляет несерьёзность работы секции музыки, её немужественность, боязнь обидеть товарищей. Надо набраться мужества и сказать, что из двух композиторов лучший из лучших – такой-то. Если заслуживает премии Шостакович, мы согласны, пусть носит это большое звание.

Кухарский В. Ф.

— Я буду категорически возражать против того, чтобы Жиганова не переносить на будущий год.

Кибальников А. П.

— На основании такой работы я тоже подниму вопрос, чтобы Тулина перенести на следующий год.

Кухарский В. Ф.

— Надо учесть, что опера Жиганова поставлена только в Казани, и её многие не видели.

Тактакишвили О. В.

— Я предлагаю поставить на голосование. Секция предлагает оставить в списке одного Шостаковича.

Тихонов Н. С.

— Кандидатура Шостаковича при всеобщем одобрении остаётся в списке, и с этим будет покончено. Но секция предлагает перенести на будущий год три оперы. Галина Сергеевна предлагает прибавить к ним кандидатуру Свиридова. Давайте проголосуем это предложение.

Соловьёв-Седой В. П.

— А если мы вообще практику переноса на следующий год прекратим? Если мы думаем, что в будущем году какое-то произведение, которое не прошло в этом году, засверкает жизнью, мы его опять выдвинем.

(Голоса: Правильно!)

Тактакишвили О. В.

— Для республик это будет очень плохо.

Тихонов Н. С.

— Почему мы отказались обсуждать “Спартак” в прошлом году? Мы должны были посмотреть, какова будет его судьба. Невольно пришлось перенести.

Соловьёв-Седой В. П.

— Но всё-таки Хачатуряна снова выдвинули в этом году.

Тихонов Н. С.

— Обрубать канаты и говорить, что ничего не переносим, просто нельзя. Роман, который только что вышел и его не читали, приходится переносить.

Кухарский В. Ф.

— Давайте по каждой из этих кандидатур проголосуем, и тогда ясно будет. Если мы переносы прекратим, “Тихий Дон”³² полетит, Довженко³³ полетит. В принципе переносы ликвидировать не нужно, это будет мешать работе.

Ермилов В. В.

— Почему? Мы в будущем году снова будем рассматривать. А так мы превратимся в банк, в закроем, куда всё кладём и кладём, и так закроем напомним, что трудно будет.

Кухарский В. Ф.

— Споры сошлись на одной кандидатуре. Из этого хотят сделать вывод, что нужно совсем отбросить систему переноса. Так нельзя. Масса подобных случаев будет. Хорошо, что мы Довженко оставили. Те представители общественности, которые не согласны с точкой зрения Комитета, подумают, что вот — вернулись. Не делая из этого системы, переносы возможны.

Уланова Г. С.

— Но это законченные спектакли.

Кедров М. Н.

— Исходя из того, что завтра заканчивается наша сессия, здравый смысл подсказывает не усложнять этих вопросов. Иначе начнётся следующий пленум. Пусть будут отложенные кандидатуры. Я предлагаю те кандидатуры, которые намечены к переносу, оставить и в следующем году начать их рассматривать. Принять предложение Галины Сергеевны о переносе на следующий год Свиридова и оставить в списке на голосование Шостаковича. А в начале года мы решим вопрос об отложенных кандидатурах. Как показывает опыт, эти переносы превращаются в совершенно лёгкое отведение данной кандидатуры. (Оживление).

Ибрагимов М. А.

— Я понимаю Кедрова. Владимир Владимирович, когда мы обсуждали “Тихий Дон”, вы резонно сказали, что там масса проблем, которые требуют обдумывания. И эти оперы — то же самое: мы не успели их как следует рассмотреть и обдумать. Я предлагаю все три кандидатуры перенести на будущий

год и оставить в списке на голосование одну Одиннадцатую симфонию Шостаковича.

Вагаршян В. Б.

— Произведение, которое нам известно, можем совсем отклонить или принять. Которое не известно, которое мы не видели — надо перенести, чтобы мы имели возможность с ним ознакомиться. Произведение Свиридова все слушали, поэтому можем обсуждать.

Тихонов Н. С.

— Предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы оперу Жиганова “Джалиль” перенести на следующий год, прошу поднять руки. (27 человек). Кто против? (нет). Переносится.

Кто за то, чтобы оперу “Мать” Хренникова перенести на следующий год, прошу поднять руки (поднимают 19 человек). Кто против? (9 человек). Переносится.

Кто за то, чтобы оперу Бабаева “Орлиное гнездо” перенести на будущий год? (За — 21). Кто против (нет). Переносится на будущий год.

Кто за то, чтобы произведение Свиридова “Памяти Сергея Есенина” перенести на следующий год? (25). Кто против (2). Переносится”³⁴.

На этом история хождения по мукам Поэмы памяти Сергея Есенина не закончилась. 4 сентября в газете “Правда” появилась информация из Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства о том, что Комитет продолжает приём работ на премию 1959 года и что приём будет продолжаться до 31 декабря³⁵. Вопрос о выдвижении кандидатов в СК СССР решался в декабре. 9 декабря этот вопрос был вынесен на заседание Секретариата СК СССР.

Привожу протокол заседания Секретариата 9 декабря 1958 года:

“Присутствуют: Хренников Т. Н., Кабалевский Д. Б., Хачатурян А. И., Тактакишвили О. В., Шапорин Ю. А., Новиков А. Г., Аксюк С. В., Заринь М. О., Данкевич К. Ф., Солодуха Я. С., Фере В. Г., Восканян Г. И., Богословский Н. В.

Слушали:

2. О выдвижении кандидатов на соискание Ленинских премий за 1958 г.

Постановили:

Выдвинуть кандидатами на соискание Ленинских премий Хачатуряна Арама Ильича за музыку балета “Спартак” и Соловьёва-Седого Василия Павловича за песни последних лет: “Подмосковные вечера”, “Если бы парни всей земли” и “В путь”.

Первый секретарь

Союза композиторов СССР Т. Н. Хренников

И. о. Секретаря Правления СК СССР Я. Солодуха”³⁶.

Решение секретариата было послано в Комитет по Ленинским премиям. Но оттуда пришло письмо с возражением. Секретариату Союза композиторов напомнили о решении Комитета о переносе на конкурс 1959 года кандидатуры предыдущего года. И тут Хренников делает своеобразный демарш. Он снимает свою кандидатуру. Трудно сказать, что побудило его сделать такой шаг. Осознание собственной неудачи с оперой? Неприятие её со стороны музыкальной общественности, со стороны публики? Или, быть может, равнодушие к опере со стороны высшего партийного руководства?

Оперу действительно критиковали, появились даже частушки по поводу матерных слов и хреновой музыки. Шли споры и в Союзе композиторов. Уже в апрельском номере журнала “Советская музыка” за 1958 год в осторожной форме под видом критики оперной комиссии было отмечено, что “интересные и острые, но, к сожалению, большей частью только кулуарные споры ведутся вокруг опер “Мать” Т. Хренникова, “Война и мир” и “Семён Котко” С. Прокофьева, оперетты “Весна идёт” Д. Кабалевского и ряда других произведений. Каждое из них даёт повод для постановки важных и актуальных проблем музыкальной драматургии, однако оперная комиссия ССК, призванная возглавлять дискуссию, стать трибуной для обмена мнениями, стоит почему-то в стороне от обсуждения этих животрепещущих вопросов”³⁷.

Так или иначе, но Хренников, наступил на горло собственной песне. Опять цитирую архивный документ:

“Протокол заседания Секретариата Союза композиторов СССР от 29 декабря 1958 г.

Присутствовали: Хренников Т., Хачатурян А., Аксюк С., Солодухо Я., Шапорин Ю., Пейко Н., Новиков А., Восканян Г., Чайковский Б., Хачатурян К., Щедрин Р., Головинский Г., Зив С., Нариманидзе Н., Данилевич Л., Лившиц А.

Слушали:

4. О выдвижении кандидатур на получение Ленинской премии.

г. **Хренников Т.** — Мы получили письмо от Ленинского комитета (читает). Я хочу сделать заявление, что я снимаю свою оперу с обсуждения. Прошу считать это моим окончательным решением и этот вопрос больше не рассматривать.

Теперь мы должны решить в отношении Жиганова “Джалиль” и Свиридова оратории и подумать, что мы выдвигаем.

Что мы выдвигаем и оставляем ли эти две кандидатуры Жиганова и Свиридова?

Относительно Жиганова есть такое предложение: в следующем сезоне его опера пойдёт в Большом театре на русском языке. Может быть, отложить этот вопрос до того, как пойдёт его опера на русском языке в Большом театре? (Согласны).

Свиридов сейчас написал более современное произведение, чем “Памяти Есенина”. Может быть, не стоит подтверждать к выдвижению это произведение? У него есть оратория, написанная с революционным порывом³⁸. Может быть, не стоит это произведение выдвигать на Ленинскую премию? Мы должны это сделать до 1/1-59 г.

г. **Хачатурян А.** — Если есть интересное произведение, то надо с ним познакомиться.

г. **Хренников Т.** — Ленинской премией, как подсказала за эти 2 года практика работы, Ленинский комитет, по-видимому, предполагает увенчивать один раз в жизни. И мне кажется, может быть, рано это делать в данном случае.

Значит, в отношении Жиганова — принято.

В отношении Свиридова — если написана вторая крупная оратория, надо подождать, может быть, мы выдвинем <его> через 1-2 года за ряд произведений. Но надо иметь такой высокий уровень, какой продемонстрировал Ленинский комитет, присуждая премии. Это были Прокофьев и Шостакович. Надо держаться, как установлено, такого уровня, как 7 симфония Прокофьева и 11 симфония Шостаковича.

Является ли это произведение действительно таким уровнем?

У меня есть предложение. Я, например, считаю, что мы должны выдвигать, как выдающуюся музыку, балет А. И. Хачатуряна “Спартак”.

Я лично очень высоко расцениваю это сочинение и считаю, что он достоин выдвижения на Ленинскую премию, не спектакль, а музыка. Тогда выдвигался ленинградский спектакль. Сейчас прошёл спектакль в Москве. По-видимому, этот спектакль будет переделываться, будут вноситься коррективы. Но музыка остаётся такой, какой её сочинил А. И. Хачатурян. Отдельно музыка не выдвигалась. Я считаю, что это является выдающимся достижением не только А. И. Хачатуряна, но и всей нашей советской музыки, потому что музыка говорит сама за себя.

Можно было бы что ещё выдвинуть? Мы всё время придерживаемся крупных жанров. Можно поставить на обсуждение кандидатуру Соловьёва-Седого, потому что Ленинские премии предполагают не только крупные формы. Такой популярности, какая существует у песен Соловьёва-Седого, ни у кого нет.

г. **Солодухо Я.** — В частности на выставке в Брюсселе его песня пользовалась необыкновенной популярностью.

г. **Хренников Т.** — Ленинская премия увенчивает творца за какой-то большой кусок жизни и творчества. Иначе и нельзя это рассматривать. Кто хочет высказаться по этому поводу?

г. **Аксюк С.** — По поводу Жиганова я согласен, что это нам нужно будет решить после постановки в ГАБТе и так, может быть, это и обнародовать.

Что касается Свиридова, то “Маяковский” будет через месяц, это будет уже поздно. Мне кажется, что по совокупности ряда крупных ораторий у нас будет больше оснований ставить его кандидатуру в будущем году.

Я очень поддерживаю кандидатуру В. П. Соловьёва-Седого. Ленинская премия за массовые жанры будет очень привлекательной и примечательной. Это может стимулировать композиторов к написанию массовых жанров. Кроме того, это автор, поработавший великолепно в области песни и добившийся очень ощутимых реальных результатов. И как ни расценивать его творчество, оно достойно именно этой высшей награды.

Что касается “Спартака”. Насколько мне известно, обсуждали спектакль и не нашли возможным его выдвинуть, потому что и сценарий, и в смысле постановки он был неудовлетворительным.

т. **Хренников Т.** — Тогда решили, что подождём московской постановки. Но она не улучшила положения. Но музыка осталась музыкой.

т. **Аксюк С.** — Балет — это всё-таки представление, и <он> не живёт вне режиссуры, либретто и постановки. Музыка великолепная. Я, скорее, поддержал бы, чем не поддержал, но у меня сомнение: если мы предлагаем только музыку к премии, будет немножко странно.

т. **Солодухо Я.** — Я поддерживаю оба твои предложения и считаю нужным зафиксировать так: ...мы выдвигаем Соловьёва-Седого за выдающиеся достижения в области песни. Нам известна популярность, которую приобрели его, в особенности последние песни. И Хачатуряна — за музыку балета “Спартак”. Дело в том, что в истории присуждения премий мы знаем не один пример присуждения премий спектаклю без музыки и наоборот: были случаи, когда композитор получал <премию>, так что в принципе такое отделение возможно. Если мы считаем, что музыка этого балета достойна, надо оставить этот балет — как за музыку к балету “Спартак”. Кроме того, я считал нужным так сформулировать, чтобы вопрос о “Мусе Джалиле” и Свиридове отложить до следующей сессии.

т. **Хренников Т.** — Мы сообщим об этом Ленинскому комитету.

т. **Чайковский Б.** — Выдвинуть музыку к балету “Спартак” было бы очень хорошо, именно отдельно музыку. Очень часто балетная музыка живёт самостоятельно. Кроме того, мне показалось, что в отношении Свиридова нет веских оснований, чтобы его не подтвердить. Можно, конечно, говорить так, что он, может быть, напишет лучшее произведение, но это произведение уже получило какой-то большой и положительный, по-моему, резонанс, так что снять или не подтвердить — это не так обоснованно.

т. **Пейко Н.** — Мне тоже кажется, что балет “Спартак” Хачатуряна — действительно выдающееся музыкальное явление <в> жизни советской музыки. Я целиком поддерживаю мнение, что его надо выдвинуть. То же самое в отношении Соловьёва-Седого. Он очень много сделал в области песни. И, как вы говорите, такая премия увенчивает большой творческий путь. Поэтому, безусловно, Соловьёв-Седой достоин, чтобы его путь увенчать.

В отношении Свиридова — мне кажется поставить это сочинение стоит потому, что оно имеет все основания, оно получило очень большое признание, не говорю о том, что это удивительно яркая музыка, самобытная и в то же время простая музыка. Удивительным образом найдено сочетание предельной простоты, огромной глубины и самобытности. К тому же это произведение большого, широкого общественного смысла. А это довольно редкое явление в ораториальном жанре. Оратория получила очень большую популярность. Так что вне зависимости, хорошая или плохая будет оратория “Маяковский”, нет никакого основания отводить ораторию Юрия Васильевича или дожидаться ещё каких-нибудь <его> сочинений. Тут есть один момент, что Юрий Васильевич сравнительно мало написал музыки. Зато это сочинение по-настоящему выдающееся.

т. **Чайковский Б.** — У нас мало мотивов, чтобы отводить эту вещь, потому что она прозвучала очень ярко, и это было крупнейшим музыкальным событием. Вряд ли можно ждать, какие у него получатся следующие произведения и так гадать на этом основании, и на этом основании отводить хорошее произведение.

т. **Щедрин Р.** — Выдвигалась ли опера “Декабристы” на Ленинскую премию?

т. **Хренников Т.** — Она давно написана. Статут Ленинских премий предполагает произведения, сейчас написанные, в последние годы. Если мы будем вспоминать из прошлого, мы можем набрать несколько сочинений.

т. **Шапорин Ю.** — Здесь все увеличивается количество кандидатов на получение премии. Каждый новый кандидат затрудняет работу Ленинского комитета. Две кандидатуры я считаю очень существенными и ценными — Хачатурян и Соловьёв-Седой.

Что касается Свиридова, я готов присоединиться к тем, кто думает, что, может быть, в следующем сочинении он покажет более высокий класс. Тем более, что и по возрасту эти две кандидатуры очень подходят.

т. **Головинский Г.** — В отношении Свиридова. Всё-таки это произведение исполнялось много раз после своего создания и с каждым разом все с большим успехом. Оно уже приобрело очень много почитателей среди слушателей в Москве. Так что можно говорить о признании этого произведения. Это очень важный критерий.

т. **Новиков А.** — Я слушал доводы в пользу Свиридова. Они вряд ли убедительны. Популярное сочинение, принимали хорошо и т. д. Но товарищи забывают, что это премия не Нобелевская, а Ленинская премия, и надо рассматривать вопрос в свете того, где мы живём и что делается кругом, в свете современных событий политического характера, нацеливать композиторов на сочинение другого типа сочинений. Это сочинение не очень весит. Согласитесь сами, что Есенин и Маяковский — это разные вещи. Это сочинение, очевидно, будет поддержано Ленинским комитетом. Тут ещё можно подождать. Он ещё в творческом росте. Он работает, увидел много интересного, так что у него ещё есть перспективы в ближайшие годы ещё что-то показать. И он стремится быть более современным. Недаром он от Есенина переходит к Маяковскому. Он — человек толковый. И есть основания подождать с этой кандидатурой и не затруднять Ленинский комитет большим количеством кандидатур.

Что касается Соловьёва-Седого, об этом я уже говорил прошлый раз. Конечно, у композитора будут симфонии, оратории и другие жанры. А вот как раз такой случай сейчас, когда есть повод рассматривать кандидатуру Соловьёва-Седого и в песенном жанре. Мне хочется, чтобы правильно другие композиторы, наша молодёжь расценили, что произойдёт после присуждения премии Соловьёву-Седому. Надо правильно понять. Учитывается всё его творчество, с различным его творческим багажом и направленностью. Тогда это будет правильно. Я целиком за эту кандидатуру.

В отношении “Спартак” я воздерживаюсь. Не знаю, можно ли отдельно выделять музыку.

т. **Щедрин Р.** — Я поддерживаю основные мысли, которые здесь высказывались в отношении Хачатуряна и Соловьёва-Седого.

т. **Хренников Т.** — Мы все очень любим творчество Свиридова. Но в то же время, если положить на весы музыку “Спартак”, она играет во всём мире и живёт вне спектакля. Возьмите “Гаяне” — все знают её как симфоническую музыку, во всём мире. Это великолепнейшая музыка. “Спартак” — музыка эта тоже стала достоянием всего мира. В театрах он идёт ещё мало, но как составная часть концертной программы он исполняется во всём мире. И разве можно сравнивать популярность “Спартак” и оратории Свиридова? Разве можно сравнивать популярность Соловьёва-Седого и Свиридова? Свиридов — талантливый композитор, работающий в правильном направлении. Мы все любим его музыку. Но это явление не стало таким широким. Поэтому, предложение, чтобы подождать, тем более, у него есть время — правильное. А здесь люди, у которых за плечами огромный творческий путь. Соловьёв-Седой — это эпоха советской песни. И какое количество песенных шедевров написал Соловьёв-Седой! Надо же быть честным и признать, что это — явление выдающееся. Так что, если сопоставлять все эти фигуры, то всем будет всё ясно. И надо показать, что Ленинская премия — это не только высшее достижение в симфонизме, но это высшее достижение в самом демократическом жанре — песенном жанре.

Поэтому очень логично мы приходим к одной и другой кандидатуре. Свиридов талантливый, он должен ещё подождать, потому что Ленинская премия — это очень серьёзная вещь. Я высоко оцениваю произведение Свиридова, но оратория “Памяти Есенина” не может претендовать <на Ленинскую премию>.

т. **Пейко Н.** — Конечно, композитор, претендующий на Ленинскую премию, должен быть достаточно маститым и с собранием сочинений.

т. **Чайковский Б.** — Но тогда это может нас отвести от сочинения. Правда, надо сказать, что многие сочинения Свиридова популярны.

т. **Хренников Т.** — Посмотрите правде в глаза. К сожалению, Свиридова мало знают в народе. Особенно несоизмеримые вещи — Соловьёв-Седой и Свиридов. Свиридов — это ясно для нас, но ещё не так, чтобы присуждать Ленинскую премию.

т. **Чайковский Б.** — Но мы только рекомендуем. Если это ясно для нас — мы можем рекомендовать.

т. **Хренников Т.** — Специальное было разъяснение Ленинского комитета строже подходить <к выбору кандидатур> и учитывать многие обстоятельства. Мы сейчас проголосуем, но мне кажется, что т. Пейко сейчас понял. В лучшем случае, музыке может быть одно место, так что, если мы выдвинем двух, то будет борьба между двумя композиторами, а если мы ещё добавим, это нереально. Давайте голосовать. Кто за то, чтобы выдвинуть кандидатуру Соловьёва-Седого? Прошу поднять руки. (Единогласно).

Кто за то, чтобы выдвинуть Хачатуряна за музыку “Спартак”? Прошу поднять руки (Большинство).

Кто за то, чтобы пока воздержаться от выдвижения т. Свиридова? Прошу поднять руки. (6 голосов). Кто за то, чтобы подтвердить Свиридова? (Меньшинство, 3 голоса).

С этим вопросом все”³⁹.

Затем, как и положено, были составлены соответствующие документы и направлены в Комитет по Ленинским премиям. Привожу выписку из протокола заседания Секретариата СК СССР 29 декабря, хранящуюся в фонде Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства.

№№ Пп.	Кандидат, название работы, кем выдвинут	Результат рассмотрения кандидатуры Комитетом по Ленинским премиям
	Свиридов Г. В. "Памяти Сергея Есенина", вокально-симфоническая поэма. Выдвинута Союзом композиторов СССР	Кандидатура перенесена с сессии 1958 года. Союз композиторов довел до сведения Комитета о своём отказе от повторного выдвижения на соискание Ленинской премии вокально-симфонической поэмы "Памяти Сергея Есенина"

м. 3 от 31/ХІІ-1958 г.

Копия.

Выписка из протокола заседания Секретариата Союза композиторов СССР. 29 декабря 1958 г.

Слушали:

О выдвижении кандидатов на соискание Ленинских премий.

Постановили:

Выдвинуть кандидатами на соискание Ленинских премий следующие произведения:

— музыку балета “Спартак” А. И. Хачатуряна;

— песни “Подмосковные вечера” и “Если бы парни всего мира” (sic!)

с учётом всего песенного творчества В. П. Соловьёва-Седого.

Считать целесообразным отложить обсуждение оперы “Джалиль” Н. Г. Жиганова до постановки в ГАБТе в 1959 г.

Воздержаться от выдвижения на соискание Ленинской премии оратории “Памяти Сергея Есенина” Ю. В. Свиридова.

Принять к сведению, что Т. Н. Хренников отводит свою оперу “Мать” как кандидата на соискание Ленинской премии.

П. п. Первый секретарь Союза композиторов СССР — Т. Хренников
Секретарь Правления СК СССР — Я. Солодухо”⁴⁰.

22 апреля 1958 года все центральные газеты опубликовали списки лауреатов Ленинской премии 1958 года, сопроводив их статьями. В “Правде” о лауреатах написал глава Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства поэт Н. С. Тихонов. Об Одиннадцатой симфонии Шостаковича он заметил, в частности: “Сейчас, после появления симфонии “1905 год”, особенно отчётливо видно, насколько тема русской революции органична для Шостаковича, насколько богата творческая предыстория нового замечательного творения композитора”. Вспомнил Десять хоровых поэм, фильмы “Великий гражданин” и “Человек с ружьем”, кинотрилогию о Максиме⁴¹.

“Известия” ограничились только официальным сообщением “О присуждении Ленинских премий за наиболее выдающиеся достижения в области искусства...”⁴².

“Советская культура” дала статью А. Хачатуряна почему-то не 22-го, а 24-го апреля⁴³. Кто знает, может, Хачатурян, зная отношение к его балету Шостаковича, был обижен на своего старого товарища, коллегу, и редакции газеты пришлось долго его уговаривать...

В тот же день газета “Правда” в рубрике “Письма в редакцию” поместила коллективное письмо рабочих и инженеров одного завода, в котором они выразили своё возмущение тем, что по поводу произведений, выдвинутых на Ленинскую премию, ничего не известно общественности, народу, что о них ничего не пишут, и выражено сожаление, что премию не получили понравившиеся пишущим кинофильм и роман.

На это письмо ответил Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства. Ответил не очень внятно, смысл ответа заключался в том, что комитет отбирает... лучшие произведения. (Кто ж в этом сомневался?) И, в частности, привёл в пример Одиннадцатую симфонию: “Величественным гимном первой русской революции 1905 года прозвучала Одиннадцатая симфония Д. Шостаковича, удостоенная Ленинской премии. Композитор создал высокохудожественное произведение, близкое и понятное народу”⁴⁴.

На присуждение откликнулся и Г. В. Свиридов. Он пишет две рецензии. Одну — известную — опубликовала газета “Вечерняя Москва” 22 апреля.

Вторую рецензию до сих пор знали только несколько человек, да и тех уже нет в живых. Тем не менее, эта рецензия сохранилась в личном архиве Г. В. Свиридова на имя Ю. В. Келдыша⁴⁵. Эта рецензия отнюдь не предназначалась для публикации и представляла собой отзыв на статью Ю. А. Кремлёва об Одиннадцатой симфонии Шостаковича⁴⁶.

Такого рода “чёрные” рецензии, как известно, пишутся по просьбе редакции. Вообще-то Келдыш поддерживал Кремлёва, выступал в его защиту на Втором съезде композиторов. Вероятно, он всё же решил сам проявить осторожность, а может быть, вышестоящие инстанции ему подсказали. Почему выбор пал на Свиридова? Вполне возможно, что это была просьба самого Шостаковича. Но может быть и иное объяснение. О близких дружеских отношениях между Шостаковичем и Свиридовым в это время было широко известно, в том числе, конечно, и в редакции журнала “Советская музыка”.

Нетрудно догадаться, что статья известного музыковеда, отличавшегося консервативными вкусами, была критической. Статья писалась по горячим следам премьер Одиннадцатой и оперы “Мать”, и автор отдаёт предпочтение опере. Надо сказать, что при всей его зашоренности на официозе, Кремлёву нельзя отказать в наблюдательности и меткости в некоторых его оценках. В 1957 году никто ещё из музыкантов не заметил, что герои произведений Д. Шостаковича — “постоянно слабые люди; однако, именно своей слабостью и неприкаянностью, своими смятенными, нестройными переживаниями они способны вызывать сочувствие многих слушателей”⁴⁷, никто ещё не писал об Одиннадцатой, что основой её образов оказывается “отнюдь не могучий, благотворный, преобразующий общество дух революции, но её жертвенные, ужасные и трагические стороны. Не восстания, не деятельность революционеров 1905 г. лежат в основе замысла Одиннадцатой симфонии, а 9-е января, ужас и сострадание по поводу крови невинных. Это придаёт всей идейно-образной концепции Одиннадцатой симфонии характерный страдальческий оттенок...” Он отмечает мастерство Шостаковича, обращая внимание на то, как композитор “виртуозно владеет динамикой и красками оркестра”. Кремлёв приветствует попытку Шостаковича “построить всё музыкальное здание на основе тем революционных песен”.

Он констатирует успех симфонии, одобряет обращение композитора к революционной теме, к песне. Любопытно, по-своему интерпретирует трагедийность творчества Шостаковича, видя в нём отражение “неврозов современности”. Но, в конечном итоге, всё же отказывает Шостаковичу в глубокой правде, которую Кремлёв видел в “историческом оптимизме”: “Дело в том, что “трагедийность” Д. Шостаковича вовсе не отражает объективное состояние действительности и её развитие. Она отражает лишь некоторые невроты современности и отражает, в меру частного их значения, правдиво.

Тяжелейшие испытания и жертвы минувшей Отечественной войны, а ныне состояние международной напряжённости, чреватой атомными угрозами, – вот важнейшие источники неврозов, тревоги, смятения и проч., которые питают “трагедийность” Д. Шостаковича.

Между тем, мы знаем много явлений советского искусства и зарубежного прогрессивного искусства, которые свободны от подобных неврозов”.

И среди “новейших явлений советской музыки” в качестве примеров он привёл оперы “Мать” Хренникова и “Джалиль” Жиганова.

В той ситуации, когда впереди ожидалось нешуточные сражения в Комитете по Ленинским премиям, Свиридов занял чёткую позицию, встав на защиту Д. Шостаковича. Так как его рецензия неизвестна, то привожу её целиком:

“Я ознакомился со статьей Ю. Кремлёва об 11-й симфонии Шостаковича. Многие положения этой статьи представляются мне субъективными и бездоказательными. При уважительном отношении к труду композиторов Жиганова и Хренникова, я категорически возражаю против того, чтобы их сочинения выставлялись в качестве “эталона” советской музыки в противовес сочинениям других авторов. Противопоставление творчества советских композиторов друг другу считаю явлением нездоровым и вредным, мешающим созданию нормальной творческой атмосферы в нашей среде. Считаю недопустимым публикацию этой статьи в журнале. Статья требует серьёзного обсуждения на редколлегии. Г. Свиридов”.

Пройдёт много лет, не станет Д. Д. Шостаковича, многое изменится в жизни страны, в культуре. Автор Курских песен придёт к своему замыслу “литургической музыки”, в конце жизненного пути у него возникнет намерение написать грандиозную православную ораторию “Из литургической поэзии”, ей он посвятит последнее десятилетие своей жизни и завершит свой путь, успев довести до конца лишь часть этого замысла, приготовив к изданию хоровой цикл “Песнопения и молитвы”⁴⁸.

В его сознании окончательно вызреет мысль о важности такого критерия в искусстве, как народность. Он хорошо помнил, как эта важная для русской литературы и искусства категория была протитуирована в эпоху “ждановщины”, он видел, с каким презрением к этому понятию относилась фрондирующая советская интеллигенция после смерти Сталина. Но для Свиридова это обретшее большое значение в пушкинскую эпоху понятие, пришедшее из немецкой романтической эстетики, не утратило своей силы. И он, исходя уже из сложившихся в зрелые годы критериев и много размышляя над серьёзнейшими проблемами творчества, запишет в своей тетради 1987 года следующее размышление о Шостаковиче:

“Ни один композитор в истории не насаждался так, как насаждался при жизни Шостакович. Вся мощь государственной пропаганды была направлена на то, чтобы объявить этого композитора величайшим музыкантом всех времён и народов. Надо сказать, что и музыкальная среда охотно поддерживала эту легенду. Он был, в полном смысле слова, государственным композитором, откликавшимся на все важные события общественной и политической жизни не только своими бесчисленными статьями, но и бесконечными сочинениями: от симфоний, ораторий до танцев, песен, песенок и т. д. И, несмотря на это насаждение государственным и “квадратно-гнездовым” способом, народным художником он так и не стал ни в своих ремесленных поделках, ни в своих музыкально-философских концепциях, хотя, при всём при том, по отбору от него останется много хорошей, а иногда и прекрасной музыки. Но народность, в том смысле, в каком её понимали Глинка, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Рахманинов, – это какое-то другое дело. Какая-то особая (высшая, может быть) форма искусства.

“Способность быть народным – это особый талант и очень редкий”.
Белинский”⁴⁹.

При всём обилии книг и статей, биография Шостаковича до сих пор содержит много тайн и по существу всерьёз не написана. Жизнь его отнюдь не была сплошным праздником или, наоборот, мучением. В сравнении с биографиями Есенина или Маяковского, Цветаевой или Ахматовой, Булгакова или Зощенко, не говоря уже о Ключеве или Мандельштаме, Шостакович прожил относительно благополучно. Какой-то сочувствующий ему рок хранил его, выручал в, казалось бы, безнадёжных ситуациях. Трудно себе представить, как можно было после вызовов в печально известный в Ленинграде “Большой дом” (да ещё по делу маршала М. Тухачевского!) попасть из него не в лагерь, а в... Ленинградскую консерваторию, да ещё и профессором. Или получить на следующий год после обвинения в формализме в 1948 году очередную Сталинскую премию.

Конечно, ему пришлось верой и правдой служить власти. В основательной музыкальной репрезентации советского государства Шостаковичу принадлежит один из ведущих голосов. И власть отдавала должное композитору. Такое бывало в разные времена и с разными творцами. Можно вспомнить, к примеру, Гойю, писавшего портреты именитых испанских грандов и членов королевской семьи, за что он заработал звание “первый живописец короля”, и в тоже время написавшего свой страшный фантазмагорический цикл *Капричос*. Так что слова Свиридова о том, что Шостакович был государственным композитором, при всей их небеспристрастности, всё же были не так далеки от истины. Но главное даже не в этом, а в том, что по отношению к характеристике творчества Шостаковича действительно как-то трудно приложимо такое понятие, как народность. В его высшем, пушкинском понимании.

В упоминавшемся выше труде Юргена Хабермаса “Структурное изменение публичной сферы” есть важное для его концепции понятие “публичное резонёрство”. Немецкого философа и социолога интересует, в первую очередь, распространение его на экономические и политические диспуты, хотя он отмечает, что резонёрство изначально разгоралось “от произведений искусства и литературы”⁵⁰. В условиях сталинского режима политическое, да, впрочем, и всякое иное публичное резонёрство было практически невозможно. Правда, начиная с хрущёвской “оттепели”, постепенно возникала особая, потайная публичная сфера, к примеру, в виде “самиздата”. Но с давних времён существовала иная, очень важная для понимания русской культуры сфера, которая не отмечена Хабермасом, но хорошо знакома нам по русской литературе, она имеет коренное название – “народная молва”. Молва может быть справедливой или крайне несправедливой, может вознести и Гришку Отрепьева на царский престол, а может проявить крайнее безразличие к расстрелу царской семьи в доме Ипатьева. Народ выражал и своё отношение к искусству.

Любительские суждения об искусстве сопровождали и первые конкурсы на соискание Ленинской премии. В Российском государственном архиве литературы и искусства в фонде Комитета по Ленинским премиям хранится папка с письмами-отзывами о кандидатурах, выдвинутых на соискание Ленинских премий 1958 года. В том числе и по музыке. Эти отзывы различны, есть и просто ругательные, есть и хвалебные. Коллективные и одиночные. Подписанные и неподписанные. Принадлежащие людям разного возраста и социального происхождения. Обстоятельные и краткие. Отзывы получили не все кандидаты. Но из тех, кто в какой-то степени оставил равнодушным общественность, наибольшее количество получили Хренников, Свиридов и Шостакович. Наиболее откровенные, хотя порой и наивные отзывы принадлежат людям, мягко говоря, невысокого культурного уровня. Привожу один такой характерный отзыв об Одиннадцатой симфонии:

“Шостакович Д. Д. – Одиннадцатая симфония “1905 год”. Каждый год его произведения выдвигаются на премию “знатоками музыки”. Народ же его музыке не только не любит, но удивляется, что в ней находят специалисты.

27/III-58 г.

Подпись неразборчива”⁵¹.

А вот отзыв человека из провинции о Поэме памяти Сергея Есенина:

“Вх. № 118 от 19/II-58 г.

В Комитет по Ленинским премиям.

По вашей просьбе, опубликованной в “Известиях” от 15 февраля, шлю вам, дорогие товарищи, своё мнение о выдвинутых кандидатурах. Мои исходные позиции: я считаю, что Ленинская премия должна присваиваться за работы, затрагивающие и блестящие, решающие задачи, определяющие основные судьбы нашей Родины.

В этом свете я считаю необходимым присвоить Ленинские премии:

А). В области литературы

1. Стельмах М. А. “Кровь людская – не водица”

Б). В области музыки

1. Свиридову Г. В. Памяти Сергея Есенина – **из уважения к душе русского народа (а не просто к поэту Есенину и связанной с ним музыки)** /выделено мной. – **А. Б.**/

В). В области изобразительных искусств

1. Девятову М. М. – за “Октябрьский ветер”

Г). В области театрального искусства

1. Завадскому Ю. А. и Новикову Б. К. – за “Дали неоглядные”.

Д). В области кино

1. Зархи А. Г., Рыбникову Н. Н. – за кинофильм “Высота”

15/II-58 г. Инженер В. Степанов

Томилино, М.-Рязанской ж. д. Улица Гаршина, дом 20, кв. 2”⁵².

В одной из тетрадей Разных записей у Свиридова о Поэме можно прочитать следующее: “Первая моя осознанно Русская вещь была Поэма памяти Сергея Есенина. Здесь **Россия** стала темой для творчества”⁵³.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Большой театр и театр им. С. М. Кирова вошли в лонг-лист конкурса на Ленинскую премию с другими спектаклями. Поэтому был выбран Нижегородский театр.

² РГАЛИ. Ф. 2077, оп. 1, ед. хр. 1468. Стенограмма общего собрания московских композиторов и музыковедов 22 января 1958 года. На 106 листах. – Л. 7-8.

³ “Советская музыка”. – 1958. – Январь. – № 1. – С. 4.

⁴ Нестьев И. Заметки о современной теме в музыке // “Советская музыка”. – 1958. – Январь. – № 1. – С. 17.

⁵ Обе эти постановки были выдвинуты на соискание Ленинской премии 1958 года.

⁶ “В Болгарии с огромным успехом проходят авторские концерты народного артиста СССР композитора Д. Шостаковича. Одновременно в ряде городов выступат советский квартет имени Бетховена, так же исполняющий произведения прославленного советского композитора”.

⁷ Шостакович Д. “Поэма памяти Сергея Есенина”. – Вечерняя Москва. – 1956. – 14 июня.

⁸ Цит. по рукописи-автографу рецензии. Текст, отредактированный в газете, был немного изменён: “Поэму памяти Сергея Есенина” можно смело назвать гордостью советской музыки”. Факсимиле рецензии и текст её в газетном варианте приводится в следующем издании: Книга о Свиридове: Размышления, высказывания, статьи, заметки / Сост. А. Золотов. – М.: Советский композитор. 1983. – С. 12-13, с. 15.

⁹ Сокольский М. Поэты и композитор: Заметка о вокальных циклах Свиридова // Литературная газета. – 1956. – 23 августа. – № 100. – С. 2.

¹⁰ РГАЛИ. Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 100. Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Премия 1958 года. Секция музыки. Дело № 3. Личные дела кандидатов, окончательное рассмотрение которых перенесено на сессию 1959 года. 1958 год. На 69 л. – Л. 45.

¹¹ РГАЛИ. Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 100. Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Премия 1958 года. Секция музыки. Дело № 3. Л. 51.

- ¹² К 3 12/6с (Постановление подготовлено: Д. А. Поликарповым, Е. А. Фурцевой, М. А. Сусловым, принято: М. А. Сусловым, Е. А. Фурцевой). Идеологическая комиссия ЦК КПСС. 1958–1964. Документы / Сост. Е. С. Афанасьева, В. Ю. Афиани (отв. ред.), Л. А. Величанская, З. К. Водопьянова, Е. В. Кочубей. – М.: РОССПЭН, 1998 (Серия: Культура и власть от Сталина до Горбачёва. Документы. Ред. коллегия К. Аймермахер (гл. ред.), В. Ю. Афиани, Д. Байрау, Б. Бонвег, Н. Г. Томилина). – С. 61–62.
- ¹³ Записка отдела пропаганды и агитации и культуры ЦК КПСС. 27 мая. Цит. по изданию: Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: Документы. – М.: РОССПЭН, 1998. – С. 62.
- ¹⁴ Субботин С. И. Чему свидетели мы были. Цит. по изданию: Георгий Свиридов в воспоминаниях современников / Сост. и коммент. А. Б. Вульф; Авт. предисл. В. Г. Распутин. – М.: Молодая гвардия. 2006. – С. 287.
- ¹⁵ Хучуа П. “Вдохновенное искусство”. // “Правда”. – 1958. – 26 января. – № 26. – С. 6.
- ¹⁶ Медведев А. Поступь большого искусства. Премьера балета “Отелло” в Тбилисском театре оперы и балета им. З. Палиашвили. // “Советская культура”. – 1958. – 4 февраля. – № 14. – С. 2–3.
- ¹⁷ Игнатьева М. В одном жанре – разными путями. // “Советская культура”. – 1958. – 1 февраля. – № 14. – С. 3.
- ¹⁸ Бергер Л. В новом исполнении. // “Советская культура”. – 1958. – 30 января. – № 13. – С. 3.
- ¹⁹ Рунов К. У истоков нового жанра // Там же. С. 2.
- ²⁰ РГАЛИ. Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 66. Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Премии 1958 года. Секретариат. Дело № 9. Стенограммы заседаний секции музыки от 6/II, 10/II, 2/IV, 3/IV – 1958 г. Начато 10/II-1958 года – окончено 3/III-1958 года. 52 листа. – Л. 6–7.
- ²¹ От Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства. // “Известия”. – 1958. – 15 февраля. – № 39. – С. 2.
- ²² Б. п. В честь народной советской интеллигенции. // “Советская культура”. – 1958. – 11 февраля. – № 18. – С. 3.
- ²³ Постникова Е. Шостакович – автор и исполнитель. // “Советская культура”. – 1958. – 15 февраля. – № 20. – С. 3.
- ²⁴ Имеется в виду строка “Все они убийцы или воры...” из третьей части Поэмы “В том краю, где жёлтая крапива...” на слова одноимённого стихотворения С. Есенина.
- ²⁵ РГАЛИ. Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 66. Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Премии 1958 года. Секретариат. Дело № 9. Стенограммы заседаний секции музыки от 6/II, 10/II, 2/IV, 3/IV – 1958 г. Начато 10/II-1958 года – окончено 3/III-1958 года. 52 листа. – Л. 32–36.
- ²⁶ Это серьёзное замечание было голословным, недоказуемым. А. Д. Мачавариани был профессиональным композитором, который владел оркестром. В практике композиторов бывали случаи, когда оркестровку делал другой композитор или оркестратор. Этого не чурались даже такие композиторы, как С. Прокофьев.
- ²⁷ Дело в том, что на секции музыки рассматривались кандидатуры музыкальных спектаклей из выдвинутых в области театрального искусства.
- ²⁸ “Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя”.
- ²⁹ РГАЛИ. Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 66. Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Премии 1958 года. Секретариат. Дело № 9. – Л. 53.
- ³⁰ Опера А. А. Бабаева “Арцваберд”.
- ³¹ Тулин Юрий Нилович (1921–1986) – живописец, член Союза художников СССР, автор жанровых и исторических композиций. В 1958 году его работа “Лена. 1912 год” была отмечена премией Гран-При Международной художественной выставки в Брюсселе.
- ³² Кинофильм С. А. Герасимова
- ³³ Кинофильм “Поэма о море”.
- ³⁴ РГАЛИ, фонд Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 63. Секретариат.

- Дело № 5. Стенограммы заседаний Пленума Комитета от 4/IV, 5/IV и 6/VI-1958 года. Начато 4/IV-1958 года – окончено 6/VI-1958 года. 103 листа. – Л. 28–39.
- ³⁵ В Комитете по Ленинским премиям в области литературы и искусства. // “Правда”. – 1958. – 4 сентября. – № 247. – С. 1.
- ³⁶ РГАЛИ, ф. 2077, оп. 1, ед. хр. 1466. Протоколы заседания Секретариата Союза композиторов СССР. Протокол № 28 от 9 декабря 1958 года. – Л. 321.
- ³⁷ Б. п. Насущные задачи Союза композиторов. // “Советская музыка”. – 1958. – Апрель. – № 4. – С. 4–5.
- ³⁸ К тому времени уже было широко известно о том, что Свиридов работает над новым ораториальным сочинением на слова В. Маяковского, которое получило окончательное название Патетическая оратория.
- ³⁹ РГАЛИ, ф. 2077, оп. 1, ед. хр. 1466. Протоколы заседания Секретариата Союза композиторов СССР. Протокол заседания Секретариата СК СССР 29 декабря 1958 года. – Л. 322–343.
- ⁴⁰ РГАЛИ. Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 164. Секция музыки. Дело № 2. Личные дела кандидатов, не получивших Ленинской премии 1958 года. 1959 год. 86 листов. – Л. 49–50.
- ⁴¹ Тихонов Н. С. Выдающиеся произведения советского искусства. // “Правда”. – 1958. – 22 апреля. – № 112. – С. 3.
- ⁴² “Известия”. – 1958. – 22 апреля. – № 96. – С. 1.
- ⁴³ Хачатурян А. Поиски совершенного. // “Советская культура”. – 1958. – 24 апреля. – № 49. – С. 3.
- ⁴⁴ “Правда”. – 1958. – 24 апреля. – № 114. – С. 3.
- ⁴⁵ РГАЛИ. Ф. 3333, оп. 1, ед. хр. 55. Две рецензии в журнал “Советская музыка”. Авт. маш., 1 л.
- ⁴⁶ Кремлёв Ю. По поводу Одиннадцатой симфонии Д. Шостаковича. Авт. маш. – РГАЛИ. Ф. 654, оп. 4, ед. хр. 865, л. 4–15. На л. 15 рукой автора представлена дата: 3 декабря 1957 года. На л. 4 сверху редакторская ремарка: “Не пошло”. Судя по второй, неясно читаемой ремарке, статья предназначалась для второго, февральского номера журнала за 1958 год.
- ⁴⁷ Там же, л. 15. Любопытно, что поэт С. Городецкий называл героя военных симфоний Шостаковича “Петрушкой на войне”, что отметил Г. Свиридов в 1980-е годы.
- ⁴⁸ Более подробно об этом см. мою вступительную статью “Музыкальная теодицея Георгия Свиридова” к тому XXII Полного собрания сочинений Г. В. Свиридова, в котором был издан хоровой цикл “Песнопения и молитвы” (М.; СПб.: Свиридовский национальный фонд, 2001. – С. V–XLIV).
- ⁴⁹ Запись в тетради 1987 (I). Цит. по изданию: Свиридов Г. В. Музыка как судьба / Сост., авт. предисл. и коммент. А. С. Белоненко. – М.: Мол. Гвардия, 2002. – С. 397.
- ⁵⁰ Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества. С предисловием к переизданию 1990 года / Юрген Хабермас; пер. с нем. В. В. Иванова. – М.: Издательство “Весь мир”, 2017. – С. 84.
- ⁵¹ РГАЛИ Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 79. Секретариат. Папка XVI. Письма-отзывы о кандидатурах, выдвинутых на соискание Ленинских премий 1958 года по разделу музыки. Январь–март 1958 года. На 103 листах. – Л. 62.
- ⁵² РГАЛИ Ф. 2916, оп. 1, ед. хр. 79. Секретариат. Папка XVI. Письма-отзывы о кандидатурах, выдвинутых на соискание Ленинских премий 1958 года по разделу музыки. Январь–март 1958 года. На 103 листах. – Л. 45–46.
- ⁵³ Тетрадь № 9 в линейку с вырезанными листами в дерматиновой обложке жёлтого цвета. “Восход”, Москва. Филиал № 2 Арт. 6345-р ГОСТ 13309-74. Сквозная паг. 142 с. Почерк Г. В. Свиридова. 10 л.

ЯНА САФРОНОВА

НОВЫЕ СЛОВА

О молодёжном номере журнала “Знамя” № 3, 2019

“Перед нами – своего рода коллективное “селфи”, самопрезентация поколения, вступающего в литературу”, – читаем мы на обложке мартовского молодёжного номера журнала “Знамя” за этот год. Тут в глазах молодого человека должна загореться лампочка узнавания. “О, – думает он, – да здесь говорят на моём языке!” – и упоённо бросается рассматривать групповое литературное фото. Обнаруживает следующее: так как селфи-палки у ребят не было, и времени, чтобы её приобрести, – тоже, пришлось заснять с руки. Это ответственное дело доверили Степану Гаврилову, главному открытию номера. Хорошо видно только его, остальные в кадр либо не попали, либо получились нечётко. Привлекает внимание и другое: лица у молодых писателей слегка обескураженные, растерянные как бы. Заселфиться и прислать по *WhatsApp*’у их попросили старшие, вот и собрались они быстренько и неловко, щёлкнулись и разбежались. Не впечатлившись картинкой, взыскательный зритель идёт листать новостную ленту дальше, даже не поставив лайк...

Ещё раз повидаться авторам, уже по-настоящему, пришлось семнадцатого апреля на дискуссии “Существует ли новое литературное поколение?”, устроенной журналом “Знамя” и Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ в библиотеке имени Боголюбова. Приехать, правда, смогли не все. Но это разговору не помешало... А беседа и впрямь получилась интересная, хоть для кого-то и обидная. Вот, например, что рассказывает о дискуссии журналист портала “Год литературы” Андрей Мягков: “Наталья Иванова <...> решила выдать немного редакторских секретов. Оказывается, никогда номер не возникает из идеи – сделаем такой-то номер. В редакции прочитали текст Степы – роман, который говорит молодым языком о молодых, – поработали с ним и решили дополнить тем, что уже было в закромах и ждало публикации. Номер, таким образом, сложился сам собой, безо всякой первоначальной концепции”. Заместитель главного редактора даже не считает нужным скрывать, что остальные материалы – лишь приложение к произведению Гаврилова, а номер составлен из “листа ожидания”.

#проза #монотекст #девьяности

Но вот ещё в чём дело: проза не только вытащена из запасников, она как будто и подобрана “под Гаврилова”. В отдельных текстах типажи, ситуации, “молодой язык” буквально повторяют заглавный роман “Опыты бесприютного неба”. Словно представленные в “Знамени” прозаики просто взяли и написали к нему дополнительные главы.

Значительная часть содержания у Гаврилова – бандитские разборки, делёж территории наркотического рынка. Вот и в рассказе Павла Селукова “За-ячья кровь” главную героиню из баптистского реабилитационного центра выводят в большой мир два амбала, которых она “кинула на наркоту”. А в тексте Михаила Тяжева “Фуражка” решает серьёзные вопросы вышедший с зоны Лёха Свинец: крадёт у детей фуражки, избивает бывшего поделщика. Станным образом даже в произведении Анны Золотарёвой о преподавателе философии “Философ” тот идёт на “стрелку”, которую назначили его сыну из-за того, что он отдал кому-то ногу. В общем, куда ни глянь, везде выясняют отношения на разных уровнях опасности.

Ощущение ностальгии по эстетике девяностых влияет и на языковое наполнение произведений. Иллюстративный кусочек из “Опытов бесприютного неба”: *“Запорожец въехал жопой в ворота чьего-то гаража. Бодро навалившись, мы стали толкать тачку вперёд, но кромка двери, сделанной из тонкого листа железа, вошла в багажник почти до половины. “Как, сука, нож в масло”, – сказал Серёга, сплёвывая кровь из разбитой губы”*. Стилистический близнец, родившийся на пять минут раньше, а потому более аутентичный, “Подкова” Павла Селукова: *“Подкову вот достал. Я ей старшака в пятнадцать лет на эспандере ухайдокал. Первомай был. Тогда пивалдер ещё везде продавали. Киряли в дым”*.

Произведения настолько прочно “спаяны” с романом Гаврилова, что в них иногда кочуют его заблудившиеся герои: филологическая барышня-поэтесса Лика, а после и порноактриса из “Опытов бесприютного неба” успешно реинкарнируется в рассказе Михаила Тяжева “Дядя Вита”. Она всё ещё учится на филфаке, только теперь её зовут Одри и по ночам она ходит в гости к пожилому фотографу, потому что очень хочет стать фотомоделлю.

Чем объясняется такая однородность, каким образом редакции журнала “Знамя” удалось достигнуть эффекта единого, бесконечно длящегося текста? Варианта два: либо это сознательная концептуальность (что редакция отрицает), либо примерно таков поток отобранной журналом “молодой” литературы, а Степан Гаврилов – лишь её наиболее типичный представитель. Кажется, всё же второе. Иначе чем объяснить скромное присутствие в самом конце резко отличающихся от всего остального рассказов Арины Обух? Нет там никаких разговоров по душам раз на раз, лексики из мест не столь отдалённых, штампованных филологических барышень с тяжёлой эротической судьбой. Обух пишет о волшебной обыденности жизни, пытается создать свою мифологическую систему и умело обращается с художественным образом. Это письмо другого толка, простое и естественное, пластичность его достигается за счёт зорко увиденных деталей: *“Как только начинается перерыв, открывается дверь и на пороге стоит Зоя. Волосы зачёсаны назад и собраны в “тыковку”. Из-за траура она больше не красит их хной, поэтому ото лба у неё идёт обруч седых волос, такой белый нимб”*.

С точки зрения редакторской стратегии было невыгодно дать тексты Обух в молодёжном номере, пускай даже под занавес. Во-первых, потому что читатель на контрасте понимает, что только Обух здесь умеет писать; во-вторых, в этом сразу угадывается отсутствие цели напечатать ряд похожих текстов, и очевидной становится неприятная случайность...

#степангаврилов #расслоение #портретпоколения

Но в чём же всё-таки феномен Степана Гаврилова, что за произведение послужило мощным импульсом для запуска шестерёнок литературного процесса? Роман “Опыты бесприютного неба” вызывает удивительное единодушие. Трудно было понять, о чём спорили на дискуссии “Знамени” и к чему пришли. Ясно одно: роман Гаврилова понравился всем без исключения, и даже критически оценивающая молодёжный номер писательница Наталья Рубанова отозвалась о нём с симпатией. Критические отзывы также, как один, проникнуты благожелательностью, заранее слегка оправдательной. Критики, которые писали об “Опытах бесприютного неба”, неизменно упоминали об очевидных недостатках текста, выдавая их за достоинства.

Произведение распадается прямо в руках. Оно начинается с дроблёной ретроспективы в детство, которая призвана ввести нужных героев. Со звуком хлопущки в первой главе один за другим “влетают” никак не связанные друг с другом персонажи и благополучно забываются до финала. Далее герой

большую часть времени рассказывает о своих злоключениях и безработице в Петербурге, а потом люди из детства снова одномоментно сыплются на него, как драже, и наступает поспешная развязка их линий. Дополнительно Гаврилову захотелось изложить свои соображения о портрете поколения, и так как средствами художественной прозы сделать это не удалось, появился научный трактат, который передал другу главного героя случайный человек в КПЗ. Новаторский приём в духе “Путешествия из Петербурга в Москву” ещё больше расстроил текст.

Критик Владимир Панкратов не считает это проблемой и пишет на интернет-портале “Горький”: *“Если учитывать, что герой здесь ещё и рассказчик (довольно забавный, надо сказать), становится объяснимой несобранность текста, которая здесь, конечно, является приёмом, а не недоработкой. Это как если человек начнёт рассказывать о проблеме раньше, чем решит, о какой именно”*. Интересно получается: если назвать нечто приёмом, оно автоматически перестанет быть недоработкой. Рассказчик и сам постоянно проговаривается: *“Сбивчивость повествования – всегдашний атрибут этого письма”*. Но потом забывает о преднамеренности действия: *“Теперь надо вернуться почти на два года назад и рассказать всю эту историю, а то получится несколько сбивчиво”*. И приём превращается... в неумение выдержать структуру.

Роман располагается на лоскуты стилистически. В начале автора отчаянно штормит, желая сказать понятно/красиво/необычно борются в нём, оттого случаются странные соседства. То с умным видом читаешь про *“общую атмосферу индифферентной настороженности”*, *“фантастическую эйсид-осень”*, *“пропахший формальдегидом город-миллионник”* и цвета, звучащие *“реверберацией”*, а то по-свойски узнаёшь, что герой работает *“постоянно на палеве”*, предложения по трудовой части были *“безмазовые”*, но иногда всё-таки попадались *“ништяки”*. Однако расщепление языка тоже можно ловко оправдать. И вот как это делает писатель Булат Ханов в своей колонке на сайте *“Textura”*: *“Стиль “Опытов бесприютного неба” представляет собой добротный сплав убойного сленга, битниковской стихии, постпелевинской иронии и постгегельянской мудрости. У Степана Гаврилова огромный словарь, и в нём есть место и низкой лексике, и высокой, и профессиональной...”* Огромный словарь – это хорошо, когда умеешь с ним управляться. А вот когда достаёшь из него разноцветный ворох слов и просто разбрасываешь вокруг, то уже не очень...

Когда читаешь отзывы об *“Опытах бесприютного неба”*, кажется, что все восхищаются просто тем, что текст написан о молодых людях, поэтому готовы оправдать самые очевидные промахи. Степан Гаврилов дарит оптимистичную надежду: о поколении пишут, современность осмысляют, процесс идёт, литература двигается. Но ведь как осмысляют, и каким рисуется образ поколения.

Главный герой и его бесчисленные знакомые – люди, которые приехали из провинции в Петербург. У них нет сформированных целей, они прыгают с одного места работы на другое и в свободное время частенько находятся *“под кайфом”*. Главный герой с упоением рассказывает байки о наркотических притонах, всячески романтизирует изменённое состояние. Персонажи вереницей проносятся мимо, сливаются в одно дрожащее пятно. Один не то поэт, не то фотограф разодрал себе руки до мяса под дозой, другой стёр пальцы о гитару до крови. Трудно вспомнить, как их звали и чем они друг от друга отличаются. Гаврилова это не слишком заботит, он почти не даёт портретных характеристик, биографии выписывает прозрачными штрихами. Герой становится интересен автору только тогда, когда он употребил и стал странным. Единственный недоступный наркомании персонаж – Соня, постоянная девушка главного героя, его основная поддержка. Несмотря на то что Соня всегда рядом, она остаётся *“за”* прожектором повествования, писатель полностью игнорирует её, о ней сказано не больше двух слов. Конечно, ведь что в Соне, такой обычной и повседневной, занимательного? В порно не снимается, в секс-шоппе не работает, себя не режет.

В манифестальном вставном трактате о поколении *“джипси”* (кроме того, что современные молодые люди не поддаются точному обозначению, постоянно меняют место работы и не интересуются деньгами) особенно подчёркнуто, что *“этот класс – один из первых, который озадачился созданием культуры употребления лёгких наркотиков”*.

У них нет прошлого и ощущения истории. Главный герой с гордостью заявляет: “Союз полностью развалился, адъос! Я никогда не видел в этом хоть какой-то значимости – именно потому, что на место этих событий может быть поставлено любое другое”. Но всё же это не полный нигилизм, просто волнуют его более важные вещи: “Просто есть процессы более глобальные. Например, волнует меня больше всего то, что, когда я родился, кто-то из лучших умов планеты сказал, что постмодернизм умер”. Понятно, что это всего лишь поза, но оказывается, за ней ничего не стоит. У Гаврилова – поколение **ни-кто**, люди, которых нет и, кажется, не будет. Они отработанные, холодные и мёртвые внутри.

#поэзия #потерянность #вергилий

Тем временем в поэтической рубрике молодёжного номера журнала “Знамя” царит атмосфера застывшей неопределённости. Молодые поэты монотонно наговаривают в стену о чём-то своём, необязательно понятном читателю. В медитативно-мантровой интонации вязнут слова, предметы, останавливается время. Это монохромный гул: схожесть приёмов, графической записи, звука, смысловая желеобразность. Если приложить усилие и напрячь слух, в звуковом потоке едва ли можно различить два голоса, приходящихся на пять авторов.

Первый – слегка запинаящийся, тихий. Ну, то самое, когда решил говорить прежде, чем придумал, что сказать. Открывающий молодёжный номер “Знамени” Василий Нацентов признаётся, что молодые люди ещё пока мало что видят, напоминают слепых котят. Вот и в стихах Нацентов близоруко и приблизительно угадывает пока лишь неясное мигание:

* * *

*как темнеет за пластиковым окном
как немо оно и как гладко строги его черты
как темнело за деревянным окном я почти не помню
но горчат шершавины раны
и заклеены щели малярной лентой
и слышен дождь заоконный
и загробная груша слышна
ты сидишь
а дом кончается и летит
ты сидишь
а дом освещённый одной сигаретой
безответно мигает и темнеет темнеет*

Вторит ему Ирина Любельская, которая констатирует свою растерянность перед жизнью вообще. Это выражается и поэтически: “Какая здесь путаница, переполох – смятение”, – замечает поэтесса и оказывается совершенно права. Всё в том же синонимичном нацентовском стихотворении зыбкий мир качается, дрожит, мелькает.

* * *

*где растёт одно слово — вырастить сад,
сад, пригоршню и россыпь.
птицы спешат и трепещут, спешат —
и качается воздух.
<...>
и не медля и не торопясь убежать
между веток мелких и частых, —
всё дрожит на земле и чернее стрижа
солнце,
облако,
обещание счастья.*

Трагическую разорванность реальности сильнее других ощущает Егана Джаббарова. Но доносит это открытие Джаббарова средствами исключительно прозаическими. Например, рассказывая о потерянности и бессмысленном времяпрепровождении, излишне подробно описывает каждый шаг лирической героини, “наматывая” поэтическую ткань хаоса на первые бытовые детали, которые попались под руку: кожуру апельсина, пакетики от “Колдрекса” и т. д.

* * *

*поэтому
большую часть времени
мы провели
в тёмной питерской квартире
даже огромные потолки не выручали
повсюду пахло кожурой от апельсина
валялись пакетики от “Колдрекса” и таблетки
<...>*

Второй голос звучит внушительнее, он будто повзрослее и поувереннее. Правда, не перестаёт бубнить, но умно. Борис Пейгин и Олег Горгун – главные поэтические интеллектуалы номера. Из их стихотворений лукаво выглядывают Гераклит, Фалес, Вергилий, Августин Блаженный, Леонардо да Винчи, Эразм Роттердамский, Марсель Пруст... Кого там только нет! Но при всей многолюдности заполнить пустоту не удаётся, великие служат декоративным украшением либо поводом для словесной игры.

Олег Горгун:

*Не гадал на Вергилии, не покупал
на вокзале кустарный “Оракул”.
Принимал от Тебя и снежок, и вокзал,
и другие приметы и знаки.
<...>*

Борис Пейгин:

*И пойду по воде, поскольку стоит межень,
И, прождав тебя, отстою
Назначенную виргилию.
Если Данте полюбит Вергилия,
это будет лишь фанфик.
Я дождусь, дождусь, мы сойдёмся на рубеже,
Если ты на могиле моей прорастёшь в аканфе.
И на этом всё.
<...>*

На поэтах внимание не заострялось. Ну, какие тут могут быть открытия, если у Гаврилова “дебют автора в толстом журнале”, а Борис Пейгин и Василий Нацентов уже отметились в других молодёжных номерах “толстяков”* и довольно хорошо известны журнальному читателю? Поэтому на дискуссии им дали сказать пару слов, а в напутствие ещё и обругали. Наталья Рубанова возмутилась: “Стоит ли отдавать целый номер свежей крови, которая на самом-то деле не является свежей? Такое ощущение, что многие поэты сразу родились пятидесятилетними. Читаешь – и это очень скучно, простите, ребята. <...> Новые формы, новые слова – где это все?” По-моему, с модными формами как раз всё в порядке, а новые слова – дело наживное, жаль только, что они не ведут к новому Слову.

* Поэтические подборки Василия Нацентова были напечатаны в молодёжных № 8 журнала “Наш современник” за 2017 год и № 6 журнала “Октябрь” за 2018 год. Рассказ Бориса Пейгина “Доктор Канин” публиковался в № 8 “Нашего современника” за 2018 год, а его поэтическая подборка в том же журнале в 8-м номере в 2017 году.

#возраст #плохоекачество #неудачноефото

Желание поговорить о поколении вообще оказалось сильнее отсутствия поколения литературного. Самой занимательной в молодёжном номере “Знамени” является рубрика “Круглый стол. Свободнее и счастливее нас?”, где социологи, политологи, профессора на фактическом материале рассуждали об особенностях и перспективах так называемых миллениалов. Там можно узнать, что средний возраст вступления в брак повышается, а общая поколенческая стратегия отсутствует. Рефреном в выступлениях разных людей звучал мотив технофилии, все эксперты, как один, говорили об ориентированности на интернет, о том, как это влияет на формирование молодёжного социума. Но эти информативные рассуждения оказались полностью оторваны от того литературного материала, который был представлен в номере, никак с ним не пересекались.

Молодёжный номер “Знамени” – это потрёпанная старая книга под новой глянцевою обложкой. Попытка создать шум, нагнать дискуссионного накала ничем не заканчивается, потому что повода для дискуссии нет. Поднятое на знамени слово “новое” обещает свежесть, удивление, прогрессивность. Вместо этого мы читаем нечто, что было новым и интересным разве что годах в 70-х прошлого века, когда Андрей Битов только опубликовал свой “Пушкинский дом”.

Да и само объединение авторов по поколенческому признаку под обложкой специального номера “впервые в истории” только лишь для “Знамени”. Опыт молодёжных выпусков не начинается и не заканчивается на этом журнале. Например, “Октябрь” в прошлом году отдал молодым авторам шестой номер, а “Наш современник” вообще регулярно посвящает один выпуск в году молодым уже на протяжении 15 лет (!). За это время вокруг журнала успело сформироваться сильное литературное поколение. Наиболее заметные молодые авторы – прозаики Юрий Лунин, Дмитрий Филиппов, Андрей Тимофеев, Елена Тулушева, Андрей Антипин; поэты Мария Знобищева, Карина Сейдаметова, Дарья Ильгова, Павел Великжанин.

В “Знамени” же про литературную генерацию никто особенно и не думал. Возрастной разброс авторов слишком велик, чтобы объединить их в одну “молодёжную” субкультуру. Самому младшему автору номера двадцать один, самому старшему – сорок пять (хотя возраст в творческой биографии у Михаила Тяжева предусмотрительно не указан). В теории это могли бы быть отец и сын, но кого это волнует?

Понимаю, что положение “толстых” журналов бедственное и срочно нужно что-то делать, создавать информационные поводы, темы, на которые можно было бы говорить в печати. Но зачем же совсем не стараться? Наткнулись на рукопись, решили *святить номер*, давайте что-нибудь поговорим о молодых. А может быть, надо было изначально всё-таки продумать концепцию, проработать номер, сделать его соразмерным и разнообразным? И если видно, что селфи получилось не очень, наложить фильтр или даже переснять...

НАЗЫВАЯ ИМЕНА

Молодые писатели о Юрии Луние

В глухие девяностые писатели выживали, как могли. Знаменитым всё-таки помогали – меценаты, иной раз и государство, а литераторам второго ряда... Помню, один молодой прозаик дал объявление: готов продать себя, если кому-то понадобится...

О работе с молодыми, тем более заботе о молодых речи тогда не шло. Подтверждением тому – представительство авторов до тридцати пяти лет в Союзе писателей России. На март две тысячи восемнадцатого года оно составляло четыре процента.

В последние годы всё изменилось разительным образом. Молодые востребованы. Их публикуют, награждают, журналы борются за “юных гениев”, семинары, школы, форумы проходят один за другим. Уже и на творчество времени не хватает: рюкзачок за спину – и на очередной форум.

Явились десятки литературных “кочевников”, представляющих новую словесность. Хорошо ли это? Лучше, чем творческое безлюдие девяностых. Плодотворно ли? А вот здесь не без проблем.

Калейдоскоп имён, лиц плохо складывается в картину молодой литературы. Как и в любом деле, здесь важна не только массовость, но и упорядоченность, иерархия.

Вот почему журнал “Наш современник”, раньше других начавший привлекать молодых и больше многих сделавший для их становления, активно поддержал декларацию и творчество “новых традиционалистов”. Посреди броуновского движения новых писателей заявила о себе группа единомышленников, объединённая творческими принципами, отношением к жизни и литературе.

Это первый этап плодотворной консолидации. Следующий – выделение из группы лидеров. И дело не только в авторитете, который признают единомышленники, но и в творческом потенциале, дающем ориентиры, вселяющем в молодых веру в их коллективную силу и значимость.

Круглый стол, посвящённый творчеству Юрия Лунина, – значимая веха на пути формирования поколения писателей десятых годов. Лунин – один из самых известных авторов нового поколения. Я бы назвал ещё несколько имён – Андрея Антипина, Андрея Тимофеева, Елену Тулушеву. Но молодые решили говорить о Луние – достойный выбор. На семинарах в Липках я сам слышал, как уважительно, со значением ребята произносили его фамилию. Думаю, не случайно книга Юрия Лунина “Святой день” вышла в знаменитой серии “Классики и современники”.

Для формирования современной литературы нужен классический стержень, вокруг которого будет объединяться многообразие текстов и имён. Участники круглого стола пытаются выявить этот стержень в творчестве Юрия Лунина, в частности, в рассказе “Три века русской поэзии”, который журнал “Наш современник” публикует в этом номере.

Александр КАЗИНЦЕВ

Елизавета МАРТЫНОВА, поэт, главный редактор журнала “Волга-XXI век” (Саратов)

Юрий Лунин – новый и очень интересный для меня автор. Не только как для редактора, но и как для читателя. Проза Лунина затягивает, её хочется читать и перечитывать. Эту её *читабельность* я проверила на других людях, не-редакторах и не-филологах: его рассказы и повести воспринимаются как реальность, которая помогает понять современную жизнь. Проверяла я это воздействие на сотрудниках журнала, на читателях библиотек – они воспринимают Лунина как современную классику. Думаю, что тот, кто с прозой Лунина однажды познакомится, будет потом искать её для себя, для собственного прочтения.

Конечно, стоит задуматься, почему так происходит. Лунин – прекрасный рассказчик, а это очень редкий дар. В русской литературе даже не все классики были хорошими рассказчиками. А у Лунина это есть. Есть также и “диалектика души” (определение, данное Н. Г. Чернышевским прозе Льва Толстого), трудная и болезненная вещь – человек постоянно чувствует жизненный пульс, изменяющиеся настроения “внутри себя”. Особенно это чувствуется в повести “Клетка”, но и в рассказе “Три века русской поэзии” тоже. Понятно, что это не специально осознанный метод, а просто образ мышления – и образ видения автора. Он так существует, бесконечно осозная жизнь в каждом её поэтическом проявлении.

Юрий Лунин – поэт в прозе, и я не удивлюсь, если он пишет ещё и стихи или песни, – настолько тонкое и лиричное восприятие поэзии он предлагает читателю. По сути дела, Лунин говорит о возможности – и необходимости – существования современного человека в поэтических координатах, в мире Настоящего. Поэзия преображает мир, но поэзия есть и в том, как пишет сам Лунин.

Мне очень нравится пластика его фразы, умение передать оттенки душевных движений, внимание к людям – “цветное зрение”, когда он с нежностью воспринимает любые проявления жизни. Лунину дороги герои любого душевного склада, для него произведение создаётся, как вселенная, художественный космос, в котором необходимы доброе и злое, чёрное и белое, яркое и блёклое, нравственное и безнравственное. В мир пришёл прекрасный художник, который этим миром восхищается – и не хочет его переделывать, как-то трансформировать, ведь он пришёл с любовью.

Да, основные мотивы прозы Лунина – любовь и вина. Вина, связанная с собственным несовершенством, с осознанием его. В этом есть что-то религиозное. Он не говорит о Боге напрямую, но чувство Бога в написанном им несомненно присутствует. Автор радуется сотворённому – тому, что его окружает, и написанному тоже радуется, поскольку это ведь тоже отражает творение.

Понятно, что Юрий Лунин – не первый автор в русской литературной традиции, который этими свойствами (радостью перед творением, рефлексией, любовью к миру) обладает. Важно и интересно, что такой художник появился снова. Главное – это не стилизация, не эпигонство, а его, Лунина, собственный авторский почерк. И говорит это о том, что традиция русской литературы – и прозы, и поэзии – рождается из души автора, из его непосредственных переживаний, из его внутренней поэзии.

В прозе Лунина прекрасна её естественность. Его герой находится внутри живого поэтического мира (я говорю о рассказе “Три века русской поэзии”), в том же мире находится его автор, и он умеет погрузить в эту реальность и читателя. Каждую фразу я перечитывала как стихотворную, с её словесной точностью, когда каждое слово на своём месте – эта целостность доставляет огромное удовольствие.

В принципе, этот рассказ (да и вся проза Лунина) находится “вне времени”. Она не актуальна тем, что поэтична. Поэзия вечна (и это не высокие слова, это действительно так). Лунин нашёл выход в нынешнюю реальность, преобразив её своим душевным движением, движением поэзии. Этим он и отличается от других значительных современных прозаиков.

Конечно, нельзя не сказать, что Лунин продолжает традицию русской классической прозы. Ему родственны Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Куприн, Иван Бунин, малоизвестный Илья Сургучёв (прозаик первой волны русской эмиграции), Георгий Семёнов, Юрий Казаков.

Не знаю, как относится Юрий Лунин к своему тёзке, Юрию Казакову, но его рассказы абсолютно коррелируют со многими произведениями старшего прозаика. Очень много у них общего: лиризм, любовь к людям, умение переживать чужую боль, как свою (“рассказ Юрия Казакова “Некрасивая”), чувство единения с природой. Даже не чувство единения, скорее, нежность, близость, сочувствие. Лунина и Казакова роднит ранимость и незащищённость героев. Трудно провести границу между героем Юрия Казакова и Лунина и их авторами. Это ещё одна присущая классике черта: поэзия, заключённая в художественном произведении, становится реальностью. В этом и заключается “мужество писателя” (у Юрия Казакова есть эссе с таким названием) – уметь проживать свою жизнь как истинное поэтическое произведение.

Яна САФРОНОВА, критик (Подмосковье)

Рассказ Юрия Лунина “Три века русской поэзии” весь, от начала и до конца, пронизан лирическим трепетом и сиянием. Не будет преувеличением сказать, что это классический текст, безусловно, лучший у Лунина.

“Три века русской поэзии” – рассказ об осознании поэтической природы мира. Семнадцатилетний парень попадает в больницу с аппендицитом и пропускает экзамены. На книжной полке он находит антологию русской поэзии. После её прочтения что-то для него неумолимо меняется. Тем временем отец давит на него с поступлением, и юноша решает сбежать на денёк, с велосипедом отправиться к реке. Тут и начинается череда случайных встреч, в результате которых молодой человек многое узнаёт о себе и о других.

И хотя на протяжении всего рассказа читатель не покидает ощущение лёгкости и “выдохнутости” этой вещи, сделана она математически точно. Антитеза руководит движением рассказа: встречи героя с людьми влекут за собой появление их антиподов, что даёт возможность понять ценность предыдущего знакомства. Не зря после светлой стеснительной девушки возникают вычурные, навязчивые мать и дочь: так парень узнаёт, чем сдержанная красота отличается от кичливой пошлости. Так же не случайно рядом даны образы отца Андрея и работника при храме, бывшего зека Матвейки. Антитезой является и изначальная оппозиция уже знакомого нам обывателя-отца и поэта-сына. Даже на уровне локальной образности всегда возникает двойственность: *“Впереди уже виднеется родной лес. А вот то место, где он лежал сегодня после встречи с ней. Это место не узнать: оно золотое, а за ним – совершенно чёрная река”*. В сравнении и наблюдении за диалектикой природы герой обретает себя.

“Три века русской поэзии” – это поэтическая “Одиссея”, современная реализация сюжета мифологического типа. Всё по классической канве. Главный герой ощущает зов странствий и отправляется в путешествие, где должен примириться с подозрительным отцом и пережить внутреннюю трансформацию. Он видел и избежал настоящих сирен: *“Водяная лилия! Русалка! Сирена! Вы художник – вы просто обязаны нарисовать её обнажённый портрет! <...> Она неестественно хохочет и выкрикивает что-то ещё, но парень уже не может разобрать слов”*. Прошёл испытание трудом и соревновался в нём с циклопом: *“Матвейка – человек неопределённого возраста с изувеченным лицом. Одну его глазницу, в которой то ли есть, то ли нет глаза, целиком закрывает набухшая оттянутая бровь”*. И, наконец, как любой герой мифа, вернулся домой с наградой: понял, что станет поэтом, ведь по-другому он просто не может.

Это не единственный культурологический “слой” произведения. Можно рассматривать его и в триаде ад-храм-рай – несколько раз это открыто проговаривается. Кроме того, каждая встреча на пути героя – его приобщение к тому или иному типу лирики: любовной, гражданской, церковной и философской.

Говорят, писать стихи о стихах – дурной тон, сложно сказать что-то новое, ещё труднее изобрести общеупотребимую поэтическую формулу. Так вот, Лунин написал прозу о стихах, и сделал это лиричнее иного поэта. Процесс рождения стихотворения схвачен на бегу, пойман за крылья: *“Даже так: стихи уже содержатся в мире, только в особом, небуквенном виде. Поэт – это человек, который может их записать для людей. Стихи уже есть... Он чувст-*

вует близость какого-то нового, ещё никем не записанного стихотворения. Он не может назвать из него ни строчки и даже не в состоянии сказать, о чём оно, и в то же время каким-то таинственным образом уже знает его целиком, ощущает его бесспорное, уже готовое существование, как будто эти сосны и это поле без перерыва поют это стихотворение, как собственный гимн, — надо только вслушаться и перевести на человеческий язык. Какую-то долю секунды парень пребывает в совершенной уверенности, что эта задача элементарна, что гораздо сложнее ощутить само присутствие стихотворения, чем записать его, — но уже в следующее мгновение он стоит перед страшным фактом: услышать и записать ничего не получается. Стихотворение есть — но его нет”. Мы наблюдаем за захватывающим актом творчества, где в одном мгновении рассказана, в общем-то, вся жизнь.

В “Трёх веках русской поэзии” случается то, что не удавалось писателю в его творчестве ранее. Персонажи в рассказе — не идеализированные образы, не социальные типы, не растения для антуража в душающем болоте безвременья. Все случайные незнакомцы — настоящие люди. Лунин создаёт выпуклые, разнообразные характеры. Самый чуждый из них Лунину, и одновременно один из самых удачных — Матвейка, работник при храме.

Матвейка человек хитрый, пробивной, как мы узнаём по намёкам, с богатым криминальным прошлым. Отец Андрей обещал ему дать денег на билет, потому Матвейка со скрипом выполняет ежедневную работу. Но в то же время есть в нём, кроме грубой практичности, и тоска по далёкому сыну, и переживание за него: “Знать бы только, жив он или нет, в тюрьме или на свободе”. А ещё — правдивое осознание своей “непробиваемости” и толстокожести. С самого начала Лунин даёт исчерпывающую портретную характеристику рябого Матвейки: “Единственный его видимый глаз напоминает одинокое крохотное солнце в стене уродливой башни, по скупому свету которого только и можно судить, что внутри этой башни ещё теплится какая-то жизнь”. И всё-таки свет есть, и Лунин его видит.

Рассказ “Три века русской поэзии” — это вывод из раннего творческого периода писателя, в котором он осваивал сначала мир психологии ребёнка (“Через кладбище”, “Сеня”, “Успение”, “Гады”), а затем подростка (“Бабочка”, “Где музыка ваша”, “В морге”, “Пастораль”). В “Трёх веках русской поэзии” преодолеваются “комплексы” лунинской прозы: ведь здесь автор смотрит не только “в” героя, но “из” него на огромный, удивительный мир и прозревает его неповторимость.

Юрий ФОФИН, прозаик (Челябинск)

У Лунина есть все: и талант, и жизненный опыт, и вкус, и чувство меры. И что-то ещё есть такое, чего другим современным авторам часто не хватает. Лев Толстой писал: “...цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое <...>, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету”. Похоже, это оно. И в рассказе “Три века русской поэзии” это единство особенно ясно выражено.

Сюжет рассказа прост. Парень семнадцати лет попал в больницу, там случайно наткнулся на поэтический томик, перечитал его “вдоль и поперёк”, вернулся домой и понял, что станет поэтом. При этом родители от него ждут чего-то другого, но ничего не поделаешь, всё решено: “Он же чувствует, что готов лишь к одному: к бестолковой и великой судьбе поэта”.

На поверхности лежит тема “появления поэта”. Ещё даже не “становление”, как у Джека Лондона в “Мартине Идене” или в “Золотой розе” Константина Паустовского, — на эту тему много книг. А вот “появления” не помню. И действительно, с первых строк рисуется метафора: мальчик, окрылённый, несётся с горы на велосипеде — это поэт со своим поэтическим мироощущением, только что осознавший себя поэтом.

Но за этим “появлением”, кажется, кроется что-то более важное, — непосредственно само поэтическое восприятие мира: “Он вспоминает свою вчерашнюю мысль, — что стихи делают идеальным неидеальный мир, — и понимает, что был неправ: стихи идеальны только потому, что идеален мир”.

“Мир – это рай. Я в раю”, – думает парень, слыша гудение пчёл, стрекотание кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет маленьких птиц”.

Однако диапазон этого восприятия не отличается особенной широтой. Это довольно поверхностное и обывательское представление о поэтическом мироощущении. А значит, не подлинное. Оно не вобрало в себя трагическое мировосприятия Лермонтова, Тютчева, ограничиваясь умилением природой: “В небе тают облака, и, лучистая на зное, в искрах катится река, словно зеркало стальное...”

Такой радикально позитивный, оптимистичный взгляд на мир выглядит как ответ “плохишам” из девяностых и нулевых: Сорокину, Пелевину, Сенчину и прочим. Вот, мол, смотрите и учитесь, как надо чувствовать мир! Но герой не знает, что с этим раем ему делать, а Лунин не знает, что делать с этим мироощущением. Поэтому бросает и упомянутую вначале боль и много раз повторенный “ плен”.

Проблема прозы Лунина в том, что в его художественном мире добро и зло действуют порознь. В конце рассказа герой сидит в “раю с загаженным полом”. “Раз это рай, почему пол загажен?” – спрашивает он себя. А потому? что есть отдельно добро и отдельно зло: к добру относится девушка в косынке и чернобородый священник, к злу – развратная женщина. Все просто и понятно: беги от развратной женщины к священнику и хорошей девушке.

Выходит такой “неоклассицизм”, где все характеры отличаются “чистотой” и однозначностью. Лунин создал стерильный мир. Он не имеет отношения к жизни, где добро и зло действуют сообща, часто меняясь местами. Всё это только предстоит узнать герою Лунина. И всё для того, чтобы двинуться дальше, у этого прозаика есть.

Ирина ИВАСЬКОВА, прозаик (Анапа)

Прочитав последние строки рассказа, ловлю себя на мысли – какой же счастливцев этот парень без имени. И хочется представить себе его будущее – что же может случиться с ним дальше? Жаль его родителей, которым предстоит либо смириться с неудобным, нездешним, ненормальным выбором сына, либо отвергнуть его. Жаль работающего при храме Матвейку, которого “никак не прошибёт”, и чудовищных велосипедисток – развязную маму с красавицей дочкой. Жаль потому, что свой путь они не выбирали, а двигались по течению, не сопротивляясь и не задумываясь, отдавая себя обстоятельствам и окружению.

А главного героя не жаль ничуть – если удастся ему сохранить в себе тот твёрдый выбор – “бестолковой и великой судьбы поэта”, – ждёт его такое же бестолковое и великое счастье – горстка черники на обрывке ткани, предчувствие ненаписанных стихов и уверенность в том, что мир ждёт от него поэзии.

Алексей УПШИНСКИЙ, поэт (Подмосковье)

О Юрии Луinine мне уже доводилось писать. Правда, очень немного. Это была аннотация к его первой книге – сборнику рассказов “Святой день”. То, что я сказал там, повторю и здесь. Потому что тогда мне удалось выразить в словах нечто важное о Лунинских текстах, к тому же в весьма лаконичной форме, что вообще-то у меня получается редко.

Все рассказы, составившие дебютный сборник Лунина, я прочитал задолго до их выхода в печать. Разумеется, я читал и многие другие его тексты, в эту книгу не вошедшие. Все их объединяет, как мне видится, нечто трудноуловимое, но напрямую связанное с личностью автора. Можно было бы легко отделаться и сказать, что это стиль. Или, допустим, манера письма. Однако эти слова в данном случае ничего не объясняют. Не помню, кто сказал, что стиль – это личность. Хорошо, но что за личность стоит за стилем, связывающим воедино все рассказы “Святого дня” (да и не только их)? Понятно, что играть в Юнга или Фрейда и воссоздавать психологический портрет автора из его текстов меньше всего является моей задачей.

Анализировать стиль Лунина представляется мне довольно сложным занятием, и даже занятием неблагоприятным. Я пробовал, но автор постоянно

ускользает от определений и выводов. Так последуем же и мы за ним, как писали в старинные времена.

Самое ценное в Лунинской прозе — её музыкальность. Поймите меня правильно, речь не идёт о какой-то специальной инструментовке, ритмизованной прозе, сказовой напевности, вовсе нет. И хорошо, что нет. Потому что для этих текстов инженерия вышла бы чересчур нарочитой и напрочь бы всё испортила. Лунин — писатель не только талантливый, но и умный. И следует он в каждой своей фразе даже не за мыслью, а за некой неназываемой нитью. Про неё, как про китайское Дао, невозможно сказать, что она есть в этой фразе или в таком-то образе, но нельзя сказать, что есть хоть одна фраза, сцена или образ, где этой нити бы не было. Это я и называю музыкой. Автор сознательно отказывается от придумывания, сочинения, но внимательно вслушивается и всматривается — куда эта нить ведёт, где эта музыка откликается.

Лунин не подменяет слова идеями, а молчание — толкованием идей. Он пишет без предустановок, без заранее созданных схем и продуманных партий. Можно было бы сравнить такое письмо с импровизацией на заданную тему, но в том-то и дело, что заданной темы тоже нет. Что в таком случае есть? Есть нить, мерцающая, почти невидимая, на каждом повороте стремящаяся и вовсе скрыться и исчезнуть, и есть музыка, которую надо услышать. Она никогда не звучит громко, ни для автора, ни для читателя. Может быть, только в рассказе “Три века русской поэзии” эта нить разматывается достаточно равномерно, и эта музыка звучит достаточно внятно на протяжении всего повествования. Но это, пожалуй, исключение, не подтверждающее правило, а как бы его оттеняющее.

Кажущаяся лёгкость, гармоничность и где-то даже самоочевидность текста у Лунина всегда именно что кажущаяся. Речь о том, что в Лунина надо вчитываться тоже медленно и тоже непросто, как бы в подражание авторскому стилю работы. Проверять, если что-то показалось очевидным, перечитывать, если текст показался слишком лёгким. И тогда эта мерцающая нить проведёт читателя по очень интересным и разнообразным местам, где за видимым минимализмом картинок открывается много всего непростого, но пронизанного музыкой и — позволю себе патетический момент — ведущего к свету. Всё-таки ведущего к свету. Нет, Лунин не тащит читателя за воротник, не берёт его за руку, но и не оставляет одного в этих сумерках, когда непонятно — утро сейчас или вечер. Всё же сумерки светлеют и становятся днём, и негромкая музыка текста продолжает звучать ещё долго после того, как чтение текста закончилось.

Юрий Лунин пытается найти смысл, найти цельность и красоту в мире, давно лишённом этих качеств, непонятно, как ещё существующем, потому что искусство вот уже много лет ведёт его всё дальше от цельности и красоты. Но Лунин это хорошо понимает и не выдает желаемое за действительное. А ведь каков соблазн и как часто хочется создать этот цельный и осмысленный мир — хотя бы в своем тексте!

Но создать его нельзя, его можно только найти, открыть, заново обрести. И пока такие поиски продолжаются, нельзя говорить ни о смерти литературы, ни о конце искусства. Да и на нас музыки всё же хватает. А пока писатель Юрий Лунин вслушивается в неё, будем вслушиваться и мы.

Андрей ТИМОФЕЕВ, прозаик, руководитель Совета молодых литераторов (Подмосковье)

Несколько лет назад на Форуме в Липках одна молодая писательница рассказала мне забавную историю. По её словам, в московских литературных ту-совках, когда градус алкоголя зашкаливает и начинается разговор “за жизнь”, кто-нибудь да обязательно спросит в хмельном угаре: “А ты Лунина читал вообще?” И тогда беседа сразу же уходит в эдакое экзистенциальное пике к самым важным вопросам.

С прозой Лунина определённо связана какая-то тайна. Это феномен, который невозможно объяснить разложением его на составные части (психологизм, стиль, идея, сюжет), к которому можно и нужно подойти с удивлением и осторожностью, понимая, что тайну никогда нельзя раскрыть вполне. Я попробую поговорить о “методе Лунина” в его частном воплощении — в рассказе

“Три века русской поэзии” — и в его общем смысле, важном для прикосновения к разгадке этой самой тайны.

Частная задача писателя в “Трёх веках русской поэзии” — создать собственно сам образ “поэзии” и связанного с ним мироощущения. Узловыми точками этого образа являются смутные прозрения лирического героя, для которых получилось найти словесное воплощение: стихи “идеально ровные”, как полоска следа от самолёта в небе, “хотя мир, про который они написаны, неровный”; стихи — это то, что содержится в мире, но не может быть выражено в полной мере. И, наконец, — стихи связаны с болью и “горьким, похоронным смыслом всего существующего”. Эти свойства даже не всегда следуют напрямую из сюжета, они порой вычленены как самоценные субстанции (как, скажем, концентраты внутреннего опыта в пришвинских дневниках).

Однако образ “поэзии” не конструируется только из совокупности точек, в которых получается определить принципиально неопределимое. Поэтичен сам воздух рассказа. И тонкие переживания лирического героя, и встреченные им люди, и описания природы — всё это работает на создание объёмного поэтического мироощущения в момент его зарождения (вернее, первого осознания).

И вот на этом самом месте кончается разговор о частной творческой задаче рассказа и начинается разговор собственно о тайне Лунина-прозаика. Потому что само поэтическое мироощущение, будучи органически воссозданным в душе лирического героя, даёт возможность воспринимать мир сквозь особенную оптику (в целом свойственную Лунину, но именно в “Трёх веках русской поэзии” доведённую до максимальной точности и зрелости). Эта оптика позволяет видеть мир уютным, словно изображённым на детском рисунке, и одновременно трагически обречённым на смерть; видеть одно и то же место у реки то в райском умиротворении, воплощённом в образе ивы, “беседующей” с героем своей прохладой, то в апокалиптической картине ливня — черноте ртутной воды и ощущении трясущихся под ногами листьев подорожника, похожих на кишасих лягушек. Для этой оптики существенно и крупное, и мелкое, так что фокус легко переключается с путеводного купола храма на другом берегу на прибившиеся к опорам моста водоросли, которые треплет течение (подобно, скажем, переключению с “неба содроганье” до прозябанья “дольней лозы” в известном пушкинском стихотворении). Эта оптика легко сталкивает противоположности (“Если это рай, то почему пол загаженный?”, — думает герой о спасительном доме, в котором спрятался от дождя). Причём это не стремление просто различить всё на чёрное и белое, не идеализированное восприятие, а способ видеть мир в пределе, в его высшей точке (высшей точке гармонии или высшей точке трагедии), способность опознать в мире концентрированную суть.

Особенно ясно поэтическая оптика проявляется при обращении лирической “камеры” на людей. При всей психологической убедительности намеченных контуром характеров героев, перед нами не собственно реальность в её хаотической достоверности. Скорее, это “истинный романтизм” в терминологии Пушкина (который фактически и есть настоящий реализм в его самом широком понимании), позволяющий видеть в людях самое существенное, художественно обобщая их характеры. Это образ, вбирающий только самое главное, из которого стёрли “случайные черты”, оставив его истинную красоту. Причём эта красота вовсе необязательно положительно этически окрашена (аленький рот похотливой девочки — тоже красота, да и наивность отца Андрея, и умение Матвейки отлынивать от работы). Образ Матвейки показателен, потому что он наиболее проработан в смысле бытового реализма: мы больше знаем об этом человеке, чем об остальных героях, видим его в нескольких ситуациях. Но и это — не просто персонаж, и его авторская оптика высвечивает в точке максимально возможного для него внутреннего достоинства: отвечая на приглашение Серафимы остаться в её доме, Матвейка подозревает, что не он ей нужен, что это лишь способ “грешки замолить”, и потому — “какой я ни есть, а я не пёс, чтобы меня с дороги подбирать. Мне свой собственный угол нужен”.

Особенного внимания заслуживает катарсис в рассказе — как высшая нота существования даже не отдельного явления и не отдельного человека, а всего мира в целом (“последним словом” в котором является всё-таки гармония, а не трагедия). Эмоциональное пространство текста “натягивается”,

как тетива, уже в сцене в храме, когда, ощутив трагический смысл жизни, герой начинает рыдать, а потом через безобразную сцену соблазна доходит до кульминации напряжения в апокалиптическом ливне, чтобы, наконец, разрешиться встречей с девушкой в белом платке. Невероятно, но этот путь от эмоционального сгущения до умиротворяющей прозрачности проходит не сам герой, а как бы весь мир и мы вместе с ним.

Так в итоге рассказ о поэзии и молодом парне, осознавшем в себе душевную чуткость поэта (вообще-то не такой уж и крупной теме, важной лишь тому, кто непосредственно занимается или интересуется художественным творчеством), становится рассказом о высшей ноте существования человека и мира. Частная творческая задача была решена, но её решение таинственным образом стало не только и не столько итогом, сколько методом дальнейшего решения широчайшего круга задач (по сути – любых творческих задач). Методом основополагающим, с помощью которого можно познавать жизнь в её подлинной сути и красоте.

И последнее замечание, касающееся уже не столько написанного и опубликованного, сколько попыток заглянуть в будущее. Кроме восхищения блестящей прозой Лунина, в литературной среде часто идут разговоры о некоторой инфантильности его лирического героя (а в силу их угадываемой близости – и образа автора), о необходимости “взрослеть”, становиться не просто рефлексирующим подростком, но активно действующим в мире мужчиной. И доля правды в этих разговорах, по-видимому, есть. По крайней мере, где-то в глубине души меня задевает разница в степени авторской иронии по отношению к отцу и по отношению к сыну в сцене их разговора, и я не могу не чувствовать, что симпатии автора в данном случае на стороне сына.

И пусть объективация в конце всё-таки происходит: точное слово “бестолковой”, придающее неоднозначность стоящему рядом прилагательному “великой” (“он же чувствует, что готов лишь к одному: к бестолковой и великой судьбе поэта”) переключают точку виденья с внутреннего мира героя на позицию внешнего наблюдателя и позволяет нам по-пушкински объёмно увидеть ситуацию (“глазами отца нашего Шекспира”^{*}), включающую в том числе и незрелость лирического героя. Но подспудное ощущение надуманности самого конфликта между “обычными” родителями и сыном-поэтом и авторского взгляда, придающего ему повышенную значительность, остаётся.

Однако моя интуиция о развитии Лунина-прозаика всё-таки не связана напрямую с “взрослением” камеры. Умение видеть мир в его высшей ноте искупает любую инфантильность и бездеятельность. А вдруг сохранение и развитие этого взгляда только и возможно через воплощение в чистоте молодого человека – я не знаю, автору виднее. Вот только кажется, что Лунин слишком много занимается собственно настройкой камеры: изучает её, требует полной достоверности её внутренних винтиков, полной честности камеры с самой собой. Но это ведь не только для того, чтобы познакомить нас с её устройством? Ведь конечная цель – сквозь мастерски настроенный объектив показать мир, тот мир, который мы не увидим сами, потому что нет у нас этой призмы, мир, который, возможно, гораздо подлиннее нашего, “реального”. И нет сомнения – оторвавшись от настойчивого разглядывания камеры и обратившись к тому, что можно увидеть сквозь неё, писатель такого уровня сможет всё. Вернувшись в “привычный” мир из мира внутреннего, его лирический герой сможет описывать и его (ведь тот дождь прошёл и здесь). После дня, настроившего оптику камеры, мальчик-герой готов к “бестолковой” судьбе поэта, а Лунин-прозаик – к судьбе большого художника.

В поколении “нового традиционализма” есть обладающий густым сочным языком Андрей Антипин, есть чуткие к социальным проблемам Елена Тулушева, Евгений Декина, Дмитрий Филиппов, есть психологически тонкие Ирина Иваськова и Алёна Белоусенко. Но Лунин является, на мой взгляд, камертоном для них всех. Не каждому поколению повезло так, не в каждом поколении великая пушкинская традиция, наша единственно возможная русская традиция, проявилась писателем, по которому можно сличать собственную принадлежность к ней. И в этом ценность Юрия Лунина не только как автора, а ещё и как представителя литературного процесса, своеобразного (и, наверно, бессознательного) духовного лидера современной молодой литературы.

^{*} Цитата из письма Пушкина в момент его поиска принципов того самого “истинного романтизма” и объективного описания мира.

КОНСТАНТИН ШАКАРЯН

“И ЧТО ЕЙ ТЕ БОЛОНКИ?..”

О российском “либературоведении” в контексте поэзии Глеба Горбовского

На днях ушёл от нас великий русский поэт Глеб Яковлевич Горбовский. Много откликов было по поводу его смерти, и большинство из них – сердечные и трогательные... Но были и выступления таких русофобствующих горе-критиков, как Д. Быков и И. Кукулин. Эта статья – о Глебе Яковлевиче и одновременно – ответ всем этим “быковокулиным”.

За творчеством Дмитрия Быкова я не слежу. Могу лишь сказать, что сей персонаж – универсальный тип литератора, который стремится самоутвердиться во всех жанрах, всюду оставить свой след, авось, что-нибудь да переживёт самого литературного трудоголика, сохранится если не в памяти людей, то хоть на чьих-то книжных полках. Но, умри Быков завтра и унеси с собой в могилу – с той же стремительностью, с какой писал их, – все свои тексты, – я не позволю себе говорить о нём в таком тоне, в каком он высказался несколько дней назад на “Эхе Москвы” о недавно ушедшем от нас Глебе Горбовском (“Один”. 28.02.19). Цитирую: “Поздние стихи Горбовского совершенно чудовищны, но это тоже была во многом, как у Есенина, хроника распада, открытая хроника падения, в том числе профессионального”.

Комментировать ли как-то эту старую песенку, начатую когда-то кузьминскими и гоziасами и подхваченную ныне быковыми? Стоит ли говорить, что произведения Глеба Горбовского где-то уже с середины 1960-х, и далее – в 1970–1980-х годах стали утонченнее, зреее духовно и оснащённее технически, чем его ранние, “с лохматинкой” стихи конца 1950-х – начала 1960-х годов?

Быков продолжает: “Для многих советских поэтов, понимаете, спиваться тоже было манифестацией неучастия, манифестацией непричастности ко всей этой фальши”. Такие слова в контексте судьбы Горбовского звучат смешно, потому что, во-первых, 10-летнего Глеба, попавшего в оккупацию, шутя, спивали немцы, а после этого он уже не смог справиться с тем, что стало болезнью, – пил, не просыхая, до 40 лет:

*Сорок лет промчалось в вихре.
Остальное — разве жизнь?*

Но оказалось, что и “остальное” – жизнь, и более того – жизнь просветлённая, обретшая второе дыхание. А для Глеба Горбовского жизнь всегда равнялась поэзии:

*Найти себя не в годы странствий,
а лишь теперь — на склоне лет,*

*когда ветхо твоё убранство
и никаких иллюзий нет...*

А во-вторых, смешно сказать, но именно Горбовский” – советский поэт” (прилагательное “советский” здесь не более, чем условное хронологическое обозначение) не пил ни грамма на протяжении 20 лет – с 1971-го по начало 1990-х – “на удивление врагам и на радость близким”.

В 1970-х годах Горбовский “нашёл себя”, и то, что уже намечалось в его ранних стихах, зазвучало в полную силу в стихах позднего периода. В 1990-х же годах, раз оступившись, всё же “вернулся к активному творчеству и вере в Бога. И потому, наверное, жив до сих пор...” – как писал поэт о себе уже в новом веке. Но что до его пути разного рода быковым от литературы! Им бы только плюнуть вслед уходящему поэту, которого они замалчивали при жизни. Вот наглядный пример их “литературоведения”: “Я думаю, что когда-нибудь Горбовский будет рассматриваться в одном ряду с жертвами той же самой советской лжи. Конечно, с жертвами застоя, потому что именно застой, как мне кажется, его добил. Все, что он печатал в <19>70-е, и большая часть того, что он печатал в <19>90-е, – это примерно то же, что и советские стихи Глазкова. Это такая подчёркнутая, наглядная, в каком-то смысле совершенно демонстративная графомания”. Вот так – не больше и не меньше. О “добившем” Горбовского “застое”, в годы которого поэт наконец-то обрёл твёрдую почву под ногами и пришёл к высшему пониманию предназначения поэта:

*Зачем я родился?
Отвечу, изволь:
чтоб радовать землю!
Немалая роль...*

– уже было сказано выше. Но обратимся ко второй части высказывания: стихи, включавшиеся во все лучшие антологии поэзии XX и XXI веков, стихи, о которых со вниманием и любовью писали и говорили художники самых разных ориентиров и направлений – Евгений Евтушенко и Юрий Кузнецов, Давид Самойлов и Владимир Костров, Валентин Распутин и Андрей Битов, и многие другие (умышленно не называю многочисленных критиков и литературоведов, ограничиваясь собственно творцами), – стихи эти, по Быкову, являются графоманией!

Это вопиюще и говорит лишь о художественной слепоте и глухоте того, кто может провести подобную параллель. Либо о его неосведомлённости, незнании материала. Читал ли Быков книги Горбовского, изданные с 1971-го по 1991-й годы, и читал ли он стихи Глеба Яковлевича 1990–2000-х годов? Странный вопрос – ведь мы, кажется, имеем дело с историком литературы. Вот именно, что “кажется”. Мне нет нужды до того, что он пишет и как отзывается о различных прозаиках, поэтах и авторах-исполнителях. Человек, который может себе позволить с такой нахальной развязностью, с таким издевательским небрежением говорить о творчестве великого русского поэта лишь потому, что поэт этот для него не “свой”, из противоположного, враждебного литературного лагеря, – такой человек и писанина его не могут вызывать доверия неглупого и осведомлённого читателя.

В лице русских национальных творцов (а к Горбовскому, как видим, Быков подбирался через Есенина, обвинив походя самого народного русского поэта в “ужасных вкусовых провалах” и “водянистости”) наши “либературоведы” плюют в Россию, в которой живут, пишут, издаются, учреждают и присуждают друг другу свои “национальные” премии... Вот, не успел Быков высказать свои “соображения” о Горбовском, как главный редактор одного из крупнейших либеральных “толстяков” (сам – несостоявшийся поэт) публикует их на своей странице в ФБ, видимо, не найдя иных слов для прощания с автором, чуждым ему и его изданию. Отметился словами о “раннем-позднем” Горбовском и критик, “известный филолог и культуролог” Илья Кукулин – автор ужасающе бездарной и пустой рецензии на одну из лучших книг Глеба Яковлевича “Окаянная головушка”, рецензии, о которой не стоило бы и упоминать, если бы автор сам о ней не вспомнил в своём новом мертворожденном труде

(“*Полит.ру*”, 04.03.2019). Начинает Кукулин с достаточно забавного с точки зрения литературоведения предложения: “За те несколько дней, что прошли уже со дня смерти Глеба Горбовского, несколько людей, которые хорошо его знали, или, во всяком случае, были его внимательными читателями на протяжении нескольких десятилетий, сказали, что самые значительные произведения он написал в 1950–<19>60-е годы, а то, что он писал потом, чаще всего совершенно укладывалось в подцензурный мейнстрим, вписывалось в эстетику “обычной” советской поэзии”. Так и хочется спросить: что это за “несколько людей, которые хорошо знали” Горбовского или, тем паче, были его *внимательными* читателями? Уж не Дмитрий ли Быков один из этих “нескольких”? Этой отсылкой к “внимательным читателям” Кукулин выдаёт себя с головой как читателя (во всяком случае – читателя Горбовского) крайне поверхностного. Ни один внимательный читатель Глеба Яковлевича не сказал бы той глупости, какую озвучивает Кукулин. Правда, тут нужно оговориться: действительно, некоторые товарищи, “хорошо знавшие” поэта (на что делает упор Кукулин – как будто для того, чтобы суметь верно проанализировать творчество того или иного автора, надо непременно этого автора как человека “хорошо знать!”), нередко отзывались с нескрываемой завистью и яростно нападали на него, который столько лет был их собутыльником, “вечно пьяным”, “непросыхающим шутом”, и вдруг бросил пить, надел костюм, остепенился, мало того – не перестал писать прекрасные стихи всё в том же небывалом количестве... Лучше всего об этом явлении написал сам Глеб Яковлевич в своей книге-исповеди “Остывшие следы” (1991):

“Когда... мне таки удалось справиться со своей затянувшейся жаждой, многим из наблюдавших меня в роли непросыхающего шута такой крутой поворот дела не только не понравился, но как бы даже многих весьма разочаровал. Теми, кто делает окололитературную погоду, был моментально вынесен приговор, что стихотворец кончился, потому что писать стихи в трезвом состоянии духа, вне бродяжьей печали, ночуя не на вокзальных скамейках, а на диване в собственной квартире, да ещё под наблюдением трезвой жены – противоестественно, а стало быть, и противопоказано...”

Ну, так всякого рода кузьминских и гозиасов, о которых было сказано выше, вокруг поэта всегда хватало. Будто не было подобных персонажей вокруг того же Есенина, в связке с которым Быков и Кукулин постоянно упоминают Глеба Горбовского? Этим “шептунам” Глеб Яковлевич и посвятил стихи, оканчивающиеся такими строчками:

*Вам скучно, ангелы, со мною?
А вы бы к дьяволу пошли!*

Говоря же о том, насколько вписывались стихи Горбовского 1970–1980-х годов в эстетику “обычной советской поэзии”, можно только порекомендовать “известному филологу и культурологу” пролистать на досуге третий и пятый тома собрания сочинений Глеба Яковлевича, имея под рукой все книжки поэта советского доперестроечного периода с 1971-го по 1986-й год (в этих томах представлен список опубликованных в эти годы в периодике произведений Горбовского). Почитайте, сравните, посчитайте, что печаталось и какое количество стихов оставалось за бортом советских сборников и периодики и не спешите наклеивать ярлыки на целый пласт творчества поэта. Впрочем, для “быковокукулиных” это слишком – на это способны лишь по-настоящему внимательные читатели и вдумчивые критики. Один из них – поэтесса Нина Валериановна Королёва, которая писала о своём друге Глебе уже в 2000-х: “... Печатал из... поздних стихов он лишь немногие... Очевидно, мы давно уже не знаем друг о друге, что из написанного остаётся в столе и не находит, – а может быть, и не ищет, – выхода в печать...” Вот свидетельство человека, кроме всего прочего, и “хорошо знавшего” Горбовского (каковой фактор столь важен для нашего “известного филолога и культуролога”).

Что тут скажешь? В помощь и утешение нам – стихи русских поэтов, всегда служившие чем-то вроде охранной грамоты своей стране и своему народу:

*Для нас Россия — это
как в сердце — жизни гул.*

*Кто из больших поэтов
хоть раз её лягнул?
Державин, Пушкин, Тютчев,
Есенин или Блок?
Лишь борзописцы сучьи,
что лают под шумок...*

Эти строки Глеба Горбовского были посвящены популярному “шестидесятнику”, которого, впрочем, с гораздо большим правом можно назвать поэтом, чем фельетониста-версификатора Быкова (не говоря уж о скучнейшем верлибристе Кукулине). Всё мельчает, в том числе и “борзописцы сучьи”. С уходом же Глеба Горбовского Россия потеряла, без преувеличения, самого значительного своего поэта, перешагнувшего в XXI столетие. Но осталось множество стихов, которые составили собрание его сочинений, которые ещё предстоит осмыслить и изучить истинным исследователям, критикам и литературоведам России. Уверен, ждать долго не придётся!

*...Пусть — в обновенье, в ломке,
но Русь — как свет в заре!
И что ей те болонки,
что лают при дворе?!*

г. Ереван

АНДРЕЙ ВЕТЛУГИН

РОССИЙСКОЕ КИНО СЕГОДНЯ

Ни для кого не секрет, что отечественное кино переживает непростые времена. В финансовом отношении его уже вполне можно назвать “успешным” и “конкурентоспособным”, однако в художественном – именно так называемое “успешное” кино в большинстве своём демонстрирует в лучшем случае незначительной степени ценность, если не отрицательные её показатели. В девяностые то кино, которое ещё умудрялись снимать в России, выглядело плохо, даже кино хорошее – денег на кино у государства не было, а то немногое, что удавалось раздобыть, в основном вливалось в производство со счетов частных инвесторов (даже С. Мавроди поучаствовал в строительстве постсоветского кинопрома). Сейчас в кино нередко вкладываются немалые деньги¹, в том числе и при непосредственном и активном участии госбюджета. Заработала машина государственной пропаганды, обнаружив поразительный парадокс: чем дороже кино в России, тем ниже его художественная ценность. С другой стороны, за последние шестнадцать лет² здесь образовалась новая волна российского кино – независимого, малобюджетного и зрелого, отражающего, в отличие от инструментов пропаганды, не “помойку” в головах режиссёров и продюсеров и поощряющих их сомнительные эксперименты чиновников, но нашу реальность во всем её многогранном разнообразии.

Сделайте паузу. Прервитесь. Пока достаточно информации к размышлению. Прислушайтесь к себе. Если вдруг (что вполне вероятно) по прочтении первого абзаца у вас появились мысли про “вставший, наконец, с колен” российский кинематограф, Никиту Сергеевича³ или, спаси Господи, братьев Андреасян, отложите этот текст в сторону и ознакомьтесь для начала с предметом разговора. Ведь российское кино сегодня – это уже давно нечто совсем другое. Оно, конечно, и сегодня не обходится без Н. С. Михалкова, но и он уже давно – не про человека, а про доллары. И это удивительным образом, как ни прискорбно, роднит его с Сариком⁴. А вот “встал с колен” – это вообще обцененная лексика, забудьте. Обстоятельства, при которых развивается сегодня российский кинематограф, вопросы, которые он поднимает, делают его особенным, уникальным явлением. И я говорю, конечно, не про поп-жвачку от студий “ТриТэ” и “Среда”⁵ (хотя и она в ущербности своей ни на что не похожа). Я говорю о настоящем кино как виде искусства, о чём, похоже, в России многие кинематографисты позорным образом забыли, отчаянно пытаясь, при поддержке и, похоже, чуть ли не прямой директиве Министерства культуры, построить индустрию. В стране, где кино никогда не было бизнесом. Где ни один вид искусства никогда не воспринимался как машина по производству денег. Почти двадцать лет мы уже наблюдаем, как они терпеливо и систематически строят эту машину, не гнушаясь, кажется, никакими, даже вконец дискредитирующими их самих методами (агрессивная реклама на телевидении, квотирование своей кинопродукции с последующим смещением по кинопрокатной сетке продукции зарубежной, – в основном, американской –

в пользу своей, враждебные высказывания в адрес людей, публично эту продукцию осудивших). Объявив культурную войну Западу, мы не только регулярно терпим в ней поражения — воюем ведь не на своём поле и по чужим правилам, — но и сами становимся на них похожи — на самые плоские и пустые голливудские образцы, пытаясь при этом, как срам — фиговым листом — прикрыть бессодержательность и пустоту своих картин “патриотизмом” и “правдой”. И, если раньше в строгих рамках этой индустрии ещё возрастали серьёзные и глубокие картины, ставшие сейчас уже визитными карточками не только для людей, их сделавших, но и для всего российского кино, которое как раз тогда по до сих пор не изжитому выражению “вставало с колен”, то времена эти давно прошли, и серьёзное кино сегодня произрастает на периферии этой индустрии или же вовсе за её пределами.

Может показаться, что вот это и есть сложность и особенность бытия и развития российского вообще и конкретно русского кино — выковывание шедевров в горниле войны с цензурой, чиновниками и дающим деньги Министерством, начиная с советских времён, когда, согласно распространённому, но одностороннему представлению великое кино могло родиться только в борьбе за существование. Не стоит заблуждаться на этот счёт. Этот “бой” видно лишь при поверхностном и невнимательном взгляде. Российский кинематограф сегодня — явление сложное, многогранное и неоднозначное. Так чем же он так прост? Давайте разберёмся.

Часть 1

Животные и ЛГБТ: при чём здесь кино?

I

За последний год в России было снято несколько значительных кинокартин, привлёкших к себе внимание общественности. Что это за фильмы и почему они оказались важны для российского зрителя?

В сентябре ушедшего года в прокат вышел фильм “Сердце мира” режиссёра Натальи Мещаниновой. Она уже приобрела некоторую известность как сценарист обласканной критикой “Аритмии” Бориса Хлебникова (соавтора сценария “Сердца мира”) и недавно дошедшей-таки до кинопроката “Войны Анны”⁶ Алексея Федорченко.

“Сердце мира” получил летом на ежегодном сочинском “Кинотавре” главный приз — приз Гильдии киноведов и кинокритиков (с этого года ему было присвоено имя Даниила Дондуря) — и приз за лучшую мужскую роль, который забрал домой муж и постоянный соавтор Мещаниновой Степан Девонин. Само собой, такое признание оказалось важным козырем в рекламной кампании фильма, так что немногочисленные⁷ зрители пошли в кино, можно сказать, подготовленными. Кроме того, что фильм — призёр “Кинотавра”, рекламный ролик обещал, что рассказывать он будет про животных и их защиту от несправедливости и жестокости.

И вроде бы формально так и есть: главный герой фильма — ветеринар Егор⁸, он живёт и работает при тренировочной станции для охотничьих собак. Хозяин станции Николай Иваныч держит целый заповедник: выводок лис (на которых соседи-охотники натаскивают собак), барсука, гусей, козлят, даже северные олени есть, да и собак своих у него тоже хватает. Егор — большой ребёнок, он замкнут и необщителен, компании людей предпочитает животных, за которыми старательно ухаживает. И вроде всё здесь чуть ли не с первых кадров кричит о том, что животные лучше людей, что человек, который жесток с животными, вряд ли будет снисходителен к людям и что любовь к животным вовсе не гарантирует эмпатии по отношению к человеку.

Вот показательный эпизод. Начало фильма. Собаку Белку сильно подрали алабаи⁹. Егор берётся её выхаживать, несмотря на уверенность Николай Иваныча, что собаке уже не жить. Вечером дочь Николай Иваныча Даша уговаривает нелюдимого Егора присоединиться к семейному ужину (не в первый, да и не в последний раз ей приходится просить его прийти на общую трапезу), на который уже пришёл друг и собутыльник Николай Иваныча, местный участковый Володя. Он-то и вступает с Николай Иванычем в спор.

— *Этой собаке уже не жить.*

– Да ладно, у неё там одну только лапу парализовало. Может, вообще колёсико ей придумаем. . .

– И вот на кой ей жить с колёсиком?

– Ну, а на кой тебе на костылях жить?

– Я чо, на костылях, что ли?

– Ну, я же говорю – если вдруг чего-нибудь.

– Так я б не жил тогда. Выбор же есть всегда у человека. Каждый для себя определяет.

Тут в разговор вступает до сих пор не проронивший ни слова Егор:

– Ну, так это ж не она определяет.

– Кого?

– Ну, в смысле, это же вы за неё решаете. Про усыпление. А не она сама.

– Ты самый умный тут? Сиди, жри, пока дают.

Позже, когда Николай Ивановы споткнётся и, упав лицом на лодочный мотор, разрежет себе щеку, Володя, пока Егор его латает, не упустит случая подколоть товарища:

– Ну, а чего его лечить? Усыпить – и все дела.

– Козёл. . .

– Коль, ну, ты же сам говорил: если столько крови вытечет, лучше усыпить.

Однако по мере того, как мы узнаём Егора, да и других героев истории ближе – самого Николай Ивановича, его жену Нину, их дочь Дашу и внука Ваню, – по мере того, как в истории появляются зоозащитники, словно намеренно изображённые карикатурными и неправдоподобными хипстерами (хорошо видно, насколько они не прописаны в сравнении с главными героями истории), становится понятно, что кино вовсе не о животных. Особенно это обидно оттого, что авторы очень внимательно относятся к избранному материалу, сделано кино очень подробно и глубоко вовлекает в себя неленивого зрителя. “Кадр должен быть тактильным, – говорит Мещанинова, – с ощущением шерсти, с ощущением мокрого собачьего носа”. Эта “тактильность” и правда существует на экране, виртуозно воссозданная усилиями оператора, режиссёра, художников и всего – включая животных! – актерского состава. И вся эта скрупулезно выстроенная и убедительная атмосфера грозит разрушиться на глазах при первой же фальши, которая и приходит в лице зоозащитников, – глупых, наглых и недобрых людей, – заведомо уничтожая саму возможность диалога об обращении с животными, ведь вторая его сторона, номинальные оппоненты – придурки с сонмом химер за плечами, и на диалог они не способны. Позже они выпустят, веря, кажется, что творят благое дело, из вольеров на волю всех лис, которые воли этой, вероятно, не переживут. Правда, позиции “зелёных” по этому вопросу мы так и не услышим. Мы, собственно, вообще почти ничего от них не услышим и ничего про них не узнаем, кроме нескольких жалких попыток “наловить” компромата.

А о чём же тогда кино? Удивительно, но всё о том же – о людях, несчастных и озлобленных, добра не видящих и любви не приемлющих. И с пониманием этого буквально на глазах расцветает значительная этого фильма, не столько даже на фоне массового российского кинопрома, но просто как самостоятельного произведения искусства. Невзирая даже на карикатурных “зелёных”. Кино ведь не про них. . .

Егор убежал от пьющей матери и вроде как от своего прошлого. Он, конечно, сторонится людей, но, кажется, больше всего на свете хочет обрести новую семью, хоть, может, и не признается в этом никогда даже самому себе. Оставшись один в хозяйском доме, сиротливый Егор, ещё не осознающий себя сиротой, но семьи своей давно уже не имеющий, воровато лазает по сервантам, трогает то, что обычно спрятано за стеклом и на что, повинувшись любым правилам приличия, можно только смотреть, ест из холодильника прямо из банок и вообще ведёт себя, как ребёнок, впервые оставшийся дома без родителей. Про мать свою он знать ничего не хочет и даже известие о её смерти принимает враждебно, и на похороны ехать отказывается. Потом он пошлёт тётке денег, словно откупившись от этой постыдной и скорбной обязанности – хоронить мать. А потом и сим-карту выбросит, сжигая последний мост. Но оставшись один, заплачет-таки по матери, завоет навзрыд. И на станции, в семье Николай Ивановича никому не скажет.

Егор страдает от отсутствия живого человеческого тепла, но не может сказать об этом ближнему. Даша, например, собственно сказать, по крайней

мере, прямым текстом тоже не может. Но может позвать к ужину, и Егор вежливо откажется, но она настоит. И так каждый раз. Пока она не снимет, наконец, робко трусики, когда они останутся совсем одни. Но и после этого он не станет разговорчивей. Потому, может, он и тянется так к животным, ведь они и принимают, и отдают безвозмездно. Эта невысказанность и выливается в финальном акте в агрессию.

Он хоть и тянется инстинктивно к людям, но сознательно ненавидит их и ближе к концу фильма проявляет ненависть насильем — сильно избивает пьяного Николай Ивановича, пришедшего к нему *догнаться* медицинским спиртом, когда весь алкоголь закончился (“Это всё моё, — кричит он, — здесь всё моё!”), и словно ставшего вдруг со своим внезапным запоем последней каплей. Егор уходит в лес, думая, что насовсем, забрав с собой больную Белку. Там он натывается на палатки зоозащитников, запирает их в палатках, и, устроив им тёмную в лучших традициях пионерских лагерей и тюрем, охаживает огромным железным дрыном, и — возвращается на станцию (идти ведь больше некуда), где буквально прячется от людей в вольере для собак, запирается изнутри и отказывается открывать, даже чтобы покормить питомцев: “Ничего, потерпят”. Так, может, он и животных не любит, а только прячет свой эгоизм в их тёплых подшёрстках? Но даже его сердце тает, когда в ответ на агрессию он встречает любовь и прощение, когда сильно получивший от него по лицу, и не то, чтобы очень за дело, Николай Иванович сам просит у него прощения:

— Ну, прости ты меня, Егорушка! Ну?..

Молчание в ответ.

— Ну, конечно, выпросишь у вас прощения! Выпил один раз за год — всё, трагедия масштабов ядерной войны!

Оказывается, его искали, волновались за него, Володя уже МЧСников поднимать собирался... Тут только Егору становится стыдно, и он выходит, наконец, из вольера и кормит-таки оголодавших животных под символический первый снег. Других Егор не любит, потому что себя любить не умеет. Приняв теперь нежданное прощение, он, возможно, и сам сможет научиться прощать.

Фильм, конечно, далеко не идеален, но вроде всё там хорошо: и сыгран он убедительно, и снят прекрасно, и по мысли правильный... Но не отпускает ощущение, что что-то с ним всё-таки не в порядке... Что же? Вот что говорит режиссёр: “Для меня ИТС¹⁰ — это фон. И данность”. Мещанинова подчёркивает, что кино не об ИТС, не о зоозащитниках и не о животных. Главное здесь — “...поиск дома, отношения с родителями, сиротливость — то, что вы... видите в фильме”. Так значит, животные — ни при чём? А как же любовь и сострадание? Ведь самих животных-то, собственно, как правило никто и не спрашивает.

Создаётся впечатление, что показанная в фильме станция существует нелегально. Чтобы сделать такой вывод, достаточно одной только сцены, где хозяин сворачивает притравку, увидев над своим участком квадрокоптер “зелёных”. Мещанинова же в интервью portalу “КиноПоиск” утверждает, что “...всё законно, вольеры по ГОСТам... лисы по правилам содержатся”. Чего же тогда хозяин испугался, если у него всё законно? “Показывали фильм в Триесте, иностранцы не поняли, что кино... <не> про браконьеров”. В России это, должно быть, поняли только сами заводчики, узнавшие, возможно, “вольеры по ГОСТам”.

Белка, единственная сюжетно значимая собака в кадре, — алабай. Кроме неё, там ещё есть три или четыре алабая. Алабаи — собаки не стайные, в одном вольере жить не могут, да и на человека могут напасть. Мещанинова сама говорила это, когда рассказывала, почему сложно было снимать последнюю сцену, где Егор спит в вольере чуть ли не в обнимку с несколькими алабаями. “Почему бы... не сменить породу?” — спрашивает корреспондент “КиноПоиска” Александр Захарьев. “Мне нужны были в кадре именно эти собаки, — отвечает Мещанинова, — будто большие белые медведи. С другими породами... было бы не так эффектно”. Выходит, при выборе материала правда жизни уступает фактуре. Казалось бы, мелочь, если учитывать конечный результат. Правда жизни не тождественна правде искусства, и кинематографисты часто уходят от реальности в сторону драматизации, ничего в этом нет дурного, когда драматизация убедительно исполнена и оправдана авторским

замыслом. Однако такое отношение напоминает мне, как ни странно, Александра Цекало, так ответившего на вопрос журналиста Юрия Дудя о том, почему в его проекте на роль Н. В. Гоголя взяли «секс-символ» российского кино Александра Петрова: «Если бы мы... занимались взрослым кино для дядечек и тётечек, наверное, мы бы искали актёра с носом... похожим на Гоголя, следили бы очень внимательно за... его причёской, которую мы знаем, к слову, только по портретам – не было... тогда ни кино, ни фотографий... <...> Мы <с Егором Барановым, которому> я уже предложил снимать «Гоголя», <снямали сериал «Спарта»>. Там главную роль играл Саша Петров. Мы стали думать: а кто Гоголя-то будет играть? А тут по улице из своего вагончика шёл Петров. И... главный продюсер компании «Среда» Саша Ремизова <говорит>: «Да вот, Саша Петров может сыграть». «Нет, ну, как, – <говорю я>, – у него же там нос...». «Ну, неважно, если... понадобится нос – сделаем нос». <...> Гримом можно сделать. И мы прямо на съёмках «Спарты» взяли в аренду парик, какую-то крылатку, костюм и сняли проход Гоголя по улице, <...> и нам стало понятно: да, это – тот самый Гоголь. <...> Саша Петров – красивый, смешной и героический одновременно. Поэтому он подходит на роль Гоголя»¹¹. Комментарии, кажется, излишни.

Справедливости ради надо сказать, что Мещанинова, в отличие от Цекало, всё-таки старается создать кинематографическую реальность если не тождественной действительности, то хотя бы приближенной к ней. «Сердце мира» получилось спорным и неровным фильмом, но живым, чутким и внимательным к человеку. Он не даёт ответов, но поднимает острые и болезненные для современной России вопросы, инициируя вечный диалог со зрителем. Вопросы эти ни много ни мало – поколенческие. Целое поколение россиян – сиротливые и бессловесные егоры, неспособные даже на простейший контакт с себе подобными, а единственная доступная экспрессия воплощается в резкой вспышке ярости, ставшей результатом много лет подавляемой агрессии. «Ни плавать, ни ходить не умеем, – говорит Егор Белке, заставляя её плавать, разрабатывая больную лапу. – Ну, ничего, мы научимся». Вот и сам Егор (а с ним и пол-России) – как та Белка: ни плавать, ни ходить... Он если и не выражение в некотором смысле целой нации как таковой, то, по меньшей мере, довольно многочисленной её части. И жалко его ужасно, несмотря на все порой, казалось бы, роковые ошибки, которые он позволяет себе совершать, несмотря на множество раз, когда очень хочется наказать его жестоко. Да ведь он уже и так наказан. Бедный малый... Такого только простить да к ужину позвать... И эта эмпатия делает зрителя причастным к горькой судьбе Егора.

Ветеринар Егор, – конечно, герой (нашего времени, если хотите). Он, как очень многие представители своего поколения, неспособен на диалог. Он не может говорить о главном, его *новая семья* так и не узнает ничего о его горе, о котором он может только выть, как те собаки, наедине с собой... Он нервный, озлобленный и неадекватный. Но гнев его как будто оправдан. Во всяком случае, есть чувство, что авторы на его стороне, несмотря ни на что. Его жалко, и это – главное. И Николай Иваныча-алкоголика жалко. И дочку его – дуру. И мальчика Ваню жалко, парня хорошего, но легко впитывающего своим растущим умишком как добро, так и скверну. И Нину жалко, молчаливую и словно обособленную жену Николай Иваныча, которой до обидного мало в фильме и которая (точнее, сыгравшая её актриса Екатерина Васильева) – едва ли не главное его сокровище. Не жалко только «зелёных», которые вроде как за дело получили (неужели?). Их дальнейшей судьбы, кстати, мы так и не узнаем... Не жалко, по большому счёту, и животных. Они здесь фон и метафора. «Способ выражения недоласканности героя»¹². И данность. «Ничего, потерпят».

II

Другой значительный российский фильм прошлого года – картина «Человек, который удивил всех», уехавшая из Венеции, где на МКФ участвовала во второй по значимости конкурсной программе «Горизонты», с призом за лучшую женскую роль. Написали и поставили фильм Наташа Екерулова и Алексей Чупов. Этот дуэт до сих пор был известен несколько хулиганским фильмом «Интимные места», а также ТНТшным сериалом для девочек «Кризис

нежного возраста” и работой над сценариями к “Салюту-7” Клима Шипенко и “Гоголю” Е. Баранова и А. Цекало¹³.

Человеком, удивившим всех, оказывается егеря¹⁴, по любопытному совпадению – тёзка героя “Сердца мира”. Но новый Егор – совсем не такой. Он мужик суровый и крепкий, сибиряк, словно рождённый самим ландшафтом сибирских лесов. Он и работу свою исправно выполняет – браконьера ловит, себя защищает да брата меньшего. Он и убить может, если будет нужно, и ни один нерв на лице его при этом не дрогнет, да и совесть никакой осадок не возмутит – он долг выполняет. И закон его оправдывает, ведь даже браконьеров Егор старается не убивать, пока конфронтация не доходит до реальной угрозы его жизни.

Хотя не во всём Егор суров и строг. Например, открывающая фильм сцена являет зрителю акт любви. Но это не романтический, скажем, ужин при свечах и не бурный и отвязный секс. Всё куда проще и понятней – муж греет ладонями жене уши. Он бывает нежен и весел, а сила его проявляется не только, когда нужно использовать винтовку.

И всё бы хорошо: дом – полная чаша, руки – из нужного места, работа мужественная и благородная... Да только узнаёт егеря Егор, что умирает. Нам не говорят прямым текстом, что за болезнь вот-вот прикончит егеря, но можно догадаться, что это – раковая опухоль мозга.

– *Вы насчёт хосписа что решили? Ну, помните, я вам рассказывал? Чтоб облегчить родным. Там всё: завтрак, обед, ужин, постельное бельё, обезболивающее – всё за государственный счёт.*

– *Подумаю. Время же есть. Вы сказали, два месяца?*

– *Я не сказал: “Два месяца”. Я сказал: “Месяца два”.*

Вернувшись домой, Егор прячет в бане под прилококой пузырёк с таблетками и ничего не говорит семье, а ведь у него сын-подросток, жена Наталья¹⁵ в ожидании второго ребёнка да стареющий тесть – тяжёлый и грубый человек, которого ничего не радует¹⁶. Однако сама болезнь не позволяет ему долго её скрывать: ремонтируя крышу, он теряет сознание и едва не падает вниз, подхваченный помогающим ему соседом. Семейство напугано, и Егору приходится рассказать, что ждёт их всех в ближайшее время.

Из разговора с женой становится понятно, что Егор, как и всё в своей жизни, принял весть о скорой смерти по-мужски, стоически. И подошёл к вопросу с практической стороны дела.

– *Я тут денег в банк положил, надо будет на тебя доверенность оформить. По завещанию долго получать, а тут с процентами, и ещё на похороны хватит. Сенокос продашь – там два гектара, так что хорошие деньги должны быть. И пособие надо будет оформить за потерю кормильца на каждого ребёнка. <...> Говорить никому ничего не надо: ну, захворал и захворал. Картошку уберём, и я – в хоспис.*

Вот он какой, егеря Егор – даже спланировал собственные похороны. У него всё под контролем. И самое тяжёлое для него в умирании, по словам одного из авторов фильма Н. Меркуловой, – “отпустить контроль”, в чём она солидарна со своим героем.

Но беременная жена молодого и красивого мужа, ясное дело, не может так же просто смириться с горькой судьбой и, несмотря на строгий запрет мужа “побираться”, идёт собирать деньги на лечение безнадежно больному Егору. Но не только местные врачи, – “идиоты, <которые> ничего не понимают”, как отзывается о них Наталья, – но и медицинские светила не могут ничем помочь. Поставивший Егору диагноз врач даже советует им обратиться к нетрадиционной медицине. И тогда Наталья отвозит Егора к шаманке.

История медленно подходит к середине, и кажется, что мы уже поняли, что это за кино и о чём: человек в самом своём расцвете сталкивается с неизбежностью скорой смерти, проблема здесь поднимается нетривиальная, очень человеческая и понятная, должно быть, каждому. Этого, казалось бы, вполне достаточно для кино, для диалога с думающей аудиторией. Но авторам этого оказывается мало, и история совершает внезапный поворот, открывая одну за другой всё новые грани человеческого бытия, которые уже выходят за рамки разговора о смерти. Хотя, конечно, фильм и об этом тоже. “Вся наша жизнь – это и есть битва со смертью, – говорит муж и постоянный соавтор Н. Меркуловой А. Чупов. – Поскольку, пока мы живы, – мы не мертвы. Мы сопротивляемся смерти самим фактом своей жизни. Поскольку мы все

разные, поскольку нас много, у каждого из нас эта битва – своя. И, возможно, даже если ты не понимаешь мозгом способ борьбы со смертью другого человека, надо хотя бы уважать его”. И вот тут мы подходим к другой, не менее важной теме.

Шаманка за большие деньги проводит над Егором ритуал, во время которого Егор с силой хватается её за руку.

– Крепко держишь? Любишь всё крепко держать? Нельзя всё крепко держать, всё не удержишь. А ты давай, попробуй отпустить.

Ритуал предсказуемо не приносит никаких результатов.

– Говорят, в прошлом году ей слепого привели, она до него дотронулась, и он начал видеть.

– Ну, я же не слепой.

Скоро Егор снова встретит её, в лесу, случайно (или нет?), нетрезвую да с бутылкой водки в руках. Тут только, без ритуального костюма и грима, становится хорошо видно, что она – пропитая алкоголичка.

– Ну, что, не помогло?

– А что, должно было?

– Деньги-то я тебе вернуть не могу. Я на них водку купила. Я тебе сейчас байку одну расскажу, про Жамбу-селезня и Смерть.

И она по-народному напевно рассказывает:

– Жил на озере селезень, Жамбой звать его,

И пришло ему время помирать...

Прям как тебе, помирать-то не хочется, ага,

– добавляет она скороговоркой и потом снова поёт:

– И чо выдумал хитрожопый ведь:

Вышел он на дорогу, валяться стал в пыли.

И стал серым, как утка...

Совсем как утка стал.

И когда Смерть пришла забирать его,

Среди уток его не увидела.

Так и ушла восвояси. Обманул Жамба Смерть-то.

Зацепила Егора байка эта, и потянулся он под жизнерадостный и звонкий смех шаманки за бутылкой в её руках. Домой вернулся ночью, “на рогах”, и завалился спать прямо в загон к гусям. А на следующий день принял роковое и, на первый взгляд, отчаянное решение: переоделся, как Жамба-селезень, женщиной, чтобы обмануть Смерть. Что ему теперь-то терять?

Когда впервые видишь Егора в женской одежде и макияже, может возникнуть ощущение, что кино сняли на модную в Европе тему ЛГБТ. Ощущение это не может сохраниться надолго, ведь действие происходит в глухой сибирской деревне, и мало кому в современной России надо рассказывать, что там могут сделать с “пидором”. Но Егор вовсе не гомосексуалист, не транссексуал или, тем более, трансгендер. В определённом смысле он меняет пол, но совсем не в том самом.

Если конкретней, то он буквально полностью меняет себя, то есть становится другим человеком – трансформация, подобная тем, что происходят при использовании Метода. Только вот герой Е. Цыганова – не актёр, и метаморфоза эта для него происходит взаправду. “Он не изображает из себя, – говорит о Егоре Е. Цыганов. – <...> <Он переключился>, когда реальность поменялась. Он просто перестал быть тем, кем <...> был”. Он стал другим человеком, а это значит, что совершенно всё поменял, включая пол. И попав новым человеком в бывшую некогда для него родной деревню, перестал узнавать её и её жильцов. “Он не придуривается, – продолжает Е. Цыганов, – он действительно <жену> не знает. Он может её жалеть, может её чувствовать, но он её не знает. И она не знает его, <того, кем он стал>. И он не понимает искренне, чего от него хотят. Они с ним общаются, как с каким-то человеком, которого он не знает. Он уже точно – не он. Тот человек должен умереть, тот Егор. А вот почему с ним так общаются, он <(она?)> не знает”.

Выходит, что человек бросает вызов смерти, но социум видит в его действиях лишь вызов обществу. Распространённая ситуация для социальной среды вообще, во всяком случае, в России, когда вызов чему бы то ни было (себе, смерти, традициям, родителям...) воспринимается обществом как вызов обществу. Ведь били у нас (и кое-где до сих пор бьют) за длинные волосы, за обритую наголо голову, за серьги, татуировки, крашенные волосы

и яркую одежду, даже за крестик на груди¹⁷ — за всё, что выделяет человека из общей массы, что делает его другим. Если он другой, он непонятен. А самый страшный человеческий страх — страх неизведанного.

Вот и герой фильма, становясь другим, непонятен, тем более всем тем, кто знал другого Егора. И они сначала намекают испуганным шёпотом, потом ругаются в голос, а потом и бьют. Байка, рассказанная Егору шаманкой, рисует простой и удобный путь к “спасению”. Однако воплощение мифа в социальной среде человеческих отношений представляет собой путь очищения посредством страдания. Егор сталкивается с непониманием и страхом и вынужден противостоять “устоям, которые формировались несколькими поколениями”¹⁸. Но негласные условия таковы, что он не может защищаться, и с момента переодевания не произносит ни слова, даже когда напуганная жена отчаянно просит его поговорить с ней; он принимает своеобразный обет молчания, продиктованный тем, что никто не должен знать, кто он, тайна всегда должна оставаться тайной, ведь тогда и Смерть не найдёт его. И даже побои он сносит молча, не сопротивляясь. И от жены, и от мужиков-соседей, и даже от вконец осатаневших без женщин браконьеров.

Интересно, что именно в Европе — в Венеции — авторов спрашивали, почему герой не борется за права секс-меньшинств, увидев в сюжете “гей-муви”. Но кино же не об этом! “Понятно, — отвечает Н. Меркулова, — когда ты надеваешь на мужчину платье, каблуки и красишь ему губы — это безусловный визуальный код, который сбивает. Ничего с этим не поделать. <Но это> лишь внешние атрибуты, <с помощью> которых он <вступает на путь> изменения себя”.

На передний план всё-таки опять выходит любовь и “путь к принятию этой любви”, который становится для Натальи настоящим испытанием. Сначала она, а потом и вся деревня вопрошает “съехавшего с катушек” Егора: “Чего ты и помереть-то нормально не можешь? Опозорить нас хочешь, ублюдок?” Потом Наталья перестаёт пускать его в дом. А когда конфликт достигает апогея и перерастает из семейного в общественный, Егор и вовсе уходит в лес, в зимовье, и никто не пытается остановить его. И только когда он, и без того, казалось бы, уже пребывающий на пороге небытия, оказывается в ситуации, в которой вместо того, чтобы гибели избежать, есть все шансы её ускорить, лишь тогда жена находит его в лесу и со всей заботой любящей супруги омывает раны, переодевает его, крашивает и, обняв, принимает его всецело и полностью. “Любовь как высшая форма терпимости, то есть принятия человека, даже не понимая его”¹⁹. И как знать? Может, именно этот ритуал принятия и стал тем самым магическим актом, отведшим Смерть от егеря...

Фильм в основе своей мифологичен. “Это не медицинское кино, — настаивают авторы, — и не рецепт от рака”. Это — притча. Проявляется это не только в фабуле, в основу которой положена мистическая сибирская легенда, но и в его жанровом своеобразии. Все, даже самые мистические события происходят здесь естественным образом и априори воспринимаются как должное. Наиболее близок этот фильм, пожалуй, магическому реализму — жанру в русском культурном коде редкому, но, кажется, особенно сегодня актуальному как компромиссной форме аллегорического высказывания. Когда в литературе Вера Галактионова “копает” славянский миф, когда Мариам Петросян создаёт летопись беспризорной жизни, со своей мифологией и её овеществлением посредством детской веры в неё, в кинематографе Н. Меркулова и А. Чупов пускают корни мифа народного в почву современного человеческого бытия²⁰.

Эта история практически осязаема при всей своей сказочности. Она вместе с тем очень ментальна, можно сказать — национальный продукт. И дело здесь не только в фактурности сибирского леса и глухой русской деревни, но в самом мировосприятии, столь тонко переданном кинематографическими приёмами. Неудивительно, что основана она, по словам Н. Меркуловой, на истории, рассказанной ей в родной Сибири как реально случившаяся. “Эта драматическая притча, — рассказывает Н. Меркулова, — наполнена моими детскими воспоминаниями. Про деревню, в которой я жила, воспитывалась, заканчивала школу. Про сибирское моё детство”.

Конечно, авторы, берущиеся за такой сюжет в XXI веке, не могут не понимать, что тема эта — полемическая и что без эпатажа здесь не обойтись. И они, конечно же, осознанно эпатируют, но, очевидно, эпатаж этот выходит

далеко за рамки пустого желания во что бы то ни стало шокировать публику. Читаются за этой броской формой вопросы о человеке в обществе, уважении к индивиду, личной свободе. . . Они делают выпендрёж художественным приёмом, который, как и все остальные, лишь помогает рассказать историю. О любви, вестимо. Любви, поправшей Смерть²¹.

Сегодня мы говорим о ярких и уникальных явлениях, созданных российскими кинематографистами, о картинах, которые в массе своей (надо заметить, немалой) рисуют образ сильного, независимого, глубоко национального культурного явления. Однако, как и в любом массовом общественном явлении, и в российском кино существуют свои тенденции. О них мы ещё поговорим.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Чего стоит рекордный бюджет “Викинга” А. Кравчука и К. Эрнста, оцененный создателями в 1,25 млрд рублей!

² Век **современного** российского кино я считаю от 2003 года, именно тогда появилось новое русское кино, говорящее с молодым поколением на его языке и глубже “копающее в человека”: “Возвращение” А. Звягинцева, “Коктебель” В. Хлебникова и А. Попогребского, “Шик” Б. Худойназарова. В том же году вышла “Прогулка” А. Учителя, тоже успешное *молодое* кино про молодых и для молодых, основанное, правда, на советской классике в гораздо большей степени, чем, скажем, “Возвращение” — на фильмах А. Тарковского. Это было признание в любви ранним фильмам М. Хуциева и Г. Данелии (конкретно — “Июльский дождь” и “Я шагаю по Москве”, которыми явно вдохновлялся А. Учитель), попытка *воссоздать* эти фильмы для нового поколения. Задача, мягко говоря, не творческая, да и кино — хоть и для молодых создавалось, слишком далеко оглядывалось в прошлое, так что к *новому* кино “Прогулку”, как, впрочем, и все последующие фильмы А. Учителя отнести нельзя. Позднее *новое российское кино* воспитало немало уникальных и серьёзных авторов, от А. Попогребского и Б. Хлебникова, чьи пути вскоре разошлись, что привело к интересным и неожиданным результатам, до Б. Бакурадзе и Ю. Быкова, каждый по-своему поднимающих на новый уровень жанр кинематографического социального высказывания. Это кино не было похоже на всё, что снимали в России раньше. Оно отходило от традиционной драматургии и вытаскивало на поверхность подчас весьма неожиданные вопросы, со временем становившиеся всё актуальней. Поэтому именно с 2003 года я веду летоисчисление **современного** российского кино. Именно о нём, в частности, я буду много говорить здесь.

³ Михалкова.

⁴ Сарик Андреасян — режиссёр объективно самых плохих российских фильмов последних лет: “Беременный”, “Тот ещё Карлосон”, “Защитники”, дилогия “Что творят мужчины?”, ремейк Рязановского “Служебного романа” (в котором он в главной роли снял нового украинского президента) и прочий мусор.

⁵ В частности, недавние хиты кинопроката “Движение вверх” и трилогия “Гоголь”.

⁶ С прокатом “Войны Анны”, к слову, тоже вышла интересная вещь: его приурочили к 9 Мая, когда он вроде бы и вышел в широкий прокат, однако прокат этот оказался “широким” весьма условно, ведь таковым он оставался только четыре праздничных дня, начиная с понедельника 13 мая фильм ушёл в прокат ограниченный, зависнув в одном московском кинотеатре, и окончательно покинул широкий экран уже к 16 мая, словно по окончании праздников хорошее кино становится никому не нужно. . . К слову, вышедший одновременно с ним тематически, казалось бы, близкий — оба фильма о Великой Отечественной войне, только смотрят на неё их авторы с совершенно разных ракурсов — фильм Сергея Саркисова “На Париж” продолжал своё шествие по экранам почти до конца месяца, отчаянно пытаясь вытеснить из поля зрения российского зрителя голливудские блокбастеры. Как же так? А вот как: “На Париж” — глупая и, к слову, пошлая картина — государственный заказ, профинансированный Минкультом, в отличие от “Войны Анны”, которая сделана при участии знаменитой американской кинокомпании *Columbia pictures*. И получается парадокс: американцы делают для русских кино лучше, чем сами русские, которые своё плохое кино квотируют, вытесняя из кинопроката хорошее русско-американское кино, которое не угодило

им только тем, что не является госзаказом (ну, и ещё, быть может, тем, что история довольно мрачная; весёлый и безмозглый “На Париж” вроде как имеет больше шансов собрать приличную кассу и отбить государственные вложения), а значит – неликвидно. Хотя это уже несколько другая история; о работе с прокатными удостоверениями и кинопрокатной сетке, в формировании которой с недавнего времени принимает активное участие Министерство культуры, а также об их “золотых” проектах и пропаганде “патриотизма” мы ещё поговорим.

⁷ Ещё немного печальной статистики: фильм шёл, несмотря на свой фестивальный успех, ограниченным прокатом и собрал жалкие \$50 000.

⁸ Исполнитель его роли С. Девонин, по признанию Мещаниновой, – “сам недоучившийся ветеринар”.

⁹ Среднеазиатская овчарка.

¹⁰ Испытательно-тренировочная станция.

¹¹ К А. Цекало, его продюсерскому центру “Среда” и собственно “Гоголю” мы ещё вернёмся.

¹² По выражению Н. Мещаниновой.

¹³ По словам Н. Меркуловой и А. Чупова, их позвали “спасать” проект, у которого уже были названы даты съёмки, но ещё не было готового сценария.

¹⁴ В исполнении Евгения Цыганова.

¹⁵ Её сыграла Наталья Кудряшова, получившая за эту роль приз в Венеции.

¹⁶ Немногословная, но блистательная роль Юрия Кузнецова, забравшего за неё в этом году “Нику” за лучшую мужскую роль второго плана – свою единственную пока за почти 45 лет работы профессиональную премию.

¹⁷ Пример с крестиком неслучаен, он взят из интервью Е. Цыганова, который рассказывал, что, когда он учился в школе, его одноклассник Даня был единственным в классе, кто носил крестик (Цыганов пошёл в школу в 1985 году), и одноклассники его “прессовали” за это: “Чего это он крестик напялил? Когда это он так уверовать-то успел?”

¹⁸ По словам Н. Меркуловой.

¹⁹ А. Чупов.

²⁰ Кроме того, среди источников вдохновения авторы называют народные мифы “Стих об Анике-воине и Смерти” и “Миф о Сизифе” и даже “Седьмую печать” И. Бергмана.

²¹ В одном из интервью А. Чупов ссылался на экзистенциалиста Габриэля Марселя, сказавшего слова, которые, возможно, стоило вынести в эпиграф к фильму: “Сказать человеку: “Я тебя люблю”, значит сказать: “Ты никогда не умрёшь”.

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

ПРОСНЁТСЯ ТОТ, У КОГО ПРОСНЁТСЯ СОВЕСТЬ

О романе Андрея Тимофеева “Пробуждение”

Роман привлёк моё внимание тем, что он о современной молодёжи. Причём о молодёжи, которую нечасто встретишь на книжно-журнальных страницах последних лет и даже десятилетий. Ей подходит слово “нормальная” — то есть без стремления к “крутизне”, без тяги к порочным удовольствиям, без пристрастия к нецензурной лексике и т. д. Это молодёжь, обживающая Москву, приехавшая из разных городов страны или оставшаяся в столице после получения образования.

... Их четверо под одной крышей съёмной двухкомнатной квартиры. Трое знакомы со студенчества, четвёртый примкнул недавно как гражданский, говоря современным языком, муж девушки, бывшей в своё время душой общежитской компании старшекурсников, с которыми она подружилась, поступив в технический вуз. Из них двое — Рома и Володя — стали соседями Кати и Андрея. Все где-то работают, но о работе упоминается вскользь — вряд ли это призвание, скорее из разряда “подвернулась” и устраивает зарплатой. Картина, вполне узнаваемая для наших дней.

По-своему уютный мирок этого полуобщежития-полукоммуналки нарушается вторжением политики: накануне присоединения Крыма Андрей становится членом организации, пропагандирующей, как сказано, возврат в СССР. Он ходит на собрания ячейки, берёт с собой Катю, которой эти походы совсем не нравятся. Катя, в свою очередь, зовёт Володю (когда-то влюблённого в неё), чтобы помог ей разобраться, что же там происходит.

Так открывается основная тема романа, которой много не только лет, но и веков, когда обычные, мирные люди сталкиваются с таящими опасность внешними событиями и оказываются перед выбором, противостоять им или нет. Тем более, что политический кризис, переросший в гражданскую войну, случился не в России, а на Украине, и можно жить ожиданием, что всё как-нибудь само утихнет и рассосётся.

Поведение героев показывает разброс мнений в благополучной, хотя и окраинной, московской среде.

Наиболее категоричен Рома. Он как раз с Украины, уехал из Житомира, “потому что здесь больше перспектив”. Его позиция: Украина имеет право жить, как в Европе, Россия не должна вмешиваться. Больше ни во что он вникать не желает, к политике равнодушен. Вскоре вообще уезжает работать в Таиланд (сейчас молодые “айтишники” зачастую едут не на Запад, а на Восток).

Катя терпеть не может ни митингов, ни пафосных речей на собраниях ячейки. Она любит Андрея, мечтает оторвать его от политики, оформить брак, родить ребёнка и подумывает даже вернуться в родной городок, чтобы жить в нём спокойной семейной жизнью. Язык не поворачивается назвать её мещанкой, как было принято в горячие революционные времена, когда все были обязаны двигать локомотив истории по новому социалистическому пути, и уход в частную жизнь считался побегом. Перед нами искренняя, непосредственная, с оттенком милой шаловливости молодая женщина, созданная природой для гармоничного сочетания работы по профессии, домашних забот и умеренных развлечений, тяготеющая, как и многие ныне, к религиозности. Катю жаль: она пока не догадывается, что история имеет свойство повторяться и над её супружеством с Андреем нависла серьёзная опасность.

И Рома, и Катя, и Борис (он тоже из их компании, только живёт в другом месте) поданы через восприятие Володи. Ему отведена роль героя-повествователя. Причём не стороннего свидетеля, а участника событий. Вызывает симпатию его миролюбивый настрой, доброе расположение к друзьям, отсутствие предубеждений по отношению к кому-либо и чему-либо. Даже споря, например, с Ромой, он не идёт на разрыв их уже давней мужской дружбы. Не остыл он и к Кате, хотя былая влюблённость сменилась ровной нежностью, как к сестре, желанием защитить. Он и в ячейку попал из-за неё и из-за Андрея, который нравился ему твёрдостью убеждений, готовностью бороться против зла, угрожающего России, и в то же время смущал вспышками ненависти к либералам и ко всем, кого считал врагами.

Характер повествователя определяет интонацию романа — она мягкая, сочувственная, и никого не хочется судить, а хочется понять, и в этом ощущается православная духовная подпитка, достаточно тонкая и ненавязчивая. Роман написан языком русской традиционной прозы, и что бы ни говорили её противники, у Тимофеева это живой язык, и это доказательство, что традиция неисчерпаема.

Таким образом, картина нарисована, логика характеров и положений выстроена, остаётся присмотреться к ячейке, которая заняла немало места в жизни молодых, “обдумывающих житьё”.

Ячейка ведёт большую работу: организует митинги и пикеты, где звучат лозунги “В Москве майдану не бывать!”, “Здравствуй, Севастополь!”, выпускает еженедельную газету “Красный мир”, проводит заседания с обсуждением материалов этой газеты и докладов по проблемам дня, размещает агитацию в интернете, занимается сбором гуманитарной помощи для Донецка и Луганска, а также дважды в год пропускает своих членов через загородную школу в Васильевском, где они проходят двухнедельное политическое и военно-спортивное обучение.

При всём при этом портрет протестного движения и его лидера неоднозначен, на чём нельзя не остановиться, поскольку это одна из главных линий романа.

Если смотреть глазами Андрея, то Сергей Владленович Кургузов во всём прав: враги развалили великую страну, они наступают, необходимо сопротивление. Не сомневается Андрей и в новых друзьях. Он озабочен только двумя обстоятельствами: трудно совмещать основную работу с выполнением поручений и тем, что Катя не разделяет его участия в столь важном деле.

Восприятие Володи (и ему нельзя отказать в наблюдательности) несколько иное. С одной стороны, слушая Кургузова на митинге в день Седьмого ноября на Краснопресненской заставе, он соглашается с его видением событий революции, с тем, что русский народ принял учение о коммунизме потому, что оно совпало с его мечтой о справедливости и целостности. Что русская миссия нести справедливость человечеству — это нелёгкая миссия, и народ заплатил дороговую цену, но таким он сформировался за тысячелетия. Ему близок и взгляд лидера движения на события 2014 года на Украине: война идёт там, но на прицеле — Россия.

С другой стороны, видны и противоречия. Возникает главный вопрос: а он возможен, возврат СССР? Если всё течёт и меняется на глазах: одни союзы распадаются, другие создаются и тоже неустойчивы? И какой должна быть политическая организация, поставившая перед собой такую грандиозную задачу? Вот представление об этом Кургузова: “Нужно сформировать ядро... но не ядро избранных”, в нём “не должно быть никакой иерархии, там

будут действовать принципы братства, сварщик встанет рядом с профессором, и все объединятся во имя возрождения утраченного”.

Странно это читать, если на самом деле всё отработано более чем столетие назад. Есть же классические формы подобных организаций, перерастающих в партии. Ясно давно: никак не обойтись без иерархии, без дисциплины, наказания за невыполнение заданий. Зачем изобретать велосипед, если он давно изобретён! Лучше вспомнить деятеля перестройки Черномырдина, вошедшего в историю своим изречением: “Какую партию ни создавай – всё равно получится КПСС”.

К братству призывать можно, но... Повествователь замечает: “Относительная свобода была обманчива – как жидким оловом движение спаивалось единым мировоззрением и повышенной ответственностью”. Но и не только: по сути, авторитарность правления никуда не исчезла. Да, не было директив и приказов, Кургузов лишь периодически записывал ролик, где говорил о необходимости тех или иных действий. Но дальше вступал активист Паша – рупор Кургузова, с ярко выраженными демагогическими способностями. Он мог ответить на любой вопрос, а если с ним не соглашались, говорил: “Это не я, а Сергей Владленович”, – и спор затухал. Пашу совершенно не могла слушать Катя, Володя его просто терпел, до определённого момента.

Автор чувствительно задел очень важную тему: устройство общественных движений и их влияние на власть и граждан. В разных странах равновесие сил достигается по-разному, но у нас, похоже, пока нет отлаженных форм договора между обществом и властью. Структуры, призванные улучшать жизнь народа, громоздки, быстро бюрократизируются, начинают походить на государство в государстве. Нет и такого понятия, как культура протеста, и потому властям проще его заглушить в зародыше, чем разбираться, почему он возник.

Припоминается фрагмент из исследования Александра Казинцева “Возвращение масс” касательно протестных движений различной окраски. В нём говорится, что более эффективны те из них, что возникают по конкретному поводу, вызванному нежеланием власти решать жизненно важную проблему или навязыванием ею какой-нибудь негодной реформы. Протестующие организуются быстро, предъявляют чёткие требования, добиваясь такого же чёткого ответа от власти и последующего, в их пользу, решения. По окончании акции расходятся по своим домам и по своим делам. У такого движения нет перспективы выродиться в секту или в никому не нужную партию.

Но вернёмся к роману, тем более что его герой-повествователь Владимир Молчанов постепенно берёт на себя основную нагрузку в развитии действия.

Он так и не станет до конца своим в ячейке, переживёт бурную любовь ко второй в иерархии (после Паши) активистке Варе, удивительной сочетанием в ней политической и сексуальной страстности (что-то болезненное, если посмотреть со стороны); получит взбучку от “братства” за сорванный репортаж из зала суда, не заслуженную, по его мнению – не его была ответственность... После измены Вари (с Пашей!), нового разочарования в организации и метаний он успокоится, сядет в автобус и отправится в Луганск, туда, где полыхает пожар.

И не от отчаянья, не для того, чтобы доказать: я лучше вас, не от “некуда деться” этот поступок. А оттого, что наступило время отвечать за расслабленность, равнодушие, уклонение от вопросов, которые не будут ждать. Так случается, когда просыпается совесть и подсказывает единственный выход. И тогда не имеют значения ни твои обиды, ни чьё-то предательство – ты делаешь то, без чего не сможешь жить дальше. К такому итогу молодой писатель подводит своего героя, и подводит убедительно.

Этот роман не столько роман событий – главное событие происходит на последней странице, – сколько роман чувств и переживаний, изменяющих человека при встрече с поворотными явлениями в истории. Когда речь заходит о судьбе твоей страны, то наступает пора брать на себя личную ответственность за неё. И хорошо, если это осознание приводит к пробуждению сил, в особенности – молодых.

ВИКТОР ЗДОЛЬНИКОВ

ТЕМА АПОКАЛИПСИСА В РОМАНЕ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА “ПИРАМИДА”

*В чём же конечная цель цивилизации
с её сомнительными обольщениями,
с переизбытком всяких блистатель-
ных и полубесполезных вещей?*

Л. Леонов “Золотая карета”,
1949 год

*Нас дотащили понемногу // От коле-
са — аж до ракет, // От стрел до
ядерных зарядов... // Сгодилось всё
лишь на войне.*

В. Иванов “Забавы иноплане-
тян”, 2009 год

В общественном сознании рубежа XX–XXI веков относительно перспектив развития современной цивилизации всё чаще дают о себе знать неутешительные прогнозы, а то и вовсе эсхатологические настроения. Человечество столкнулось с парадоксальной ситуацией, когда научно-технический прогресс, обеспечивавший доселе материальные условия функционирования общества, вошёл в прямое противоречие с духовно-нравственными ценностями, выработанными и накопленными на протяжении тысячелетий исторической жизни рода человеческого.

Многие из так называемых “вечных тем” в мировой художественной литературе имеют евангельские истоки, и среди них — тема конца света, Апокалипсиса. Слово это — греческого происхождения, в переводе означает “откровение” и изначально не несёт в себе ничего эсхатологического. А вот библейский Апокалипсис — это первообраз катастрофы, и в традиции светской литературы интерес к этой теме перманентно устойчив в подобном семантическом поле, особенно во время кризисных ситуаций в обществе. Именно такая ситуация складывалась в СССР в 70–80-е годы прошлого века и стимулировала интенсивную работу одного из крупнейших русских писателей в сложнейшем жанре прозы — философском романе, где художественно анализировались негативные последствия “однобокого” развития не только советского общества, но и всей мировой цивилизации.

В итоговом романе классика русской литературы советского периода Л. Леонова “Пирамида”, от замысла и до завершения которого прошло более полувека, среди других “вечных сюжетов” оригинально разработан сюжет Апокалипсиса – в IV–VII главах третьей части романа. В них очень убедительно в композиционном и художественном аспектах повествования выстроены как эсхатологическая картина грядущей судьбы современной цивилизации, так и оптимистическая ей альтернатива.

В двух вариантах живописует будущее студент Никанор Шамин, которому автор и поручил функцию рассказчика. Руководимый профессором Шатаницким, он подвигается в дебрях модной науки под названием “футурология” и пророчествует с бесстрашием, присущим лишь юности, когда сам уверен, что тебя лично минет чаша сия.

Первый вариант Апокалипсиса, “ускоренный”, выглядел у футуролога как-то очень буднично, почти без фантастических домыслов. Когда, благодаря “триумфам передовой науки” (читай – ядерной физики), было изобретено и впервые применено “новое гуманное средство войны – без боли и крови”, – наступил финал истории человечества. “Сорвавшийся с графитового ошейника уран” совместно с непомерно разросшейся гордыней первооткрывателей тайн, покорителей природы (читай – слугителей науки) и прочими “расшавшимися стихиями” превратил Землю в непригодную для “продолжения бытия” пустыню, в громадную коллективную могилу человечества. Позже посетившие Землю другие разумные существа из Вселенной обнаружили лишь “сохранившийся деревянный памятник” в виде столба с прибитой к нему фанеркой, на которой была “намалёвана надпись: “Здесь сотлевают земные боги, раздавленные собственным могуществом”.

“Заправской учёной жутью” веяло от Никаноровых пророчеств; и его единственный слушатель (очевидно, сам автор) попытался усомниться в таком финале земной цивилизации, даже упрекнул начинающего футуролога в чрезмерном пессимизме. Шамин ничуть не смутился: скорей всего, сомневался и сам в своём радикализме. И предложил слушателю второй вариант развития цивилизации – альтернативный по сути своей, когда пробыёт “двенадцатый час на циферблате истории”.

На заре своего исторического бытия люди, пользуясь украденным у богов огнём, положили начало “необузданной деятельности разума”, именуемой теоретиками прогресса то “шествием к звёздам”, то “восхождением на гору”, то “штормом неба” и тому подобными красивыми метафорами-иносказаниями. Все силы разума были сконцентрированы на познании, “выяснении секретов природы”, имевшем целью всё более полное удовлетворение материальных потребностей жизни. Но у этого процесса был и побочный результат, малозаметный и потому не вызывающий тревоги большинства. Начиналась атрофия того чувства бессмертия, которое “в самой ничтожной примеси к хлебу, стали и бетону упрочняло сооружения нашей цивилизации во времени”.

А способствовали этой атрофии “жрецы разума”, чья “беспечная мысль развенчивала самые священные табу”, “обнажала крайнюю эфемерность жизни”. Воду на мельницу духовной деградации усиленно качало и “техническое могущество, не уравновешенное равновеликими моральными ценностями”. Вездесущие “машины массового внушения” (так Леонов называет все современные – от печатных до электронных – средства массовой информации) твердили доверчивой рядовой массе, что это и есть поступь прогресса, неуклонное восхождение человечества на гору, где, согласно мифам многих народов, обитают боги. Жрецы науки и техники, эти “интеллектуальные машины” с их “машинной моралью”, в конце концов, добились-таки того, что “отболели древние, дремучие связи человека с чудом... разум заглушил видения детства и юности” под благовидным предлогом “постигнуть взаимоотношения вещей глубже, чем они отразились в поэтических уравниваниях античного мифа”. И теперь “бесконечно нищее в своём неисчислимом материальном избытке” уже не “восходило”, а “тащилось человечество на гору... Вот только неведомо – зачем”.

Человечество оказалось лишённым духовного смысла своего существования; а прошедшая “постепенную стрижку умов” с помощью “средств массового внушения” толпа непосвящённых продолжает плодотворять “безгрешной науке”. Её достижения в романе определены убийственным эпитетом – “арсенальные”, – а её жрецы словно не замечали “разорения, производимого

варварским вторжением в кругооборот живой природы, более того, тайно готовились испробовать почти самое трагическое из своих изобретений”. Футуролог-повествователь имеет в виду генетику и связанные с ней биотехнологии. “Учёная знать” подбрасывает на алтарь познания всё больше и больше якобы судьбоносных проблем под благовидными предложениями “поиска большой пищи применительно к возрастающей численности земного населения”, а также “улучшения человеческой природы”. Осознавшие свои способности люди продолжили ещё более стремительное восхождение на гору. И оказались жестоко обманутыми в своих иллюзиях освободиться от Божьей опеки, сравниться в могуществе с Ним, раскрывая тайны Творца. Непомерная гордыня сыграла злую шутку с “оскользнувшимися” поработителями природы, со всем родом человеческим, подтолкнув его к самоубийству.

Сбой извечной “биологической настройки бытия”, “гармоничная стандартность вида” взамен “прежнего физиологического разнообразия”, “единый для всех эталон счастья” – такие перспективы дальнейшего движения прогресса вперёд, пробудив атавистический инстинкт самосохранения, положили конец терпению человечества. Так начался невиданный доселе “странный мятеж” народов: не против режима или старины, но против мнивших себя благодетелями и локомотивами цивилизации учёных мужей, мятеж, лишивший науку и технику “ореола неприкосновенной святости”. В результате “бунта профанов” (по определению “учёных волхвов”) были повергнуты наземь вчерашние кумиры, “совершалось великое возвращение назад”, под “материнское крыло природы” устремились люди, торопясь в счастливое детство. А барды в своих шедеврах поведали потомкам “о счастье ходить по траве босыми ногами и... до конца оставаться птенцом за пазухой у великой матери”.

Второй вариант развития земной цивилизации, а точнее – её движения вспять, изложенный в романе футурологом Шаминам, не столь пессимистичен, как первый. Его даже Апокалипсисом назвать нельзя; просто состоялось спасение: возвращение блудного сына – человечества в лоно своей матери-природы. Таков эсхатологический аспект этой “вечной темы” в романе, оригинальное её переосмысление. Апокалипсис, по Леонову, это не “ядерная зима”, не второй всемирный потоп, не день Божьего гнева и Страшного суда, после которого останется на Земле сто сорок четыре тысячи “избранных” и “запечатленных”. Но хоть и запоздавшее чуть-чуть, наступило прозрение человечества, лишённого, по воле “учёной знати”, способности предвидеть последствия своего “шествия к звёздам”, ощутившего на себе тяжёлое бремя издержек прогресса, понявшего, что никакому Атланту “было уже не под силу держать на себе содрогную махину цивилизации”. И в нём “сработал” первобытный инстинкт самосохранения. Это предвидение не конца света, а “генерального спуска с горы”, где человечество в гордыне своей стремилось сравниться с богами, спуска в долину, в “объятия матери-природы”, “на колени Бога”. Так в романе явлена “вечная тема” конца света, впервые художественно интерпретированная в оптимистическом ключе. Её оптимизм “подкреплен” здесь и библейским (о блудном сыне) и языческим (о Прометее) мифами, имеющими широкое, до универсальности, смысловое поле. И если первый не однажды до “Пирамиды” присутствовал в художественном арсенале писателя, начиная с рассказа “Бурыга”, затем в “Воре”, пьесе “Метель”, в повести “Evgenia Ivanovna”, то прометеевская мифологема впервые у Леонова использована здесь, причём в оригинальной интерпретации.

В древнегреческом пантеоне языческих богов Прометей – самая любопытная и загадочная по своим функциям фигура. Ослушник, мудрый провидец, изобретатель, бунтарь, жертва божественного гнева, несломленный мученик... Идеально подходит, чтобы стать основой мифологемы, наиболее часто транслируемой в письменном литературном творчестве при создании характеров героев. Не литературных персонажей, а именно героев. Потому что интерес этого титана к судьбам людей, к повседневной жизни смертных в отличие от интереса других бессмертных лично бескорыстен, более того – жертвенен. Традиции этой начало положили сами древние в классическом периоде развития культуры и литературы античного мира. Вроде бы положили...

В поэмах Гомера – первых письменных памятниках этого периода – нет ни одного упоминания о Прометее. Что касается “Илиады”, то здесь понятно, почему. Этот титан не учил людей воевать и убивать друг друга, тем более не покровительствовал такому занятию – и ему не место в столь воинст-

венной поэме. Но вот в главном герое “Одиссеи” очень много прометеевских черт. Но нет ни слова о небесном покровителе его – загадка бытования языческого божества, а вернее, отсутствия его образа у первого автора античной цивилизации, пытавшегося сблизить мир смертных и богов. После полумифического Гомера второй античный автор, исторически реальный рапсо́д Гесиод (ок. 700 г. до н. э.) продолжил его дело – художественную обработку мифологии. В обеих его поэмах Прометей присутствует наряду с остальными олимпийскими божествами. В “Трудах и днях” он представлен как “... хитроумный, // Искуснейший в замыслах хитрых”, который Зевсу-отцу “... разум обманом опутал // На величайшее горе себе и людским поколеньям”. Ибо они, по воле Прометея, “возлюбят то, что гибель несёт им”. В “Теогонии” титан украшен ещё более выразительными эпитетами, подчёркивающими основное качество его характера. “Прометей с хитрым искусным умом...”; “Прометей, на выдумки хитрый, // тягался он в мудрости с Зевсом сверхмогущим”: “И возражая ему, отвечал Прометей хитроумный, // Мягко смеясь, но коварных повадок своих не забывши”.

Так что “отец трагедии” Эсхил может считаться отцом прометеевской мифологемы лишь отчасти. Он в “Прометее прикованном”, следуя традиции Гомера, “очеловечил” этот образ, силой искусства приблизил его к людям. Читая монологи Прометея о благодеяниях, свершённых им ради смертных, мы воспринимаем их не только как косвенное обвинение Зевсу, но и как гимн человеку, его неограниченным возможностям. Такова первая составляющая прометеевской мифологемы. Вторая, возможно, самим Эсхилом и не предполагавшаяся, – это превращение героя в символ протеста, бунта, совсем еретическая для синкретично-мифологического ещё сознания самого автора, искренне верящего в мудрость “великого властелина богов” Зевса. Но у Эсхила намечена и третья смысловая символическая ипостась этой мифологемы, остававшаяся не востребованной в художественной литературе вплоть до середины XX века.

В первом эпизоде, говоря о своей вине, Прометей ограничивается констатацией свершившегося: “...искру огнеродную // Тайком унёс я: всех искусств учителем // Она для смертных стала и началом благ. // И вот в цепях, без крова, опозоренный // За это преступленье отбываю казнь”. Прометей искренне считает, что Зевс невзлюбил его за то, “что меры не знал я, смертных любя”. Но предводительница хора, с которой он ведёт диалог, допытывается у собеседника: “Ни в чём ты больше не был виноват? Скажи”. Ей трудно поверить, что строгий, но справедливый к людям Зевс столь жесток только за украденный для них огонь. И Прометей признаётся: “Ещё у смертных отнял дар предвидения”. Ну, отнял – так отнял, мало ли какие другие боги сделали своей монополией те или иные функции разума. А предводительница, понимая, что такая болезнь должна же быть нейтрализована каким-то лекарством, вопрошает дальше этого благодетеля человечества: “Каким лекарством эту ты пресёк болезнь?” Поразителен ответ его: “Я их слепыми наделил надеждами”. Ничего себе лекарство! Не случайно предводительница отзывается репликой с подтекстом явно ироничным: “Благодеянье это, и немалое”. А далее уже серьёзно завершает диалог: “Иль не видишь ты, // Что виноват был? Не хочу вины твоей // Касаться: это больно и тебе, и мне” (8, с. 147). Мы не будем здесь уточнять вопрос, почему “больно”; нам важно лишь подчеркнуть, что уже первый художественно-литературный интерпретатор мифа о Прометее видел не только заслуги, но и вину этого бога перед смертными.

Средневековье, да и раннее Возрождение не особенно жаловали религиозные воззрения, миропонимание и концепцию человеческой личности, выработанные языческой культурой античного мира. Именно поэтому не найдём мы в литературе и искусстве этого периода зримых следов прометеевской мифологемы. Другое дело – более поздние века европейской культуры, времена господства культа разума в общественном сознании, времена активного бунтарства не только в политической, но и в литературной жизни. Классицисты, романтики, реалисты, модернисты – кого только не привлекал его образ, кто только не использовал эту мифологему в своём творчестве! От Вольтера и Гёте до Т. Манна, А. Камю, Д. Апдайка. Особенно часто прибегает к ней поэзия. Не будем здесь цитировать Байрона и Шелли, Шатобриана и Гюго: для пылких романтиков подобный образ бунтаря – источник и вдохновения, и возвышенного поэтического метафоризма. Но и столетие с лишним спустя после них

русский поэт Дмитриий Кедрин писал в драматической поэме “Рембрандт”, подчёркивая созидательный аспект характера прометеевского типа:

*Скажите тем, кто будет после нас,
Как мы боролись, жили и мечтали,
Чтоб грёзы те, что нам живили дух,
До их сердец, пылая, долетели,
Чтобы вовек в сердцах их не потух
Живой и чистый пламень Прометей.*

Образ Прометей прошёл сквозь фильтры поколений двух с половиной тысячелетий, после Гесиода и Эсхила ассоциируясь только с истинным гуманизмом, высоким предназначением земного человека. Концепты “пламень Прометей”, “прометеевский огонь”, “прометеевский бунт”, “прометеевские страдания” прочно вошли в образно-метафорическую систему мировой литературы именно в позитивной коннотации. Она использовала прометеевскую мифологему как некое универсальное иносказание (или символ), характеризующее творческое, созидательное, бунтарское, мятежное и даже жертвенное начала человеческого характера, демонстрируя тем самым романтически экзальтированное восприятие и сюжетного, и психологического архетипа. Обращение к нему на протяжении тысячелетий удивляет односторонностью и постоянством интерпретации. Иное дело – роман русского автора второй половины XX века, где впервые “вечная тема” причинно не связывается с кознями против Творца его непримиримого антагониста – хозяина преисподней.

Рассмотрим далее, как функционирует прометеевская мифологема в романе Леонова “Пирамида”, как “вписана” она вообще в контекст художественного творчества писателя. Её использование в “Пирамиде” имеет иные художественные задачи. Здесь Прометей из спасителя и благодетеля человечества, примера нравственного совершенства и свободолюбия стал олицетворением иных качеств. Живописуя перипетии движения человечества по пути прогресса, Леонов все зигзаги, ухабы и нежелательные для человека последствия его связывает с культом жрецов Разума – детей Прометей – с их “изнурительной гонкой за ускользающими иллюзиями взамен истинных, безвозвратно утрачиваемых ценностей бытия”. Апофеозом этой гонки стал “Прометеев костёр”, разожжённый на алтаре прогресса. Увлёкшись баловством с “Прометеевым огоньком”, “священным огнём поиска”, человечество вдруг неожиданно для себя ощутило, как он может обжигать, этот огонь, насколько он “оплавляет до безликости фаворитов Божьих” – людей. Так традиционно устоявшаяся в своей художественно-эстетической роли мифологема под пером Леонова приобрела иную, неожиданную, окраску.

Впрочем, так ли уж неожиданную, если вспомнить романы Леонова тридцатых годов “Соть”, “Скутаревский”, “Дорога на океан”? Романы, где автор художественно осмысляет общую реальность – строительство, созидание новой жизни и новых отношений между людьми в советской России. А прометеевская мифологема традиционно носит характер созидательный, позитивную коннотацию. И интуитивно, в подтексте “примеряется” автором к своим героям, хотя и не упоминается в художественном тексте ни разу. Главные персонажи названных романов – Увадьев, Скутаревский и Курилов – по складу своего характера натуры, несомненно, прометеевского типа, все они “подстёгивают историю”, торопят, каждый в своей области, прогресс. Но в подтекстах авторской характеристики, острых сюжетных ситуаций, их диалогов с другими персонажами – не восхищение, а пусть скрытая, мягкая, но всё же слышится ирония.

Увадьев возглавляет стройку, под его руководством тысячи собранных здесь людей “в героическом безумии вступили в рукопашную схватку с Сотью”. Первая жертва этого “геройства” – убитая саженым обломком бруса при прорыве разбушевавшейся рекой запани одиннадцатилетняя девочка, и “несчастье по нелепости своей походило на убийство”. Не совпадает по интонации с традиционным прометеевским мифом и прямая авторская характеристика героя: “Увадьев вообще не любил ничего, что крошилось под грубым рубанком его разума... в простом он, тугодум, чувствовал себя крепко, покомиссарски”.

Профессор Скутаревский из одноимённого романа значительно сложнее Увадьева, прежде всего, в своей психической организации, более широком спектре эмоций и реакций на препятствия как внешнего, так и внутреннего происхождения. Но он далёк от политики — идола, которому поклоняется Увадьев. У профессора есть свой идол: “Мои электроны не подчиняются декретам правительства, они разбегаются прежде, чем я успеваю запрячь их”. Им владеет “прекрасная человеческая жадность — знать”. Может, немного рисуясь перед Женей, профессор раскрывает ей свою цель учёного-исследователя: “Держа атом в руке, я уже пытался — хотя бы любопытства, а не власти ради — откулупнуть ноготком его электроны. Я окружал материю капканам, и вот, в крайнее мгновение, когда я ею овладевал... она взорвалась”. Так отвечает природа на чересчур панибратское обхождение с нею жрецов от науки. Увадьев, практик-строитель, хотел усмирить, приручить природу во образе бурной реки Соти; Скутаревский, учёный-исследователь, ту же цель преследует на уровне физики атомного ядра. Природа этой страсти одна, её прометеевские истоки несомненны. Но и эта благородная возвышенная страсть, безоговорочное следование её зову не греет ни того, ни другого. Парадоксальная складывается в обоих романах сюжетная ситуация по воле автора: социальное и научное творчество не приносит ни радости, ни успеха их субъектам. Герой третьего романа Курилов — Прометей мечты, полёта фантазии в далёкое будущее. Но и такая возвышенная мечта оказывается уделом смертельно больного человека, и он сквозь призму своей фантазии лишь острее видит красоту нынешнего, реального, мира. Можно сказать, что гимном высокому чистому пламени Прометея эти романы не стали. Научно некорректно, может быть, утверждать, что таков был изначальный авторский замысел. Хотя в контексте созидательного энтузиазма тридцатых годов в стране они несомненно представлялись читателям и критикам исполненными именно такого пафоса. Но и трудно опровергнуть их интерпретацию как переосмысление традиционно позитивной прометеевской мифологемы, что подтверждает, прежде всего, лексика приведённых цитат.

Более убедительным аргументом в пользу нашей гипотезы является последний роман писателя “Пирамида”. Художественно обработывая в нём миф о конце света, писатель, впервые вопреки традиции, связал подобную катастрофу, объясняя причины её и следствия, с двумя мифами: древнегреческим языческим — о Прометее, и христианским — о блудном сыне. Уподобив последнему человечество, уверовавшее, благодаря Прометею, в свою “божественную чрезвычайность” и исключительность и потому чересчур заигравшееся с “Прометеевым огоньком”, но лишённое дара предвидения, опять же благодаря Прометею, оно вступило на путь самоуничтожения.

Тема Апокалипсиса у Леонова — это новый взгляд на традиционную концепцию прогресса, внедрённую в общественное сознание ещё во времена просветительства XVIII века, согласно которой прогресс — это генеральный путь человечества вперёд и вверх, он неостановим, потому что благодворен для цивилизации. Засомневалась в ней впервые, правда, робко, с оговорками, научно-фантастическая литература ещё в конце девятнадцатого века. И лишь почти столетие спустя Леонов в романе “Пирамида” как художник-философ показал, что прогресс движется, “работает” по принципу бумеранга, который, возвращаясь в случае промаха, может серьёзно навредить пославшему его в цель.

Апокалипсис у Леонова — это не конец, не смерть земной цивилизации, хотя и такой вариант излагает бесстрастный футуролог Шамин. И не “страшилки” современных писателей в жанре “фэнтези” о нашествии инопланетян и всяких гоблинов, о бунте роботов против человека. Это “генеральный спуск человечества с горы”, куда оно опрометчиво устремилось в гордыне своей, поверив жрецам Разума. Это его спасительное бегство из предсказанного Хаксли “прекрасного нового мира”, ставшего увертюрой к полной духовной смерти, к унификации, стандартизации человека даже как биологического вида. Мира, где всё устроено по законам Разума рационально, а по сути, как правило, вопреки естественным законам природы. Бегство прозревшего человечества, оказавшегося на краю бездны небытия благодаря “непогрешимым жрецам науки”, этих носителей прометеевского огня.

Промахнулись просветители XVIII века, доверив судьбу земной цивилизации исключительно Разуму как высокооктановому топливу, на котором только

и может работать прогресс. Он (прогресс) теперь бумерангом бьёт по человечеству; и чтобы не погибнуть окончательно, оно по инстинкту самосохранения “спускается в долину” в “объятия матери-природы”, “на колени Бога”.

Традиционная тема у Леонова, таким образом, звучит оптимистично и художественно убедительно, что не часто случается в литературе подобного пафоса. И происходит так именно у Леонова, на наш взгляд, потому, что, переосмысляя “вечную тему”, он искусно использует и “вечные характеры-мифологемы” — языческую и библейскую. Первая, прометеевская, художественно “работает” в негативной коннотации. Как первопричина, приведшая человечество к краю пропасти: интеллектуально-деятельное начало в человеке, символом, олицетворением которого стал Прометей, парадоксально обернулось против человека. Леонов, используя традиционную прометеевскую мифологему, впервые художественно актуализировал её именно в негативной коннотации, обозначенной ещё первым литературным интерпретатором роли этого языческого божества Эсхилом. Но под пером последующих мастеров художественного слова, обращавшихся к образу Прометея, он стал канонически позитивным персонажем. У Леонова же в “Пирамиде” он символ “ненасытной и бессовестной любознательности алхимиков людского блага”, то и дело подталкивающих человечество на “штурм заповедных тайников природы”. И в контексте эсхатологической темы Апокалипсиса предстаёт как главный его провокатор.

Не случайно “многие сомнения одолевают Хозяина” (имеется в виду Сталин), когда он задумывается над проблемами дальнейшего развития цивилизации. И не всем им находит он “лекарство радикального действия”. Но в целительность одного из них он, кажется, верит; именно потому и пригласил в Кремль командированного Небом на Землю Ангела. Не случайно с ним “без протокола и стенограммы” обсуждает вопрос, “как обуздать немножко резвость поисковой мысли, которая... никогда не считалась со святынями”. И предлагает свой вариант: “Нам с тобой, товарищ Ангел, предстоит поубавить излишнюю резвость похотей и мыслей для продления жизни на земле”.

Это оптимистическая альтернатива постиндустриальной потребительской цивилизации, которая уже завела человечество в духовно-нравственный тупик. Но ни воля Хозяина, ни критика “профессоров всяких наук” не сделают эту альтернативу реальностью — нужна смиренность человечества, чтобы пригасить Прометеев костёр на алтаре науки, “маленько убавить фитиль в светильнике Разума”. Так возникает в романе ещё одна, библейская, мифологема о блудном сыне. Но акцентирована она у Леонова не на дидактической, а на бытийно-философской цели: дать человечеству нравственно-этическую установку, необходимую для спасения цивилизации. Ему дана здесь не панацея, конечно, но более предпочтительный вектор развития: вместо падения в пропасть исторического и биологического небытия — “генеральный спуск человечества с горы”, обуздание гордыни своей, столь долго подпитывавшейся прометеевским огнём.

В 60–70-е годы прошлого столетия структуралисты и теоретики постмодернизма много говорили о смерти Автора, о смерти романа как жанра. Ответом им может служить “Пирамида”, создававшаяся именно в те годы. Роман этот — художественное подтверждение мысли, высказанной С. Аверинцевым, о том, что “мифологические модели отнюдь не рискуют потерять свою ценность и притягательность для творцов современной литературы”. Конечно же, при условии, когда современному автору есть с чем идти к читателю, есть что сказать ему. И не только о себе, любимом, но о своём времени, сказать с болью, тревогой и надеждой.

г. Витебск

АНДРЕЙ АНТИПИН

С. Ю. КУНЯЕВУ

1

Дорогой Станислав Юрьевич, привет вам из Сибири, с берегов верхней Лены! Не знаю, доводилось ли вам бывать в наших краях или нет, но как таёжник таёжнику, как рыбак рыбаку крепко жму вашу руку.

Простите, что задержался с ответом, хотя собирался непременно написать сразу по прочтении присланных книг. И всё не решался, помня о том, что вы попросили высказать замечания, если таковые возникнут по ходу чтения. И я, разумеется, стал читать, наивно надеясь, что смогу что-то “заметить”, а следовательно, быть полезным...

В общем, я прочёл ваши книги, но ни одной поправки не сделал, так что в этом смысле проку от меня никакого. Поэтому и не писал. Говорю это не ради похвалы, дескать, какие у вас глубокие, доказательные работы, комар носа не подточит. Меня больше волнует другое, а именно то, что ваша публицистика на тему холокоста или взаимоотношений русских и поляков, к сожалению, по большей части недоступна пониманию моего поколения — поколения детей демократии, над которыми ставился этот чудовищный эксперимент забвения отечественной истории, русской культуры, русского национального самосознания.

Эксперимент удался, надо признать. Случай с Карбышевым, не к месту помянутым в одном из телешоу молодой комедийной артисткой, элементарно не знавшей о героической судьбе генерала, — тому подтверждение, одно из многих. Специально заостряю внимание на том давнишнем скандале, наделавшем шума, поскольку в чём-то я понимаю эту девушку, не осуждаю и принимаю её раскаяние, опубликованное на личной страничке в интернете. Потому что так-то многие из нас, пребывающих в нетях, могли схохнуть, потому что это ведь и раскаяние всего нашего поколения, не помнящего родства. И тут не только и не столько наша вина. Всё на это беспамятство работало — и телевидение, и газеты, и школы, и зарубежные фонды вроде соросовского. Да и писатели известного вам околотка потрудились вволюшку, развенчивая “совок”, взахлёб славя Бориса-стукача, Новодворскую, Гайдара и прочую, как сказал бы Есенин, “сволочь”, а страницы истории, которыми должно гордиться, замалчивая или вымарывая. Вот и получили на выходе занимательные “качели”, когда всё, чего следовало бы стыдиться и опасаться, вознесли до небес, выставив на всеобщее обозрение, а то, с чем, перефразируя Достоевского, можно хоть сейчас к Богу отправиться всему русскому народу, не боясь быть непонятыми и непощёнными, низринули и засунули в такое место, которое и называть не хочется.

Лишь сейчас, когда мне, моему поколению жмёт под сорок, начинаешь с особой ясностью понимать, какую яму зияющую вырыли в нас годы перестройки, и в яме этой, как в дупле того самого дуба, о котором писал Юрий Кузнецов, поселилась нечистая сила всего того, что противно русскому человеку. Пусть вас не смущает, что я употребляю действительный залог. Поселилась! Убить, пожалуй, не убила, но выела до кишок, лишив, наверное, самого дорогого – веры в лучшую будущность. Чем тут оправдаешься? Не устояли. Но и как было устоять, ещё не понимая по молодости лет необходимости отстаивания себя в родном государстве. Это ведь всё равно, что отплёвывать в младенчестве материнский сосок!

И всё-таки мне представляется, что пусть не во всех и не сразу, но прободалось и в нашем поколении осознание чужеродности иных вещей и понятий, что повсеместно и, как нам думалось, справедливо вошли в нашу жизнь с единственной, как показало время, целью – разрушить. Многие и было разрушено и, наверное, навсегда, так что ничем не поправить, семимильными шагами не наверстать. Но ведь должна быть и в нашем пробуждении, в нашей русской весне точка невозврата. И раз началось оно, понимание необходимости нравственного самоопределения нации, значит, хотя и в смуте, но живёт надежда пусть к смерти, да очиститься от скверны и умереть не беспамятным к собственной истории, к собственному национальному корню.

В этом помогают и ваши, Станислав Юрьевич, книги, производя усекновение всех прочих прибранных “корней” и разных “измов”, расплзшихся по русской земле из-за чуждых нам пределов. И спасение уже грядёт, коль скоро вылупляется в голове страшная, но и живящая мысль о том, что, возможно, и надо нам было пережить и время перестройщиков, схожее с нашестием жучка-шелкопряда на сибирские кедрачи, и собственное увядание и помрачение, и, прости Господи, развал Союза. И всё ради того, чтобы на выходе из долгой мучительной болезни тем зримей, доступней в смысле общенародности и единства взгляда открылась всем нам та самая засечная черта, за которой вот уж воистину – быть или не быть России и русскому миру...

2

Возвращаясь конкретно к вашим книгам, а именно к “Жрецам и жертвам Холокоста”, одну поправку, впрочем, сделаю. Возможно, она покажется вам не принципиальной, но всё же. Я вам о ней говорил в телефонном разговоре, сейчас просто напомню. В главе “Клиника имени Матвиенко”, живописуя “шабаш” на радио “Свобода” по случаю пятидесятилетнего юбилея “антисоветского и антисемитского путча” 1956 года в Венгрии, вы в том числе цитируете и Владимира Высоцкого, чьи стихи прозвучали в радиопередаче. Не могу не заметить, что приведённые вами строки Высоцкому не принадлежат, так что пассаж о барде, “проклинаящем” в своих стихах подавление венгерских и будапештских восстаний, не соответствует действительности. То же можно сказать и о вашем ревниво несправедливом монологе о якобы имевшей место быть нелюбви Высоцкого к своей стране.

Если быть совсем точным, стихи такого рода, что и процитированные вами, у Высоцкого есть. Но взгляните, как разнится ваш вариант с подлинным текстом:

*Мне сердце разрывает Будапешт,
Мне сердце разрывает Злата Прага.*

Это Высоцкий с ваших слов. А вот канонический текст, написанный в 1979 или 1980 году (так указывают высокоцковеды). Приведу две начальные строфы, дабы прояснить смысл:

*Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана,
Учителей сожрало море лжи
И выплюнуло возле Магадана.*

*И я не отличался от невежд,
А если отличался — очень мало, —*

*Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала...*

Кстати, это не песенные строки, Высоцкий никогда не исполнял их под аккомпанемент гитары и вообще в последние годы жизни писал, чаще всего предуготовляя своим стихам сугубо бумажное существование, вне авторского голоса и музыки. Я не знаю, что стало причиной появления в вашей книге этих стихов в заведомо искажённом виде. Предполагаю, что в своей антипатии к Высоцкому вы, не раздумывая, положились на недостоверный источник и попросту не поняли, что со стороны нашей либеральной интеллигенции такое сознательное перевираание строк всенародно любимого поэта стало своего рода культурной аннексией, схожей с той, которой подвергся Высоцкий в известной лекции Дмитрия Быкова с провокационным названием “Высоцкий как еврей”. Что к этому добавить? Приходится сетовать на нерасторопность и недалёковидность патриотов, отдавших на откуп быковым и прочим нашего национального певца, чьи кости вот уже почти сорок лет лежат в русской земле, но, похоже, и нынче не дают им покоя.

И ещё одна маленькая – и действительно пустяковая – поправка, раз уж зашла речь о Высоцком. В книге “Умом Россию не понять”, в главке, посвящённой Александру Межирову, вы пишете о том, как Межиров в начале 1960-х годов “носился” с записями Высоцкого по Москве. И перечисляете три песни. Но лишь одна из них – “Их было восемь” – написана в названный период, а две другие – “Охота на волков” и “Як-истребитель” – в 1968-м. То есть в начале 1960-х годов Межиров не мог “носиться” с записями двух этих песен. Если и “носился”, то с какими-то другими, либо делал это позже. Но это так, к слову.

3

Более подробно хотелось бы поговорить о книге ваших избранных произведений “Сквозь слёзы на глазах...”. Во-первых, во-вторых и в-третьих: спасибо за мужское – мужское – отношение к жизни, за прекрасные выразительные строки о тайге, об охоте, о дружбе, о России. Впрочем, вы наверняка наслушались таких благодарений. А вот известна ли вам любопытная параллель, которая обнаруживается между вашими стихами и стихами Аркадия Кутилова? Думаю, вам будет приятно узнать об этой братской перекличке. Я, во всяком случае, обрадовался нечаянному совпадению в творчестве двух русских поэтов, тем более что стихотворение Кутилова, которое приведу ниже, я уже знал и любил, а с вашим только сейчас познакомился. К слову, это ведь вы с подачи Вадима Кожина и с его предисловием опубликовали в “Нашем современнике” подборку на тот момент (да и сейчас) мало кому известного поэта из Омска, но, к сожалению, уже после смерти Аркадия Павловича. Благодаря этой публикации Кутилова заметил и помянул добрым словом в одном из писем к Валентину Курбатову Виктор Петрович Астафьев: “Ещё прочёл в “Нашем современнике” потрясающие стихи омича Кутилова, погибшего рано и бесславно на улице в качестве бродяги” (2 марта 2000 года). Как, наверное, ждал Кутилов такой оценки своего таланта при жизни!

Итак, ваше стихотворение:

*Свет полуночи. Пламя костра.
Птичий крик. Лошадиное ржанье.
Летний холод. Густая роса.
Это — первое воспоминанье.*

*В эту ночь я ночую в ночном.
Распахнулись миры надо мною.
Я лежу, окружённый огнём,
тёмным воздухом и тишиною.*

*Где-то лаяли страшные псы,
а луна заливала округу,
и хрустели травой жеребцы,
и сверкали, и жались друг к другу.*

Незабываемые, хрестоматийные для русского сердца краски и звуки! А вот не менее талантливое описание такой ночи, сделанное Аркадием Кутиловым:

*Я ростом был в полчеловека,
стоял во тьме, осилив страх.
Два бородатых печенега
ругались ласково в кустах.*

*В ночи таинственно дрожало
две бороды и два огня...
...Она лежала,
тихо ржала,
она рожала
мне коня.*

Согласитесь, есть повод говорить о созвучии двух разных голосов, разных судеб. Хотя так уж ли разных, коль скоро, как все поэты, повенчаны с одной музой? А может быть, вам кто-нибудь уже говорил, что вы с Кутиловым написали близкие по смыслу стихотворения и, кто знает, вполне вероятно, что в одно время? Ведь сочинили с несущественным временным разрывом свои “Тихие родины” Владимир Соколов и Николай Рубцов. Я попытался установить дату написания кутиловского стихотворения по книге “Скелет звезды”, но произведения этого автора не датированы, вероятно, в силу жизненных обстоятельств, в которых творил Кутилов. Ваше написано в 1967 году. Предполагаю, что Кутилов создал своё в эту же пору или чуть позже. Говорю об этом более-менее утвердительно потому, что стихи Кутилова тематически и всей, так сказать, статью напоминают его произведения из раннего рукописного сборника “Первоцвет”. Сравните, например, с другим стихотворением Кутилова начального периода:

*А в детстве всё до мелочей
полно значения и смысла:
и белый свет, и тьма ночей,
крыло, весло и коромысло.*

*И чешуя пятнистых щук,
цыплёнок, коршуном убитый,
и крик совы, и майский жук,
и луг, литовкою побритый.*

*Как в кровь — молекула вина,
как в чуткий мозг — стихотворенье,
как в ночь июльскую — луна, —
в сознание входит точка зренья.*

Весьма занимательно и то, что ваши с Кутиловым земные дорожки в определённый момент пролегли не так уж и далеко друг от друга, то есть и в этом вы по-своему совпали. Судите сами: “...В 1967 году Аркадий Кутилов с молодой женой и сыном уезжает на почти незнакомую ему иркутскую землю, где он когда-то родился, на родину своего покойного отца... (Кутилов родился в деревне Рысья Мамско-Чуйского района Иркутской области. — А. А.) В течение года он работает в одной из районных газет, много ездит, изучает жизнь и быт таёжной деревни. В его “таёжной лирике” расцветают новые краски...” (Цитирую из предисловия к книге стихов и прозы Аркадия Кутилова “Скелет звезды”, Омск, 1998 год.) Те, кто знаком с биографией Станислава Куняева, помнят, что и он жил в наших краях — в городе Тайшете Иркутской области, где так же, как и Кутилов, работал в районной газете, освещал жизнь простых работяг и, конечно, писал стихи. И я вот думаю, что, может быть, вы с Аркадием Павловичем потому и пересеклись в своих стихах (и не только в процитированных, есть другие параллели), что это центробежное стремление прежде сообщила вам сама земля и некоторая схожесть ваших судеб вначале.

Отдельное спасибо поэту Станиславу Куняеву за то, что в споре, который я с юности “держу” с известными русскими поэтами Юрием Кузнецовым и Борисом Рыжим, вы в паре с Сергеем Есениным положили по золотнику на мою чашу. Выспренно и туманно? Объясню. Помню, какое жуткое чувство безнадеги вселили в меня, вчерашнего деревенского школьника, знаменитые стихи Кузнецова, которые я впервые вычитал в подборке этого автора, опубликованной в альманахе “Сибирь” в одну из первых годовщин со дня смерти Юрия Поликарповича. Так получилось, что стихи эти совпали с моим тогдашним (“лермонтовским”) отношением к жизни, к смерти, лишь усугубляя моё душевное уныние, которым я всегда страдал. Надо ли говорить, что по этой причине строчки Кузнецова автоматически вышли из разряда собственно литературного текста и стали своего рода документальным свидетельством того, что в эти годы творилось у меня на сердце, какие сомнения бурились, какие страсти пенились смолой огненной, какие силы выходили через меня в мир земной...

Вот эти стихи:

*Не сжалится идущий день над нами,
Пройдёт, не оставляя ничего:
Ни мысли, раздражающей его,
Ни облаков с огнями и громами.*

*Не говори, что к дереву и птице
В посмертное ты перейдёшь родство.
Не лги себе! — не будет ничего,
Ничто твоё уже не повторится.*

*Когда-нибудь и солнце, затухая,
Мелькнёт последней искрой — и навек,
А в сердце... в сердце жалоба глухая,
И человека ищет человек.*

(“Не сжалится идущий день над нами...”, 1969)

Вероятно, в смысле поэзии здесь всё в порядке. Правда, применительно к этому и некоторым другим произведениям Кузнецова меня всегда смущало нехристианское, разрушительное по своему воздействию отношение Юрия Поликарповича к смерти, а также то, что поэзия, созидательная по определению, собирающая хаос первоначальных смыслов в некий гармонический ряд, в случае с Кузнецовым вносила в мою жизнь разлад, ставя на острия ножей, с одной стороны, естественное стремление человека к радости бытия в евангельском смысле этого слова и, с другой — удручающее осознание невозможности этой радости ни при жизни, ни после смерти. Какая уж тут радость, если художественным словом “отстаивается” (словечко Маяковского; и “отстаивается” талантливо, ярко, великими стихами) идея тупика, финиша как итога существования всего живого!

Но всё бы ничего, мало ли каких откровений мы не наслушались из уст наших поэтов! Наверное, впоследствии мысль о конечности всего и бессмысленности людских чаяний чем-либо остаться, смутно точившая меня с отрочества и столь иллюстративно, предметно представленная в стихах Юрия Кузнецова, избылась бы сама собой, может быть, выбитая клином ещё более сильной мысли, ещё более пронзительного чувства. Но примерно в то же время, о котором идёт речь, оборвалась жизнь Бориса Рыжего, младшего современника Юрия Кузнецова. Естественно, вспыхнул интерес к творчеству этого автора, тем более что ещё при жизни Борис успел прозвучать. Вот и я не прошёл мимо, отдавая должное лирику, одарённейшему в своём поколении и в поколениях тех, кто явился ему на смену, вплоть до наших дней. Кузнецов, может быть, слышал о Борисе Рыжем, которого не стало за два года до ухода Юрия Поликарповича. Только вряд ли он знал его творчество, иначе не пройти бы ему мимо вот такого рвущего душу монолога, словно бы навеянно-го Борису стихами молодого Кузнецова:

*Маленький, сонный, по чёрному льду
 В школу вот-вот упаду, но иду.
 Мрачно идёт вдоль квартала народ.
 Мрачно гудит за кварталом завод.
 Песня лихая звучит надо мной.
 Начался, граждане, день трудовой,
 "...личико, личико, личико, ли...
 будет, мой ангел, чернее земли.
 Рученьки, рученьки, рученьки, ру...
 будут дрожать на холодном ветру.
 Маленький, маленький, маленький, ма... —
 в ватный рукав выдыхает зима:
 — Аленький галстук на тоненькой ше...
 греет ли, мальчик, тепло ли душе?"
 Всё, что я понял, я понял тогда —
 Нет никого, ничего, никогда.
 Где бы я ни был — на чёрном ветру
 В чёрном снегу — упаду и умру.
 Будет завод надо мною гудеть.
 Будет звезда надо мною гореть.
 Ржавая, в чёрных прожилках звезда.
 И — никого. Ничего. Никогда.*

(“Маленький, сонный, по чёрному льду...”, 1995 год)

Жизнеутверждающая картинка, не правда ли? Оторопь берёт пуще, чем после стихов Кузнецова. Оговорюсь, что параллель с Кузнецовым сугубо литературоведческая, потому что нет свидетельств того, как Борис Рыжий относился к его творчеству и вообще был ли ему известен кузнецовский текст. Однако схожесть взглядов этих двух поэтов просматривается, только у Бориса всё гораздо трагичнее. Надо полагать, потому, что Рыжий опростил мысль о неповторяемости жизни до бытового уровня, считываемого с бо́льшим сердечным состраданием, нежели сугубо литературный текст с отвлечёнными обще-поэтическими понятиями вроде солнца или птицы, какими по преимуществу изъяснялся Кузнецов (не считая некоторых стихотворений, например, о похоронах матери или посещении Кубани). Эта-то приближённость поэзии Рыжего к жизни, к жизни конкретно нашего постперестроечного поколения, мрачность взгляда поэта на своё время ударили меня словно бы в пику отшибающим душу признаниям Кузнецова. Справедливости ради замечу, что если Юрий Поликарпович, похоже, раз и навсегда определился в размышлениях о повторяемости/неповторяемости жизни, то Борис Рыжий находился в раздразе и, судя по его стихам, по амплитудному шатанию от одной мысли к другой, окончательно не решил для себя проблему перфективного существования или его невозможности. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в другом известном произведении Рыжего фигурирует мысль, прямо противоположная приведённой в ранее процитированном стихотворении:

*У памяти, на самой кромке
 и на единственной ноге
 стоит в ворованной дублёнке
 Василий Кончев — Гончев, “Ге”!
 Он потерял протез по пьянке,
 а с ним ботинок дорогой.
 Пьёт пиво из литровой банки,
 как будто в пиве есть покой.
 А я протягиваю руку:
 уже хорош, давай сюда!
 Я верю, мы живём по кругу,
 не умираем никогда.
 И остаётся, остаётся
 мне ждать, дыханье затая:
 вот он допьёт и улыбнётся.
 И повторится жизнь моя.*

Но причём здесь ваша книга стихов, спросите вы. А вот причём. Долгое время я не находил в стихах современников равносильного ответа Кузнецову и Рыжему. Притом что ответить им, оспорить их точку зрения хотелось уже потому, что и я, повторюсь, разделял то же тревожное ощущение трагичной тупиковости бытия. Стало быть, это нужно было, в первую очередь, мне. И вот только читая вашу книгу я, наконец, нашёл поддержку в стихотворении 1970 года “Прощание с Тянь-Шанем”:

*Благоуханная страна,
Всю жизнь звала меня не ты ли,
Чтоб синь твоя и желтизна
В моей крови перебродили!*

*Я забредал в такую даль,
Чтобы узнать за эти годы,
Как пьёт в расщелинах миндаля
Твои заоблачные воды.*

*Я видел, как, пронзая снег,
Средь поднебесного безлюдья
Тянулся розовый побег
И трепетал от жизнелюбья.*

*И я подслушал твой секрет,
Который выболтала птица:
Нельзя покинуть белый свет
И ни во что не воплотиться.*

*Прощай! Я не хочу спешить,
Но всё же час пришёл сознаться:
Затем, чтоб новой жизнью жить, —
От старой надо отказаться.*

*Не верь, что молодость прошла,
Не плачь, что юность отзвучала, —
Не могут выгореть дотла
Все жизнестойкие начала.*

*Не потому ли, как привет,
Как обещанье жизни новой,
Кивнул мне на прощанье вслед
Подсолнух золотоголовый.*

Какое чудесное, святящееся, как весенний дождь, стихотворение! Какая потрясающая, бросающая в дрожь телесность ощущения жизни, что я более всего ценю в поэзии, но, увы, не у всякого современного поэта нахожу! Прочитал и вдохновился. И сказал себе: “Вот оно!” Вот он равносильный ответ Кузнецову:

*И я подслушал твой секрет,
Который выболтала птица:
Нельзя покинуть белый свет
И ни во что не воплотиться...*

“Не говори... не лги себе!..” — закликает Кузнецов и уверяет: “Ничто твоё не повторится...”, а вы словно бы парируете: “Нельзя... не воплотиться”. Совпадение? Вряд ли. К тому же и в стихах Кузнецова, и в ваших упоминается птица. А это уже похоже на скрытую полемику, тем более что “Не сжалится идущий день над нами...” Кузнецов сочинил за год до вашего “Прощания с Тянь-Шанем”...

К этому добавлю лишь то, что, перечитывая недавно Сергея Есенина, чьи книги не открывал лет десять, с того момента, как во время учёбы на

последнем курсе филфака писал дипломную работу по “Чёрному человеку”, я наткнулся на строчки, почему-то мною забытые. Речь идёт о сжатой до стихотворения маленькой поэме “Цветы”, на которую Есенин в своё время делал ставку, говоря, что это – лучшее из написанного им, и советуя немного выпить, прежде чем читать. Пить я, впрочем, не стал, но есенинской мыслью проникся, ведь она пришлась как нельзя более кстати, в тон моим размышлениям, что видно и на текстуальном уровне:

*Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я вовеки не увижу
Её лицо и отчий край.*

*Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую, приемлю.*

*И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что всё на свете повторимо.*

*Не всё ль равно — придёт другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.*

*И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.*

(“Цветы мне говорят – прощай...”, 27 окт. 1924 года)

Не кажется ли вам, Станислав Юрьевич, что в третьей строфе этого есенинского стихотворения – как будто отзвук всё того же спора, который и по сей день незримо и, может быть, незнамо для них длится между поэтами? Только если Кузнецов с Рыжим пугают: “ничто не повторится”, не будет “ничего, никого, никогда” и вообще, дескать, трава не расти, то вы с Есениным убеждаете в обратном: “нельзя не воплотиться”, “всё на свете повторимо”. Правда, Есенин несколько противоречит себе и, заявляя о повторимости всего на свете, сравнивает себя с “цветком неповторимым...” Но, зная о судьбе Сергея, о предчувствии им своей близкой гибели, о мучительном расставании поэта с самим собой, с уходящей молодостью, можно принять и понять эту оговорку...

Подводя итог, скажу, что есенинские “Цветы”, говорящие поэту “прощай”, “головками склоняясь ниже”, и так чудно перепевающиеся с “кивающим вслед подсолнухом золотоголовым” из вашего “Прощания”, подарили мне чувство свободы, если иметь в виду, что всякая богопротивная идея скывает плоть и отягчает дух. И только мысль о радости и красоте бытия дарует ощущение подлинной безграничности существования. Спасибо русским поэтам Сергею Есенину и Станиславу Куняеву за эту радость!

5

... В конце своего безмерно затянувшегося письма немного попеню вам, Станислав Юрьевич, за то, что не обнаружил среди ваших избранных произведений своего любимого. Зато нашёл его в книге “Воспоминаний”, изданной в 2016 году. Это стихотворение 1966 года, посвящённое памяти вашего товарища Геннадия Калиничева, корреспондента районной газеты, который замёрз в зимней Сибири, будучи в подпитии. Чем мне приглянулись эти стихи?

Наверное, тем, что я читал их с удивлением, как собственное произведение, обнаруженное в книге другого автора. Читал и рассуждал примерно так: “Да это же поэтическое изложение моей повести “Дядька”!” Вернее, некий концентрированный её настой, настолько сильный, что, спроси меня теперь, чем бы я мог объяснить драматическую судьбу своего героя, деревенского пьяницы, в одну из ноябрьских ночей задохнувшегося печным дымом, я не задумываясь прочитал бы ваши стихи:

*Далеко в земле сибирской,
В захолустном городке,
Умер мой товарищ близкий
И сегодня я в тоске.
Пишут, что прилёт с похмелья
Отогреться у земли, —
И сибирские метели
Юношу не пожалели,
Белым снегом замели.
Говорят, что много пил,
Только в этом ли причина?
Песню русскую любил:
— Догорай, моя лучина...*

Замечательно метко с точки зрения постижения русского характера! Такое свидетельство нельзя оставить, начитавшись книжек или насмотревшись “Калины красной”. Это уж самой жизнью, шатаниями по тайге, ночами, проведёнными в избушке, разговорами с русскими стариками вроде охотника из Ербогачёна Романа Фаркова даёт ощущение этих вывихов и изворотов русской души, которая и в самом деле пуще всего песню русскую любит, да заветную, горькую — про лучину, про родимую... “Догора-ай!..”

Так-то и Пушкин писал: “Всё, всё, что гибелью грозит...”, так-то и нелюбимый вами Высоцкий пел: “Вдоль обрыва по-над пропастью по самому по краю...” Так-то и мой герой “любил”, так-то и мой Дядька кричал “с гибельным восторгом”: “Пропадаю-ю-ю!” И, конечно, умер не потому, что “много пил” (хотя и это было), и даже не из-за того, что не вписался в новые — демократические — времена (подумать так проще всего). Нет, такие, как Высоцкий, как герой вашего стихотворения, как мой Дядька всегда, при всякой власти, при любом государственном устройстве губили себя сами и умирали до срока, чаще всего рано и нелепо. В этом-то и боль наша, и тоска вековая по невозможности жить иначе. Но и понимание, что живи мы по-другому, “будь она, песня, подлинней”, как писал Шукшин, — пожалуй, не были бы мы русскими.

Вот с благодарностью за то, что русский человек постигнут вами, как мало кем из моих современников, с любовью к вам, к вашим книгам, к вашему — нашему — “Нашему современнику” я и заканчиваю своё письмо.

*Посёлок Казарки
Усть-Кутского района
Иркутской области*